Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 14

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Кстати о Долорес

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Все персонажи и все события этого романа вымышлены, и любое совпадение с чьим-либо именем или обстоятельствами чьей-либо жизни является непреднамеренным. В число тех, чьи претензии не принимаются, автор включает и самого себя. Повествование ведется от первого лица, но голос повествователя есть голос вымышленного персонажа, каким бы жизненным и по-житейски неловким этот персонаж ни казался. Автор отнюдь не намерен вчинить издателю иск за диффамацию. В суд он подавать не будет. Стивен Уилбек не в большей степени является портретом автора этих строк, чем, скажем, Тристрам Шенди — автопортрет Лоренса Стерна [1].

Стерн знал, что Тристрам — это не он сам, и намеренно изображал не только иные обстоятельства жизни, но и иной характер, как, впрочем, поступает всякий автор романа, написанного от первого лица.

Итак, если взгляды и мнения Стивена Уилбека вызовут у вас досаду, не гневайтесь на автора.

Но довольно этих примелькавшихся в наши дни предостережений. О всяком истинном романе мы судим по его верности жизни, ибо в этом и состоит его цель; роман этот должен изображать реальную жизнь и реальные события, а не жизнь и события, взятые напрокат из других книжек; одним словом, компонентами этого романа должны быть только опыт, наблюдения, чутко под-

[1] Стерн, Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

слушанные разговоры и свежие мысли, вырванные из прежних связей и скомпонованные заново. Вы берете что-то от одной личности и что-то от другой; от закадычного друга, с которым вы, так сказать, пуд соли съели, или от человека, чьи слова вы подслушали на пригородной платформе; а порою вы пользуетесь какой-нибудь подвернувшейся вовремя фразой или газетной историей. Вот так именно и сочиняются романы; другого способа нет. И если автору посчастливится создать героя, похожего на реального человека, то это вовсе не оправдывает тех, кто воображает, будто в жизни и впрямь существует «оригинал» этого персонажа, или тех, кто подозревает автора в карикатуре, в «личностях». Это история о счастье и душевном одиночестве, рассказанная добросовестно и чистосердечно. Ничто из описанного в этой книге не случилось ни с кем в отдельности, но многое случалось со многими.

Г. Дж. Уэллс

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СЧАСТЛИВАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Портюмэр, 2 августа 1934 г.

1

Я счастлив и был, по-моему, абсолютно счастлив целых два дня. Более того, вопреки всем доводам рассудка мне кажется, что и вообще я был в жизни счастлив.

Мой рассудок отнюдь не отвергает с порога это утверждение, он просто требует выяснения сути дела. Он извлекает воспоминания, подобно тому, как дискутирующие политиканы выволакивают на свет божий старые речи своих противников. Рассудок мой хочет казаться в этом споре совершенно беспристрастным, и это немного раздражает меня. Попробую объясниться.

Совсем недавно, всего лишь несколько дней тому назад, я был в таком отчаянном расположении духа, что грядущие годы, разверзающиеся передо мной, казались мне бременем невыносимо тяжким, а собственная моя жизнь — безнадежно запутанным узлом, и если я отверг мысль о самоубийстве, то лишь потому, что не в силах был на это решиться, или же потому — этот довод, помнится, я и предпочел,— что у меня были известные обязательства перед людьми близкими мне и от меня зависимыми; и хотя, откровенно говоря, жизнь этих людей казалась мне совершенно пустопорожней, они ценили ее и находили в ней какие-то радости.

Сколько раз я убеждался в противном, а все еще верю, что такого рода колебания настроений можно подавлять куда легче, чем это мне удается. Я не пытаюсь объяснить эту внезапную перемену чувств какими-то внешними обстоятельствами, стоящими упоминания. Ни в каком смысле мне, право же, не стало в ту злосчастную ночь ни хуже, ни лучше. Но с тех пор прошло трое суток. И сегодня, бог весть почему, я снова доволен и собою и жизнью, нахожу во всем удовольствие и очень хотел бы пребывать в этом настроении до конца дней своих.

И вот я мысленно перебираю все подробности этих двух приятных дней, так непохожих на те часы, когда я был угнетен и подавлен, и в воображении моем непроизвольно возникает образ мистера Джемса Босуэлла[1]. Мне кажется, что в эти дни я упивался жизнью с таким же смаком, как он; столь же трепетно отверзал очи души своей, как Босуэлл. Я не был сосредоточен на себе. Я был тогда обращен к внешнему миру. Я чувствую, что я и есть Босуэлл, вернее, что во мне есть нечто от Босуэлла и что именно оно представляет собой самую счастливую частицу моей натуры. Если бы мне было позволено воспользоваться ради своих целей жаргоном спиритов, то я сказал бы, что за последние двое суток Босуэлл вселился в меня. С тех пор, как я покинул Париж, а случилось это позавчера, разум мой произвел тысячу приятных наблюдений — совершенно в босуэлловском духе,— ибо я взирал на мир так, как Босуэлл взирал на этого большого, неряшливого, рассеянного, мудрого в своей глупости, либерально-консервативного доктора Джонсона. Нет, я со своими заботами не уходил целиком в тень, я только отводил для себя и для них подобающее скромное место, *босуэлловское* место, хотя и на переднем плане. Место фотоаппарата, увековечивающего некое зрелище.

Мне и прежде не раз случалось открывать в себе такого рода босуэлловские склонности. В Париже, в Лондоне я был беззаботным и счастливым фланером; я фланировал по Нью-Йорку, и Вашингтону, и многим боль-

---

[1] Босуэлл, Джемс (1740—1795) — английский писатель, автор книги «Жизнь и мнения д-ра Сэмюэла Джонсона» — первой работы биографического характера в английской литературе.

шим городам Европы; однако на некоторое время это радужное настроение заглушили всяческие хлопоты и неприятности, да и никогда прежде я не осознавал столь ясно собственной своей беззаботности, этакого фланирующего состояния духа.

Наслаждение от этого побега в хорошее настроение, в настроение, которое, увы, слишком редко меня посещает, я ощутил наиболее ярко в первый полдень своего путешествия, в Ренне. Я выехал из Парижа около девяти утра. Один из тормозов перегрелся и начал дымиться, так что в Ренне пришлось произвести небольшой ремонт; но, вообще-то, мой маленький «вуазен-14» вел себя в дороге превосходно, катил себе без особой спешки, не стремясь никого обогнать, кротко и тихо урча «извините» и не поднимая лишнего шума. Альфонс перетер перед дорогой свечи и все, что следовало, тщательно смазал маслом и тавотом. И это не его вина, что один из тормозов был чуточку туговат. Долорес, облаченная в пеньюар, показалась на балконе. С явным усилием она обуздала свою патологическую ревность и только самую малость переборщила в заботливости, повторяя последние, совершенно ненужные напутствия и советы. Мне непременно следовало запомнить какую-то ее просьбу, и хотя я и не дослышал, о чем, собственно, шла речь, торжественно обещал во всем ей повиноваться. Кажется, она умоляла меня ехать не слишком быстро. Но что это значит — слишком быстро? Ведь и так никакими силами не выберешься достаточно быстро из Парижа.

Чиновник, который у заставы вручил мне зеленую квитанцию, показался мне милейшим человеком. У моего «вуазена» руль справа; посему оказалось, что наши руки коротковаты, и нам обоим пришлось тянуться изо всех сил, но это обстоятельство нас не только не обескуражило, но даже очень позабавило. Большими милягами показались мне также парни, которые неподалеку от Севра заправляли мою машину. Что меня в них так пленило, не ведаю. Быть может, свитер одного — в зеленую и розовую полоску, а может быть, кривой нос другого?

Версаль, потускневший и все-таки по-старомодному помпезный, был как будто бы нарочно создан, чтобы както уснастить и украсить мое путешествие, и я с удовольствием разглядывал его красоты, пока он не растаял в

солнечном сиянии. Великолепное прямое шоссе, устремленное на запад, расстилалось передо мной золотым солнечным ковром, пронизанным тенями деревьев. Поля тоже были с расточительной щедростью устланы исполинскими коврами пшеницы, ковры эти стоили, должно быть, миллионы. А человек, который в Вернейле перебежал дорогу, желая предупредить меня, что колесо у меня дымится, был, по-видимому, добрым ангелом-хранителем, а не обыкновеннейшим механиком из гаража. Ангел-хранитель отремонтировал тормоза, пока я утолял жажду в кафе напротив. Позавтракал я в Алансоне; заказал баранину и запил ее пивом, счастливо избежав пресловутой «телячьей головы». Примерно в пятом часу пополудни я добрался до Ренна и направился в «Отель Модерн» просто потому, что мне очень пришлось по душе его название,— название, которое я вычитал в путеводителе для автомобилистов, изданном шинной фирмой «Мишлен».

Я покатил по набережной Вилены, и на развороте, перед самым въездом на мост, меня задержал необычайно благообразный регулировщик. Я настолько уважаю ажанов, что по первому мановению белой палочки беспрекословно торможу и готовлюсь покорно выслушать назидания, которыми меня, грешного нарушителя, осчастливит представитель власти. Но ажан, подойдя ко мне, с обворожительной улыбкой попросил прощения за свою оплошность. Ему показалось, видите ли, что на переднем бампере моей машины нет номерного знака, но тут же выяснилось, что это солнце ослепило его на миг и помешало ему разглядеть номер. Он вновь взмахнул своим белоснежным жезлом — на этот раз уже разрешающе; я и мой «вуазен» радостно поклонились ему и двинулись в дальнейший путь.

Словом, в этот день все складывалось как нельзя более замечательно и чудесно.

«Отель Модерн», правду сказать, не был слишком уж современен, но, во всяком случае, там была ванна, а мне ведь отчаянно хотелось иметь отдельную ванную; горничные в отеле были молоденькие, смешливые и весьма легко впадающие в панику, а функции механика в гараже выполняла пожилая особа в черной шляпке чепчиком. Интересно, надевает ли она синий комбинезон, когда

принимается за работу. Слава богу, до этого не дошло — мой «вуазен» уже не нуждался в ее попечениях. Итак, я выпил чаю, а потом, приобретя городской вид, то есть надев крахмальный воротничок и нацепив галстук, отправился осматривать город Ренн.

Затрудняюсь объяснить, почему, хотя мне самому это вполне понятно, старый город Ренн в тот вечер показался мне пристанищем и вместилищем человеческого счастья; почему это, именно здесь, именно в этот час, я вполне осознал всю ценность и значимость босуэлловских элементов своей натуры. С непривычной ясностью я понял, что единственным здоровым и приятным образом жизни является существование на босуэлловский лад. Все проблемы и заботы, всплывающие в моем мозгу или до срока таящиеся в глубинах подсознания и еще не сформулированные мною, я сочетал и выразил в одной-единственной фразе: «Следует развлекаться, рассеиваться, следует отвлекаться от забот, непременно следует сохранять душевный покой».

Я повторил это про себя несколько раз. Более того, я даже решил сочинить новую молитву господню. Скажем, такую: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и даждь нам все, что хочешь, но еще сотвори нас по образу и подобию Босуэлла; поутру и денно и нощно дай нам жить впечатлениями мира сего, но не введи нас во искушение и позволь нам забыть о сумрачных недрах вещей земных...»

2

Ренн — это город поразительно завершенный. Он решительно никуда не торопится и вообще доволен собой. От него веет блаженным покоем акватинты. Вместе со всей нашей планетой город Ренн несется в космическом пространстве со скоростью многих тысяч миль в минуту и с еще более головокружительной скоростью проносится сквозь время и череду изменчивых событий. И, однако, ничего об этом не ведает. Все эти дела заботят его ничуть не больше, чем, скажем, пса, дремлющего на солнышке. Я пошел на площадь Республики, чтобы дать телеграмму Долорес — пусть успокоится, узнав, что я не превратился еще в обугленные останки. Ведь именно та-

ким она воображает меня обычно, когда я исчезаю с ее глаз в моем «вуазене». В конце телеграммы я прибавил, по обыкновению, «нежно целую». А потом отправился на прогулку.

Ренн кажется мне городом восемнадцатого столетия, с разбросанными там и сям островками домов, возведенных еще лет на сто раньше. Тут множество пестрых лавчонок, прельщающих глаз всевозможными яствами и питиями; а все обувные лавки и магазины готового платья сгрудились вдоль главной улицы, извилистой и меняющей название на каждом извиве; вдоль главной улицы, не слишком оживленной, но настолько узкой, что столкновения двух пожилых дам с одним осликом, запряженным в тележку, вполне достаточно, чтобы устроить пробку. Здесь немало весьма почтенных с виду светло-серых зданий, с высокими воротами и прелестными фонарями у входа. Все это, конечно, монастыри, музеи, картинные галереи и всякого рода учебные заведения: есть, по-видимому, среди них и университет. Правда, на улицах я не увидел студентов, наверно, у них были каникулы; но множество ученых мужей ревностно трудится в окрестностях города, они проникают в тайны древних кельтов, извлекая из земли целые груды допотопной утвари; этими ископаемыми обломками они собираются заменить куда более поэтичные легенды времен короля Артура.

Как я уже говорил, в Ренне не видно студентов, зато полным-полно юных херувимов в мундирчиках цвета небесной лазури; херувимы эти совершенно не вызывают в нас мысли о современной войне, и я от всей души пожелал бы им никогда в жизни не иметь с ней дела! Нет на свете ничего более чуждого представлению о современной войне, чем французский провинциальный гарнизон.

Здешний собор отнюдь не является каменным готическим символом тайны и извечной тоски по царству небесному. Кажется, что собор живет жизнью города; он ужасно домашний. Одному только господу богу, к вящей славе которого воздвигнут Реннский собор, доподлинно известно, образцами какого именно стиля вдохновлялись его строители! Неподалеку от этого собора я встретил двух пожилых дам, которые мне очень понравились. Фауна этого города буквально изобилует женственностью этого типа. И если бы я умел рисовать, то с превеликим

удовольствием посвятил бы несколько недель собиранию и классификации здешних пожилых дам.

Я завел бы для них специальный альбом под названием Harem siccus[1]. Не подлежит сомнению, что эти старушки — наиболее долговечная достопримечательность города Ренна.

Дамы, о которых я говорю, были в черном и в шляпках, с незапамятных времен приспособившихся к индивидуальностям их обладательниц. Одна из этих дам имела властный вид; серьезная и очкастая, она взирала на мир критически и свысока, руки закладывала за спину и широко расставляла ноги. Другая была приземистая, толстенькая и податливая, у нее было округлое брюшко и мягкие жесты. Все свои слова она проговаривала, как заправский католик читает молитву,— негромко и стремительно, время от времени приостанавливаясь, чтобы дух перевести. Обе собеседницы были до того похожи на священников, что с минуту я не верил собственным глазам. Украдкой я обошел их спереди и оглянулся,— нет, в самом деле женщины!

Мне подумалось, что это экономки здешних священнослужителей, экономки, которые в долголетнем услужении уподобились своим господам. Та, низенькая, даже наверняка была женщиной,— она держала корзинку и ключ; она что-то лопотала, часто повторяя слово «мадам», а ее собеседница проницательно взирала на нее сверху вниз и время от времени роняла короткие замечания. Мне было жаль расстаться с ними, но я удалился, ибо если бы они приметили, что я заинтересовался ими, они бы меня неправильно поняли. Никогда не знаешь, в чем именно французы способны заподозрить путешествующего англичанина. Словом, мне оставалось только продолжать свою образовательную прогулку.

Гуляя по городу, я вскоре набрел на красивый и просторный ботанический сад, где на лавочках восседали приятные люди, явно не обремененные делами: среди них преобладали старушки в парадных белых чепцах, а в аллейках играли дети, беспрерывно наставляемые взрослыми. В саду было множество скульптурных групп — кстати сказать, Франция буквально изобилует ими; эти ста-

---

[1] Сушеный гарем (*лат.*).

туи, порожденные повсеместной и бескорыстной любовью к искусству ваяния, выставляли на всеобщее обозрение невероятное количество грудей, ляжек и ягодиц. Был и Дворец Юстиции, в стиле Ренессанс, былая резиденция местной судебной палаты; а перед Дворцом застыли в героических позах каменные изваяния четырех бессмертных, о которых я никогда прежде и слыхом не слыхал: Д'Аржантрэ, Ла Шалотэ, Тулье и Жербье. Я записал на память их имена. Понятия не имею, чем я им, собственно, обязан. Выглядели они так, как обычно выглядят великие люди; у них были двойные подбородки, и чувствовалось, что эти господа отлично устроились в жизни. Была также и мэрия, украшенная исполинскими фигурами бронзовых женщин, словно подхваченных водоворотом; эти бронзовые дамы могли, собственно говоря, олицетворять все, что заблагорассудится. Гарсон из театрального кафе, расположенного напротив, объяснил мне, что это аллегория, изображающая соединение Бретани с Францией, совершившееся на заре нынешнего тысячелетия, в результате династического брака.

Когда я пытаюсь передать атмосферу этого города, мне тотчас же вспоминаются слова «золотой век». Бурная волна исторических событий вспенилась тут революционными войнами и улеглась после нескольких казней. С тех самых пор тут, собственно, ничего уже не происходило. Ренн лежит вдали от мира. Триста сорок шесть километров отделяют этот город от Парижа. Триста сорок шесть километров отделяют его от всего на свете. Здесь проходит путь на мыс Финистер, то есть дорога в никуда. Молодые люди уходили отсюда в море, в колонии, на войну, так, как всегда уходят в широкий мир сыны племен, приумножающих род людской. Многие из этих юношей погибли, воротились лишь немногие, но сердце города Ренна от этого не разорвалось. Пожалуй, если бы не присутствие солдатиков в голубых мундирах, тут почти не было бы мужчин, но и это обстоятельство не огорчает обывателей города Ренна. Этот город дремлет в спокойной сытости, он весь будто ребячий кубарь, который вертится, тихо жужжа, и еще не пошатнулся, хотя никто уже не нахлестывает его кнутиком.

Золотой век — это всегда период исторического затишья, но живется в подобные периоды очень недурно...

Люди приободряются, становятся добродушными, снисходительными и чуточку смешными. Трагедия кажется здесь чем-то непривычным, чем-то, чего никто не склонен принимать в расчет. Пожилые дамы восседают здесь спокойно и торжественно, совсем как хранители в музеях; и они ни на вот столечко не верят в Историю; они сплетничают, греясь на солнышке, и понижают голос, чтобы дети, боже упаси, не доведались преждевременно о самых важных в жизни вещах! Великие деяния здесь никого не волнуют. Должно быть, именно так и ползло время по нивам наименее развитых в промышленном отношении районов Англии в нескончаемую эпоху королевы Виктории.

Бурская война была первым подземным толчком, омрачившим покой британцев. В четырнадцатом году эти толчки сделались куда неистовей, а теперь, теперь уже вся вселенная трепещет и содрогается вокруг нас. Даже британцы, даже невозмутимые британские тори ощущают колебание устоев вселенной, хотя и не соглашаются признать это ни на словах, ни на деле. Но город Ренн до сих пор ничего еще не почувствовал. Он пока еще коснеет в своей неподдельной довоенности. В этом городе годы, которые я провел в окопах, кажутся мне сном.

Тени на этих душеисцеляющих серых тротуарах вытянулись, удлинились, и я стал подумывать об обеде. Пошел в кафе напротив мэрии.

Фасад мэрии вогнут, как в лондонском Каунти-Холл; против мэрии находится городской театр с соответственно выпуклым фасадом; кафе помещается в этой выпуклости. Я был в превосходном настроении, и это примитивное совпадение форм показалось мне удивительно приятным. Пространство между мэрией и театром заполняла собой площадь мэрии, которая совершенно исчезла бы, если бы некая стихийная сила придвинула друг к другу оба дома. Вот на этой площади и назначали друг другу свидания какие-то совершенно игрушечные трамвайчики. А я разглядывал милейших обитателей города Ренна, влекущих корзины, сумки, портфели, зонтики, трости, шляпы и прочие вещи и пресерьезно размышляющих: который трамвайчик выбрать? Словно не все равно — по мне, — в какой трамвай кто из них сядет! Вот на этой, мощенной булыжником и местами усеян-

ной гравием площади, по которой изредка, как метеоры, пролетали автомобили, какой-то молоденький солдатик вознамерился обучать езде на велосипеде некую пухлую барышню. Две или три собаки, продавец газет и подметальщик улиц — не слишком, впрочем, ревностный, муниципальный подметальщик,— совершали тут свои многообразные дела. На тротуаре перед кафе два гарсона в белых кителях расставляли стулья и барьеры, поскольку вскоре должен был начаться киносеанс на открытом воздухе, мероприятие совершенно обязательное летним вечером во французской провинции.

Упустив из виду, что между Ренном и Парижем целых триста сорок шесть километров, я заказал коктейль с сухим «Мартини» и был поделом наказан фужером какой-то тепловатой мешанины, наиболее явными компонентами которой были вермут «Чинцано» и имбирь.

(Но кто сказал в конце концов, что имбирь противопоказан коктейлю и что самый коктейль нельзя пить в подогретом виде?)

Меня очень развлек и позабавил этот коктейль, я искренне восторгался им, но у меня не было особенного желания его пригубить; и в конце концов я расстался с коктейлем, оставив его на столе в неприкосновенности, и перебрался внутрь, в ресторан. Меня обслуживал премилый официант, который средь бела дня зажег для меня настольную лампу под красным абажуром, потому что, видите ли, мсье будет веселее, но, кроме этого, никаких сюрпризов не было. Не помню, что было на обед; впрочем, я уверен, что обед был хороший, и поскольку дело было в Бретани, то в каком-то виде в меню его красовался неизбежный омар. Потом я снова вышел на открытый воздух, чтобы выпить черного кофе и насладиться заодно неотвратимым кинозрелищем.

Когда фильм начался и обнаружилось, что это старая-престарая, латаная-перелатанная американская лента о женщинах-вамп, добродетельных гангстерах, преступлениях и что там фигурирует отталкивающего вида богатый юноша из Нью-Йорка, юноша с решительной челюстью (а сердце-то у него золотое!), я потихоньку выбрался оттуда и отыскал другое кафе на набережной Вилены, где три музыканта и две музыкантши и впрямь

услаждали слух; там я делал вид, что пью обжигающий коньяк, а на самом деле, украдкой, по достохвальному примеру сэра Филиппа Сиднея, выливал его в горшок с бирючиной, явно нуждавшейся в алкоголе куда больше, чем я. Я разглядывал людишек, которые входили с важным видом и покровительственно отвечали на поклон официанта, разглядывал парочки, выбирающие в нерешительности и сомнении столик, который ровно ничем не отличался от всех прочих столиков; я разглядывал молодых людей, позирующих на байронический лад, и весьма стильно разочарованного юношу с громадным псом, и троих крестьян, которые что-то все шушукались, обсуждая какое-то секретное дельце, и пару шлюх, то и дело поглядывающих на одинокого господина в уголке, совершенно не подозревая, до чего он верен Долорес и как глубоко к ней привязан.

Ибо Долорес, о которой я намереваюсь вам сейчас рассказать, одной более чем достаточно для любого разумного мужчины.

Одна из этих девиц была очень даже недурна собой. Сколько областных типов еще осталось в нашем мире, несмотря на прогресс современного транспорта! Она вполне могла быть моделью для бронзовой Бретани на фасаде мэрии. Может быть, и в самом деле ваятелю позировала ее прапрапрабабка. Мне казалось, что город Ренн глядел на меня ее глазами, и в глазах этих были вопрос и приглашение. Но добродетель моя была тверда, как адамант, и я остался непреклонен, хоть личико ее светилось дружелюбием! Я сделал вид, что потерял к ней всякий интерес. И погрузился в свои размышления.

3

Да, только с виду я был благодушным зевакой, на самом же деле меня донимали мысли, которые утром зародились в моем мозгу и с каждым часом все более поглощали меня. Это были мысли о счастье, вопросы: отчего это я был нынче счастлив, почему это я столько раз чувствовал себя несчастным, почему столько раз бывал неприветливым и раздраженным и отчего это моим близким (например, хоть Долорес; а ведь я все-таки

ее люблю) так нравится быть несчастными; отчего, наконец, я сам наношу раны другим и мучаю других; словом, из разнородных и рассеянных обрывков начало медленно возникать в моем мозгу морфологическое исследование радости и меланхолии.

Все эти мысли, которые начали донимать меня в дни пребывания в Ренне, были чем-то похожи на поезд, постепенно набирающий пассажиров. Можно еще более развить это уподобление, утверждая, что по дороге прицеплялись платформы, бесплацкартные и спальные вагоны; что состав этот маневрировал на запасных путях, порою сходил с рельсов, сталкивался с другими поездами, увлекал меня вдруг в совершенно иные края и доставлял столько занятнейших впечатлений, что мне захотелось их записать, зафиксировать, прежде чем он замрет на некоей конечной станции, разобьется и развеется, как обычно развеиваются в конце концов все поезда моих мыслей. Поскольку, однако, целью моей является повесть о моем пребывании в этом поезде, куда бы он меня ни повлек, а не о путешествии по Бретани, то я не буду описывать события второго дня моего счастья столь же подробно.

Все утро ушло у меня на поиски какого-нибудь тихого, непритязательного, но все же как можно более комфортабельного места, где Долорес могла бы обрести покой для своих расстроенных нервов, усталого тела и удрученной души. Проехав Мюр-де-Бретань, Бон-Репо, Ростренен и Каргэ, я добрался до Торкэстоля. Выезжая на рассвете из Ренна, я позволил себе, укоряя себя и в то же время торжествуя, пуститься наперегонки с громадной голубой машиной, в которой восседало двое очень-очень молодых людей с очень-очень непокрытыми головами и очень-очень распахнутыми воротами. Я решил перегнать их, поскольку неподалеку от Сэн-Бриёк они пренахально гудели у меня за спиной, а также и потому, что все как будто сложилось в их пользу: роскошный цвет их колымаги, их юность и красота. Вот только у меня были тормоза понадежней и двигатель мощнее, и я стал поддавать газу, пока мой «вуазен» не сделался в их глазах всего только облачком пыли на горизонте. Наконец я потерял их из виду, и они выветрились из моей памяти, а все внимание

я посвятил поискам, а также переговорам с управляющими отелей и владельцами пансионов и квартир, сдаваемых внаем, думая уже только о том, как бы обеспечить Долорес удобства и покой, чтобы она осталась довольна. Все эти люди старались представить мне свои заведения в наилучшем свете и в то же время торопливо подсчитывали в уме: сколько примерно можно содрать с этого тронутого англичанина, который таскает за собой по белу свету хворую жену, ее горничную, комнатную собачку, парадный женин автомобиль и шофера и еще смеет предъявлять при этом безумные требования по части ванных комнат. Они старались угадать, какую максимальную сумму готов этот сбрендивший клиент заплатить за условия, сколько-нибудь приближенные к его неслыханным требованиям, и какая сумма может его отпугнуть. И пока их головы были заняты этими сложными вычислениями, я без помех присматривался к ним самим и к их заведениям.

Три или четыре пансиона показались мне совершенно очаровательными, но, увы, они были битком набиты; впрочем, владельцы этих пансионов всячески за меня цеплялись, должно быть, провидя во мне истинный лакомый кусочек. Они усиленно цеплялись за мою особу, а я не спешил от них отвязаться. Они лгали мне, прикидывались моими лучшими друзьями, пытались подольститься ко мне, очаровать меня; они соблазняли, а я покорно поддавался всему этому. Не помню уже точно, в которой именно местности я обнаружил поразительно благочестивый пансион, где в каждой комнате на специальной полочке стоял миниатюрный алтарек во славу Пречистой Девы, а на каждом полуэтаже помещался ватерклозет, о чем хозяйка почему-то четырехкратно информировала меня. Может быть, дело в том, что в пансионе было четыре полуэтажа, а у дамы было несколько прерывистое дыхание, и она пользовалась возможностью, провожая меня наверх, четырежды задержаться, распахивая передо мной двери уборной и демонстрируя ее благоуханное нутро. Счастье еще, что дом этот не был небоскребом, ибо в таком случае я был бы вынужден обозреть такое великое множество, такой переизбыток ватерклозетов, каким при всем моем желании я не смог бы воспользоваться в юдоли сей. Это был

семейный пансион; всюду я натыкался на предметы утвари и прислушивался к отзвукам, свидетельствующим о присутствии детей. Было также ясно, что это юное поколение привыкло уже, нисколько не щадя голосовых связок и крайне решительно, перечить своим заботливым родителям. Объявление, вывешенное перед входом, гласило, что при пансионе имеются парк и теннисная площадка. Эта площадка была первым из тех необычайно интересного типа кортов, какие я имел возможность наблюдать в Бретани. Это был прямоугольник, усеянный гравием, решительно никак не утрамбованным, в котором детишки явно занимались поисками зарытых сокровищ, поскольку на самой середине площадки валялось брошенное ведерочко и совочек. Ну, а что касается парка...

— Ну а где же парк? — осведомился я.

В ответ хозяйка выразительно развела руками, охватив этим жестом теннисную площадку, кур, копошащихся в песке у наших ног, и развешанное кругом бельишко. За завесой сохнущего белья я приметил фигуру юного кюре, видимо, чрезвычайно ученого, погруженного в свои размышления и отличающегося завидным самообладанием; он примостился на железной скамеечке и пытался читать какую-то маленькую книжицу под топот, крики и визг жизнерадостного потомства тех обитателей пансионата, которых не связывал обет безбрачия. Так выглядел парк.

Оставалась еще проблема ванной. «Уважаемый мсье может купаться сколько ему будет угодно!» Где? «Везде, где только пожелает...» Героическая особа эта хозяюшка! Пожалуй, на свете немного стран, где можно так, походя, по мановению руки, принять ванну, предварительно, конечно, всенародно разоблачившись!

Наконец в Торкэстоле я обнаружил свободные, чистые и приличные комнаты, с приятным видом из окон и вполне достоверной ванной комнатой на твердо установленном месте; можно было считать, что мы всегда обнаружим ее на этом самом месте и что она всегда может быть монополизирована нами для наших личных надобностей. Там были краны, и я проверил их, и из них шла вода, и вдобавок оттуда, где было написано «горячая», действительно шла горячая. Я весьма дотошно выбрал самую тихую комнату для Долорес, а потом уже ме-

нее придирчиво — комнату для себя, для песика Баяра и для прочего общества. Я позаботился найти поблизости жилье для шофера Альфонса, а также подыскать помещение для парадного небесно-голубого лимузина и для моего меньшего, но более быстроходного «вуазена». С чувством исполненного долга я счел свою миссию оконченной, перекусил и после полудня пустился в путь, петляя по лабиринту проселочных дорог, объезжая праздношатающихся тугоухих коров, а также не слишком понятливых, хотя и всегда готовых помочь поселян. Я ехал в Портюмэр, чтобы побеседовать с моим другом Фоксфильдом, который пишет для нашего издательства книгу по биологии насекомых.

Ехал я напрямик, это было трудно, но все-таки возможно. На перекрестках мне обычно удавалось угадать нужное мне направление, один только раз я попал на узенькую дорожку между двумя глубокими рвами и вынужден был пятиться назад добрые полкилометра, однако не утратил хорошего настроения. Не утратил его даже и тогда, когда до моего сознания дошло, что мне дьявольски хочется чаю — ведь именно жажда чаю всегда пробуждала в моей душе дьявола. Я добрался до места в преотличном настроении, и хотя под Белль-Иль-ан-Тэрр у меня лопнула шина, я сменил колесо так умело и расторопно, что в восторге от собственной ловкости совсем позабыл о великолепном резиновом коврике, который я вынул из машины и подложил себе под ноги и в результате так и оставил его на шоссе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЖИЗНЬ СЧАСТЬЕМ?

Торкэстоль, 6 августа 1934 г.

1

Я чувствую, что теперь стану писать в ином ключе. Ничего не могу с этим поделать, я уже не тот человек, всей душой обращенный к внешнему миру, каким я был в первые благословенные дни после отъезда из Парижа, после того, как парижские заботы остались у меня за спи-

ной. Изменилось настроение, стало быть, изменится стиль. Босуэлловская восприимчивость отнюдь не является моим привычным душевным состоянием; при всем желании я не сумею «выдержать позу», как выражаются кинематографисты; с каждым часом, с каждой написанной строкой я постепенно возвращаюсь к привычному расположению духа, к настроению, в котором я размышляю, и я строю планы, лишь изредка обращая при этом внимание на внешние, не имеющие прямого отношения к моей личности дела.

Стоит ли притворяться, что все окружающее забавляет, когда тебя одолевают «мысли»? Читатель или читательница, если только они принадлежат к той категории, которая мне по душе, мгновенно уличили бы меня в неискренности; однако им следует принимать меня таким, каков я есть.

Мысли мои уже не текут свободно. Моя отважная гипотеза, что «жизнь, в общем, является счастьем», была подвергнута суровой проверке в течение тех пяти дней, которые я провел с Фоксфильдом в Портюмэре. Поразмыслив, мы всегда доходим до истин, быть может, более точных, но менее утешительных. Мысль о том, что жизнь есть счастье, показалась мне в Ренне таким озарением, что я принял ее, не требуя доказательств. Меня удивляло только, как эта мысль раньше не приходила мне в голову. Мне подумалось, что я до сих пор не замечал истины, полагая, что счастье является всего лишь слабым огоньком, изредка озаряющим тоскливую и горестную стезю.

Почему я позволил такому предположению долгие годы омрачать мой разум? Я чувствовал ведь, что взгляд этот не согласуется с истиной. Так каким же образом он утвердился в моих мысаях? Ведь ясно же, что счастье — это совершенно очевидный закон жизни! И так далее и тому подобное...

Но Фоксфильд в единый миг камня на камне не оставил от моего непоколебимого убеждения, а мое великое открытие низвел на уровень далеко еще не доказанной гипотезы. Он говорил о ней так, как будто вопрос этот все еще остается спорным.

В памяти моей эти наши словопрения сочетаются с бретонским пейзажем. Я полюбил Бретань. Край этот

внове для меня, а ведь я не ожидал уже, чтобы какой бы то ни было уголок земли мог показаться мне новым. Нигде в мире я не встречал пейзажа столь четкого и в то же время столь кроткого и ясного, окутанного каким-то призрачным серовато-зеленым сиянием. Нет здесь ни тесноты, ни беспорядка, название Финистер — край земли — великолепно подходит ко всей этой местности. Здесь все уже окончилось и разрешилось. Все вещи здесь пришли к завершению. Где-нибудь в иных краях мир может подвергаться нескончаемым переменам, где угодно, но только не здесь. Здесь вечный гранит встречается с вечным морем — и ничего уже с этим не поделаешь!

В Бретани можно обрести все, свойственное природе человека, и прежде всего веру в Волшебную страну; мужчины здесь торжественные и кроткие, с их больших черных шляп свисают простецкие длинные ленты; бретонские женщины одеваются, как наши прабабки времен королевы Елизаветы; они убеждены, что именно такой наряд самый подходящий и достойный, и непоколебимо придерживаются его. Вера этих людей достойна восхищения. Они верят твердо, окончательно и бесповоротно не только в римско-католическую церковь и ее священнослужителей, но также и в своих дохристианских идолов и идолиц, переряженных в святых господних; верят в чародеев и оборотней, в колдуний и ворожей; словом, во все, что кому по нраву; верят во вздох, и в чох, и в птичий грай... У них такое множество суеверий, что я не смог бы их все перечесть; они верят в дурной глаз и в патентованные лекарственные средства, а также в то, что их образ жизни таким и останется на веки вечные.

Вспоминая Портюмэр, я вижу бесчисленные скалистые мысы и островки, тянущиеся цепью вдаль, куда хватает глаз; голубые протоки, заливы, озера, ручьи; воду, блещущую наготой прямо перед глазами или просвечивающую сквозь яркую зелень, а на ее фоне — белесоватые и серые дома и тонко выточенные колокольни. Вспоминаю прогулки в места, где взор охватывает с высоты отдаленную линию чудесного бретонского побережья; прогулки среди замшелых скал, омываемых приливом, облепленных моллюсками, ракушками и про-

чими безвольными морскими тварями, где в мягком прибрежном песке — креветки, почти неприметные и крохотные, но страшноватые с виду, и крабы, уползающие из-под моих ног. И над всем этим — мой тезис о преобладании счастья в жизни, подвергаемый теперь сомнению, и Фоксфильд, побеждающий в дискуссии и вообще доминирующий в пейзаже.

Мы совершали прогулки в машине и пешком, правда, не слишком далеко. В особенности пешие прогулки остались у меня в памяти, ибо, когда мы расхаживали вдвоем, нам особенно хорошо разговаривалось. Мы лихо разъезжали в моей машине по невероятно узким проселочным дорогам, останавливались где попало и устраивали скромные пикники. Однажды мы поехали на «отпущение грехов», нечто вроде ярмарки, больше, впрочем, похожей на митинг, чем на сельское празднество. И мы играли в теннис не затем, чтобы посостязаться в ловкости или усовершенствоваться в этом искусстве, но яко два покорных орудия в деснице господней.

В Портюмэре было три теннисных корта, и мы перепробовали их все по очереди; корты земляные, с доброй красной глиной. Словом, корты времен праотца Адама! Один был изборожден глубокими-преглубокими колеями и — по выражению одного игрока — изобиловал салатом; на другом черта была выложена из брусчатки и некогда в уровень с поверхностью почвы, теперь же, когда земля по обеим сторонам черты была уже утоптана, торцы выпирали, как высокий порог, неотвратимо угрожающий и без того уже перепуганным теннисистам. А третья площадка, самая ровная из всех, вообще обходилась без черты. Последние два корта были затянуты проволочной сеткой, как в усовершенствованном курятнике, но сквозь бесчисленные дыры в ограде даже куры пролезали без особого труда. А первая площадка утопала в гуще кустарника, отлично поглощающего мячи. В таких условиях можно играть в теннис либо гениально и с размахом, либо горячечно, обидчиво и поминутно огорчаясь. Мы не считали это игрой, воспринимали скорее как гимнастику, а разыскивая в кустах мячи, пять мячей, самых хитрющих, какие я когда-либо в жизни видал, мы с Фоксфильдом дискути-

ровали помаленьку. Мячи эти, зеленые и красные и донельзя коварные, обладали свойственной низшим животным и насекомым способностью к мимикрии. Фоксфильд создал себе тут кружок друзей — это были французы, англичане и американцы, рассеянные по окрестным виллам и пансионам. Я подозреваю, что он разбазаривает, болтая с ними, живые идеи, которые ему следовало бы приберечь и запечатлеть на бумаге для блага нашего издательства. Кроме того, в Портюмэре обитает некий выдающийся представитель французского литературного мира, автор описания финиковой пальмы в закатный час, описания, которое слывет наизамечательнейшим образцом галльской прозы текущего столетия. К сожалению, знаменитый прозаик только что выехал с женой и детьми; как издатель, всегда памятующий о своей миссии, я был огорчен, что потерял случай познакомиться со всем семейством, а в особенности с великим человеком. При вилле есть флигелек, он стоит среди деревьев в саду, а Фоксфильд уполномочен владельцем распоряжаться как дома в этом приветливом убежище. Тут-то, как я узнал, мой мудрый Фоксфильд, в часы, свободные от морских купаний, прогулок, тенниса, приема пищи, сна и болтовни, предавался размышлениям и писал заказанную мною книгу. Посетив это пристанище, я обнаружил следующие вещественные доказательства фоксфильдовского трудолюбия: две трубки, перышко и соломинку для прочистки оных, следы отчаянного единоборства с вечным пером, а также несколько малоизвестных романов Александра Дюма.

Фоксфильд — это одно из моих открытий. Я чувствую свою ответственность за него перед моими компаньонами. Это превосходные и дельные люди, но я с неприятным чувством догадываюсь, что в глубине души они меня критикуют. Молодой Кльюс, насколько я знаю, считает, что у меня имеются идеалы и что это вредит издательству. По его мнению, я слишком широко и слишком поспешно хочу развивать нашу фирму. Он так и не примирился с тем, что я поселился во Франции. Мне неприятно понукать Фоксфильда, но он должен понять, что я не могу так, за здорово живешь, отказаться от возложенных на него упований. Фоксфильд — это громадный, болтливый и красный рот и космы распат-

ланных, с проседью волос. Его глаза блещут из-за очков, как фары большой автомашины, которая катится прямо на вас, причем за рулем никого нет. Голос Фоксфильда — это какое-то поразительное музыкальное перпетуум-мобиле. Он звучит не только в словах, но и в паузах между ними; извергает невероятное количество голосового материала, не используемого в членораздельной речи; гудит постоянно, как вода в фановых трубах. Фоксфильд знает все, что только можно знать в области биологии, и умеет удивительно своеобразно толковать об этих делах. Я познакомился с ним однажды вечером в клубе « Планетарий». Заслушался, совершенно очарованный и покоренный, и решил из этого щедрого, обильного и оригинального кладезя премудрости зачерпнуть хотя бы несколько книг, к нашей обоюдной пользе.

Я чрезвычайно серьезно отношусь к своей издательской деятельности и стараюсь сеять отборные семена. В общем, мои компаньоны и в то же время подчиненные: молодой Кльюс, Робинсон, а теперь и Хэггерстон — имеют все основания быть довольными тем, чего мы достигли. Однако Фоксфильд доставляет нам кучу хлопот. Он ужасно тянет со сдачей рукописи. Он взялся писать с громадным пылом, но легко устает в дороге, если его не погоняют, и его необходимо время от времени накручивать, упрекать, одним словом, заводить, как часы. Книга его должна быть, собственно, трактатом о жизни и о путях эволюции, о признаках целенаправленности в природе, причем, как в пьесе Чапека, действующими лицами должны быть исключительно насекомые. Фоксфильд хочет назвать ее «ЧТЕНИЕ В ЧЕТВЕРГ», намекая на Пятый День Творения.

Лично я ненавижу насекомых. Никогда в жизни никто так не испугал меня, как некий кузнечик,— гомол, что ли? — когда он ни с того ни с сего застрекотал прямо над моим ухом. Я предпочел бы, чтобы Создатель в пятый день отдохнул, а вместо этого прибавил бы что-нибудь к делам своим на будущей неделе; но уж поскольку насекомые были все-таки сотворены, приходится с этим примириться, безжалостно давя наиболее докучных из них, но не отказываясь извлекать пользу из прочих. Насекомым мы обязаны медом, шелком, бесценными нравственными уроками, а теперь еще и неисчислимым

количеством сведений из области биологии. Фоксфильд уверяет, что, если бы не дрозофила, наши познания в области генетики не многого бы стоили; он утверждает также, что в его научной области нет таких общих проблем, которых нельзя было бы решить на примере насекомых. Я добился у него только, что обложка книги не будет испакощена портретом какой-нибудь особенно омерзительной пресмыкающейся или ползающей твари.

Я намеревался ограничить мои беседы с Фоксфильдом чисто деловыми вопросами, то есть окончательно договориться с ним насчет его книги. Я хотел бы подать ему увлекательный пример энергичности и действенности, умения обуздывать чрезмерную страсть к спорам, пример холодного и практического разума — словом, всех тех достоинств, которыми я в отличие от него, бесспорно, обладаю. Но поскольку мое открытие, что пессимизм является величайшей ошибкой, а жизнь как таковая есть счастье, заинтересовало его безмерно, и оба мы были искренне захвачены этой темой, то теперь, по возвращении в Торкэстоль, я не могу уже припомнить, был ли вообще между нами разговор о сроках выхода в свет «Чтения в четверг». Нужно будет, пожалуй, разрешить этот вопрос в письменной форме. Я непременно напишу ему, как только разделаюсь с этими заметками. Но Фоксфильд весьма ощутительно подорвал мое убеждение, а я не сумел до сих пор преодолеть эти сомнения. Я должен прежде всего избавиться от них, а потом уже энергично займусь делами книги. Аргументы, выдвинутые Фоксфильдом, именно потому произвели на меня сильное впечатление, что ему явно хотелось, чтобы я его переубедил.

Фоксфильд доказывает, что значительная часть живых существ вообще лишена понятия счастья. Пчелы или бабочки не имеют с ним ничего общего, им ничего не известно о счастье. Они испытывают не больше и не меньше радости, чем капли воды в ручейке. Жизнь существ, достигших более высокой степени развития, чем такие чисто химические образования, как бактерии, управляется, как можно предположить, системой удовольствия и боли. Это означает, что определенные явления воздействуют на них притягательно, а другие —

отталкивающе, но реакция корешка или, например, амебы является столь молниеносной и полной, что впечатление разряжается уже в самый миг возникновения. Разряжается еще прежде, чем успеет «запечатлеться». Не говоря уже о том, что амеба, насколько мы знаем, не обладает средствами, которые сделали бы возможной эту фиксацию! Корень, пробивающий себе дорогу в почве и обходящий неподатливый гранит, не испытывает чувств надежды или тревоги, так же, как струйка воды, текущая в пору прилива по извилистой линии к углублению в скале. «И, однако, видишь ли, их осмотрительное и непрестанное стремление вперед — это все наше воображение!» «Видишь ли»,—говорит Фоксфильд и этим словцом как бы пригвождает своего собеседника. Это его любимое словечко. Произнося его, он выпячивает челюсть. В рукописи он ляпает его так часто, что оно становится своего рода иероглифом и составляет престранную особенность его стиля; это словцо автоматически стекает с его пера вместе с избытком чернил. Я вынужден попросту вычеркивать это словечко синим редакторским карандашом и даю указание корректору, чтобы он еще прошелся после меня.

Фоксфильд сомневается, чтобы воинственный маленький краб, который бочком выползает из-под моих ног, угрожающе шевеля клешнями, пока не скроется в песке, обладал большей способностью длительной фиксации впечатлений, чем, скажем, корешок растения. Крабы не выказывают ни малейших проявлений памяти, да она им и ни к чему. Жизнь их составлена из вспышек тревоги, гнева либо голода, из миллиардов не связанных друг с другом, абсолютно разрозненных мгновений. Звук приближающихся шагов или тень человека вызывают в них страх, который, однако, тут же проходит и забывается. В мозговом ганглии маленького ракообразного возникает новая картина существования сразу же после исчезновения предыдущей; сознание его подобно сыпучему песку, в котором песчинки радости или страха не сцеплены друг с другом. Маленький краб не страдает от боли и не упивается радостями. В лучшем случае он живет как во сне. Краб или омар не более достойны сочувствия, чем, скажем, лист, уносимый ветром. Фоксфильд полагает, что семь восьмых животного

мира проводят жизнь как бы в состоянии непрестанной анестезии. «С той, видишь ли, разницей, что этих тварей не нужно усыплять. Не нужно парализовывать их память, ибо на этом основано действие наркоза, поскольку у них память еще вовсе не зародилась».

Только тогда, утверждает Фоксфильд, когда мы видим создание, которое, воспринимая из внешнего мира впечатление, не разряжает этот импульс тут же, мгновенно, в каком-то внешнем действии; создание, которое способно припомнить нечто, почерпнуть из прошлого опыта, сомневаться и с заранее обдуманным намерением формулировать свое решение, только тогда мы вправе допустить, что оно испытывает состояния приятные или неприятные настолько продолжительно и определенно, что заслуживает нашего сочувствия. Тогда, стало быть, перед нами уже зачаток примитивного счастья и несчастья. Фоксфильд, однако, сомневается, чтобы какие-либо животные, кроме позвоночных, были одарены этой степенью сознания.

Тем не менее в знаменитом Аквариуме, в Ницце, кто-то уверял меня, что осьминоги обладают памятью. Фоксфильд охотно потолковал бы с этим человеком. Он с неохотой, со скрипом признает, что муравьи проявляют порой какую-то суетливую предусмотрительность. Что касается рыб, то они могут обладать сознанием лишь в той мере, в какой им обладает, скажем, наша печень или, в наилучшем случае, мозг человека, погруженного в глубокий сон, когда бесконтрольные и подсознательные видения движутся по мозговым клеткам, возникая из ничего и тут же, мгновенно, проваливаясь в ничто. Пресмыкающиеся никогда не резвятся и не предаются играм, есть в них какая-то бездумная, механическая серьезность. Только в мире существ, снабженных теплым покровом, мехом либо перьями, мы находим доказательства того, что они способны испытывать счастье. Птицы, кошки, собаки, телята и мыши способны сидеть спокойно и пребывать в задумчивости или бегать взапуски ради забавы; они бывают заинтересованы, увлечены, разочарованы или удручены. Изучение строения этих животных подтверждает, что они обладают органами, которые позволяют им удерживать впечатления в нервных центрах без мгновенной и немедленной внешней реакции; это уподобля-

ет их человеку. Этим и обуславливается возникновение пристрастий или отвращений, симпатий или антипатий, счастья или несчастья. Создания эти — когда они зрением, слухом и обонянием воспринимают присутствие человека — проявляют порою некоторое любопытство, пытаясь добыть о нем более точную информацию. Новые впечатления наслаиваются друг на друга, собираются и влияют приятно или неприятно на их зафискированные рефлексы. Итак, под влиянием внешних впечатлений что-то в их психике изменяется. Из этого следует, что сознание их обладает известной непрерывностью или протяженностью, аналогичной, родственной — если не идентичной — непрерывности человеческого сознания.

Я не спорил с Фоксфильдом о мотыльке, но защищал свой тезис, ссылаясь на ягнят, скачущих вприпрыжку по лужайке, и на котят, гоняющихся для забавы за собственным хвостом; но Фоксфильд, однако, заупрямился, только бы отказать вселенной в радости. Правда, устраняя радость, он устранял заодно и страдание. Он суживал территорию счастья, но чаша несчастья не перетянула, поскольку одновременно он сузил и территорию, доступную страданию.

— В какой степени,— спрашивает Фоксфильд,— счастье этих ближайших к нам животных является сознательным? Знают ли они, ведают ли они, что счастливы или несчастливы? Состояния нашего разума бывают непоследовательны и разобщены между собой, но, в общем, они относятся к некоему «Я», сознающему свои состояния. Счастье заглядывает в будущее, обращается к прошлому, оно сочетается с самосознанием нашей личности. Счастье обогащается теми ассоциациями, которые само же вызывает. Обладает ли кошка понятием собственного «я»? (Фоксфильд уверен, что собаки обладают таким понятием, но в отношении кошек сомневается.) Собаки способны испытывать угрызения совести, но наблюдал ли я когда бы то ни было, ну хоть разок, способность к самосозерцанию у кошек? Разве кошка способна порой подумать: «Со мной обошлись несправедливо. Моя жизнь несчастна»? Разве, греясь на солнышке, кошка говорит себе: «Вот теперь мне хорошо!»?

— Жаль, что ты не знал кошек, с которыми я имел дело в жизни,— парировал я.— Ничто на свете не в си-

лах опровергнуть мое убеждение, что черный кот у меня в Париже самодоволен, как человек. Разве ты никогда не видел, как кот сидит перед камином и жмурится на огонь?

Кстати сказать, Долорес не выносит моего кота. Это громадный черный и весьма чистоплотный котище, безупречной нравственности и превосходного воспитания. Он любит сидеть, тесно прижавшись ко мне, но никогда не садится рядом с Долорес. Однажды он объяснил свои взгляды на жизнь любимому песику моей жены, Баяру, который приближается к нему только с высочайшего его соизволения. Когда я слишком задерживаюсь в Лондоне, Долорес говорит, что отравит кота. Когда жена моя обращается к нему непосредственно или когда она повышает голос и заводит длительную проповедь — бац!— это мой котище спрыгивает на пол, неслышно, но поспешно идет к дверям и там ждет, пока я его не выпущу.

— Ну ладно, пускай по части кошек ты прав,— сказал Фоксфильд, беспристрастно взвешивая мои аргументы и глядя сквозь очки куда-то за черту горизонта.— Очень может быть, что по части кошек ты и прав...

2

Незадолго до отъезда в Бретань я провел с полчаса в парижском зоосаде, в симпатичном, хотя и немногословном обществе огромного рыжего орангутанга. У орангутангов широкие плоские щеки, а нижняя часть лица напоминает маску. Могучие челюсти и бесформенные губы кажутся словно бы прилепленными, а над ними умнейшие светло-карие глазки взирают на белый свет покорно и терпеливо. Так соблаговолил господь. Эти спокойные глазки иногда кротко и даже с некоторым интересом поглядывали то на меня, то на других людей, а порой задерживались в раздумье на соседней клетке, где резвились павианы, бесстыжие, как смертный грех.

Мой мудрец сидел почти неподвижно, лишь время от времени почесывал кудлатую грудь или руки, а однажды зевнул во весь рот. Но даже в неволе и скорее всего смертельно больной, ибо эти крупные обезьяны отличаются ужасающей предрасположенностью к чахотке и прочим человеческим хворям, орангутанг отнюдь не ка-

зался несчастным. Его маленькие карие глазки взирали на мир умно и спокойно. Я не думаю, чтобы он чувствовал себя несчастным, хотя, лишенный свободы и больной, он имел для этого все основания. Если бы я мог проникнуть в его мысли, проникнуть под этот череп, похожий на кокосовый орех, я, должно быть, не обнаружил бы там ничего, кроме дремотного и наивного интереса к людям и павианам. Он взирал на это беспечно, как ребенок, глядящий в окно: сквозь его мозг проплывали тусклые образы увиденных им предметов, и ничего более. Я сомневаюсь, чтобы он был, хотя бы в самой малой степени, огорчен или удручен неволей. Быть может, хотя я далеко не уверен в этом, он был бы счастливее в родимых джунглях, но он, безусловно, не отдавал себе в этом отчета. Он позабыл свой лес, а ежели и вспоминал родимое гнездо, то разве что во сне. Быть может, эти сны были ужасны, быть может, он испытывал облегчение, просыпаясь в безопасной и просторной клетке. Я считаю, что этого орангутанга можно признать существом, довольным жизнью.

Еще до отъезда в Париж, во время последнего моего пребывания в Лондоне, я видел фильм под названием «Симба», снятый весьма интересными, отважными и предприимчивыми людьми — супругами Хоп Джонсон. Это картины из жизни животных — на пастбищах, на водопое, во время охоты. Зрелище целого стада мирно трусящих рысцой жирафов надолго останется перед моими глазами. Воистину великолепным было движение колышущихся голов. Но это так, к слову. Все эти львы, слоны, жирафы и антилопы показались мне если не преисполненными живой радости, то во всяком случае довольными жизнью, и довольными кажутся мне также домашние животные, которых мне приходится наблюдать. Я слышал мнение, что дикие животные на воле «загнаны страхом». Мне кажется, страх подстерегает этих животных на каждом шагу, но не преследует их непрестанно. Фильм «Симба», безусловно, подтверждает мое мнение. Нужно иметь более сложно устроенный мозг, чтобы предаваться такой неотвязной тревоге. Кстати, Фоксфильд утверждает, что животные не поддаются покорно несчастью, так же как и боли. Они тотчас же пытаются от него избавиться, и хотя иногда защищаются

неосторожно и даже самоубийственно, страдание у них тотчас переключается в действие. Даже если находят при этом гибель, избавляются от боли.

Взгляд Фоксфильда на количественное соотношение боли и удовольствия, неприятных и приятных состояний в жизни животного не слишком утешителен. Хотя, по его мнению, животное и недостаточно разумно, чтобы постоянно ощущать несчастье, однако отдельные несчастные моменты могут заполнить большую часть его жизни. Ничто в его биологических познаниях не говорит за то, что это невозможно. Фоксфильд расправлялся с этой проблемой, сидя после купания на кремнистом пляже в Портюмэре. Он неторопливо осушал полотенцем волосатые грудь и спину, а порой прерывал это занятие, чтобы получше сосредоточиться. Ни за какие коврижки он не хотел принять мой тезис о преобладании в жизни счастья, тезис, который поразил меня в Ренне как внезапное откровение. Фоксфильд рассуждал, что, по природе вещей, на просторах бесконечно долгого времени счастье, быть может, значительно преобладает над несчастьем, но этого нельзя утверждать как нечто неизбежное или само собой разумеющееся применительно к какому-нибудь отдельно взятому отрезку времени или к какому-нибудь биологическому виду.

Большинство существующих видов должно быть «относительно хорошо приспособлено» к условиям, ибо в противном случае они давно бы исчезли с лица земли. Средним особям такого относительно хорошо приспособленного вида живется неплохо, в меру их собственных потребностей. Особям слабейшим, которым суждено погибнуть в борьбе за существование, живется худо. Таков всеобщий закон природы, и с этим приходится считаться. Но жизнь слабейших существ обычно коротка, их страдания не длятся долго. В то же время особи, лучше приспособленные, живут дольше, и в жизни их гораздо больше приятных мгновений.

— Жизнь не терпит боли,— говорил Фоксфильд.— Иначе она не могла бы продолжаться. Боль — это сигнал природы, призывающий к мятежу. Природа дает животному понять: «Так дольше быть не может!» Животное бунтует, противится страданию и становится перед выбором: умереть или выздороветь.

Что же касается человека,— говорил Фоксфильд, выныривая из сорочки и демонстрируя мне беспристрастное лицо Науки,— что касается человеческих несчастий, то, по-моему, здесь действуют те же законы.

Теперь он стал надевать штаны; однако он был до того погружен в свои мысли, что натягивал их задом наперед и обнаружил свою ошибку только тогда, когда не сумел найти пряжки подтяжек в положенном месте. «Вот дьявольщина!» — пробурчал он и принялся исправлять ошибку. В тот миг, когда случилась эта неприятность, я как раз собирался спросить его, не считает ли он возможным, что некоторые человеческие существа находят особое счастье в усердном причинении себе несчастий. При этом я думал о порою совершенно непостижимых для меня поступках Долорес. Но зрелище Фоксфильда, единоборствующего с собственными штанами, так меня захватило, что я забыл на минуту об этой проблеме. Особенно интересным был момент, когда обе его ноги очутились в одной штанине. Одевшись наконец надлежащим образом, он уселся на скале, откинул со лба прядь волос, строптиво падающих на серьезные очки, и продолжал прерванное рассуждение.

— Видишь ли, уже в самых исходных принципах я не согласен с Пэлеем,— сказал он.

— С Пэлеем?

Он напомнил мне, что Пэлей начинает свои «доказательства» утверждением, что мир, несомненно, был сотворен для счастья живущих в нем. Значит, Пэлей был того же мнения, что и я.

— Культурный человек конца восемнадцатого столетия верил в это беспрекословно,— сказал Фоксфильд.— Для Пэлея это было очевидностью, не подлежащей обсуждению. Но правда ли, что в жизни существ, достаточно приспособленных к условиям, преобладают мгновения счастья?

Фоксфильд, сидя на кремнистом пляже, как арбитр от биологии, постановил, что это истинная правда. Действительно, жизнь многих хорошо приспособленных видов — это бесконечная цепь убийств, но это еще не значит, что она неприятна. Возьмем, к примеру, лягушку. Тысячи головастиков гибнут, прежде чем крохотный лягушонок избавится от хвоста и выскочит из воды на бе-

режок. Из множества лягушат, в свою очередь, гибнут сотни, и только бесконечно малое число их достигает зрелого возраста. До тех пор, однако, пока на голову им не обрушится какой-нибудь удар, существа эти ведут вполне приятную жизнь. Именно эта беспечность и приводит их к гибели. Но, вещает Фоксфильд, смерть только тогда является несчастьем, когда о ней думают заранее. А изо всех тварей земных кто думает о ней, кроме человека?

— Каковы важнейшие элементы несчастья? Боль, страх, горе. Но они проходят. Разочарование, подавление инстинктов... Подавление инстинктов,— повторил Фоксфильд, как будто бы нащупав ключевую проблему.— Кто может быть несчастнее пса на цепи? — вопросил он.

— Или птицы в клетке? — прибавил я.

— А ведь это куда хуже, чем вивисекция. Люди вообще преувеличивают страдания, причиняемые вивисекторами, и недооценивают клеток и цепей, не задумываются о жалком существовании комнатных собачонок, которые вынуждены в течение всей своей жизни ежесекундно подавлять свои инстинкты...

Мне вспоминался Баяр, любимец Долорес, посапывающий в объятиях своей госпожи, Баяр, который не знал иной жизни и потому не мог постичь истинных причин своей тявкающей злобности.

3

Фоксфильд продолжал свои рассуждения. Если речь идет о виде, хорошо приспособленном к среде, живущем в таких же самых условиях, что и сотни тысяч предшествующих поколений, то у нас есть все основания предполагать, что его нормальная жизнь протекает весьма приятно. А если рассматривать жизнь в целом, то большинство видов существует в областях равновесия или также в условиях, изменяющихся настолько медленно, что живые существа успевают приспособиться к новым требованиям. Это говорит в пользу преобладания счастья в истории сознательной жизни в прошлом.

Все, однако, выглядит иначе в периоды, когда условия среды изменяются слишком быстро. В таких случа-

ях существующие виды оказываются недостаточно приспособленными к требованиям жизни. И только исключительные особи сравнительно легко справляются с обстоятельствами. Возрастает процент банкротств и число особей, в большей или меньшей степени подавленных и угнетенных. У нас есть все основания считать, что существование вида, вымирающего или испытывающего внезапные и стремительные модификации, является в большинстве случаев чрезвычайно жалким. Но не всегда Можно одинаково легко вообразить себе угасание видов, сопряженное с болью и страданием, как и безболезненную гибель. Допустим, что среда, в которой живут лягушки, не подвергается ни малейшим изменениям, но только появляется какое-либо новое животное, пожирающее лягушек, более ловкое и более прожорливое, все лягушки могут пасть жертвой этого животного, но каждая лягушка в отдельности до самого последнего своего мгновения будет весело скакать, сослепу не замечая гибели своих товарок и к тому же начисто лишенная интереса к статистике и судьбам вида. Но допустим теперь, что гибель явится не в образе нового пожирателя лягушек, а как изменение условий среды. Ну, скажем, лягушки никак не смогут найти пригодного для них легкоусвояемого корма! В таком случае вынуждена страдать каждая отдельная особь. И весь вид тоже будет вынужден исчезнуть, и исчезновение это будет происходить самым болезненным образом.

— Слоны,— мимоходом прибавил Фоксфильд,—весьма чувствительно страдают газами. Они оглашают африканские дебри звуками, сопровождающими деятельность их кишечника. Путешественники рассказывают, что после слоновьего стада остается ужасающая вонь. Вряд ли это — врожденное свойство организма слона, скорее всего там, в джунглях, должны были произойти какие-либо неблагоприятные перемены в их питании.

В истории мира могли случиться эпохи исключительных географических и климатических катастроф, и тогда большинство биологических видов оказывалось неприспособленным к новым условиям; существование их становилось жалким, все живые существа страдали и мучились, дышали непривычным для них воздухом, пере-

двигались по территории, чуждой им, поглощали неудобоваримую пищу.

— А теперь вернемся к человеку,— сказал Фоксфильд и на мгновение замолк.

— Ни одно живое существо, кроме человека, не обладает сознанием смерти. Среди всех существ, живущих на земле, один только человек знает, что должен умереть. С точки зрения отдельной личности, каждая человеческая жизнь завершается катастрофой, и это обстоятельство отбрасывает тень на все дни человека.

Я заметил Фоксфильду, что мало кто думает об этом. Обыкновенно человек старается избегать подобных мыслей, интересуясь другими делами. А большинство тех, кого терзает мысль о смерти, находит прибежище, веруя в бессмертие души... Ну, конечно, не все.

— Человек...— Фоксфильд, казалось, мысленно взвешивал мои слова,— человек и впрямь одарен величайшей способностью вытеснять из своего сознания неприятные для него факты и мысли. Он умеет отстранять мысли, неприятные или нелестные для себя. Но что, однако, творится в глубинах его подсознания? Не гнездится ли там подавленная тревога? Разве большинство людей в глубине души не обеспокоены?

Дайте человеку достаточно времени, причем ему не нужен столь долгий срок, как животному, ибо человек приспосабливается умственно, а не органически; дайте человеку время, и он приспособится к наиболее невероятной перемене условий. Но какое-то время ему все-таки нужно, ибо жизнь теперь идет так быстро, что даже грандиозная приспособляемость человека оказывается недостаточной. Знания и могущество человека растут быстрее, чем его житейская мудрость. В прошлом, когда пробуждающемуся человеческому разуму открылась истина о неизбежной смерти, человечество могло выпестовать мечту о бессмертии. Всякая жертва и унижение, которые человек должен был вынести по мере развития общества — ибо вся история человеческих обществ — это история ограничений,— принесли ему какое-то утешение и какую-то духовную компенсацию. Европейская цивилизация, которая достигла вершины в восемнадцатом столетии, развивалась достаточно медленно, чтобы человеческие умы могли приспособиться к происходящим пере-

менам. Это была цивилизация домоседов, по нашим меркам — ограниченная, но она приносила немало удовлетворения. В этом мире прошлого совершались, конечно, какие-то преступления и жестокости, это были как бы пурпурные пятна и синие полосы на светлом фоне, но они удерживались в соответствующей пропорции. Они прерывали ритм этой цивилизованной жизни, однако не меняли его. Цивилизация расцветала все пышней, но в этом расцвете таились уже зачатки разложения. Она породила замки и усадьбы, где поначалу от праздности и безделья зародился интерес к науке; цивилизация эта терпела и поддерживала королевский спорт — войну — и, таким образом, подготовляла собственную гибель.

Я рассказал Фоксфильду о том, как в Ренне обнаружил превосходно сохранившееся семнадцатое столетие и сколь приятной показалась мне тамошняя жизнь.

Фоксфильд возразил мне, что и вообще человеческое существование на всем пространстве от Китайской стены до самого Сан-Франциско все еще течет по руслу, проложенному традициями семнадцатого века. Большинство людей продолжает питать привязанность к покою домашнего очага, придерживается понятий верноподданности и общепринятой морали. Их идеалом все еще является скромный труд, умеренные усилия, бережливость и личное преуспеяние. Сугубо воздержанные приватные утехи, учтивые светские взаимоотношения, постоянное мелочное, но елико возможно сдерживаемое соперничество — вот мирок этого большинства. Взаимное перемывание косточек. Повседневные радости. Локальные интересы. Человечество все еще находит удовольствие в делах не слишком разнообразных и не чрезмерно важных. Люди сумели вырвать у смерти ее жало, не утруждая себя размышлениями о неизбежной кончине и доверяя утверждениям священников. Соборование — это великолепное изобретение для тех, кто хотя и опечален, но остается жить.

— Это не самый худший образ жизни, отнюдь не самый худший,— сказал Фоксфильд,— но человек уже получил предупреждение об увольнении. И расчет последует спустя недолгий срок. Судьба дарует теперь человечеству существование более достойное, более совершенное и в более широком масштабе,— продолжал он

мгновение спустя.— Это вполне очевидно. Человек уже умеет летать, быстро переносится из одного края земли в другой, видит и слышит все, что делается на нашей планете, удовлетворяет все свои потребности, прилагая для этого все меньшие усилия, и так будет, пока он не станет наконец лицом к лицу с призраком праздности, пока он не заметит, что становится совершенно ненужен — даже себе самому... Вот каково положение вещей!

— Мы подорвались на собственной мине,— заметил я машинально.

Фоксфильд минутой молчания выразил свое неудовольствие, ибо он терпеть не мог избитых фраз даже в устах издателя, к которому ему следовало бы подольститься. Потом он опять подхватил нить беседы.

Человек, говорил он, должен либо сознательно приспособиться к новому, более широкому, значительно более выматывающему и опасному образу жизни, который он сам же себе создал, либо род человеческий распадется в результате некоей многостепенной биологической катастрофы. Быть может, он распадется на антагонистические виды, на охотников и жертв, на паразитирующих владык и трудящихся рабов, а может быть, низвергнется внезапно в бездну и погибнет. Исключено только, чтобы он мог задержаться на месте и остаться таким, как сейчас.

Фоксфильд много распространялся на эту тему. Жаль, что я не могу здесь передать всех его слов, всего потока звуков, который их сопровождал; не могу изобразить здесь его серьезности, его очков, его пышной серовато-седой шевелюры, как бы принимающей участие в нашей беседе, а иногда устраняющейся, когда ветер сдувал клок волос со лба. В истолковании Фоксфильда человек выглядел как неумелый всадник на ошалелом скакуне; наездник-любитель сперва был слишком беспечен, а потом слишком испуган. Конь к тому же не был уже обычным конем, он превратился в чудище из ночного кошмара, в чудище, которое, ощетинившись остриями шипов и штыков, гневно кололо сквозь седло несчастного всадника.

— Старый общественный строй, — пророчествовал Фоксфильд,— будет разрушаться и погрузится в хаос, который может предоставить или не предоставить место

новому творению. Нет ни малейших биологических прецедентов, которые позволили бы предвидеть возможный исход, поскольку ограниченный, но неистребимый человеческий разум превращает судьбу человека в нечто единственное в своем роде. Однако,— сказал Фоксфильд с беспристрастием ученого,— существуют все условия, делающие возможным великое и почти всеобщее несчастье. Вот это,— и Фоксфильд поднял руку, как будто демонстрируя мне какой-то мелкий экземпляр необычайно редкого вида,— вот это мир, а его механизм, изобретенный нами самими, требует, чтобы мы этот мир либо сплотили воедино, либо разбили вдребезги; но чтобы сделать это и самим приспособиться к новым условиям, надо уничтожить целые классы, играющие выдающуюся роль, национальную и социальную. Эти люди, которых надлежит заменить другими, наверно, не захотят добровольно воспринять уроки нового времени или же исчезнуть. Наверно?! Скорее, наверняка! Они поднимутся на борьбу. Обретут в этой борьбе источник романтической гордости. Будут наносить и получать раны. Видишь ли, они будут сопротивляться не только неизбежному приспособлению к новым условиям, но также массовому мятежу тружеников, которых механизм нашего мира лишит работы и наделит опасной праздностью. Вот чего они будут бояться, и небезосновательно. Вот в лицо какой опасности они будут смотреть. В этом будет для них самое главное. Они могут проявить неожиданное упорство и использовать не поддающуюся учету часть нашей мощи и техники для собственной защиты и уничтожения мира. И впрямь они уже делают это.

Естественно, личности умирают, умирают целые поколения и уносят с собой в могилу свои предрассудки и страсти. Смерть работает на прогресс. Есть среди нас люди, которые силятся привить молодому поколению новые идеи. Ты принадлежишь к их числу. Но действительно ли ты проникаешь в душу молодых? Видишь ли, времени осталось немного.

Механизация, видишь ли, постоянно уменьшает количество необходимого труда и тружеников, в то время как на нынешней ступени развития большинство людей способны только к физическому труду. Каким образом

мы сможем внезапно переделать этих людей, чтобы они смогли жить иначе? И что другое должны они делать? Ты скажешь мне: нужно обучать их. Но чему обучать? Какова будет новая мировая экономика, каковы будут новые функции человека? Еще сто лет тому назад крестьянская сельскохозяйственная продукция была абсолютно необходимой; сегодня это не так, но упрямый мужик остался реальным и непреложным фактом. Перед нами, с одной стороны, классы совершенно излишние, упершиеся на своем, а с другой стороны — массы также излишние, избытки людей в промышленных районах и избыток обнищавших крестьян, цепляющихся за свои клочки земли всюду, где земля хочет что-то родить. Эти массы и эти крестьяне не располагают покупательной способностью либо утрачивают ее все больше, в то время как аппетиты их растут и горечь углубляется. Человек, лишенный работы, несчастлив, а нередко и опасен. Уж не истребить ли всех непроизводительных? Но они будут бесконечно несчастливы, если даже мы дадим им средства к существованию. Как видишь, что-то тут надо делать.

Прогресс науки и техники не только устранил потребность в многочисленном населении, но и победил громадную детскую и общую смертность, которая регулировала некогда народонаселение земного шара. Даже если прирост человечества прекратится, даже если число людей начнет уменьшаться, останется все-таки избыток ненужных существ. Это отнюдь не проблема абсолютных чисел, а проблема пропорции. Чем меньше потребителей, тем меньше нужно работы. Детей уже и теперь считают лишними, а в будущем они будут все менее и менее желанными и, значит, все больше будет женщин, ненужных ни в качестве матерей, ни в качестве хозяек дома, ни в качестве женщин в высоком и благородном смысле этого слова. Подавление и искажение наиболее существенных инстинктов будет тогда обычным жребием женщины. По сути дела, с точки зрения сохранения вида половое влечение женщины очень слабо, недостаточно развито. На животной стадии развития было достаточно похоти; женщина наших дней жаждет чего-то большего. Быть может, искушать и опустошать мужчин, но существуют пределы искушения этих легковозбудимых и столь же легкоисчерпывающихся самцов. Столь же лег-

консчерпывающихся,— повторил он с заметной ноткой сожаления в голосе.— Итак, перед женщиной в еще большей степени, чем перед мужчиной, открывается перспектива существования праздного, пустого, бесцельного, лишенного настоящего смысла.

Кошмар нашего мира,— прибавил Фоксфильд,— это ненужная, неудовлетворенная женщина. Она омрачает небо.

С минуту я силился припомнить, говорил ли я ему когда-нибудь о Долорес, но следующая его фраза меня успокоила.

— Ты,— говорил Фоксфильд,— с твоим природным оптимизмом, с твоим здоровым чутьем, которое позволяет тебе точно оценивать, какие книги будут иметь спрос, ты, с твоим призванием к воздействию на умы посредством книг, учебников, энциклопедий и тому подобного, ты скажешь мне, конечно, что дело можно будет уладить, овладеть положением и добиться новой, счастливой жизни для человечества. Исполинская воспитательная работа! Из всех живущих на свете существ воспитать джентльменов и утонченных леди и в то же время сделать из них настоящих тружеников! Я не уверен, что это удастся, Уилбек, я весьма сомневаюсь. Весьма и весьма. Заметь, я не ловлю тебя на ошибке, но я не могу поверить в твою правоту. Нынешнее состояние науки не позволяет установить, прав ты или нет. Ведь как мы сейчас все живем: нас захлестывают мелочи, мы болтаемся без дела, слишком много думаем о женщинах, еще больше ищем сильных ощущений, и у нас скопилось столько горечи и тревоги. Где же оно, твое новое воспитание? Все живущее требует его. Процесс приспособления принесет неисчислимые страдания, прежде чем человечество ясно увидит хотя бы только путь к новой, счастливой жизни, к жизни на высшем уровне, к жизни просторной, как мир. А кто знает, будет ли этот путь вообще открыт? Ты сам признаешь, что приятное для глаз сияние, которым ты тешился в Ренне,— это сияние заката, вечерняя заря. Покажи мне хоть где-нибудь в мире утреннюю зарю!

Так говорил Фоксфильд...

Мне следовало бы ответить ему, что никогда, ни в какой определенный момент нельзя сказать: «Вот заря.

Здесь, на этом месте, в этот миг». Он требовал невозможного. Попробуйте точно обозначить миг восхода солнца, а между тем восход есть явление совершенно конкретное. Это — подтверждение того, что день уже наступил. К сожалению, мне не пришел тогда в голову этот ответ. Но для меня нет сомнений, что уже светает. Светает со времен Возрождения. Это великий процесс, и на него нужно много времени. Свет рассеянный, ярчающий совсем неприметно, но так всегда загорается день. Человеческие умы идут к идее «мирового строя». Все больше среди нас людей, которые отдают себе отчет в объеме и взаимосвязи стоящих перед нами проблем. Все возрастающий спрос на серию моего издательства «Путь, которым идет человечество» об этом свидетельствует. Это, конечно, только малая малость, но все-таки это — доброе предзнаменование.

Люди *стремятся* узнать то, что им следует узнать... Новое устройство мира не принесет жестокого разочарования, как предсказывают умничающие эстеты. Авторитет прежних институтов колеблется; идолы, набитые опилками традиций, быть может, завтра уже рухнут и рассыплются в прах. Средние века во многом еще не пришли к концу, но конец их уже близок. Наводнение западного мира догматами иудео-христианской мифологии было умственной катастрофой большого масштаба, понятия человека о жизни оказались погребенными под толстым панцирем страха, заблуждений и нетерпимости. Эра христианства была эрой критики шепотом, затаенной иронии и болезненных страданий для наиболее утонченных умов. Такие умы бывали в каждом поколении. Каждое поколение производило интеллекты достаточно острые, чтобы преодолеть его ограниченность. Этим исключительным личностям, должно быть, казалось, что человеческий разум угнетен навеки. И, однако, в сердце человека живет чудесное стремление к истине. Человек роптал, издевался, богохульствовал. Человеческий разум в течение долгих столетий с превеликим трудом прогрызался сквозь обступившую его тьму, пока мы не обрели ясное видение жизни.

Сперва возникла космогония; мир, задушенный и уплощенный христианским невежеством, обрел свойственную ему округлую форму, увеличился в размерах,

звезды возвратились на свои места. Потом развилась биология, потускнела вздорная история об Адаме и его гневном Создателе, погасли адские костры, дата грехопадения человека выпала из календаря, и теперь в истолковании истории и на путях и перепутьях нашего прогресса мы освобождаемся от последних навязчивых и упорных пережитков ложной жизненной концепции. В наши дни перестроены принципы этики. Наши нравы улучшились. Мы обуздали нашу горячность и усмиряем ее. У нас иной взгляд на наше собственное «я», и мы отдаем себе отчет в иллюзиях эгоцентризма.

А по мере того, как мы освобождаемся от былых наивных и ребяческих надежд, мы научаемся предвидеть и избегать разочарований. То, что по нашим нынешним понятиям кажется нам странным, может оказаться приятным, если стать на иную точку зрения. Когда придут новые времена, люди будут иначе мыслить. Мы же умрем, и вместе с нами умрут наши ценности. Мне бы следовало оспорить мнение Фоксфильда, что скорость перемен превосходит человеческую приспособляемость. Он прав, когда говорит о головокружительном темпе происходящих изменений, но я не верю, что человек окажется неспособным к ускоренной адаптации, ежели этого потребуют обстоятельства. Мы не столь негибки, не столь закоснели; Фоксфильд не учитывает нашей забывчивости.

В то же время он недооценивает воздействие нового воспитания, которое может чрезвычайно отдалить молодое поколение от старых, избитых чувств, выцветших эмоций. Люди упрямы, но по сути дела вовсе не консервативны. Оказался достаточным, например, срок, не превышающий трети столетия, чтобы произошли огромные изменения в области половой морали. Так почему же невозможны столь же кардинальные перемены в представлениях политических и хозяйственных? Нет, отнюдь не неизбежна та пресловутая эра катастроф и страданий, картину которой развернул передо мной этот неблагодарный Фоксфильд, пророчествующий беды пред лицом осиянного солнцем моря. Катастрофа возможна, но отнюдь не неизбежна.

И в конце концов Фоксфильд отнюдь не непогрешим — ухитрился же он напялить задом наперед совершенно нормальные брюки. Быть может, та же участь

постигла его некоторые факты. Я верю, что прежде чем Время сокрушит материальные устои этого приятного, полного прилежания, глубоко порядочного, умеренно богобоязненного, патриотичного, сентиментального семейного житья-бытья, какое вот уже сотню поколений ведет цивилизованное человечество, новое поколение окажется подготовленным к новым условиям и обживет мир, сменивший наш. Нам труднее представить себе эти новые времена, чем ему будет существовать в них. Весьма возможно, что это поколение будет ничуть не менее счастливым, чем наше. Быть может, даже куда более счастливым.

Именно поэтому я и продолжаю свою издательскую деятельность.

Нужно действовать, поскольку нельзя все время быть только созерцателем босуэлловского типа. Нужно жить собственной жизнью. Я не мог бы с кроткой усмешкой осматривать милый провинциальный город, который дремлет в полнейшем неведении о ходе событий, несущих ему гибель, если бы не чувствовал, что помогаю строить некое новое счастье, некий образ Действенного Довольства, вместо того, которое погибнет вместе с Ренном и подобными ему городишками. Я оправдываю в своих собственных глазах себя и свою жизнь именно тем, что я собираю и распространяю творческие мысли. По собственному своему выбору я сделался слугой и частицей того нового, лучшего мира, который борется за свое рождение; я не служу старому, клонящемуся к упадку миру. Как наследник большей части паев в издательской фирме, я обладаю положением, позволяющим мне действовать согласно с моими взглядами. Если развитие мысли не будет отставать от изменений в материальной сфере, все будет хорошо. Но мысль должна для этого изрядно попотеть. В мире разума я нечто вроде почтальона, разносящего новые идеи; я обязан быть отличным ходоком. Я могу жить счастливо. Я люблю эту странную профессию издателя. Материальной стороной издательского дела я занимаюсь несколько вынужденно, но небезуспешно. Мои компаньоны—толковые сотрудники, они относятся ко мне критически, но не упрямы. Они доверяют мне, да и весь прочий штат у нас превосходно подобран.

Возвращаясь в Торкэстоль из Портюмэра, я окончательно отбросил фоксфильдовское представление о неотвратимом веке злосчастной праздности. Ничего подобного не случится. Я согласен с тем, что в неизбежном периоде всеобщих перемен будет множество неприспособившихся, множество рухнувших надежд, множество людей, страдающих от вынужденной праздности, но я верю, что все это удастся преодолеть. Я предвижу, что миллиарды существ будут страдать, что им будет трудно учиться новому, что это новое для многих окажется недоступным, но я не верю в какую-то всеобщую трагедию. В лоне грядущего таится новый мир, который ничем не хуже миров, порожденных прошлым.

Во всяком случае, я остаюсь жизнерадостным оптимистом, хотя бы потому только, что меня толкает к этому внутренняя потребность. Радость жизни победит. Я ощущаю это интуитивно. Наши писатели, в частности авторы моего цикла «Путь, которым идет человечество», безжалостно критикуют существующий порядок; и, однако, за работой они умеют шутить и насвистывать, ибо верят, что пролагают пути к лучшему будущему. Читателю, очевидно, знакомо мое издание «Путь, которым идет человечество». Оно должно быть ему знакомо. Одновременно в Америке мы публикуем параллельную серию. Там я ближайшим образом сотрудничаю с фирмой Ленорман. Вопреки всем своим недостаткам такая издательская пропаганда выполняет воспитательную задачу, которая университетам не по плечу, и к тому же выполняет ее весело. Сомнение может быть вполне полезно, но, поскольку это зависит от меня, я никогда не выпущу в свет книги заведомо пессимистической, которая могла бы удручить и без того уже удрученные человеческие души.

Если существует хоть малейший шанс, что мир выпутается из всех своих забот, то каждый разумный человек обязан, по-моему, поступать так, как если бы он был в этом абсолютно убежден. Если бы даже в конце концов ваш жизнерадостный оптимизм оказался напрасным, то ведь какое-то время вы *были* счастливы.

Долорес же совершенно иная. Некогда, много лет назад, я сказал, что счастливейшим днем в моей жизни я считаю день моего рождения. Она не может мне этого забыть. Цитирует с возмущением мои слова во время зва-

ных завтраков, обедов и прочих светских сборищ. Для нее, говорит она, появление на свет было тягчайшей обидой и величайшей трагедией. Когда-то и где-то она подцепила фразу: «Я была приговорена к жизни!» И, однако, с необыкновенным упорством цепляется за жизнь, за жизнь оптом и в розницу, за все ее мелочи и пустяки, так же как и за мою особу. Это ни в малейшей степени не мешает ей забрасывать оскорблениями и жизнь и меня. Она называет это критикой и ни за что не хочет признать, что это попросту бессмысленная клевета. Проницательность, благодаря которой она подмечает затаенное зло жизни, говорит она,— это ее несчастье. Увы, и мое также. Долорес убеждена, что постоянно, без всякого чувства меры, споря со всем на свете, она доказывает, какой у нее незаурядный ум. Готовность противоречить она считает признаком оригинальности. Она чувствует, что примириться — значит сдаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КАК МЫ ПОЖЕНИЛИСЬ

Торкэстоль, 9 августа 1934 г.

1

Хотя мое внимание было отвлечено множеством всяких дел, я успел запечатлеть свою беседу с Фоксфильдом, прежде чем содержание ее, заваленное лавиной иных мыслей и переживаний, начало стираться в моей памяти. Возможно, что эти мои заметки содержат на взгляд читателя слишком много теоретических рассуждений о жизни и ее возможностях, но в конце концов это моя книга, а не ваша. Если б вы поставили меня перед выбором, я не пожертвовал бы своей теорией для того только, чтоб вам потрафить. Ежели кому-нибудь эта книга не понравится, он вправе взять другую или сам написать лучшую, на свой вкус и по собственной мерке.

Быть может, это прозвучит оскорбительно, но мне кажется, что куда оскорбительней было бы приспосабли-

ваться к предполагаемому уровню читательских вкусов. Это бы значило, что, по мнению автора, читатель не способен самостоятельно мыслить и ему надо преподнести все в готовом виде, что он, читатель, безнадежно туп и эгоцентричен. Я, когда это от меня зависит, не издаю книг, сочиненных авторами, чрезмерно потрафляющими читателю, да и сам не хочу быть одним из них. Я пишу книгу о Счастье. О Счастье вообще и в частности; то есть о Счастье применительно к моей Долорес. Пишу исключительно потому, что эта проблема живейшим образом занимает меня, и без всяких иных причин.

А в эту минуту у меня слишком много собственных забот, чтобы еще беспокоиться о реакции читателя. Дело в следующем: несмотря на величайшее желание быть счастливым, я уже больше не счастлив. Мир перестал забавлять меня. Я уже не весел, как прежде. Почему бы мне и не признаться в этом? Быть может, вскоре я вновь обрету счастье: я ведь сотворен из удивительно эластичного материала; но сейчас мне кажется, что я уже никогда в жизни не буду счастлив. Так, должно быть, чувствует себя птица, снова посаженная в клетку. Прибыла Долорес, и ее горничная Мари, и, конечно же, любимый песик моей жены — Баяр, собачонка пекинской породы. Прикатили они в парадной автомашине, за рулем которой восседал шофер Альфонс; Долорес наконец решилась совершить путешествие в автомобиле, чтобы избежать хлопотной пересадки (Торкэстоль расположен на боковой ветке). Баяр что-то прихворнул, и требовалось вмешательство ветеринара. Я пережил период сильнейшего раздражения, которое мне наконец удалось подавить и затаить. Поэтому мне трудно было писать, и уж, во всяком случае, у меня не было ни малейшей охоты выделывать всяческие литературные кунштюки и подмазываться к читателю. Прибытие Долорес было сопряжено с бесконечным количеством мелких хлопот и передряг. Мне кажется, однако, что все это удалось помаленьку уладить. А теперь я хотел бы немного передохнуть и выяснить, куда меня занес поток моих мыслей. Первая остановка: радостно возбужденный свежим воздухом и быстрой ездой, я предположил, что мною сделано невероятное открытие, суть которого в том, что счастье является будто бы непременным фоном любого существова-

ния. Но Фоксфильд сделал все, чтобы разочаровать меня и обесценить мое открытие. А теперь я задерживаюсь на следующей станции и задаю себе вопрос: не априорно ли мое открытие, что всякое живое существо предназначено для счастья, и правда ли, что за эти два исключительных солнечных дня на пути моем встретились одни только счастливцы и счастливицы? Быть может, трудность выражения мысли в словах привела к ошибке и мы попросту спутали факты позитивные с негативными? А ведь если вопреки всему я все-таки прав и счастье является правилом, а не исключением, то именно оно должно оказаться наиболее животрепещущей, наиболее непосредственной, наиболее захватывающей темой наших рассуждений. Ну, а мы с Фоксфильдом спорили все время скорее о несчастье, чем о счастье. Мы твердо определили условия, в которых осознается несчастье: его осознают только существа, одаренные памятью и способностью предвидеть будущее, причем только тогда, когда существа эти страдают, будучи не приспособлены к условиям среды. С точки зрения науки такого рода периоды и состояния должны составлять лишь короткие главы в Книге Бытия. Редко бывает, что перемены происходят вдруг и сопровождаются катаклизмами. И если условия изменяются постепенно, то мы вправе допустить, что столь же постепенно оказываются ненужными и вытесняются существа слабо приспособленные, мало-помалу уступая место более счастливым. Жизнь сама приспособляется к собственным требованиям.

В условиях достаточно стабильных все живые существа должны из поколения в поколение становиться счастливее. Однако в наши дни перемены уже не происходят с прежней плавностью и постепенностью: мы живем в такой напряженной обстановке, какой никто доселе не знал. Человек на протяжении нескольких последних тысячелетий все более решительно и все более насильственно изменяет условия своей жизни и выбивает из наезженной колеи не только самого себя, но при первой возможности и прочих уцелевших млекопитающих. Одному богу известно, чего только человек не сумел выбить из колеи за последние сто лет. Человек—это воистину биологическая катастрофа! Поэтому сегодня, на данном отрезке истории живой природы, мы имеем дело с громад-

ным числом существ, плохо приспособленных к жизни. Не только среди людей, но и среди животных мы видим огромное и пропорционально возрастающее число особей, чувства, побуждения, инстинкты и традиции которых находятся в полнейшей дисгармонии с действительностью. Вспомним о лошадях. Вспомним о повсеместно распространенной охоте на диких зверей. Вспомним о корчевании лесов, о дренажных работах, о вздымании почвы лемехами плуга. Подумаем об ужасе, о проклятии лесных пожаров. Случались ли лесные пожары до появления на земле человека? Это мы, мы сами губим все живое. Диагноз биологической ситуации, поставленный мною и Фоксфильдом, есть не что иное, как на современный лад сформулированный догмат Грехопадения и Первородного Греха. Это — научное утверждение, подменяющее собой миф; оно объясняет то, что почти все теперь знают. Ныне все живое стонет и рождается в муках.

Должно быть, именно в результате моей беседы с Фоксфильдом и возвращения в Торкэстоль, река моих мыслей ринулась вспять к своим изначальным тайным истокам. Возможно, что где-то в моем подсознании взметнулась иная волна, волна печали, и что внезапное открытие Закона Всеобщего Счастья, озарившее меня во время поездки в Ренн, было только живой и сознательной реакцией на затруднительные и запутанные обстоятельства, о которых так хотелось забыть. Другими словами, ко мне присоединилась Долорес, воплощение человеческой неудовлетворенности, живой укор моей гипотезе о всеобщем счастье; в мой поезд села Долорес со своим уродливым песиком, и всеми своими обидами, недовольствами, склоками и прочим багажом; и вот я уже не беспечный и беззаботный пассажир, как прежде. Увы, мне приходится как-то уживаться с этой несчастной особой — вечно чем-то встревоженной, взбудораженной. И необходимость поступать именно так, а не иначе поглощает все мое внимание, отвлекает меня от широких жизненных проблем. С Долорес нет счастья, но я не в силах покинуть ее. Стараюсь как можно более продлить периоды наших расставаний, но, несмотря на это, все еще слишком много нахожусь в ее обществе. Так как же мне быть?

И что делать нам всем вот с такими вечно огорченными, всегда неудовлетворенными, злобными и сварливыми особами, никогда не перестающими переживать какие-то им одним ведомые обиды и оскорбления? И почему мы должны их терпеть? Неделю назад я начал упиваться игристым вином, но теперь аромат улетучился, а мне не хватает сил раскупорить новую бутылку. Иногда мне удается воспринимать Долорес с улыбкой, но сегодня она слишком раздражает меня, чтобы посмеиваться над ней.

Я позаботился, чтобы моя комната была не на том этаже, что спальня и гостиная, которые занимает Долорес. Благодаря этому я могу дать волю своим чувствам, писать совершенно искренне и без обиняков, не опасаясь нежданного визита. Ничего большего я сделать не мог.

Вот так и выглядит дело: СТИВЕН УИЛБЕК ПРОТИВ ДОЛОРЕС.

2

Вот уже несколько лет Долорес составляет настоящий обвинительный акт против меня и против всех окружающих на том основании, что ей грустно. Она все более определенно принимает позу болезненной и хрупкой женщины, которую горько обманули и муж и весь свет. Всю вселенную она обвиняет в подлых намерениях. Жалобно взирает она на солнечное летнее утро, зная заранее, что и в нем таится обман. Даже распятие у дороги не смогло бы более сурово выразить протест против всех земных радостей, чем моя Долорес.

У нее всегда было известное предрасположение к профессиональной меланхолии. Она всегда спешила хулить, бранить и, если удавалось, карать. В последние годы все это стало еще заметнее. Поскольку Долорес — это и вся моя семья и по необходимости моя единственная подруга (если считать, что у меня вообще есть семья и подруга), я вечно вынужден играть роль арбитра между ней и всем прочим миром, который она по привычке и вследствие какой-то непостижимой внутренней потребности вечно в чем-то обвиняет. Война, мор, глад и Долорес, вместе взятые, не смогут поколебать моего убеждения в том, что мы живем не в худшем из миров. Этот

мир бывает мрачным, зловещим, иногда нелепо-жестоким, а иногда — бесплодным и скупым; он переживает сейчас период неврастении, утратил покой и нуждается в лечении, но, несмотря на все это, он даже и теперь по временам бывает удивительно весел, радостен, приятен и добр, и от общения с ним легче становится на душе. Это мир двусторонний, как медаль. Долорес об этом даже слушать не хочет.

— Тебя так легко одурачить,— говорит она.— Ты легковерен и переменчив, как дитя. Ты радуешься чему угодно, ты расположен к кому угодно, только не ко мне.

Это ее основная установка. Но у нее есть и другие, про запас. Себе ты позволяешь так говорить, заявляет она. Но пусть бы я попробовала в один прекрасный день сказать, что мир хорош, ты наверняка отпустил бы какую-нибудь пошлую остроту.

Вполне возможно, впрочем, что так бы оно и было: я бы так поразился, что у меня сорвалась бы неуместная шутка.

Вчерашний вечер был омрачен из-за моей почти преступной забывчивости. Я вечно забываю о годовщинах. Я ведь не землепашец эпохи неолита, я не ношу с собой календаря, оставляю его у моей секретарши в далеком Лондоне. С меня вполне достаточно, что я различаю лето и зиму, солнце и дождь, будни и праздники, весенний и осенний издательские сезоны и прочие периоды. А вот Долорес всегда заранее напоминает мне о знаменательных датах, в особенности же о тех, которые уместно отметить каким-либо старательно выбранным подарком. На сей раз в суматохе наших переездов либо она забыла напомнить мне, либо я пропустил ее слова мимо ушей. Словом, 17 августа вечером я вошел в пижаме в спальню Долорес, чтобы пожелать ей спокойной ночи; вошел, не предполагая, что этот вечер имеет какое-либо особое значение. Даже нежное благоухание жасмина (своего рода интимный намек!) не навело меня на мысль, что семнадцатое — это какой-то необычный, из ряда вон выходящий день.

Я раздвинул занавеси на окнах, чтобы взглянуть на город и на церковь, дремлющую в лунном сиянии.

— Как прелестна линия этих крыш! — сказал я.— И эти стройные деревья.

Я прибавил еще что-то в том же роде, но тут до моего сознания дошло, что Долорес торжественно молчит. Ни звука. Ни шороха. Я быстро обернулся и увидел Долорес, сидящую в постели, Долорес бледную и озабоченную; она глядела разобиженно, темные космы падали на один глаз, длинными тонкими руками в серебряных браслетах она оплела колени.

— Не смей подходить ко мне,— сказала она.

— Нельзя?

— Отойди от меня

Я подошел и уселся на край постели.

— В чем дело? — спросил я.

— Сегодня семнадцатое августа,— сказала она.— Тринадцать лет тому назад я отдалась тебе. Тринадцать лет!

— Дорогая,— защищался я.— Ведь так трудно тут, в Торкэстоле, найти что-нибудь достойное тебя.

— Ты обо всем забыл.

— Знаешь, эти переезды. .— неубедительно оправдывался я.

— Ты загубил мою жизнь.

— Так-таки и загубил?

— Загубил всю мою жизнь.

Я понял, что ей не до шуток.

— Я была тогда молодая, счастливая, богатая и свободная.

Я не мог противоречить ей. Дискуссия о положении Долорес перед замужеством могла иметь весьма тяжелые последствия.

— Смотри, как я теперь выгляжу!

— Очень привлекательно, дорогая, только ты немножко взъерошилась и разобиделась .

— Я сломленная женщина.

3

Итак, уже тринадцать лет минуло с того дня, когда Долорес, не столько благодаря, сколько вопреки моим стараниям, принесла свою величайшую жертву. Тринадцать лет это — для моей и ее жизни — немалый срок. С некоторым удивлением убеждаюсь, что целых тринадцать лет мы несли этот крест. Тринадцать лет. Мне те-

перь сорок шесть, это значит, что уже примерно десять лет тому назад я перешел рубеж лучшей половины жизни.

Итак, мне было тридцать два года, когда я познакомился с Долорес, за неделю или десять дней до памятного события. Мы обитали тогда в отеле-пансионе Мальта между Сан-Жуаном и Антибами. Со мною был кое-кто из моих друзей; Долорес приехала с фрейляйн Кеттнер, уроженкой Швейцарии, старой девой, фотографом по профессии. Друзья мои чувствовали себя обязанными утешать меня после супружеской катастрофы. Ибо я уже был тогда в разводе. Я был вынужден дать развод моей жене.

Все говорили, что по отношению к Алисе я поступил очень порядочно, хотя сам я был иного мнения. Но я не считал нужным добиваться пересмотра этого приговора. Ибо ни мне, ни моей бывшей жене этот приговор отнюдь не повредил. То, что было всем известно об этой истории, вовсе не искажало, а разве что упрощало истину. Просто им не были известны многие существенные обстоятельства. Моя бывшая жена вышла замуж за другого, а я остался один — это бросалось в глаза. Предпринимались попытки утешить меня, попытки вполне даже приятные: вспомним, что в двадцатых годах нашего столетия нравы были вольные, но ни одна из утешительниц не обеспечила себе прочных позиций, пока не явилась Долорес и не сделалась хозяйкой положения.

Уже в начале 1915 года я добровольцем вступил в армию и почти всю войну провел на западном фронте, причем единственным ранением моим был перелом руки во время атаки на неприятельские траншеи в 1916 году. Долг солдата я выполнял на совесть. Вскоре я получил сержантские лычки, и мне пришлось приложить множество усилий, чтобы избежать производства в офицеры. Я предпочитал быть среди солдат, чем среди тех свежеиспеченных джентльменов, которые появились на свет после 1917 года. Фронтовые переживания не потрясли меня каким-нибудь особенным образом. Почти всегда я действовал сгоряча, в спортивном азарте. Оказалось, что я не теряю голову ни под бомбами, ни в штыковом бою и что умею, смеясь, убить человека. К счастью, мне не случалось видеть особенно мерзких или горестных зре-

лищ. Или я попросту позабыл о них. Память нормального человека в известной мере автоматически очищается от чрезмерно горестных воспоминаний. И в этом смысле я вышел из войны практически не изувеченным. Я забыл, как болела сломанная рука, забыл об ужасе бомбежки, о страхе во время налетов, о том, какая мука — ползать под обстрелом по ничьей земле, между линиями траншей. Я знаю, что все это мною пережито, но помню только факты, всецело отрешенные от чувственного содержания. Также чрезвычайно редко мгновения эти всплывали в моих сновидениях. Удивительная вещь, но больше всего преследуют меня воспоминания о вшах и о полной беспомощности моей против этой напасти. Война оставила мне, очевидно, немало иных впечатлений, но ни одно из них не утвердилось в моей памяти столь прочно и столь живо, как это. Для меня лично худшей стороной войны был не ее ужас, а ее грязь. Задолго до окончания войны я уразумел, что это, по сути дела, препохабная и вдобавок мерзопакостная история. Если бы это по крайней мере и вправду была «война за то, чтобы никогда больше не было войн»! Но так могло быть лишь в более разумно устроенном мире. Эта фраза была скорее всего несвоевременным возгласом, девизом общества, которому еще предстояло когда-нибудь явиться на свет; но в те дни этот возглас звучал смешно. С момента демобилизации я перестал думать о военных переживаниях; они не вязались с моей дальнейшей жизнью, а разум мой склонен всегда скорее стремиться в грядущее. Как правило, я и пяти минут в день не уделяю воспоминаниям. Я не имел претензий к старшему поколению, ставшему в те дни козлом отпущения для большинства молодых людей. Нельзя сказать, чтобы у меня был зуб против кого-нибудь. Возможно, что будущее поколение отыщет поводы, чтобы выступить с упреками против нас. Но я испытывал и доныне испытываю гнев, вспоминая, что нам без всякой надобности навязывали столкновения с гнусной изнанкой жизни.

Я познакомился с Алисой во время отпуска, когда прибыл в Англию лечить сломанную руку. Алиса работала в издательстве моего отца (в фирме «Брэдфильд, Клыюс и Уилбек»), в отделе искусства. Отец перевел контору издательства из Лондона в Дартинг и сам по-

селился там в скверно обставленном и вообще запущенном доме, чтобы иметь возможность лучше следить за ходом дел. Война помешала ему провести намеченные им планы, но по мере возможности он все же осуществлял их. «Войны приходят и проходят,— говорил он,— но долг человека перед миром мысли и науки вечен!»

В дни отпуска я жил у отца и познакомился с Алисой на вечеринке сотрудников издательства. Это была юная румяная девушка, глаза у нее были живые, темные, а на устах — готовые ответы на все проблемы. Роль утешительницы раненого героя распалила ее воображение, а я с рукой на перевязи был самым что ни на есть заправским раненым героем.

Одним из неожиданных феноменов, сопровождавших великую войну, было ускорение пульса сексуальной жизни. Темп ее ускорился, тон повысился. Как жаль, что при мне нет Фоксфильда. Он, конечно, сумел бы объяснить, почему феномен этот в равной мере проявился у обоих полов. Что касается меня, то я не могу понять, что делалось тогда с нашими женщинами. Парней, таких, как я, понимаю лучше. Все они ходили бок о бок с угрозой внезапной и безвременной гибели, поэтому их могла обуять жажда любви, жажда хоть раз испытать чувственную страсть, прежде чем все будет поглощено мраком. Не могу понять, однако, почему пламя охватило также и девушек, которые выходили нам навстречу по крайней мере с полдороги.

Вечеринка еще не закончилась, а мы оба — я и Алиса — были уже влюблены и убеждены, что созданы исключительно затем, чтобы взаимно одарять друг друга наслаждениями и утешениями. Мы торжествовали, ликовали и как-то само собой поженились. Она придумывала для меня ласковые прозвища, по-детски щебетала, нежничала, не упустила ни единой возможности для наслаждения — словом, была истинным гением любви. Отцу не нравились ни моя жена, ни моя женитьба; прежде он точно так же остался недоволен моим внезапным вступлением в армию, считая это легкомыслием, хотя ни в том, ни в другом случае он не мешал мне. Алиса делала что могла, чтобы привлечь его на свою сторону, пустила в ход целый арсенал кокетливых уловок, придуманных специально для него. Отец мой был пожи-

лым джентльменом того типа, который можно называть просто «отцом», и никак иначе; жена моя пробовала, однако, называть его «пусинькой-папусинькой» и шутливо целовала его в лысину. Сомневаюсь, чтобы эти маневры когда-либо были ему по душе. Высшей и единственной похвалой Алисе в его устах были слова: «Это очень расторопная девушка». Но даже к этому комплименту он сразу же прибавил: «Интересно, что сказала бы о ней твоя мама...»

Для меня Алиса в течение некоторого времени была Божеством Любви и Страной Волшебных Чар. Красота ее юного, стройного тела ослепляла меня. Я не мог понять: почему это весь мир не падает к ее ногам, не восхищается всеми ее словами и поступками? И все-таки все это время в каком-то заветном уголке моего мозга накапливались наблюдения, не очень для нее лестные. Тогда я еще не отдавал себе в этом отчета, лишь много позже все это подсознательное досье всплыло на поверхность.

Уезжая на фронт, я оставил Алису в доме отца, но в 1918 году, прибыв в неожиданный и краткосрочный отпуск, уже ее там не застал. Она вместе с нашей маленькой дочуркой перебралась оттуда к замужней сестре, живущей не в Дартинге. Она объяснила мне, что мой отец не понимал, как много приязни и ободрения было необходимо ей, когда она ждала ребенка; и еще, по ее словам, она боялась, чтобы малютка не помешала ему. А у сестры ей было удобней, у сестры, кстати, уже было двое детей. Отец мой не высказал своего мнения по этому вопросу: он и не вспоминал о моей жене.

Мне показалось, что материнство очень преобразило Алису. Она была теперь белее и пухлее, а ее стройная прежде, красивая шея стала короче и толще. Алиса располнела и поначалу не проявляла прежнего пыла. Чуть позднее она вновь живо заинтересовалась моей персоной. Но иначе, чем прежде; ничего уже не осталось от былых восторгов. Чувственность Алисы окрасилась в преувеличенно-сентиментальные тона. Наша разлука повергала ее в отчаяние.

— Неужели эта война никогда не кончится? — спрашивала она.

— Ты единственный мужчина, которого я полюбила истинной любовью, единственный, которого я могу лю-

бить. Мы, как Амур и Психея, нам принадлежит только волшебный сон ночи, на рассвете ты исчезаешь...

В доме сестры нам нелегко было остаться наедине. Для меня там не было места, Алиса же не любила бывать в доме моего отца, уверяя, что свекор относится к ней холодно. Сестру Алисы часто посещали целые полчища молодых людей, преимущественно занятых на фабриках военного снаряжения в Дрэе. Поэтому второй акт нашей любовной оперы в миниатюре содержал, на мой взгляд, слишком много хоров и слишком мало дуэтов. Однако, прежде чем я выехал во Францию, положение дел несколько улучшилось. Алиса согласилась провести три ночи в доме моего отца. И прощание совершилось среди чувствительных восторгов, взрывов рыданий и вздохов умиления. Отец мой, порядком забытый нами, держался где-то в сторонке.

И, однако, что-то изменилось. Еще теперь ясно помню, как я был настроен и о чем я думал, лежа на палубе затемненного и онемевшего транспорта, влекущего меня сквозь ночную мглу к гремящей пушками Фландрии. Из моего воображения исчезла богиня любви, исчезло несравненное создание, которому даже в помыслах нельзя было изменить по той простой причине, что никто не мог соперничать с этим дивным существом; вместо необыкновенного явления возникла молодая женщина, у которой есть сестра и кружок друзей, женщина, обожающая пошлую болтовню. Порывы любви утратили дикую, первозданную прелесть, они были уже только уступкой желанию. А прежде мы оба были затеряны в волшебном вихре любовной пляски, и нам не было дела ни до кого вокруг. Теперь все это прошло. Я испытывал какую-то вялую, но упорную антипатию к тем людям, к тому кружку, в котором вращалась Алиса. Мне трудно было с ними разговаривать, а жена моя, как я заметил, разделяла все их взгляды. Эти люди были подобны древним христианам: идеи были их общим достоянием. Мы договорились с Алисой, что, как только я вернусь в Англию, мы заведем собственный дом, но для этого будущего гнездышка нелегко было найти место. У меня не было уже сомнения, что Алиса не захочет жить в моем родном доме и что она не уживется с моим отцом, а ведь к нему я был привязан сердечнее, чем это обычно бывает

с сыновьями. Она же никак не хотела уезжать слишком далеко от своей сестры и от всего ее кружка.

Я возвращался домой после войны, исполненный решимости трезво и рассудительно разрешить этот вопрос. Алиса была моей женушкой, я любил ее, и моим долгом было устроить ее жизнь как можно лучше... И к тому же немалую роль играл тут момент, столь же важный для меня, как и для любого здорового мужчины моих лет: сожительство с ней, во всяком случае, привлекало меня после периода сурового воздержания.

Но после моего возвращения оказалось, что дела наши перешли в третью фазу, приняли новый оборот. Алиса наотрез отказалась перебраться в Дартинг, в дом моего отца, и мне пришлось поселиться с нею у ее сестры, в Дрэе. И опять, в еще большей степени, чем во время моего последнего отпуска, мне показалось, что передо мной совершенно чужая особа. Нет, не для этой женщины я берег себя во время пребывания во Франции. Нет, она не отказывалась от исполнения супружеского долга, но в отношениях наших не было уже и тени прежней прелести и страсти. Гостей стало теперь еще больше, чем прежде: каждый божий день дом буквально кишел ими. Особое мое внимание привлек Джордж Хуплер — долговязый, сутуловатый, очкастый субъект; он постоянно меланхолически глазел на Алису и избегал разговоров со мной. Он еще вовсе не сжился с остальным обществом, казалось, что он недавно втянут сюда. По сути дела, его втянула Алиса. Она любила распространяться о нем. Оказывается, он был необычайным умником, настоящим интеллигентом. Это был отчаянный книжный червь, он печатал какие-то эссе, какие-то фельетоны или обозрения в разных еженедельниках. При этом он был чудесным другом Алисы и ее сестры, хотя было не совсем ясно, в чем именно выражается эта дружба. Какая жалость, что он тебе не по душе! Алиса уверяла, что от него я мог бы услышать множество полезных для меня замечаний о книгах. Хуплер будто бы трудился над романом в стихах, но до поры до времени хранил это в тайне. Мне показалось, что Алиса знает всю подноготную Джорджа Хуплера.

В моих глазах Джордж Хуплер был тогда всего лишь дополнительным слоем толстенного покрова скуки, окуты-

вавшего тамошний мирок. У меня не было ни малейших подозрений.

— Давай сбежим на время от всего этого! — предложил я Алисе.— Поедем на долгий уикэнд в Брайтон, тряхнем стариной!

— Ох, только не в *Брайтон!* — живо запротестовала Алиса.

— Ну, пускай в Фолкстон,— сказал я, не обратив особого внимания на эту внезапную неохоту ехать в Брайтон. И мы отправились в Фолкстон.

Вот в Фолкстоне-то все и выплыло наружу. Все чаще повторялись какие-то намеки, из которых можно было заключить, что между Джорджем Хуплером и Алисой существует нечто более глубокое и серьезное, чем простой взаимный интерес. В наших разговорах Алиса непрестанно упоминала о его особе — я даже запротестовал против этого. Тогда она воскликнула:

— Ах, если бы ты был способен его понять!

Я постиг наконец, что Алиса пытается вовлечь меня в некую необычайно романтическую комбинацию. Сперва, по многим причинам, мне трудно было этому поверить. Прежде всего ведь Алиса говорила о душе Джорджа Хуплера, оставляя в тени его сутулую телесную оболочку. Последнее признание она сделала при лунном свете, стоя в ночной рубашке у окна нашего номера и глядя на море. Итак, она и Хуплер — это две родственные души, и их взаимопонимание граничит с экстазом.

— Что ты хочешь этим сказать? — грубо осведомился я.

— Он такой нежный,— сказала она.— С ним все совсем-совсем иначе...

(Тут внезапно я понял, почему она не захотела ехать в Брайтон.)

В первый момент я отреагировал донельзя примитивно. «Взъерепенился» — как определяют это вояки в младших чинах. «Этот слюнтяй!» — заорал я. Передо мной возник образ бедняги Хуплера, которого я с такой легкостью мог бы повалить наземь и задушить, да еще и растоптать его очки. Потом я захотел самой Алисе дать по шее, да так, чтобы это ей надолго запомнилось, но тут меня внезапно осенило, что именно это и было бы исполнением ее заветных желаний. Потому что поко-

лотить женщину — значит всецело ее простить, да к тому же ей это понравится. Итак, я ограничился тем, что в сердцах усадил ее на стул, а сам поднялся и отряхнул с себя, если так можно выразиться, ее прах.

— Ты подлая тварь! — сказал я.— Зачем же ты в таком случае приехала сюда со мной?

— Потому, что я тебя тоже люблю,— разревелась она.— Тебя тоже люблю...

Сквозь слезы она прерывающимся голосом начала объяснять ситуацию, а я тем временем одевался. У меня было впечатление, что она произносит заранее вызубренный урок, но слова ее не приносили ожидаемого эффекта, ибо она была вынуждена обращаться с ними к моей спине.

— Зачем ты одеваешься? — спросила она, вдруг прерывая свой рассказ.

— Затем, что я намерен перебраться в другую комнату,— ответил я.

— Но что подумает здешняя прислуга?

— По-моему, они не принадлежат к разряду великих мыслителей. К тому же в эту ночь больше всего оснований для размышления будет у меня.

Я уложил необходимейшие вещи в саквояж и убрался восвояси. Она была явно поражена этим уходом. Я повел себя иначе, чем она предполагала; я вел себя, как актер, который начал декламировать текст из другой пьесы. Она, конечно, ожидала, что я буду вести себя так, словно она единственная на белом свете Алиса. Возможно, что именно так я и прореагировал бы еще года полтора назад. И тогда она убеждала бы меня как можно более действенно, что я вовсе не потерял ее безвозвратно, что я могу ее сохранить, ежели пойму всю принципиальную чистоту и благородство ее отношений с Хуплером. Но для меня вселенная наполнилась вдруг Алисами, столь же привлекательными, как моя; каждому доставалась своя Алиса и еще оставался кой-какой излишек. Одна из истин, которые женщине труднее всего понять, есть та, что, будучи для мужчины в течение известного времени источником величайших восторгов, единственным его прибежищем в мире и кладезем наслаждений, она в мгновение ока может стать всего лишь одним из множества экземпляров весьма

заурядного и серийного артикула, продуктом перепроизводства. В ту ночь я постиг, что, собственно, уже довольно давно Алиса, моя некогда единственная и несравненная Алиса, не представляет для меня большей ценности, чем любая молодая и смазливая бабенка.

Я довольно долго просидел насупившись в моей новой комнате, должно быть, не иначе, как скрестив руки на груди. Точно не помню. Но уверен, что настолько-то я правильно сыграл свою роль. Ведь я пал жертвой измены. Моя честь была безнадежно запятнана.

Но постепенно меня все явственней начало охватывать чувство облегчения. Я удивлялся собственной раздвоенности. Мне полагалось как будто испытывать всю полноту гнева одураченного самца, и, однако, гнев мой был довольно вялым и слабел с каждой минутой. Зловещие тучи собрались на моем небосклоне. Мне уже не придется искать, где бы свить гнездышко на полпути между Дартингом и Дрэем. Я уже не обречен на семейное существование с Алисой; ее сестра и ее бесчисленные друзья перестанут вмешиваться в мою жизнь. Ничто уже не будет больше отделять меня от отца.

Я видел ясно, как мне следует поступить. Она получит своего Джорджа Хуплера, а Джордж Хуплер получит ее. В пользу подобного разрешения вопроса говорили все мои наблюдения с момента моего возвращения с войны в объятия супруги. Он достоин ее, а не я. Он заслуживает ее — да еще как! Вот тип возлюбленного, который без особенной необходимости *обожает* торчать под проливным дождем перед домом, где обитает предмет его воздыханий. В таких проявлениях нежности я ему не соперник. Подсознание шепнуло мне, что я чересчур уж суров к Алисе, но я не прислушался к этому шепоту.

Врожденная склонность принимать жизнь не вполне серьезно заговорила теперь во мне и заглушила все прочие чувства. Спектакль, поставленный Алисой, начал меня забавлять, я утешился; так вот и развеялись последние остатки священного гнева, которым обязан дышать одураченный муж. Я вдруг рассмеялся вслух, встал и пошел спать. Засыпая, я шептал себе в подушку, что отныне я снова вольный человек. С этой мыслью я и заснул, совершенно счастливый.

Проснулся я спокойным и уверенным в роли, которую должен был сыграть. Я решил вести себя возвышенно и воздать Алисе всяческие сентиментальные почести, чтобы она могла счастливо начать новую жизнь. Она нашла воистину родственную душу. Пустилась по волнам всесильного чувства. Ну, так не будем ее в этом разубеждать. Зачем ей стыдиться себя? Я буду благоразумен и великодушен в своем садизме. Я признаю глубокое, хотя и несколько туманное благородство Джорджа Хуплера. Я буду как нельзя более серьезен и уязвлен до глубины души. Уязвлен до глубины души. И действительно, я даже, как заправский актер, разок воскликнул: «Боже правый! Какая боль!» — причем Алиса восприняла эти слова с торжествующей растроганностью.

Помнится, она чувствовала себя счастливой между нами двоими, между предполагаемыми соперниками, хотя события развивались несколько иначе, чем ей воображалось. Она старалась извлечь из этой ситуации все возможные сценические эффекты. Сердце ее разбито, говорила она, ибо она любит нас обоих. Всякий раз, как мы оставались наедине, она приводила мне убедительные доводы своих неугасших чувств. Упорно повторяла, что я не утратил для нее физической прелести. Великое счастье, что наше общество не признает полиандрии, ибо Алиса, безусловно, возжелала бы совместного сожительства втроем, в атмосфере постоянных разладов и непрерывных объяснений. Такое решение, видимо, наиболее удовлетворило бы ее темперамент. Конечно, ее тревожило и более прозаическое обстоятельство, а именно: есть ли у Джорджа Хуплера средства, достаточные, чтобы прокормить жену? Я упорно обходил этот вопрос, ибо решил вести переговоры на более возвышенном уровне. Перед началом бракоразводного процесса и в самом его разгаре было много ненужных встреч и вынужденных компромиссов. Однако все время я непоколебимо стоял на той позиции, что отрекаюсь от своих прав, и каждый раз, когда под влиянием давней привычки я смягчался и ощущал искушение вернуться к исполнению супружеских обязанностей, я вызывал в своем воображении призрак Джорджа Хуплера, чувствительного воздыхателя, не расстающегося даже в самые прочувствованные моменты со своими хрупкими очками. Обычно этого

было достаточно, чтобы возвратить вещам их естественные пропорции.

В одном только щекотливом вопросе я не мог отступить ни на шаг. Я ни за что не соглашался ни на какое половинчатое решение дела о ребенке. Я не хотел, чтобы моя дочь постоянно переходила от «папочки Уилбека», к «папочке Хуплеру», чтобы ее ребячий ум терзался этой слишком трудной для него проблемой, чтобы она обречена была впоследствии разъяснять эти тягостные обстоятельства в кругу чрезмерно любопытных школьных подруг.

— С этой минуты у нее нет другого отца! — заявил я Хуплеру с соответствующим тремоло в голосе. — А меня пусть забудет навсегда.

— Вы великолепны! — прошебуршил Хуплер и пожал мою длань.

Тогда я впервые подметил, что очки прямо-таки удесятеряют всю нелепость известных эмоций.

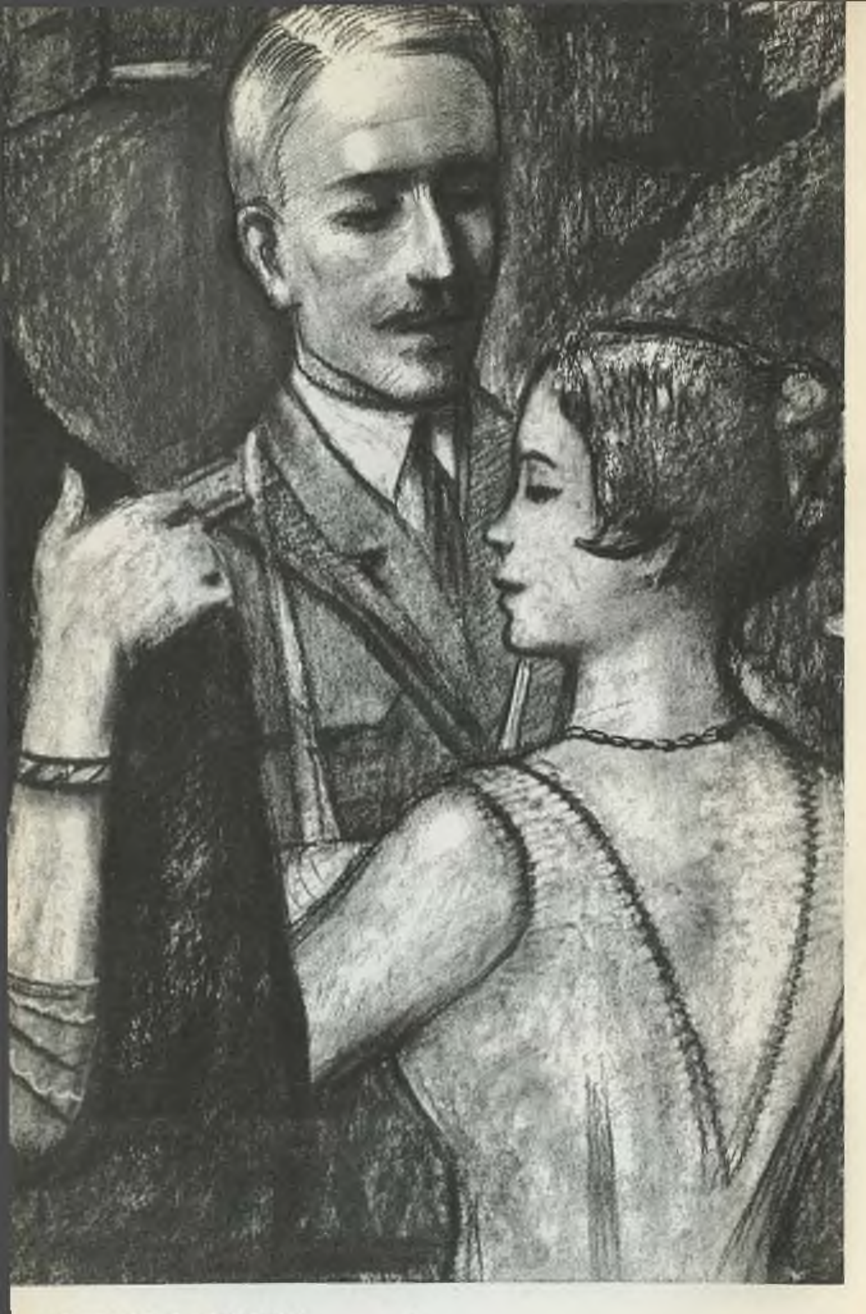
Вопрос о средствах на воспитание моей дочери я разрешил с Хуплером, а не с Алисой. Я был убежден — и, как потом выяснилось, небезосновательно,— что он заслуживает в этом вопросе большего доверия. Она, я полагал, его не заслуживает. Она способна была расфукать эти деньги на тряпки и развлечения.

Доведя наконец все это дело до конца, я оказался в расположении духа, которое можно было назвать архиразочарованием в любви. Многие солдаты, возвратившись с войны, испытали нечто подобное. Не пощадило это разочарование также и тех молодых женщин, которые, ожидая дома окончания войны, впутались в разные истории. Прелюбодеяние невозможно забыть, так же как невозможно склеить разбитую скорлупу. Я смеялся, но не могу сказать, чтобы мне было слишком весело. У меня было множество любовных приключений, но я не нашел в них удовлетворения, ибо ни разу я не был истинно любим и влюблен — даже на краткий срок. И даже когда приключение несколько затягивалось. Человеку, одаренному воображением, легкие романы наскучивают прежде, чем какая-либо иная игра. Итак, я пребывал в байроническом настроении; иногда только сквозь эту меланхолию прорывалась моя природная веселость.

Отец мой все хворал, и ему хотелось, чтобы я как



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».

можно скорей перенял его дела. Война была окончена, и он с нетерпением жаждал приступить наконец к осуществлению своих все же весьма широких и далеко идущих планов. Я не понимал, что он уже смертельно болен, но он, кажется, прекрасно это знал. Работа всегда была для меня делом куда более захватывающим, чем женщины. Признаюсь, что я любил их. В те годы они очень привлекали меня, но роль издателя говорила моему воображению гораздо больше, чем все женщины на свете. Каждый раз, как только я ощущал, что чувственное влечение начинает осложняться сантиментом, я вспоминал Джорджа Хуплера и всех возможных Джорджей Хуплеров на свете. Я любил женщин, но не имел намерения волочиться за ними. Борьба за женщину наскучила мне. Если ее можно добыть только этим способом, пусть ее берет другой! Любовь я понимал как отношения, исполненные радости, взаимной преданности, отношения, отличающиеся взаимной учтивостью, основанные на полном доверии, причем в этом воображаемом мире не было места ни для третьих лиц, ни для самих помыслов о них. Любовь, если она вообще обладает какой-нибудь ценностью, обладает ею именно тогда, когда основывается на благородном союзе двоих людей, против всех третьих лиц, против всех искушений извне. И в любви должна быть улыбка. Так я думал тогда. Так, пожалуй, считаю и доныне в глубине души. И все еще не знаю, почему супружеские отношения не могли бы основываться на этом принципе.

Конечно, это удается не всем. Но есть такие, которые достигают этого. Я делал все, что было в моих силах, чтобы собственную жизнь устроить на этот лад. В течение тринадцати лет. Невозможно поверить, что это тянулось целых тринадцать лет! Бывают супружества, которым дано соединить две жизни воедино. Мне это не дано. С каждым днем усилия мои становятся все более бесплодными, а жизнь тем временем уходит безвозвратно.

4

До того как на моем горизонте появилась Долорес, я пылко мечтал о близости, мечтал о жене, увы, воображаемой: ведь я был убежден, что образ, создан-

ный в моих мечтаниях, едва ли воплотится в повседневности.

Я делал вид, что чуждаюсь женщин, а в действительности, как бы вопреки самому себе, присматривался к ним с какой-то безрассудной, какой-то фантастической надеждой. К случайным интрижкам я старался относиться с некоторой долей юмора и цинизма. А тем временем Судьба со свойственным ей веселым злорадством вела меня и Долорес по перепутьям света, пока мы не встретились.

К нашей компании в отеле «Мальта и Сиракузы» принадлежал мой кузен, живописец Джон Уилбек, страстно сочувствующий каждому, кто ему это позволял; его новая жена Виргиния, Том Гэдсби, уже тогда, как и теперь, выдающийся кинорежиссер, некая молодая, но чрезвычайно платиновая блондинка (не помню, как ее звали), постоянно пререкающаяся с Томом, наконец, романистка миссис Пирчер со своим супругом мистером Родберри. (Пирчер — это был ее литературный псевдоним, который пережил уже двух предшествующих мужей.) Мы ели за одним столом и держались вместе на пляже.

Но мы не составляли замкнутого кружка, охотно завязывали знакомства и допускали новых людей в нашу среду. Так, например, помню трех юных девиц, путешествующих якобы ради ознакомления с шедеврами искусства, а по сути дела, в поисках впечатлений. Две из них были обязаны своим благосостоянием тому, что братья их погибли на войне. Было много симпатичных молодых людей, чьи лица стерлись в моей памяти. Был некий маленький хитрющий человечек с очень высоким лбом и ощетинившейся во все стороны бородой, отдельные волоски которой, будучи друг с другом на ножах, выглядели так, как будто бы хотели держаться поодаль от физиономии, усиленно ненавидимой ими, но навеки к ним приклеенной. Бородач писал как будто биографию Стендаля, или Достоевского, или кого-то еще в том же роде. Мы беседовали о литературе, впрочем, чаще говорили другие, а я, как скромный издатель, прислушивался; мы разговаривали также об искусстве, о социализме и о социологии, а точнее сказать, о вопросах пола; мы свободно сплетничали и дискутировали в са-

мом что ни на есть интеллектуальном и психоаналитическом духе о себе самих и о каждом, кто попадался нам по пути. И мы много купались, играли в волейбол, пили коктейль, ездили в казино в Буль, совершали экскурсии в Ниццу и ели, в Канн — и ели, в Сен-Поль де Ванс, и в Канье, и в Шато Мадрид, и в курзал в одном месте, и в курзал в другом; и всюду, где только было возможно, купались и ели и тому подобное прочее! Во Франции великолепно купается. Никто из нас не был ни пьяницей, ни присяжным игроком, почти все прибыли сюда для краткого трехнедельного отдыха. По вечерам, однако, в полнолуние, мы любили прогуливаться парами, и мой кузен Джон смотрел тогда на меня во все глаза, а глаза у него были большие и серые, и за моей спиной шепотом рассказывал историю моего разбитого сердца, восхваляя мою искренность и великодушие. В то же время, однако, он вполне отдавал должное Алисе. Все это развлекало меня: таков уж я от природы, и все-таки я чувствовал себя немного выбитым из колеи. Никогда прежде я не бывал на Ривьере. Я знал только прифронтовую зону Франции. Здесь, на юге, все мне казалось прелестным, но как бы не на своем месте; престранными казались мне даже бугенвилии, ползущие по стенам: мне все чудилось, будто эти гирлянды, окрашенные пурпурным анилином, извлекли с кладбища и поразвешали кругом расторопные ажаны; странными казались и дрожащие кипарисы. Мне нравилось слушать, как листья пальм, вывезенных из более жарких областей, трепещут и шумят на ветру. Я полюбил австралийские эвкалипты, их тут полно, как сорной травы; они прижились в этих краях и чувствуют себя на французском побережье совсем как дома, совсем как американские туристы. Мне нравились здешние легкие напитки, так непохожие на мрачное британское пойло, и бесчисленные кабачки, куда более веселые, чем английские злачные места. Радовали глаз разноцветные домики: желтые, лиловые, голубые и цвета бычьей крови (порой на них бывали заплаты чуть-чуть иного оттенка); и меня смешили удивительные здешние дворняги-ублюдки; их генеалогия была крайне запутана — истинные четвероногие головоломки! Я выдумал даже наивную игру: пытался разгадать их усложненную генеалогию и

придумывал названия новых пород: пойнт-мастифов, ирландских лягавых, спаньелекитайских терьеров... Не буду перечислять здесь все мои тогдашние невинные забавы; я вспоминаю о них только, чтобы показать, сколь мало я был достоин нежного сочувствия моего кузена Джона. Я, быть может, заинтересовался бы, впрочем, не слишком искренне, какой-нибудь из высокохудожественных барышень, но они были до того похожи друг на друга, что я с трудом их различал. Одна была рыжая, другая—черноволосая и смуглая, а третья--бледная, и, несмотря на это, они были совершенно на одно лицо. Все три девицы совершенно одинаково смеялись, роняли совершенно одинаковые интеллигентные замечания, одинаково издавали возгласы удивления и одинаково хихикали (это была эпоха, когда юные создания «хихикали от восторга»), одним словом, они владели всем своим добром совместно, как три Парки — одним глазом. У меня было впечатление, что они носят попеременно одни и те же коротенькие юбочки, спортивные брючки, черные и голубые пижамы, ошеломляюще декольтированные блузки и исполинские береты. Я побаивался, что они считают меня увальнем и недотепой в делах любви. Это ужасное чувство для уважающего себя, преисполненного добрых намерений отдыхающего молодого человека, но я ничего не мог с этим поделать. Мне случилось, правда, однажды вечером довольно основательно облобызать и потискать одну из них, прежде чем нам помешали, но в это время было так темно, что я не знаю, кто была моя партнерша: рыжая, смуглая или бледная; в атмосфере, которая там царила, это не имело особого значения. Наутро все три выглядели поцелованными и измятыми. Возможно, что и они не ведали, которую из них тискали и целовали в тот вечер.

Долорес появилась в отеле-пансионе «Мальта и Сиракузы» в образе гораздо более индивидуализированном, чем эта тройня; кроме того, она была старше их лет на пять-шесть и в лице ее уже тогда выражалось столь характерное для нее несколько наигранное оживление. Сначала я увидел только её грациозную, стройную спину и чрезвычайно изысканную шляпку; в этот момент Долорес весьма увлеченно торговалась с хозяйкой отеля мадам Гук. Фрейляйн Кеттнер стояла за ее

спиной, кроткая, но решительно во всем с ней согласная. «А теперь,— говорила Долорес высоким певучим голоском, который мне впоследствии пришлось узнать даже слишком хорошо.— А теперь, поскольку мы вдвоем, я ожидаю от вас, мадам, дальнейшей скидки...»

Я прошмыгнул мимо них как можно быстрее, ибо заметил тревогу во взоре мадам Гук. Она явно опасалась, что я подслушал, как она позорно идет на уступки, и сейчас вот внезапно присоединюсь к этим двум незамужним особам с криком: «Теперь нас уже трое, стало быть, вам, мадам, придется еще сбавить цену!»

В тот вечер Долорес вызвала подлинную сенсацию в столовой. Никогда прежде мне не случалось видеть, чтобы кого-нибудь не замечали столь демонстративно и с такой натугой. Одета она была чрезвычайно изысканно, но настолько индивидуально, как будто она следовала какой-то неведомой моде и была щеголихой из иной галактики. Вопреки общепринятым в отеле «Мальта и Сиракузы» обычаям, она была вся увешана побрякушками, а лицо ее было невероятно размалевано, и супруга Джона высказала даже гипотезу, что это, должно быть, беглянка из какого-нибудь гарема. «Армянка»,— рассудила миссис Пирчер. «Во всяком случае, нечто восточное»,— изрек мистер Родберри. «Нечто *трагическое* у нее в выражении лица»,— шепнул кузен Джон, разнюхавший новый объект для своего сострадания. «Но абсолютно нефотогенична»,— заявил Том Гэдсби, и платиновая блондинка, услышав этот приговор, на глазах расцвела.

Компаньонка Долорес не вызвала никаких комментариев. Это была обыкновеннейшая швейцарская немочка, особа, которая может ехать куда угодно и делать что угодно, не вызывая ничьих замечаний.

Долорес признала необходимым покритиковать меню, но разговаривала с метрдотелем так тихо, что за нашим столиком никто не расслышал ее слов. На какое-то время мы занялись обедом. Мне напомнил о Долорес мой кузен, неожиданно толкнув меня локтем. Долорес извлекла из сумочки лорнет и разглядывала общество в зале с выражением сдержанного неодобрения. Лорнет — штука настолько старомодная, что Долорес, лорнирующая нас, выглядела по контрасту удивительно молодо и забавно. Впечатления свои она поверяла фрейляйн Кет-

тнер почти громогласно, и не было сомнения, что ей хочется быть услышанной окружающими. Отель, обед и все общество — весьма банальное. Именно этого она и искала. Здесь она сможет отдохнуть. Ничто не будет волновать ее. Наконец она обретет желанный покой. Лорнетка сверкала, как прожектор, обегая зал, потом она задержалась на смежной с нами группе. Задержалась на кузене Джоне. Задержалась на мне. Длилось это довольно долго. Потом она вполголоса сказала что-то своей компаньонке, и фрейляйн Кеттнер тоже взглянула на меня. Она разглядывала меня так, как, должно быть, ботаник из швейцарских немцев разглядывает необыкновенный вид цветка. «Будь проклято бабье бесстыдство! — подумал я.— По какому праву они вгоняют меня в краску?..»

Обе дамы покинули зал, прежде чем мы поднялись из-за стола. Когда они проходили мимо нас, я услышал тихое бренчание браслетов и почуял веяние духов,— так хорошо знакомый мне теперь запах жасмина. В те невинные времена я еще не знал даже, что это жасмин.

— Кто бы это мог быть? —спросил Родберри, глядя вслед фигурам, исчезающим в голубом сумраке.— Надо порасспросить мадам Гук.

— Эта женщина много страдала,— сказал мой кузен Джон.

5

Уже день-два спустя обнаружилось, что Долорес твердо намерена флиртовать со мной. Я ложно представил бы свою роль в этой маленькой драме, если бы не писал об этом деле в чуть пошловатых выражениях. Все ведь началось именно так, как начинаются наиболее банальные приключения в отелях и на океанских пароходах. Я не помню уже теперь, при каких обстоятельствах мы разговорились, знаю только, что обе новоприбывшие дамы свели знакомство с нашим обществом в мое отсутствие. Утром на пляже я внезапно увидел миссис Пирчер, растянувшуюся в шезлонге, а слева и справа от нее — Долорес и фрейляйн Кеттнер, тоже в шезлонгах. Мелодичный голосок, которому было предназначено звенеть в моих ушах в течение последующих трина-

дцати лет, вещал: «Большинство женщин не имеет цели в жизни. Жизнь женщины — это непрерывная цепь мелочей». Если Долорес и не употребила именно этих слов, то, во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что она говорила нечто весьма похожее. Тут же я наткнулся на головастика с бородой, как щетка, о котором я уже упоминал. Он, кажется, переводил нечто очень умственное.

— Знаете ли вы, что в нашем пансионе поселилась египетская принцесса? — спросил он.

— Не потому ли она носит турецкие шальвары и золоченые бабуши? — осведомился я.

— С первого взгляда я понял, что она происходит с Востока.

Однако он ошибался. Это было не совсем так. Восточное в ней было только относительным и благоприобретенным. Что до меня, то у меня поначалу было впечатление, что родина Долорес расположена никак не восточнее Франции. Я считал ее оборотистой француженкой, может быть, с известным социальным положением, чем-то средним между, скажем, натурщицей и торгующей в лавке племянницей парфюмерщика или антиквара с какой-нибудь душной парижской улочки. Есть в Париже торговцы, прикрывающие лысины расшитыми фесками и прогуливающиеся в шлепанцах по боковым, пахнущим сандалом улочкам, где Запад смешивается с Востоком, где все «Парижские тайны» все еще кажутся исполненными вероятия. А скорее даже она была родом из Марселя. Я никогда не был в Марселе, но много слышал об этом городе, и он казался мне местом, вполне приемлемым в качестве родины Долорес.

Оказалось, что я тоже не угадал истины. Ибо в действительности Долорес родилась в княжестве Монако и была законной дочерью некоего шотландского джентльмена. Жизнь этого шотландца растрачивалась в тщетных попытках проникнуть в казино в Монте-Карло (он натыкался на известные формальные трудности) прежде, чем супруга успеет конфисковать его ежеквартальный доход. Впрочем, и предками по женской линии Долорес имела основание гордиться. Мать ее происходила из весьма аристократической армянской семьи (это обстоятельство меня несколько огорошило, ибо я впервые

узнал, что у армян есть своя аристократия), и была хозяйка прижимистая, но скорее энергичная, чем умелая. Супружество это, по-видимому, не было ни счастливым, ни несчастным, но попросту неслаженным. Возможно, что эта пара ссорилась бы с бо́льшим остервенением, если бы они яснее понимали, что́ именно каждый из них считает французским языком. Полагаю, что готовили в этом доме хорошо, хотя обедали когда попало. Словом, это было одно из тех роковых столкновений Востока с Западом, которые приводят к совершеннейшей неразберихе, и Долорес в сравнительно нежном возрасте взбунтовалась против отчаянного хаоса, царившего в родительском доме.

Гены, унаследованные от шотландских предков, систематичных и уравновешенных пуритан, в сочетании с армянской смекалкой должны были непременно сделать ее первой ученицей, а потом педагогом, секретаршей или литераторшей. Но необычайно разношерстное, с точки зрения расовой и социальной, окружение в многоязычной школе, которую она посещала, да и вообще вся тамошняя атмосфера, мужчины, которых случай ставил на ее пути, и прежде всего то, что мы называем «зовом плоти»,— все это толкало ее к романтическим похождениям, возбуждало в ней стремление к переменам и странствиям. Высшей точкой ее карьеры стал в некотором роде законный брак с абсолютно доподлинным египетским принцем, который буквально через год после свадьбы сломал себе шею во время автомобильных гонок, оставив Долорес в крайне стесненных финансовых обстоятельствах. Некоторое время она колебалась, стать ли ей монахиней, или сиделкой, или, может быть, приняться за сочинение «Романа моей жизни» или еще за что-нибудь иное. Глубоко убежденная в исключительности своего ума и в своих литературных и художественных дарованиях, она хваталась за все и в конце концов ничего не сделала. Она одевалась, как одалиска, не потому, что чувствовала какое-то призвание к гаремной жизни, а просто потому, что испытывала тягу к романтическим авантюрам.

Я не могу уже теперь припомнить в точности, произошло ли наше первое нежное свидание по моей инициативе и при каких обстоятельствах оно произошло,

ибо память у меня точная, но не мелочная. Память моя готова на все, чтобы только сделать мне приятное. У нее совершенно иной характер, чем у других свойств моего ума. Очень возможно, что я содействовал нашему сближению в большей мере, чем это мне теперь вспоминается. Молодой, здоровый и к тому же бездельничающий мужчина не особенно расположен сопротивляться искушениям, а одинокая женщина, сама стремящаяся к сближению, по-видимому, казалась мне куда более многообещающим объектом, чем неразлучная троица девиц Я пишу об этом в несколько пошлых выражениях, но так оно и было.

Только очень дряхлый или совсем уж никчемный мужчина склонен сомневаться в искренности лестных для него уверений, если слышит их из уст женщины, которая ему нравится. Стало быть, я верил всему, что Долорес рассказывала мне среди тамарисков в сиянии заката или в лунные ночи на морском берегу. Фрейляйн Кеттнер держалась обычно на почтительном расстоянии от нас, беседуя с маленьким переводчиком, который проявлял охоту быть в нашем обществе. Долорес изъяснялась по-английски абсолютно бегло, с некоторым налетом шотландского диалекта и с легчайшим французским акцентом Эту беглую английскую речь я и слушаю вот уже тринадцать лет с известными перерывами на сон, прием пищи и мгновения страсти. Говорила она преимущественно о себе, красноречиво, пространно и живописно, а если время от времени повторяла: «А теперь расскажите мне что-нибудь о вашей жизни!» — то не ждала ответа, а неслась дальше на всех парах, хотя теперь уже распространялась о впечатлении, которое я на нее произвожу. Долорес всегда непоколебимо доверяла своему чутью и была абсолютно убеждена в непогрешимости своих наблюдений. Мне удалось украдкой ввернуть в эти разговоры некоторую информацию о себе, а Долорес тут же подхватила ее и использовала целиком и полностью. Когда порой она задавала мне какой-нибудь вопрос, то всегда кончала его словами: «Да или нет?» Таким образом, она заранее определяла, из скольких слов должен состоять мой ответ.

— Вы любили своего отца, да или нет? — спрашивала Долорес и не оставляла мне времени для ответа, ибо сло-

во «отец» побуждало ее к новым признаниям: — Потому что я очень любила *моего* отца. У него была кожа, как у херувимчика. Розовенькая. Вся в веснушках, словно в рыбьей чешуе!

И, однако, она сумела превосходно разобраться в положении моих дел и в моих намерениях. Она задавала мне вопросы в такой форме, что у меня не было выхода: следовало или ответить, или встать и уйти.

По-видимому, я рассказал ей, что унаследовал от отца солидное и перспективное издательство и что, по моему мнению, издательская деятельность может стать могучим воспитательным средством. Я носился тогда с проектом серии «Путь, которым идет человечество» и изложил Долорес свои планы со всем пылом молодости. Отлично помню, с каким неудержимым энтузиазмом восприняла она эту мысль. Придвинулась ко мне близко-близко, подняла ко мне лицо, так что я чувствовал идущую от нее волну тепла. «Как это *чудесно*,— сказала она. — Вы, такой скромный, такой тихий, этими вот сильными руками будете ваять мировую Мысль!»

Я не мог протестовать. Ведь я сам напрашивался на комплименты. Они были мне воистину приятны. Долорес превозносила меня и сама росла в моих глазах.

— Когда я увидела вас, я сразу вас поняла! — тараторила она.— Моя интуиция действует молниеносно! — И засыпала меня комплиментами. Я не такой, как все. Только я придаю жизни смысл, и так далее и тому подобное. Но мне не хочется писать о том, каким чудесным человеком я тогда был. Не могу уже теперь сказать, до какой степени я верил комплиментам Долорес. Но, конечно, я был убежден, что она сама в них верит, а это и был эффект, которого она добивалась. Долорес окружила меня таким лучистым, таким благородным ореолом, что в тот вечер сошествие с духовных высей было для меня уже невозможным: наши отношения попрежнему пребывали в сугубо духовном плане. Совлек меня на землю мой сострадательный кузен.

— Как эта женщина любит тебя! — заметил он.

— Откуда ты знаешь, разве она тебе сказала?

— Ну да, она сказала это мне и многим другим. Не говорила только тем трем англичанкам, потому что они

больно задирали нос. А какая у нее была необычайно интересная жизнь!

— Так ты уже тоже знаешь? И о поездке по пустыне и о ночи в оазисе?

— Да, она рассказывала мне и это. Как она живописно рассказывает! Кстати, она говорила также о твоей идее организации человеческой мысли во всемирном масштабе посредством издательской деятельности. Поразительно, милый Стивен, как ты развиваешься под влиянием страдания... А ведь это *чудесный замысел!*

— И *это* тоже тебе говорила Долорес?

— Она попросту очарована твоей идеей. Проникнута ею до глубины души.

— Мне кажется, что у этой дамы неудержимая склонность к излияниям.

— У нее впечатлительный ум, и она сама искренность,— защищал Долорес мой рыцарственный Джон.

— О да! Сама искренность! До такой степени, что мне порой кажется, будто я пошел с ней купаться, а, выйдя из воды, увидел, что она утопила мои брюки и пиджак.

— Я не верю, что ты и *впрямь* такой циник! — сказал мой кузен Джон.

Тогда я решил, что между мной и Долорес должно произойти нечто такое, о чем она не смогла бы раструбить всему свету. Я тогда еще недооценивал Долорес...

Лунный свет в тумане, сладостная жертва, негромко позвякивающие браслеты, запах жасмина, трепещущие сердца и ищущие руки — тринадцать лет тому назад. У меня отнюдь не было тогда впечатления, что я пал жертвой некой прожорливой хищницы...

А наутро я услышал, как Долорес говорила фрейляйн Кеттнер:

— Это *идеальный* любовник! — и сообщила ей в подробностях, что́ именно особенно во мне оценила.

За завтраком три британские девицы демонстративно перестали меня замечать. Было совершенно очевидно, что и они уже осведомлены обо всем. Они были оскорблены до глубины души, а может быть, возмущены до глубины души, а может быть, и оскорблены и возмущены в одно и то же время.

6

Так было тринадцать лет назад. Мне казалось тогда, что это не более как еще один, быть может, лишь несколько более экзотический эпизод в числе прочих подобных эпизодов холостяцкого житья-бытья. Роль отшельника, утешаемого прекрасной дамой, пришлась мне очень по вкусу, и я не собирался отказываться от этой роли. Я тогда еще не понимал, что Долорес — особа весьма недюжинная не только внешне и что она исполнена величайшей решимости посвятить мне всю свою жизнь, а скорее — если уж выражаться совсем точно — приспособить мою жизнь к своей. Для меня она была всего лишь приключением, но я для нее был добычей. Впоследствии я лишь постепенно получил возможность убедиться, как крепки были объятия, в которых меня держали.

Если бы я даже и хотел, я не смог бы точно изложить историю последующих нескольких недель, проведенных с Долорес. Воспоминания стерлись. Природа в своей мудрости позволяет нам очень живо и подробно предвкушать наслаждения медового месяца, а затем дарует нам полнейшее забвение. Теперь, когда я пытаюсь составить обвинительный акт по делу СТИВЕН УИЛБЕК ПРОТИВ ДОЛОРЕС, я с изумлением убеждаюсь, что располагаю чрезвычайно скудными доказательствами, и к тому же представленными одним-единственным свидетелем — мною самим. Мне следовало предвидеть это, ибо я издал сочинение Отто Йенсона «Достоверность свидетельских показаний». Йенсон в своей книге исследует главным образом показания лиц разумных и беспристрастных, которым поручено дать отчет о просмотренных ими представлениях иллюзионистов, об импровизированных драматических сценках или тому подобных представлениях, и он показывает, что свидетельские показания эти очень разнятся друг от друга в основных деталях. Он не успел собрать большого материала в таких делах, где свидетели могли подпасть под влияние личных пристрастий или где показания оформлялись под перекрестным огнем вопросов. Следовательно, он не принимает во внимание подсознательного воздействия самовлюбленности и самообольщения. Как бы то ни было, труд этот показывает, что одна и та же картина еще вполне свежих событий весьма разнится в воспоминаниях

даже вполне честных очевидцев. А я ведь силюсь представить даже не факты, а свои мысли и суждения тринадцатилетней давности. Сомневаюсь, смог ли бы я это исполнить, даже если бы речь шла всего лишь о прошлом воскресенье. Передо мной множество измаранных листов бумаги, целая стопа изорванных в клочья и брошенных в корзину страниц — и неожиданно картина эта начинает забавлять меня.

Бывают минуты, когда наблюдать за самим собой мне так же интересно, как разглядывать других людей и толковать другие явления. Ведь я, забавляясь, взираю на тогдашнего Себя, убежденного в своих исключительных мужских качествах. Такова уж природа человеческая. Мало кто из мужчин решится противостоять иллюзии, что пошлейший из даров небесных является его персональной привилегией. А ведь обезьяны в этом отношении так превосходят нас! Эту часть фактического материала я вынужден по необходимости стыдливо опустить, но признаюсь, что в этом-то плане как раз она и задурила мне тогда голову. Впервые в жизни я узнал тогда, что я необычайный в своем роде субъект. Настоящий умелец. Великий человек. Выдающийся специалист. Казанова мне в подметки не годится! Со стыдом вспоминаю теперь, что испытывал нечто вроде торжества, наблюдая жалкие попытки соперничать со мной, предпринятые маленьким переводчиком. Еще больше стыжусь того, что меня приятно пощекотала нотка зависти в голосе кузена Джона — он и симпатизировал мне и завидовал.

Все это проблемы весьма деликатные. Настолько деликатные, что, выраженные черным по белому, режут глаз. Но они повлияли на всю мою историю. Если бы можно было окрасить страницы книги в серый тон и затемнять их так, чтобы наконец слова мерцали на грани совершенной неразличимости...

Это, безусловно, было бы лучше, чем заменять слова рядами точек.

Мне следует продумать эту идею некой «Серии Почти Неразличимых Книг». Тем временем я смогу вернуться к белым страницам и черным буквам, дабы признаться, какую великую радость принесла мне тогда вера Долорес в мое чувственное и духовное величие,— эта

вера, как она утверждала, делала в ее глазах жертвы для меня одновременно долгом и наслаждением. Доселе жизнь ее была пуста и бесцельна. Она разворачивала передо мной весьма подробную картину этой пустоты и бесцельности.

Эта утратившая цель чувственная Диана-Охотница выпустила из своего колчана великое множество стрел вслепую и распространялась теперь об этих ошибках, преисполненная сладостного раскаяния. Она говорила, что перепробовала Любви, Религии, Патриотизмы — последовательно в трех или четырех отечествах и в придачу в коммунистической партии. Пробовала также заниматься искусством, поэзией и вообще изящной словесностью, всегда очень мимолетно, но с большим рвением. Увы, все это не смогло удовлетворить ее глубокие физические и духовные запросы. Только во мне и в моих идеалах она обрела мужскую стихию: нечто предприимчивое, богатое видами на будущее и в то же время дающее опору ее душе. И в самом деле, моя великая идея, в истолковании Долорес, была нова для меня не меньше, чем для нее, и я обретал в этом вдохновение. Долорес вдохновляла меня на великие дела. Чем больше я об этом думал, тем больше утверждался в решимости осуществить свою идею, сделать это главной задачей фирмы «Брэдфильд, Кльюс и Уилбек». Долорес уверяла, что стремится по мере сил посвятить этому делу свою жизнь. Она заразила своим пылом и фрейляйн Кеттнер, вторившую нам своим нордическим контральто.

Я полагаю, что именно эти два элемента—благодарность и экзальтация,—слагаясь в хвалу мне, повлияли на положение, в котором я очутился. И я помню, что в то же время мне было стыдно перед самим собой. Мне не нужна была толпа свидетелей: при них тлеющее во мне чувство недовольства собой только разгоралось ярким пламенем. Мне было приятно, когда Долорес говорила мне комплименты с глазу на глаз, но я терпеть не мог, когда она повторяла их всем встречным и поперечным. И старался не отходить от нее ни на миг, чтобы у нее было как можно меньше возможностей разговаривать с посторонними. Это придавало мне вид влюбленного по уши. Стремясь удержать Долорес в отдалении от прочего общества, я демонстративно добивался уеди-

нения с нею. Правда, я нередко повторял, что скоро присутствие мое в Англии будет необходимым, но в то же время я добивался, чтобы те короткие дни, которые я мог еще выкрасть у моих обязанностей, мы использовали наедине. Итак, в конце концов мы все втроем — Долорес, ее компаньонка и я — перебрались в маленькую гостиницу неподалеку от Ванс. Естественно, эти дамы были моими гостьями.

Я забыл уже, как именно рассеялось все общество из отеля «Мальта и Сиракузы», не помню даже, куда отправился кузен Джон со своей Виргинией. Очень смутно также рисуются в моей памяти картины пребывания неподалеку от Ванс. Помню только, что именно там я пришел к непоколебимому убеждению, что, хотя музыка является приятнейшим аккомпанементом любви, это ни в коей мере не относится к комариному жужжанию. Напротив даже. Я терпеть не мог этих гнусных насекомых. Вскоре хозяин, хозяйка, их золовка, «служанка за все», человек, который изображал механика в гараже, и полная дама в черном, безусловно, постоянная пансионерка здешнего заведения,— все, решительно все оказались информированы об особенной, страстной и возвышенной любви, которая соединила меня с Долорес. Никогда в жизни я не встречал другой женщины, которая так любила бы хоровое сопровождение в своих любовных ариях. Долорес жить не могла без хора.

Я полагаю, что эта потребность в хоровом сопровождении, так же как и ее неестественное поведение, повышенный голос, ярчайший грим, крикливые платья,— все это было только выражением затаенных сомнений: Долорес таким образом силилась убедить себя, что и в самом деле живет на свете!

Еще раз повторяю, что не могу теперь судить, был ли я тогда, что называется, «влюблен» в Долорес. Собственно, я никогда не мог в точности постичь, что следует разуметь под определением «влюблен». В некотором роде я ужасно любил Долорес. Старался ей понравиться. Внимание, которое она мне оказывала, пробуждало мою энергию. Она умела рассказывать живо и забавно и лишь позднее захлестнула меня множеством скучных и претенциозных фраз. Долорес в те времена взирала на мир и даже говорила и слушала менее автоматически.

Ее пестрая, немного надуманная автобиография в те дни еще была для меня новой и занятной темой. Долорес выражалась живописно и ярко. Для меня это сохранило свежесть первого впечатления. В ней было множество веселых вариаций. Долорес тогда еще не корчила из себя неисправимой пессимистки. Иногда она бывала и в самом деле весела — редкие проблески веселости проскальзывают и доныне. И притом она частенько бывала и впрямь чрезвычайно забавна, а ведь я всегда очень ценил в людях эту черту. Случалось, что она на пять минут прерывала любовные обряды, чтобы с мокрым полотенцем в руках гоняться по комнате за каким-нибудь особенно назойливым комаром; кричала ему при этом на нескольких языках сразу: «Ба, вылетишь ты отсюда наконец?! Катись к дьяволу! Ох, вот я тебя пришлепну, мой джентльмен!» — и затем весьма деловито возвращалась в мои объятия.

Практиковала она также какие-то необыкновенные гимнастические упражнения, сочетая популярную шведскую систему с магическими приемами йогов. Стоило поглядеть на нее, когда в чем мать родила она силилась задержать дыхание и ввести воздух какими-то таинственными путями в свой спинной мозг и в то же время старалась объяснить мне, в чем смысл этих мистических приемов! Я делал кое-какие невинные, но провокационные замечания, а Долорес яростными жестами добивалась тишины, как если бы какой-нибудь йог был способен подслушать нас и в виде наказания прекратить высылку флюидов.

У Долорес были весьма своеобразные и весьма неточные представления о еде, о винах, о том, что следует надеть в тех или иных обстоятельствах, и вообще о принципах светской жизни: в те времена эти ее особенные представления искренне забавляли меня своей новизной, и я отнюдь не допускал, что когда-нибудь позже они могут стать причиной множества осложнений.

Но дела призывали меня. Ускоренно разработанный при восторженной поддержке Долорес план преобразования издательской фирмы в воспитательную организацию требовал осуществления. Однако, когда я начал определенно говорить об отъезде, Долорес неожиданно выявила глубинные, примитивные основы своего

характера, скрытые доселе тонким слоем светского лоска. Я был потрясен, видя, как сильно, слепо и как неразумно сопротивляется она, узнав о моем предстоящем отъезде. Она не имела права задерживать меня, но она искренне, непритворно уязвлена была моим намерением, а я всегда трусил, когда дело шло о том, чтобы причинить кому-нибудь боль. Небо над нами сразу затянулось грозовыми тучами. Она выторговала у меня два лишних дня, и в течение всего этого времени Долорес вымогала от меня обещания возвратиться и добивалась точной даты новой встречи. Я не люблю давать обещаний, потому что у меня непреоборимая склонность держать свое слово.

Наконец она срежиссировала великую и трогательную сцену прощания на вокзале в Ницце, фрейляйн Кеттнер управляла сводным хором носильщиков и пассажиров, и я с немалым трудом удержал Долорес от намерения сопровождать меня до самого Марселя. А когда наконец я остался один в купе, я был ошеломлен и чувствовал себя юнцом, безнадежно связанным клятвой.

Одноактная комедия была окончена, но занавес застрял и не хотел опускаться. От пустой сцены веяло обещанием дальнейшего действия.

7

Никогда прежде я не испытывал большей тоски по свободе, чем в ту пору. Я не лгал Долорес. Я добивался ее благосклонности в той же мере, в какой она добивалась моей. Но она оплела меня незримой паутиной обязательств, и это казалось мне невыносимым принуждением. Никто, говорил я себе, не вправе навязывать ближнему своему такого рода обязательства. Должен ли я возвращаться к ней потому только, что она этого желает?

И все-таки эта склонность навязывать друг другу обязательства есть нечто удивительно присущее человеческой природе. Помню, что когда я так размышлял в поезде, жизнь представилась мне в образе дикой борьбы существ, расставляющих силки или стремящихся вырваться из пут. Это была какая-то фантастическая арена, по которой сновали люди, набрасывая друг на друга лассо, крючки, лески, сети, ленты липкой бумаги, цепи и око-

вы. Разум мой не желал примириться с возможностью неволи. Я стоял в стороне, где-то позади этого клубка, я не ведал порывов яростной и алчной любви. В вагоне-ресторане я с новым интересом присматривался к попутчикам. Неужели эта супружеская пара в углу не чувствовала, что каждый из них угодил в капкан? И не жалела ли об утраченной свободе хотя бы вот эта мать, пичкающая трех крикливых детей? Юная чета, повернувшаяся ко мне спиной, возвращалась, конечно, из свадебного путешествия. В них было выражение какого-то равнодушного спокойствия, свойственного лишь тем, кто связан нерасторжимыми узами.

Я сдержал обещание, вернулся к Долорес, но теперь меня ни на миг не покидало сознание пут, которые нас связывали. Фрейляйн Кеттнер вернулась в Швейцарию к своим занятиям художественной светописью, а мы вдвоем заняли на полпути между Антибами и Ниццей маленькую виллу: Долорес сняла ее со всей меблировкой. Наши отношения все явственней принимали характер супружества.

Я вступил с Долорес в брак, поскольку она сказала мне, что ждет от меня ребенка. По сей день не ведаю, обманула ли она меня сознательно или же сама обманывалась относительно своего состояния. Я понимал, что она непоколебимо решила удержать меня при себе на веки вечные и что она была вполне способна на такого рода коварство. Но ведь она любит меня, а разве любовь не служит всему оправданием? В начале нашего романа она уверяла меня, что бесплодна, но теперь совершенно забыла об этом. Может быть, она попросту уверовала в то, чего так сильно жаждала?

У меня никогда не хватало решимости проверять факты, которые мне кто-то представил. Я был бы прескверным следователем. Как бы ни выглядела в этом случае истина, передо мной была запуганная женщина, готовая, быть может, к трагическим решениям. Аборт во Франции — деяние не только уголовно наказуемое, но и невыносимо грязное; мы даже не обсуждали эту возможность. Оказалось, что Долорес совершенно одинока. Она была единственным ребенком, родители ее уже умерли, и у нее были только мимолетные знакомые, и то с очень недавних времен. Прежних любовников и дру-

зей она растеряла по пути, у нее никого не осталось; это было весьма знаменательно, но в тот момент я не обратил на это внимания. Я признал это внезапное и чудотворное обретение плодовитости нашей общей бедой. Как я, так и Долорес имели одинаковые обязательства по отношению к ребенку, который должен был явиться на свет.

У меня не было определенных планов касательно того, где мы будем жить и как сложится наша жизнь. Аренда дома в Дартинге истекала через год-два, место это связывалось в моем сознании с Алисой, а воспоминаний, с ней связанных, я не имел охоты пестовать. Итак, без малейшей грусти я мог бы отказаться от прежнего дома. В Лондоне у меня была квартирка над конторой нашего издательства на Кэррингтон-сквер; эти комнаты да еще два или три клуба были тогда моим пристанищем, но, конечно, не истинным домом. Итак, мы с Долорес могли осесть, где нам хотелось. Меня донимали разнообразнейшие проекты. После периода колебания я обуздал свое воображение.

Впрочем, оно творило истинные чудеса, приспособляясь к новому положению вещей.

Вдали от Долорес я мог предназначить ей любую роль, однако мечта не выдерживала испытания действительностью. В помыслах моих я видел ее, преданную нашим совместным трудам по осуществлению моего великого издательского плана, а план этот уже созревал у меня в голове. В течение известного времени я, как и другие молодые британские издатели, подумывал о европейском книжном рынке и о возможностях, которые предоставлялись там для английских издательств. Таухниц, этот почтенный и предприимчивый издатель, давнишний монополист в этой области, был теперь стеснен в своей деятельности, ибо он был немец, «бывший неприятель». Я обдумывал возможность создания филиала нашей фирмы в Париже. И вот перед моим духовным взором возник семейный дом в Париже, с Долорес в роли жены, экзотичной, конечно, но, по сути дела, разумной и прекрасно разбирающейся в моих издательских делах. Материнство и заботы о ребенке отрезвят ее, я отрезвлю ее, ощущение обеспеченности отрезвит ее. Как чудесно удается нам в воображении переделывать на

свой лад особу, которая не находится с нами рядом и не может поэтому спутать карты в этой игре! Я воображал себе также наше дитя, живое, как Долорес, но одаренное также всеми моими достоинствами. Воображал себе даже целую стайку таких вундеркиндов! Ясно помню, как я мечтал об этом. От Долорес я все время получал письма, дышащие глубочайшей преданностью. Только одно ее беспокоило: не будет ли ребенок для нее помехой в том, чтобы всецело посвятить себя моим делам. Предложение обосноваться в Париже понравилось ей куда больше, чем проект снять дом в Лондоне или где-нибудь в английской провинции. Наш парижский дом будет иметь свою собственную, ни на что не похожую атмосферу; в этом отношении я по крайней мере не ошибся!

Париж посещают все писатели и молодые критики, как американцы, так и англичане. Их можно будет тут ловить, тут можно будет залучить их для себя, поодиночке, чего никогда не удалось бы достигнуть в Лондоне; тут я буду помогать им знакомиться с новыми веяниями, которые уже определялись — хотя в те времена еще вяловато — в среде французских литераторов младшего поколения.

Я переживал период великих надежд. Почему, собственно, ни один издатель не напал доселе на мысль управлять миром из Парижа? Я создал образ выдающейся личности, образ Стивена Уилбека, издателя космополита, деятеля, который, используя свою парижскую резиденцию, преодолеет глубокие подсознательные антагонизмы, тормозящие вожделенное сотрудничество британских и американских писателей. И над всем этим должна будет царить Долорес, Долорес, преобразившаяся, трезвая, отредактированная, сдержанная и преисполненная достоинства.

Но время не ждало. Нужно было принять во внимание положение Долорес. Чем раньше состоится бракосочетание, тем лучше. Я поехал во Францию, и мы потихоньку зарегистрировали брак в британском консульстве в Ницце. Я чувствовал себя немного пристыженным всей этой историей и хотел, чтобы все это произошло как можно неприметней. Долорес нашла давнюю подругу, которая держала теперь магазин готового платья в Ка-

ире, а я пригласил в качестве свидетеля Редмонда Напье, случайно встреченного в Каннах. Долорес была со мной удивительно нежна. Она была теперь необычайно тихая, проникновенная и красилась менее ярко. Задумчивость ее превосходно гармонировала с положением дел. В ней была сдержанная важность Девы Марии с картины, изображающей Благовещение. Но в то же время она была страстно влюблена. Когда я собрался в Англию, чтобы проследить за делами в Дартинге, Долорес чрезвычайно огорчилась, но все-таки уже не так, как прежде. «Теперь,— сказала она,— я уверена, что ты вернешься». Из Англии я писал ей ежедневно, создавая таким образом прецедент, который должен был потом стать в нашем супружестве железным законом. В Дартинге я застал дела в некотором расстройстве и вынужден был задержаться дольше, чем намеревался, что-то около трех недель, если не ошибаюсь.

И тогда дитя наше начало растворяться во мгле. Это тоже было своего рода Благовещение, но только в обратном смысле. Долорес написала, что больна, как-то непонятно больна. Я ежедневно получал длинные письма. Все шло иначе, чем следовало. Долорес впала в трагический тон, была безутешна. Надежда, волшебная надежда, озарявшая ее существование, развеялась как дым. Долорес была обманута, жестоко обманулась. Некоторые фразы в ее письмах звучали так, как будто она обвиняла в этом меня. У нее было какое-то новообразование, злокачественное, если не физически, то духовно. Она была больна, по-видимому, смертельно, по-видимому, это был рак; она была разочарована, у нее было отнято высшее счастье женщины; жизнь ее оказалась бесплодной, это была попросту трагедия! Она умоляла меня вернуться в Ниццу, утешить ее; умоляла меня поспешить, ибо, может быть, скоро ее не станет...

Когда я наконец уладил дела в Дартинге и приехал в Ниццу, Долорес встретила меня страстными упреками. Почему я не приехал раньше? Оставил на произвол судьбы жену — одинокую, страдающую, умирающую, всеми покинутую в каком-то отеле, больную, с разбитым сердцем! Только англичанин — это была совершенно новая нотка!— способен так поступить с женщиной! Для умирающей Долорес выглядела не слишком

изменившейся — разве только, что к моему приезду завела себе несколько новых, очень ярких и очень ей идущих халатов, которые теперь составляли почти единственный ее наряд. Я не решался приблизиться к ней, чтобы чем-нибудь не повредить болящей, но Долорес заверила меня, что одна только любовь еще может дать ей забвение. И в самом деле она умела обо всем забывать и к тому же на весьма продолжительные мгновения. Время от времени, однако, она вспоминала о своей болезни и в самые неожиданные моменты издавала пронзительный, сдавленный вопль. «Как болит! — объясняла она.— Ох, как болит!»

Затем наступало мгновение тишины, а потом Долорес каким-то образом возвращалась к жизни. С того времени и по сей день эта боль терзает мою жену. Появляется нерегулярно, спазматически. Не вызывает притом никаких последствий.

Позднее мы обратились за советом к выдающемуся специалисту.

— Как же все обстоит на самом деле? — спросил я, оставшись с ним наедине.

— Ваша супруга чрезвычайно нервическая особа...— сказал он.

— Предвидите ли вы необходимость оперативного вмешательства?

Доктор стиснул губы так, что рот его растянулся чуть не до ушей, прищурил глаза и медленно покачал головой.

— Вы сняли камень с моей души,— сказал я.

— Ну, конечно, конечно! — изрек он с величайшей серьезностью...

8

Так дело и дошло до моей женитьбы. Я решился на это, чтобы узаконить ожидаемого ребенка, но вожделенное дитя превратилось в некую скоропреходящую форму рака, в свою очередь, преобразившуюся в какие-то нечастые корчи. Я знаю, что события эти развивались именно в таком порядке, но не сумею ныне изобразить последовательность различных настроений, душевных фаз и нравственных метаний, через которые я непре-

менно должен был пройти в эти решающие дни моей жизни. Пожалуй, я любил тогда Долорес больше, чем теперь. Должен был ее больше любить, по временам, во всяком случае. Как бы то ни было, я, помнится, принимал все ее уверения без тени подозрительности.

Я чересчур поспешно верю всему, что мне говорят люди. Должно быть, я скрытно тщеславен и потому, наверное, не решаюсь думать, что кто-то способен меня одурачить. Отчасти повинна и моя леность: чужие утверждения нужно проверять, а ведь проверка требует усилий.

Конечно, я старался приспособиться к этой неожиданной в моей жизни перемене. Поскольку я уже взял на свои плечи бремя обязательств, я пытался вжиться в роль любовника, исполненного постоянства. Я упражнялся в проявлениях нежности, преподносил подарки, находил проникновенные слова и комплименты. Я знал, что, играя определенную роль, можно и вправду стать персонажем, который изображаешь. Но удивительная вещь: мне стоило труда называть жену «моей драгоценнейшей» или «любимой». Я предпочитал употреблять какое-нибудь игривое прозвище, которое, на мой слух, звучало бы менее фальшиво. Некий внутренний стыд удерживал меня от того, чтобы явно выказывать свою любовь. Вскоре мы очутились в Париже, и началось испытание совместной жизни, но у меня от этого периода остались воспоминания спутанные и отрывочные. Наши взаимоотношения в это время изменились, они стали похожи на февральскую погоду, в которой ясные дни сменяются бурями.

По-видимому, большинство супружеств, в особенности тогда, когда муж и жена принадлежат к разным социальным сферам или родом из разных стран, должны пройти через тягостный, запутанный и затяжной процесс взаимного, всегда неполного узнавания и столь же неполных компромиссов. Постепенно и неприметно, из тысячи неуловимых впечатлений, у меня сложилось убеждение, что женщина, с которой я связался на всю жизнь, не моя и никогда по-настоящему не будет моей, что она не станет частью моего существования, не сможет обогатить или расширить его, что она навсегда останется только неотвязным, чуждым, недовер-

чивым компаньоном; я понял, что мне никогда нельзя будет в отношениях с ней разоружиться; что она последняя на свете особа, которую я мог бы удостоить полнейшим доверием. Я полагаю, что именно так складывается жизнь в бесчисленном множестве супружеств.

Искренность и свобода совершенно исчезают, улетучиваются, однако это не значит, что кто-нибудь из супругов стремился к этому сознательно и с заранее обдуманным намерением. Перемена в наших взаимоотношениях произошла постепенно, неуловимо. Я полагаю, что Долорес вначале сама уверовала в свое материнство; полагаю, что она и в самом деле видела себя в роли самоотверженной подруги моих трудов и упований. Я сохранил веру в это. Но когда мы уже были мужем и женой, когда сняли красивую и просторную квартиру на Авеню Митани, в Долорес пробудились новые, более сильные и более притягательные фантазии и вытеснили прежние мечты.

Начисто!

Поначалу Долорес как будто проявляла энтузиазм по поводу моих трудов и занятий, но в дальнейшем на протяжении всех последующих лет она пренебрегала моими делами, издевалась, посмеивалась, всеми способами пыталась меня от них отвлечь. С минуты, когда наше вожделенное дитя испарилось бесследно, оставив на память одни лишь таинственные приступы боли, Долорес видела в моей работе только свою соперницу. Иногда, правду сказать, она похваляется мною перед своими приятельницами и, выволакивая на свет божий мои тайные тщеславные надежды, уверяет, что группа сотрудничающих со мной писателей начинает приобретать большое влияние и что мы очень богаты (по сути дела, мы не богаты; фирма развилась, окрепла, но я забочусь, чтобы она не обрастала жирком).

Чаще всего, однако, Долорес превращает завтрак или обед в дешевый спектакль, а меня изображает беспощадным, холодным и удачливым дельцом, самоутверждающимся даже в своих пороках, человеком, который поработил ее — такую непохожую на всех, такую впечатлительную, страдающую и некогда блестящую. Но, вопреки всем обидам, которые я ей нанес, заявляет она сотрапезникам, заглушая звонким голоском все другие

разговоры, она любит, все еще любит меня. И так далее и тому подобное.

Одно впечатление из этого первого периода нашего супружества запомнилось мне поразительно четко. Оно просуществовало во мне доныне, как письмо, которое забыли сжечь вместе со всей перепиской. Я вижу еще, как я слоняюсь по нашей парижской квартире. Был послеполуденный час в мае или в июне 1922 или, возможно, 1923 года. Во всяком случае, это было на первом году нашей супружеской жизни. Я возвратился в Париж более ранним поездом или самолетом, чем предполагал, и не застал ее дома. Я был один, ибо слуги занялись моим багажом или задержались еще в холле. Я рассматривал обстановку и думал о Долорес.

Ясно, как никогда прежде, я почувствовал вдруг, что никак не гармонирую с этой квартирой. Я был тут только постояльцем, платным постояльцем, как в гостинице. Это было целиком и полностью жилище Долорес. Если я когда-либо подсознательно тосковал по собственному гнезду, то тут моя мечта была попрана. Чужая воля, упрямая, ограниченная и лишенная воображения, но настойчиво деятельная, создала для меня эти жизненные рамки. Тут мое свободное, полное размаха дело, все содержание моей жизни должно было на каждом шагу натыкаться на помехи и препоны, тут оно должно было быть искорежено, изломано и подавлено.

Даже мой кабинет не был моей собственностью. Долорес успела осчастливить меня необъятным письменным столом, одним из тех ужасающих письменных столов, за которыми обычно фотографируются французские литераторы. Тут стояли массивные латунные львы, увенчанные чем-то вроде перевернутого цилиндра, а в дырки, проделанные в их головах, были воткнуты свечи; была и невообразимая латунная чернильница, хотя я всегда пользуюсь вечным пером, и увесистое латунное пресс-папье. Ящики стола были пузатые, и на всех углах прицеплены были финтифлюшки из позолоченной бронзы, которую англичане почему-то окрестили «ормолю»...

Позади стола высился столь же импозантный книжный шкаф; с точки зрения стиля, этот шкаф едва ли был особенно близким родственником письменного стола, уж

во всяком случае не братом! Скорее всего это был какой-то дальний, еще более богатый и еще более толстопузый кузен... Нижние ящики стола были на редкость неподатливы; чтобы их извлечь, следовало, видимо, произнести некое неизвестное мне заклинание. Да, вытянуть их мне так ни разу не удалось, хотя порой сгоряча я и пытался это сделать. Мебель эти слишком громоздки для моего кабинета, и практически я обитаю в узком пространстве между ними и стеной. Камин украшен большим зеркалом и оживлен гипсовой статуей нагой, безрукой и странно изогнувшейся женщины. Картины на противоположной стене изображают мясистых юных дам, заголившихся с заранее обдуманным намерением и откровенно выставляющих себя напоказ. Долорес воображает, что именно это придает моей рабочей комнате мужественный характер. Среди всего этого уюта, когда у нас бывает званый вечер, мужчины оставляют свои пальто и шляпы.

Так она обставила мой кабинет, пока я находился в Англии. Это должно было стать для меня «сюрпризом». Эффект удался: я был действительно поражен, однако не пытался протестовать.

— В этом всем есть воистину нечто мужское,— сказала Долорес, вводя меня сюда впервые.— Я знаю, что ты не любишь элегантности. Поэтому я и постаралась придать этой комнате характер осмысленной чувственности и серьезности. Твой характер.

Человек, думается мне, обязан извлекать мораль из каждого суждения о себе, но в этом случае я и впрямь не мог приметить ни малейшего сходства.

Я всегда был склонен подражать Демокриту. Облегчаю себе жизнь смехом. Еще и теперь меня разбирает смех, когда я вспоминаю это странствие среди сюрпризов собственного жилья.

Гостиную я осматривал последовательно с разных точек зрения; приостанавливался на минутку в каждом уголке, внимательно присматривался. С любой точки зрения видел одно и то же: тут целиком и полностью присутствовала неподдельная и неистребимая Долорес. Меня и следа не было. Что ж, мне это показалось чрезвычайно забавным. «Всегда та же милая старушка Долорес»,— прошептал я.

И в этой гостиной я должен буду принимать входящих в славу писателей, журналистов, мыслящих дам; людей, преисполненных новых замыслов; тут должны будут происходить важнейшие, плодотворнейшие дискуссии...

Это была весьма просторная комната с тремя окнами, выходящими в уютный парк Митани. Две круглые колонны поддерживали карниз, разделяющий ее пополам. Гостиная была выдержана в стиле, который можно приблизительно определить как сочетание ампира с Людовиком XV и аляповатостью восточного базара, при известной примеси кленовых листьев в стиле модерн, но, главное, со все перешибающим привкусом аукциона. Эта комната не была приспособлена для жизни; она должна была служить исключительно Долорес, чтобы Долорес могла кичиться здесь перед своими подругами, распространяться перед ними о своей особе и торжествовать над ними.

В одном углу торчала большая стеклянная ваза, а в ней медлительно и грустно плавали китайские золотые рыбки, раздутые, бесформенные, обвешанные какой-то фантастической бахромой. Куда ни глянь — столы: столы в натуральную величину и мавританские карликовые столики, инкрустированные и поблескивающие медью, и кушетки, и кресла, в которых можно было преудобно развалиться, и позолоченные стульчики, приспособленные разве что для деликатнейшего присаживания, и стулья, совершенно опасные и коварные, драпированные экзотическими тканями. Мохнатые восточные ковры устилали сверкающий пол и пялились со стен. Ни один стол, ни одна горизонтальная поверхность не сияли наготой; все они были обременены разнообразнейшими безделушками, грошовыми вазочками, коробочками, картиночками, статуэтками и прочими доказательствами того, что дьявол всегда сумеет заставить скучающих бездельников заняться чем-нибудь этаким художественным! Кое-где валялись якобы редкие книжонки в якобы оригинальных переплетиках, якобы капризно брошенные, а на самом деле умышленно положенные; никто и никогда не соблазнился еще идеей их перелистать. Ни один из этих предметов утвари не был интересен сам по себе, ни один из них не был связан с ка-

кими-нибудь переживаниями или интересами хозяев дома, ни один не отличался редкостью; любую из этих вещиц можно было в неограниченном количестве найти в магазинах предместья Сент-Оноре или на других парижских улицах этого типа. Такой фон представлялся Долорес наиболее подходящим для нашей светской жизни.

Со стен взирали картины, повешенные на французский манер слишком высоко. Их было тогда немного — одна или две, ибо Долорес лишь позднее получила возможность насладиться счастьем, какое дает не слишком щедрое покровительство не слишком одаренным живописцам. Висел там также писанный любителем вид отеля Мальта, купленный на набережной в Каннах, и какие-то два портретных эскиза, в которых лицо трактовалось как наименее интересная часть человеческого тела. Ибо для Долорес искусство живописи имеет значение лишь постольку, поскольку оно показывает тело человека таким, каким его редко удается увидеть в природе. Рояля, слава богу, не было: Долорес ненавидит музыку, считая ее своей соперницей. Она всегда старается заглушить чужое музицирование своей болтовней. Все светильники были затенены розовыми абажурами. А над всем этим носился неуловимый запах ладана, курений и женских духов — это были битвы и поединки духов.

Я потянул носом, поворчал и медленно проследовал в другую часть своих апартаментов — в столовую.

Тут тоже все было не по мне. Тон всему задавали громоздкие мебеля́ красного дерева. Комната превосходно подходила для коллективного смакования обильных яств и напитков, какими французы разнообразят время от времени свою обычную здоровую кухню. Но сорочья натура Долорес приказала ей уставить буфет целым созвездием разнообразнейших тарелок и тарелочек, претендующих на оригинальность и красоту. Над всем этим высилось майоликовое блюдо-барельеф, официально долженствующее изображать «Похищение сабинянок», но мне этот барельеф, изобилующий пышными округлостями, всегда почему-то напоминал сырный ряд в городе Алькмаар, в Голландии...

На маленьком столике у окна были расставлены красивейшие чашечки и блюдца из сервиза Долорес. Это тоже должно было быть как-то продемонстрировано...

На том же столике поместился изящный кувшин-рукомойник и тазик; к счастью, другие сосуды из этого комплекта не уцелели.

Я вернулся в загроможденную гостиную.

— Аукцион,— шептал я,— совершеннейший аукцион...

Пауза.

— Каким чудом я оказался среди всего этого хлама? — спросил я себя.

И тут же тихонько ответил:

— Одна ошибка влечет за собой другие.

Я услышал, что Долорес вошла в холл. Пошатываясь, я вышел навстречу лавине бурных приветствий.

— Долорес,— сказал я,— знаешь, вот я все думал о нашей гостиной.

— Ну и что же? — спросила она, жаждая похвал.

— Тебе следовало бы ко всем предметам прицепить ярлыки с указанием цены.

— Что ты имеешь в виду?

— Ведь здесь все, как на базаре...

— Бесспорно, *здесь чувствуется* веяние Востока...— согласилась она, удовлетворенно оглядывая все вокруг.— Богатство. Разнообразие. А ведь это неотъемлемая часть моей личности!

— А тебе не кажется, что для повседневной жизни эта комната как-то слишком заставлена и вообще загромождена?

— Но зато она живая! В гостиной есть душа. А в этом шик! Чего же иного мог ты ожидать от меня? Между прочим, все в восторге. Даже эти твои английские приятели широко раскрывают глаза, едва переступив порог... Но, дорогой мой, ведь ты только что с дороги! Ты еще даже виски не выпил! Ах! Лучший сюрприз ты найдешь в своей комнате. Нет, я ничего тебе сейчас не скажу. Это должен быть настоящий сюрприз!

9

День этот потому, быть может, так запечатлелся в моей памяти, что тогда я впервые измерил всю необъятность задачи, которую взял на себя, собравшись пересоздать Долорес на свой лад С того дня я пытаюсь

произвести эту операцию, все с меньшей убежденностью и абсолютно безрезультатно. Но лишь вчера вечером я отдал себе отчет в том, что это длится уже тринадцать лет.

Быть может, неумело и весьма непоследовательно, но зато усиленно я старался в течение всего этого времени отыскать такой модус совместного существования, чтобы мы стали настоящей семьей, причем ни я не был бы стерт в порошок, ни она чрезмерно стеснена. Мои усилия, однако, никогда не были планомерными, никогда мне не удавалось избрать определенную и последовательную линию поведения, ибо я никогда не был в состоянии определить свое отношение к Долорес. Порой она казалась мне веселой проказницей, а порой ужасающе докучливой. Порой она была чем-то случайным, а порой чем-то вполне существенным. Если бы даже она сама хотела приспособиться ко мне, я должен был бы чувствовать себя сбитым с толку.

Я и не подозревал, что у Долорес такое множество давних подруг: теперь они сгруппировались вокруг нее. Появились даже какие-то школьные подруги времен Монте-Карло, поселившиеся теперь в Париже. Все эти дамы старались перещеголять друг друга в элегантности и неестественности. Они любили беседовать очень громко и очень доверительно о делах высшего света. Только тогда я постиг, насколько большую роль в жизни женщины играют подруги юных лет и приятельницы давних дней. Долорес не была привязана ни к одной из них, ни одну из них не уважала, но попросту жить не могла без их вынужденного признания, изумления и зависти. Их влияние, их непререкаемые суждения обо всем, что касалось нарядов, прислуги, финансов и манер, помогали ей создать себе какой-то жизненный идеал. Я сделал этот вывод на том основании, что, когда я ввожу в наш дом людей другого склада, в частности англичан, обладающих совершенно иной шкалой ценностей, короче говоря, когда я меняю зрителей, Долорес тут же меняет спектакль. Впрочем, хотя она с величайшей легкостью схватывает новые примеры для подражания, она отнюдь не склонна забывать о старых. Долорес прибавляет одни к другим, но первенство оставляет за прежними. Усилия мои должны были оказаться тщетными также и по-

тому, что я чересчур прямолинеен, в то время как Долорес чрезвычайно сообразительна. Она сразу учуяла, что мои попытки представляют собой известную форму критики в ее адрес, и, уязвленная, тотчас же мобилизовала весь арсенал своих защитных средств.

Словом, я сыграл весьма комичную роль в этих напрасных и предпринятых без внутренней убежденности попытках «дедолоризации». Вместо того, чтобы измениться, Долорес еще больше сделалась собой. Как же я мог допустить, что моя супруга, родной стихией которой была поза и откровенная рисовка, захочет прислушаться к людям, в чьей среде позерство и самовосхваление приобрели донельзя утонченный характер?! Я ввел в наш парижский дом моих английских знакомых, захватил Долорес с собой в Шотландию, позаботился о приглашениях на уикэнды в английские усадьбы. Трудно теперь подсчитать, сколько я предпринял тогда таких попыток, и указать их точные даты. В наши дни издатель отчасти разделяет с литераторами известные светские привилегии, тем паче, что все больше аристократических пальчиков покрывается чернильными пятнами; я старался, чтобы приглашения, адресованные мне, касались также и моей жены. Но Долорес была для всех хозяек дома гостьей трудной, агрессивной и повергающей в недоумение. Она входила в эти дома в раздраженном, оборонительно-наступательном состоянии духа. Она пыталась шокировать, дразнить и ослеплять людей этого мира — все шло в дело: и крикливый голосок и эксцентричные туалеты. Нет, она не намеревалась чему бы то ни было научиться от этих людей, она старалась поразить их — и только. Порой она бывала совершенно несносной, но я должен ей отдать должное: порой бывала весьма забавна. На второй или третий год нашего супружества я, по-видимому, был уже порядком измучен монологами Долорес и вдобавок никак не мог примириться с ее обыкновением излагать, нисколько не понижая голоса, в гостиной или за столом самые интимные подробности, касающиеся моей собственной особы. И, несмотря на это, я порой искренне забавлялся, когда Долорес во всем блеске своей ошеломляющей оригинальности появлялась в каком-нибудь типично английском обществе.

Помню, например, наш визит в Клинтон Тауэрс; мы приехали рано и позавтракали в кругу семьи, вместе с тремя дочерьми хозяйки дома и их гувернанткой. Мою Долорес что-то дернуло заговорить о Сафо и о только что запрещенной книге «Кладезь уединения». Выражалась она при этом столь ясно и недвусмысленно, что в некий миг наставница вдруг издала какое-то короткое отчаянное восклицание и быстренько выпроводила из столовой своих воспитанниц, причем кушанья остались почти не тронутыми.

— Теперь,— сказала леди Гаррон, как мне показалось, довольно мрачным тоном,— теперь мы можем говорить свободно.

А Долорес как ни в чем не бывало продолжала развивать свою тему.

Мне запомнился также один разговор, который она вела с англиканским епископом, бывшим миссионером; забыл только, где это происходило. Всякий раз, когда она встречала миссионера, католика или протестанта — все равно, она подвергала их перекрестному огню вопросов, пытаясь вытянуть из них кое-какие пикантные подробности о матримониальных обычаях дикарей. Особенно ее занимало, *почему* это христианские миссионеры требуют, чтобы туземцы прикрывали свою наготу. Именно во время этого разговора воцарилась мгновенная тишина, и я услышал, как Долорес осведомляется:

— А теперь скажите мне, ваше преосвященство, только искренне, что именно вы стремитесь прикрыть — нехватку или избыток?

Духовные лица всегда действуют на Долорес возбуждающе, с полной, впрочем, взаимностью. Помню другой случай, когда я с ужасом услышал пронзительный вопль некоего духовного лица:

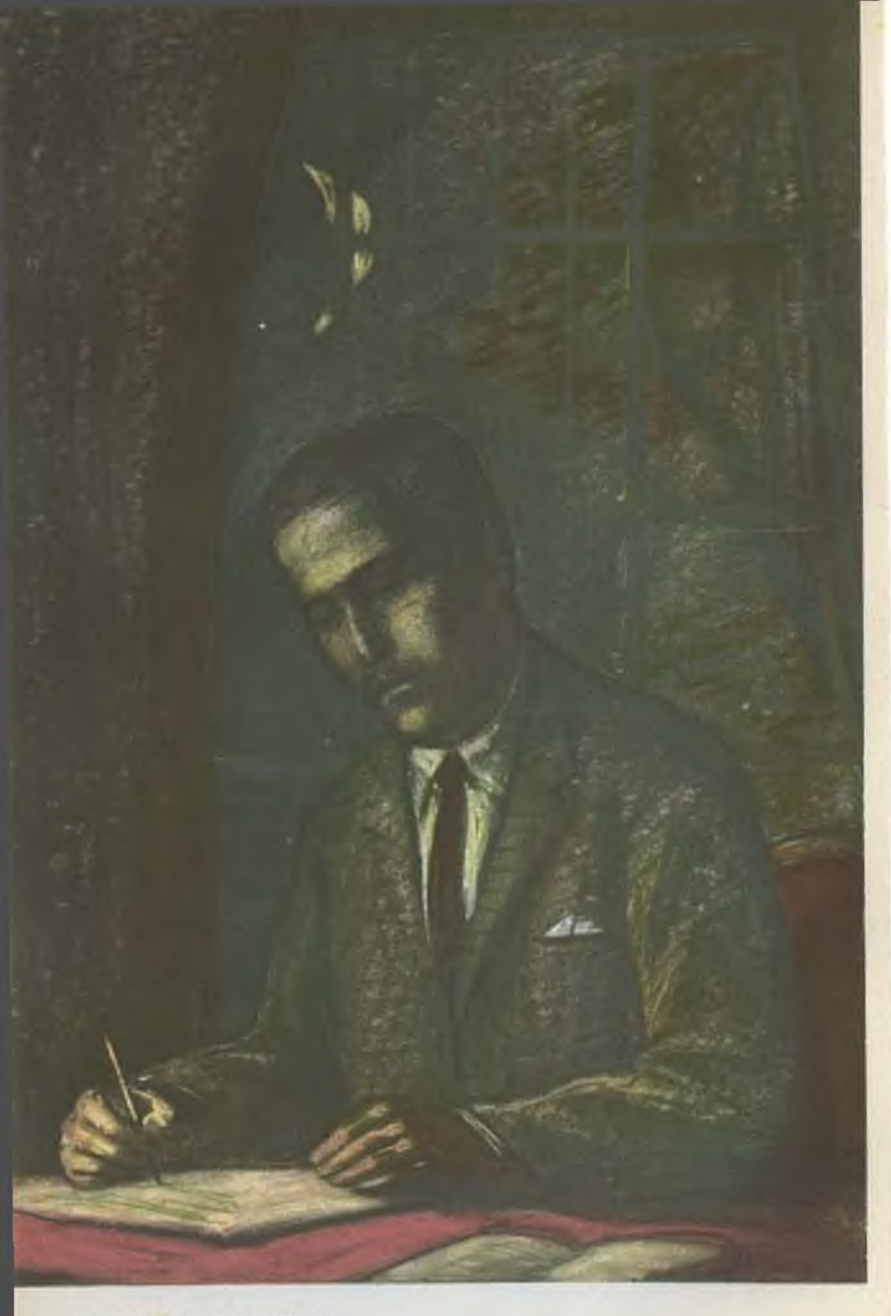
— Я воистину *предпочел бы не разговаривать* об этих предметах!

Я никогда не узнал также, о чем именно спросила Долорес маститого Главного Раввина во время званого приема в Париже. Знаю только, что старичок дрожащим от негодования голосом ответил ей:

— Если бы зэньсцина, подобная вам, явилась меж сынов Израиля, ее побили бы камэньями. *Ка-мэнь-я-ми...*



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».

Допускаю, что Долорес пустилась в чрезмерно рискованные подробности.

Она так никогда и не соизволила приспособить свои наряды к атмосфере английских усадеб и не хотела прислушиваться к моим аргументам в этом вопросе.

— Милый мой Стини,— говорила она,— ты мещанин, книготорговец, коммерсант. Ты не разбираешься в этих делах. От француженки — а для здешних дам я француженка — они ожидают чего-то из ряда вон выходящего.

Если от нее действительно ожидали чего-то из ряда вон выходящего, то она не обманывала ожиданий. Для парижанок из круга Долорес английские усадьбы суть страны мифические. Для самой Долорес они всегда оставались легендой, хотя ей случалось в них бывать. Француженки полагают, что британские леди массу времени уделяют спорту — «ле спор»— и, следовательно, в женских нарядах непременно должно быть нечто спортивное, смягченное, естественно, известным кокетством. Кроме того, Британия считается родиной пледов—«ле плэд». Этой уверенности я обязан тем, что в сокровищнице памяти моей сохранился живописный образ Долорес, появляющейся в полдень на террасе в Шонтсе в роскошной версии костюма шотландского горца и клетчатом пледе клана Стюартов. Все было на месте: и шотландская юбочка, и кожаная сумочка, и орлиное перышко на бархатной шапочке. Живо вспоминается и другой случай, когда избранной темой была, очевидно, охота, и Долорес явилась в алом охотничьем рединготе, с громадными золотыми пуговицами и в бархатном кепи. А после полудня она носила сладострастные длинные платья, так называемые «ти-гаун», а также множество колец, ожерелий, брошек и браслетов, браслетов, браслетов.

— Ах, мой милый Стини! — говорила она, когда я пытался отучить ее от этих туалетов.— «Ти-гаун» — это *английское* слово. Следовательно, «ти-гаун» — это абсолютно английские платья. И если другие дамы их тут не носят, это доказывает только, что они не знают, как быть шикарными в собственном отечестве. Тебе, дорогой мой, этого не понять. Ничего удивительного: ты не знаешь обычаев утонченного света. Естественно, это не твоя сфера. Но я уверена, что если ты вернешься сюда через ме-

сяц, все эти дамы будут щеголять в «ти-гаун», в таких же «ти-гаун», как мое.

— И ты считаешь приличным носить все эти кольца, браслеты — все эти побрякушки — к твоему «ти-гаун»?

— Я всегда так одеваюсь,— ответила Долорес,— таков мой стиль.

Она не прекратила этих попыток усовершенствовать обычаи английского света, а вскоре начала изображать еще — явно неискренне, впрочем — страстный интерес к спортивным играм. Собственно говоря, она успела кончить школу прежде, чем во французских пансионах воцарилась мода на теннис, но ей и в голову не приходило, что она слабо разбирается в этой игре. Она непоколебимо верила, что с минуты, когда она вступит на корт, она мгновенно сделается обладательницей всех секретов игры. Перед хозяйками дома вставала труднейшая проблема: как заставить Долорес, жаждущую ворваться на корт, сбросить туфли на высоких каблуках.

— Каблуки мне *ничуть* не мешают играть,— невинно и даже несколько укоризненно заявляла она.

Наконец мне удалось ее убедить, что она будет выглядеть намного эффектней в элегантных белых туфлях без каблуков и в цыганской шелковой косынке, которая очень шла к ее черным кудрям. Партнеров она выбирала весьма своевольно: «Вы будете играть со мной». Как будто оказывала им необычайную милость! По площадке она шныряла энергично, но без малейшей координации: мяч — сам по себе, а Долорес — сама по себе. Ракетку держала как-то не по-людски: высоковато и слишком уж прямо.

— Не *учи* меня!— кричала Долорес.— Обойдусь и без твоих советов! Дай мне играть по-моему...

— *Вот видишь,* попала!.. Зачем же ты уверял меня, что я так никогда не попаду? *Попала, попала!*

А когда отдыхала в сторонке, управляла всей игрой. Хвалила и распекала. Ни на миг не переставала давать советы и подстрекать игроков к бóльшим усилиям.

— Брав-ó! — восклицала она.— Брав-ó! — И хлопала в ладоши.

Ей нравилось, когда мяч свечой взмывает вверх. Или когда залетает далеко-далеко. Игроки без особого восторга воспринимали эти неуместные рукоплескания.

— Стини, как ты *отвратно* нынче играешь! *Пошевеливайся!*

Иногда Долорес на миг отрывалась от игры, чтобы посвятить себя светской беседе. Как-то я прислушался к ее разговору с леди Гаррон, которая, как я полагаю, была чем-то вроде чемпионки графства. Долорес объясняла своей собеседнице:

— При настоящей хорошей игре попросту *не видно* мяча!

— Да, но очень редко случается видеть хорошую игру,— ответила леди Гаррон.

— Ах, не беда, меня развлекает зрелище даже такой игры, как ваша! — мило и снисходительно проговорила Долорес своим самым что ни на есть великосветским тоном.— Конечно же, трудно ожидать, чтобы все играли, как профессионалы... Тем за это платят, а ведь для вас это только забава...

10

После четырех или пяти лет подобного существования я уже больше склонялся к бегству от Долорес, нежели к дальнейшим поискам некоего модус вивенди с ней. Возможно, это пришло несколько позже. Не помню точно. Мне кажется, однако, что в двадцать шестом или двадцать седьмом году я начал планомерно организовывать побеги более продолжительные, чем те деловые поездки, которые я доселе совершал и которые обычно позволяли мне провести в одиночестве две или три недельки в Лондоне или в Дартинге. Следует сказать, что в Париже я не мог видаться ни с кем без обязательного присутствия моей жены, но постепенно в Лондоне я устроил себе собственную жизнь, в которую Долорес не имела доступа.

С течением времени мне удалось устранить из ее программы поездки в Лондон. Как только я замечал, что она начинает думать о поездке в Лондон, я как можно скоропалительней увозил ее на Ривьеру, в Рим или в Осло. И дважды мы переплывали Ла-Манш при большом волнении. Но Долорес даже на Ла-Манше при большом волнении умела страдать морской болезнью не как-нибудь там банально, а донельзя утонченно и необычайно изысканно. О, это было истинное открытие! Она извле-

кала из этого разнообразнейшие эффекты. Но хотя пальма первенства и осталась за ней, хотя она, бесспорно, оказалась самой недомогающей пассажиркой этих двух рейсов, успех этот не остался для нее особенно приятным воспоминанием. С тех пор она потеряла аппетит к великосветским триумфам в Великобритании. В то же время мои планы распространения английской книги на континенте вынудили меня предпринять поездку по странам немецкого языка. Долорес, все еще напичканная крикливыми тезисами военной пропаганды, не пожелала меня сопровождать, благодаря чему я смог приятнейшим образом провести время в Лейпциге, Вене, Берлине и Цюрихе. По Европе я летал, уверяя Долорес, что хочу таким образом ускорить свое возвращение к ней. Она принципиально противилась тому, что я пользуюсь этим средством передвижения, ибо у нее были весьма преувеличенные понятия об опасностях воздушных сообщений. Долорес требовала, чтобы из каждого аэропорта по пути я непременно высылал ей успокоительные телеграммы: «Цел и невредим зпт целую тчк».

— Что до меня,— заявляла она,— с меня вполне достаточно переживаний морского путешествия. Если бы когда-нибудь я оказалась в самолете, я не выдержала бы и выпрыгнула бы на землю!

Кто ее знает, может, она и вправду сделала бы это!.. Ни разу, однако, мне не удалось ее уговорить даже войти в самолет. Но я уже знал, что авиапутешествия по деловым надобностям будут для меня чрезвычайно удобным способом обретения известной свободы.

Это была отличная идея, и я широко воплощал ее в жизнь. Обнаружил, например, что у меня имеются деловые интересы в Осло, в Стокгольме и в Финляндии. Затем наметил еще более отважный проект — решил на некоторое время сбежать от нее в Америку. Долорес протестовала, но я заупрямился. В последний миг я оказался настолько слабохарактерен, что хотел забрать ее с собой, во всяком случае, в Нью-Йорк, но страх перед океаном удержал ее. Все так удачно сложилось, что одна из ее приятельниц, вот только что, совсем недавно, страдала морской болезнью во время всего плавания через океан и рассказала ей потом необычайно красочно о своих мытарствах.

— Нет,— заявила Долорес,— этого я не сделаю даже ради тебя!

Я все лучше разыгрывал комедию. Поручил радисту в течение всего рейса ежедневно высылать ей радиотелеграммы. Сразу дал ему шесть разных вариаций: «грущу», «море волнуется», «дождь идет», «банальная скука», «погода скверная» и «думаю о тебе». Каждый из этих текстов завершался непременным «нежно целую».

Затем мне удалось вырваться в Индию. Это длилось целых одиннадцать недель, но, увы, это была моя самая длительная отлучка. Ну что же, я начал все более затягивать мои поездки в Англию. Горестными очами стал я поглядывать в сторону Австралии, ибо там можно было бы странствовать целыми неделями, не имея возможности отправлять письма, лишь время от времени посылая радиотелеграммы. Я начал было поговаривать об этом проекте, но Долорес тогда уже проявляла зачатки той болезненной подозрительности и ревности, которые ей так свойственны нынче. Впрочем, некоторое время у меня было впечатление, что мои все более продолжительные отлучки из Парижа ей на руку и даже доставляют ей известное удовольствие. Она обретала свободу. Я ни в чем не мешал ей. Я и впрямь был величайшей страстью ее жизни, идеальным любовником и т. п., но в то же время был немножечко и помехой.

Со временем, однако, она приобрела обыкновение считать дни, проведенные мною вне дома. Мне кажется, она понимала, что я стараюсь, по крайней мере отчасти, испариться из ее жизни.

Чем больше я пребывал вне дома, отдыхая от Долорес, тем менее интересной, тем более чуждой и несимпатичной казалась мне моя жена по возвращении. Не знаю, что она делала в мое отсутствие, но уж, во всяком случае, не расширяла свой кругозор и не умножала прелестей. Она становилась все менее оживленной, все более сварливой. Утратила гибкость. Чем лучше узнавалось ее легкомыслие, тем явственнее чувствовалось, до чего же все-таки она неуступчива и тверда. Все яснее также я примечал в ней какую-то неистребимую злость. С каждым годом укреплялась во мне решимость как можно больше времени проводить вдали от нее. В первые годы

я еще обольщался, внушал себе, что люблю ее и что порой она все еще бывает очень милой и забавной. Позднее я уже вполне серьезно раздумывал о том, как бы отделить ее жизнь от моей. В Англии я поддерживал чрезвычайно приятные светские отношения и был преисполнен решимости утаивать их от Долорес.

Примерно четыре года назад я совершил величайшую глупость. К тому времени у меня в Лондоне были уже настолько широкие светские контакты, что мне потребовалась более удобная квартира, совершенно отделенная от конторы. Мне не хотелось, чтобы Долорес когда-нибудь вторглась туда, и поэтому я перебрался в мою нынешнюю квартиру на Олденхэм-сквер, ничего ей о том не сказав. Письма шли по-прежнему на старый адрес, на Каррингтон-сквер. Это был, правда, не особенно красивый трюк с моей стороны, да и неразумный, пожалуй, но в тот момент он очень меня забавлял. Однако не прошло и трех месяцев, как роковой секрет случайно раскрылся. С этих пор ревность начала шириться в сердце Долорес, как лесной пожар.

Я привез ее в Лондон, чтобы она собственными глазами увидала, сколь невинно выглядит моя новая квартира. Но она была иного мнения.

— А ведь это не что иное,— сказала она,— как холостая квартирка.

В Париже, в ее кругу, не существует такого понятия, как невинная холостая квартира.

— Ты первая и единственная компрометирующая гостья в этих стенах,— заверил я.

— Ах, вот как! — крикнула Долорес.

— Ну, взгляни-ка! Разве это *похоже* на холостую квартирку? Разве тут пахнет холостой квартиркой? Где, скажем, тут тахты, зеркала, диванные подушки или шпильки для волос?

Долорес нагнулась и подняла с полу дамскую шпильку. Подала ее мне чрезвычайно торжественно и спросила:

— А *это что*, мистер Стини?

— Один-ноль в твою пользу,— сказал я.— Это старинное металлоизделие выпало из прически миссис Рейчмэн, которая приходит сюда ежедневно в восемь и убирает до двенадцати. Завтра ты сможешь убедиться в этом и, кстати, найдешь другую шпильку, еще теплую от

ее волос. Но это же, собственно, наилучшее доказательство того, что я говорю чистую правду. Это должно тебя убедить! Как видишь, перед твоим прибытием здесь никто не пытался замести следы преступления. И, несмотря на это, ты, безусловно, не сможешь отыскать здесь шпилек из прически прекрасной дамы!

Но, увы, с этого часа жизнь моя стала еще трудней. Я должен непрестанно быть на страже и чувствую себя еще более порабощенным, чем когда-либо. Стараюсь отвлечь внимание Долорес, доставляя ей развлечения, устраивая путешествия и экскурсии. Огромный голубой автомобиль моей жены является, собственно, непосредственным результатом того, что я осмелился завести себе скромную квартирку на Олденхэм-сквер. Наша теперешняя поездка в Бретань — тоже.

Автомобили всегда играли великую роль в понятиях Долорес. Они-то именно и определяют в ее кругу чье-либо положение в свете. Долорес всегда проявляла живейший интерес к моей машине и хвалилась ею перед своими приятельницами, покамест сама не стала законной, официально зарегистрированной владелицей голубого лимузина. В течение некоторого времени она была так горда этим обстоятельством, что почти разучилась ходить пешком: вот разве что делала небольшую пробежку от дверцы машины до парадного! С еще большей ревностностью и дотошностью, чем прежде, начала она надзирать за порядком движения на шоссе. Сделалась своего рода добровольным служащим дорожной полиции. Стала еще более настойчиво наблюдать за тем, достаточно ли корректно ведут себя другие автомобилисты. Действует она при этом чрезвычайно выразительно и эмоционально. Когда кто-нибудь, проезжая мимо нас, высунет руку, чтобы указать на какую-нибудь деталь пейзажа, или, скажем, отклонится от предписанной стороны шоссе, или, допустим, вышвырнет в окно окурок, или совершит еще какой-нибудь проступок этого рода, Долорес тут же высовывается из окна нашего авто, руки ее угрожающе жестикулируют, а голос звучит на редкость раскатисто и выразительно, не умолкая даже тогда, когда грешники уже находятся вне пределов ее досягаемости. Они, должно быть, слушают ее в изумлении и, я надеюсь, вступают на путь истинный.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДОЛОРЕС В ТОРКЭСТОЛЕ

1

Прибытие Долорес носило характер из ряда вон выходящего общественного события. Утром, еще до завтрака, я вышел прогуляться вдоль прелестного искусственного ручейка — он течет с холма, и берега его усажены цветами и травой. Я не ожидал, что жена моя прибудет до вечера, но, возвращаясь с прогулки, издалека уже увидел перед входом в отель Альфонса, голубой автомобиль, еще обремененный чемоданами, и Баяра, который, рассевшись на пороге, у всех на ходу, крутил носом на всех и вся. Многочисленные постояльцы отеля облепили столики на террасе. Они делали вид, что потягивают предобеденный аперитив, но на самом деле внимательно разглядывали автомобиль, чемоданы, китайского песика и Альфонса, чтобы позднее основательно переварить все подробности этого великолепного въезда.

Альфонса я не выношу. Всякое человеческое существо вправе обладать передом, задом и двумя боками, но, конечно же, все эти компоненты должны быть изваяны разумно и пристойно. Альфонс, однако, изваян самым неподобающим образом; сзади, пониже крестца, у него имеется неожиданная выпуклость, кажется, как будто он носит турнюр. Это придает ему весьма нахальный вид, возбуждает хихиканье и вызывает неприличные остроты. К тому же у него на редкость неглубокомысленная исполинская розовая физиономия, которая, на мой взгляд, также слишком высовывается вперед; а осанка у него окоченелая, как у восковой куклы. По настоянию Долорес он носит царственную голубую ливрею с розовыми обшлагами и воротником.

Число зевак сильно увеличилось — к ним примкнула живописная толпа взрослых и мальчишек, торгующих почтовыми открытками, соломенными шляпами, веерами и прочими подобного рода вещицами; местных жителей, предлагающих свои услуги в качестве проводников по окрестным пещерам, озерам, обрывам, церквушкам, часовенкам: им случается также демонстрировать придорож-

ные распятия и прочие местные достопримечательности; проводники заждались туристов, которые в любую минуту могли прикатить из Морлэ в старомодных шарабанах.

Сегодня, впрочем, чувствовалось с первого взгляда, что все это скопище желает поглазеть на нечто куда более удивительное и своеобычное, чем прибытие туристов. Уже переходя дорогу перед отелем, я постиг, что предметом всеобщей заинтересованности была именно моя персона. Все взоры были направлены на меня, я был ярко озарен ими, как актер на подмостках.

Как всегда бывает в подобных случаях, я не был готов к такой роли. Я пытался пройти, по возможности не привлекая к себе внимания. А мне, по-видимому, следовало пуститься рысцой, восклицая: «Она приехала, да? Ну как ей, лучше, да?»

Непродолжительную разрядку вызвал Баяр, яростно залаявший на метрдотеля, который выбежал мне навстречу, совершенно затравленный и замотанный, ибо шарабаны из Морлэ могли появиться в любую минуту. Из-за его спины высовывалась Мари, верная горничная и наперсница моей супруги. Я ответил на сдержанный, укоризненный поклон Альфонса и обратился к метрдотелю и Мари, намереваясь мужественно встретить их упреки.

— Мадам была очень раздосадована, что мсье ее не ожидал,— сказал метрдотель.

— Ей пришлось лечь,— прибавила Мари.— У нее снова были боли.

Внезапно в глубине гостиничного коридора раздался возглас торжества. На сцене появилась Долорес, укутанная в весьма прозрачный белоснежный пеньюар, и сбежала по лестнице прямо ко мне.

— Мадам! — воскликнула пораженная Мари.

— Я не могла *дольше вынести* этого ожидания!— кричала Долорес.— Бегу, несмотря на боль. Почему ты не встретил меня?

Она бросилась в мои объятия.

— Дорогой мой! Я прощаю тебе!

После многолетнего опыта я научился лучше переносить такие взрывы, чем в первые дни, но тем не менее они всегда валили меня с ног. Я тщился вырваться из ее судорожных объятий.

Высвободился наконец не без труда и отстранил Долорес на длину вытянутых рук.

— Позволь, дай вглядеться в тебя,— сказал я, чтобы смягчить эффект этого отстраняющего жеста.— Ты выглядишь намного лучше.

— Прощаю тебя,— сказала Долорес.— *Всегда* тебе все-все буду прощать.— И снова обняла меня с величайшей решимостью.

Баяр, который как раз скатывался с лестницы, приостановился на полдороге, затявкал, как будто хотел высказать свое одобрение — или, может быть, неодобрение — этой сцене, и присел, отдуваясь, с вызывающей миной.

— Бис! Бис! Браво!

Тут шарабаны, впервые в истории не замеченные, въехали на площадь и выстроились в ряд против входа. Какой-то грубиян в переднем экипаже поднялся и стал аплодировать сцене нашей встречи.

Я успел высунуть голову из объятий Долорес.

— Где коридорный? Нужно забрать вещи,— сказал я, вторично высвобождаясь.

— Помогите, Альфонс, пошевеливайтесь!

Новоприбывшие добивались положенного им внимания. Но никто не приглашал их в отель, никто не помогал им выбраться из шарабанов, никто не втискивал им в руки открыток и сувениров. Так дальше быть не могло. Коммерцию нельзя забывать даже ради столь вдохновляющего зрелища, как взрыв супружеской страсти.

— В столовой нынче не протолкнуться,— сказал я.— Постараюсь занять столик.

2

Торкэстоль, 24 августа 1934 г.

Я зол, и в то же время, несмотря на всю мою злость, происшествия последних дней меня несколько позабавили. Я склонен смеяться над всеми этими пустяками, но смеюсь сквозь стиснутые зубы. Не прошло еще и трех недель, как мы находимся здесь, а мы уже пренелепейшим образом перессорились со всеми кругом; к тому же мы рассорились друг с другом, хотя я определенно

решил до этого не доводить; причем в этой ссоре у меня нет ни малейшего желания сдать позиции и пойти на мировую.

Я пользуюсь затишьем и покоем ранних утренних часов, чтобы предпринять обзор положения. Сперва все шло недурно. Но спустя два или три дня Долорес, дотоле удивительно нежная, разъярилась до невероятия. В такие моменты совместное существование с ней становится немыслимым, Долорес срывает дурное настроение на ком попало. Все новые тучи появляются и сгущаются на нашем горизонте. Наш нынешний многоярусный скандал слагается примерно из двух главных ссор и трех второстепенных. Развиваются они параллельно, и каждая из них, в свою очередь, воздействует на остальные; но лучше всего будет, если я опишу их последовательно, в порядке их масштаба и весомости. Первую распрю вызвал Баяр своим необузданным любовным порывом к маленькой сучке г-жи баронессы Снитчи или Схенитцы — ни я, ни метрдотель не сумели точно установить звучание этой фамилии. Итак, я буду ради простоты называть эту даму «Госпожой Баронессой».

Началось это сразу же после приезда Долорес.

Пока я был один, Баронесса была для меня только парой выцветших глаз, посаженных по обе стороны маленького острого носика и смотрящих с чрезмерно напудренного лица из-за столика в углу столовой. У нее была побелевшая гривка, должно быть, парик, полуприкрытый маленькой плоской кружевной наколкой, и она была закутана в целый ворох ненадежно скрепленных булавками белоснежных и кремовых кружевных шалей. Проходя через столовую, она превращалась в согнутую в три погибели, трясущуюся старушонку, тяжело опирающуюся на трость черного дерева. Теперь я знаю сверх того, что Баронесса слегка туга на ухо, хотя и не следует на это полагаться. Она пользуется маленькой серебряной слуховой трубкой, обернутой в кружева. Белый шпиц Баронессы вел себя примерно до самого появления Баяра. Однако, едва появился Баяр, как мы узрели пример любви с первого взгляда.

По правде говоря, недоразумение с госпожой Баронессой назревало еще до собачьего инцидента. В день приезда Долорес мы сошли к завтраку с некоторым

опозданием и увидели, что кто-то из экскурсантов, пользуясь отлучкой метрдотеля, который побежал на кухню проследить за диетой для Долорес, занял забронированный мною столик. Долорес твердо убеждена, что в каждом новом отеле следует сразу же повести себя надменно и высокомерно, а тут еще как раз представился для этого великолепный случай. Сквозь лорнет она с явным пренебрежением осмотрела сидящих в зале.

— Нужно было на столике положить соответствующую карточку,— заявила она, а потом обратилась ко мне:— Какой столик ты забронировал, Стини?

У меня не было намерения силой выдворять ни в чем не повинных туристов, и поэтому я решил сделать вид, что позабыл.

— Не помню, какой-то из этих столиков...

— И это называется деловой человек! Не помнит, какой столик заказал!

— Минуточку, мадам, простите,— попробовал сгладить неловкость метрдотель.— Столик сию минуту освободится.

— Который? — спросила Долорес, лорнируя всех кругом и надменно обозначая бездну, отделяющую ее царственную особу от всех этих людишек.

— Один из этих,— сказал метрдотель.— Быть может, уважаемая мадам соблаговолит минутку обождать на террасе? Мы подали бы пока какой-нибудь коктейль?

— Я приехала сюда в поисках покоя и одиночества!— заявила Долорес.— А коктейли — это отрава.

— Да ведь как раз за двумя столиками уже расплачиваются,— прошептал метрдотель.

Долорес критическим взором смерила оба столика, на которые ей указали, и, скривившись, констатировала не вполне изысканные манеры участников трапезы.

— Придется сменить скатерть,— сказала она. Потом она обратилась ко мне: — Стини, подай мне руку. Я чувствую себя прескверно... У меня снова могут начаться боли... А тут даже присесть некуда.

Как из-под земли появилась официантка и подала стул. Моя жена подвинулась так, чтобы блокировать доступ к нескольким соседним столикам сразу. Но в эту минуту столик освободился, и вскоре уже перед нами стояли закуски. Долорес забыла о своей боли.

— Нет сардинок,— сказала она, рассматривая довольно скромную закуску.— А мне как раз хочется сардинок. И тунца...

Вот каков был наш дебют! Госпожа Баронесса, которая до сей поры была, так сказать, Сен-Жерменским предместьем[1] в этой столовой, кисло разглядывала нас. Позвала старшего официанта, указала своей трубкой на Долорес и громогласно, как и положено тугоухой, осведомилась:

— Кто это такая?

Метрдотель решил, что мы можем без всякого ущерба услышать его ответ:

— Это мадам Уилбек, супруга крупнейшего английского издателя. Прежде была принцессой.

Меня всегда поражало, как молниеносно гостиничная челядь и лавочники узнают об аристократическом титуле Долорес. Я ни словом не упоминал об этом, так же как и моем издательском деле, и все же в течение того недолгого времени, какое прошло от приезда Долорес до моего возвращения с прогулки, кто-то (не иначе, как Мари!) успел внушить управляющему, что мы великие люди. Следует признать, что Долорес не выглядела доподлинной принцессой.

— Никакая она не принцесса,— сказала мадам Шеници.

— *Египетская принцесса,*— пояснил метрдотель.

— Ну разве что! — заорала повеселевшая Баронесса и принялась за еду.

Я громко потребовал карту вин, дабы заглушить дрожащий, но внятный голос старушки,— и это все, что я мог сделать.

— Мой милый Стини, зачем ты хлопочешь о вине?— сказала Долорес.— В таком отеле все вина будут одинаковы...

— Вчера я пил вполне приличный кларет,—ответил я.

— Ваши английские суждения! О наших французских винах! Вы, англичане, настолько самонадеянны, что хотите разбираться и в этом. Это составная часть вашего национального тщеславия!

Я только плечами пожал.

---

[1] Аристократический район Парижа.

— Но, милый, я не в обиду говорю,— мягко сказала она,— это в тебе даже симпатично.

Я выбрал вино; принесли сардинки и тунца.

— Тут непременно должны быть комары,— заметила Долорес, поднося лорнет к глазам.— Посмотри на эту официантку. Она или покусана, или...

— Я не видел здесь ни единого комара.

— В таком случае, у этой девушки какая-то сыпь. Нужно потребовать, чтобы она нас не обслуживала.

Через зал прошел официант, неся мисочку с кушаньем для баронессиной сучки.

— Ну да,— сказала Долорес.— Это важнее, чем вино для нас.

Баронесса придирчиво осмотрела собачьи блюда. Официант уважительно поместил мисочку у ее ног, а собачонка капризно принюхивалась.

— Кушай, Долли,— сказала старуха,— кушай.

— Она, кажется, произнесла мое имя? — резко спросила Долорес.

— Кто?

— Эта старая мымра в углу.

— Тише, Долорес.

— Она наверняка не понимает ни слова по-английски. К тому же, видишь, у нее трубка... Надеюсь, что никогда не стану такой развалиной.

Старая дама явно умела не слышать, когда не хотела.

— У нее лицо набелено мукой, как у клоуна. Выглядит не по-людски,— продолжала Долорес.— Взгляни на этот торчащий нос, точь-в-точь как у мангусты... Простите, метрдотель, неужели мы никогда не получим этого вина? Почему на столе нет цветов? Но я люблю цветы. У меня должны быть цветы, хотя бы за это пришлось заплатить особо. Все вокруг меня должно быть эстетично, такова моя натура! Нет, прошу не переставляйте увядший букет с другого столика. Предпочитаю уж обойтись без цветов. Стини, я тебя спрашиваю, она, кажется, произнесла мое имя?

— Кажется, сучку кличут Долли или, может быть, Добби.

Долорес не ответила. Перед нами на столе появился необыкновенно заманчивый омлет. Я видел, что моя

жена колеблется, заявить ли ей, что она не в состоянии проглотить ни кусочка, или уж взять с тарелки львиную долю. Она взяла львиную долю, и я вздохнул с облегчением. Когда подали вино, Долорес стала пить без комментариев и со вкусом.

Это были только легкие предвестники надвигающейся грозы.

3

Я придерживаюсь весьма передовых и либеральных взглядов в вопросах пола, но даже я был возмущен поведением баронессиной Долли. Баяр вел себя не намного лучше. Но во имя истины я должен заявить, что начала бесстыдница Долли, — она стала тявкать от восторга, едва увидела его.

Было это за обедом. Все эти шарабанщики давно уже убрались восвояси. Мелкие утренние стычки забылись — после полудня мы распаковали вещи, и у нас с Долорес был приятнейший тет-а-тет. Казалось, моя жена нынче в большем согласии с жизнью. Контакты с внешним миром складывались гладко. Столовая оказалась достаточно просторной и спокойной, постояльцы обменивались поклонами и приветами, премило беседовали и старались чавкать не слишком громко. На всегдашнем своем месте сидела английская мама с сыном. которая не упускала случая сказать каждому «бонсуар», но, кроме этих слов, ни к кому ни с чем не обращалась. Также на всегдашнем своем месте собралось все многодетное парижское семейство; родители не умели управиться с потомством во время трапезы на глазах такого множества свидетелей и непрестанно увещевали деток, тревожно задавая риторические вопросы: что, дескать, люди об этом подумают? Кроме того, они отпускали замечания, предназначенные для всех присутствующих: «Дома ты не так себя ведешь», «Дома это тебе не пришло бы в голову», «Ты возбужден и забываешь все, чему тебя учили. Взгляни на этого господина, на этого симпатичного английского джентльмена, он возмущен тобой!»

В столовой были еще три мещанские супружеские пары, совершающие свадебное путешествие. Одна из этих пар имела вид весьма вульгарный, две другие были юные и робкие.

Довольные уловом, вошли два рыболова-любителя, англичане или, может быть, ирландцы. Одиноко сидел какой-то господин в лоснящемся сером костюме, явный коммивояжер. Круглое лицо его было поразительно похоже на брюхо.

Мы добрались до середины обеда. Долорес критическим взором обвела все общество и оценила его как «весьма банальное», так же, как много лет назад во время памятного пребывания в Антибах. В этот миг вошла Мари, неся Баяра, который до сей поры отдыхал после трудного путешествия.

Сомневаюсь, чтобы Долли действовала и впрямь под влиянием внезапного вожделения. Полагаю скорее, что ею овладело вдруг дикое желание поиграть, тоска по собачьей дружбе, что она сразу же ощутила к Баяру симпатию, возможно, не имеющую абсолютно ничего общего с зовом пола. Весьма возможно, что кажущаяся бесстыжесть сучки была лишь доказательством полной невинности ее намерений. Мне трудно об этом судить. Однако ответ Баяра на это приглашение был вполне недвусмысленным. Баяр, хотя он и комнатная собачка изысканной дамы, проявляет порой неожиданную грубость чувств. И столь же недвусмысленными были возмущение, гнев и омерзение, охватившие Баронессу.

Мы ни о чем не ведали, как вдруг до нашего слуха долетел возглас престарелой дамы: «Какая мерзость!» Баронесса с трудом поднялась, схватила трость и, прежде чем кто-либо успел вмешаться в эту историю, нанесла Баяру сильный удар.

— Отойди от него, Долли! — вопила она.— Отойди сейчас же!

Баяр взвыл от удара, но отнюдь не намеревался расстаться с новой, столь милой и обворожительной знакомой.

Старушка опять замахнулась на него.

— Мадам! — крикнула Долорес, срываясь с места.— Прошу не трогать мою собаку!

— Мадам,— громогласно, но не изобретательно отпарировала Баронесса,— прошу вас забрать отсюда вашего гнусного пса!

С помощью метрдотеля мы растащили собачонок, оставив обеих дам лицом к лицу. Баяр тявкал и вырывал-

ся из рук, но я прижал его крепко под мышкой. Долли тщетно пыталась истолковать сперва эту стычку как забавную игру; теперь же она поняла серьезность положения и убралась под юбку своей хозяйки.

Долорес говорила:

— Я полагаю, что мадам отдает себе отчет, сколь непристойно поступила она, введя в среду иных собак суку в этом состоянии!

Баронесса ответствовала:

— Моя собачка великолепно себя вела. Ей хотелось только поиграть, порезвиться. Не знаю, что у вас в мыслях, когда вы говорите «в этом состоянии». Я вас не понимаю. Это ваше замечание, мягко выражаясь, весьма неделикатно. Иди ко мне, Долли! Этот гадкий, развратный песик так обидел тебя.

Пожилая дама с величайшим достоинством возвратилась на свое место. Долорес расселась еще достойней. Я все еще держал Баяра под мышкой. Старший официант беспокойно вертелся поблизости. Долорес глядела на меня гневно и презрительно, последние остатки нежности исчезли из ее взгляда.

— Ты не мог бы отпустить его, Стини, чтобы он съел свой обед?

— А не лучше ли отослать его к Мари, наверх?

— Значит, ты считаешь, что я должна прогнать своего песика, потому что так заблагорассудилось какой-то незнакомой особе?

Я потерял терпение.

— Пусть все собаки катятся к дьяволу,— сказал я. И опустил Баяра на пол, как некто, умывающий руки. Баяр мгновенно вернулся к своему прежнему занятию, а я принялся за еду с такой миной, как будто я слеп, глух, радикально холост и перенесен в какой-то иной мир, где нет ни собак, ни полового вопроса. А в это время в столовой шел поединок не на жизнь, а на смерть. Мари, мадам Юно, метрдотель, угреватая официантка, даже толсторожий коммивояжер — все пробовали вмешаться. К счастью, обе главные героини драмы остались на своих местах. Однако они продолжали высказывать свои мысли столь прозрачно, столь пространно и столь напористо, что порой привлекали к себе всеобщее внимание; таким образом, на долю Баяра и его партнерши ничего

не оставалось. Баронесса, как особа тугоухая, не столько отвечала на слова Долорес, сколько сама по себе провозглашала что-то неприязненное. Содержание этих заявлений принципиально не отличалось от замечаний Долорес, но Баронесса вещала низким и проникновенным голосом, в сравнении с которым голосок Долорес казался крикливым.

Обе дамы признали необходимым принять как можно более аристократический, надменный и властный вид. Каждым жестом и словом они давали понять, что представляют тип истинной гранд-дамы, постепенно исчезающий в этом мире с тех пор, как революция положила предел обычаям XVIII века. Но сквозь панцирь ледяной надменности прорывались на поверхность яростные жала и языки пламени. Каждая из гранд-дам старалась как можно более выразительно доказать, до чего необоснованны претензии противной стороны. В душе каждой из них базарная торговка боролась с королевой. Они непременно употребляли такие обороты, как: «Вы, мадам, позволяете себе говорить» или «если мне позволительно будет заметить», но совершенно не ожидали позволения. Естественно, у каждой из них был свой особый стиль. Баронесса склонна была витать в эмпиреях, надменно пренебрегая тем, что люди наших дней называют «делами житейскими»; Долорес же, напротив, осталась верна своей склонности уснащать беседу пикантными подробностями и развивала в вольнодумном вкусе, весьма живо и обоснованно свои соображения о запросах сучьего темперамента. Многие фрагменты диспута пролетели мимо моих ушей. Я старался убрать голову с пути этой лавины, как бы спрятаться за парапетом или насыпью. Но в какой-то миг начал снова прислушиваться.

Долорес выражалась примерно так:

— Позволю себе проинформировать вас, мадам, что мой песик — дипломированный породистый пес и что он абсолютно безупречен. Он мог бы оказать бесценные услуги собаководству, ибо он не испортит ничьей родословной. Впрочем, мне совсем не хочется, чтобы он этим занимался. Хотя, конечно, ваша, мадам, псина, которая все же в некотором роде шпиц...

Придирчивый взгляд сквозь лорнет.

А Баронесса в это время произносила такие слова:

— Долли не выносит дурного обхождения. Она необычайно впечатлительна. Когда я запираю ее одну в моей комнате, она выражает свою обиду совершенно недвусмысленным способом. Не только, простите, мадам, тявкает и воет, хотя и это весьма знаменательно и грустно. Это создание с необычайно нежным сердцем хочет постоянно быть со мной. Комната, в которой меня нет, кажется ей попросту двором. Наоборот, вашего песика, мадам, можно держать в черном теле. Никогда в жизни не встречала я столь дурно воспитанной собаки. Никогда! Вот такие упрямые, неблаговоспитанные животные могут испортить все удовольствие от комнатной собачки. Одному богу известно, как воспитывался этот пес...

Вдруг я принял решение. Эта комедия явно затянулась. Я поднялся, повелительно взмахнул белой салфеткой, смахнул при этом стакан со стола, и звон стекла на миг заглушил все другие звуки.

Я принял героическую позу — стал похож на генерала с портрета XVIII века.

Чужим, совершенно несвойственным мне властным тоном я заявил:

— *Все* собаки должны убраться отсюда! Мари, прошу забрать Баяра. Все равно, *чем он занят* в эту минуту. Прошу его забрать и унести! Немедленно! А вы, мадам, простите меня, но вы тоже должны отослать свою сучку. Мадам Юно, прошу вас, распорядитесь, чтобы собак вообще не допускали в столовую. Во многих отелях существует такое правило. Отныне вы должны ввести у себя такой же порядок и не делать ни для кого исключений. Я не сяду за стол снова, пока обоих животных не выпроводят отсюда и не будет восстановлено спокойствие.

— Это единственный выход из положения,— объяснил Баронессе метрдотель, взывая к ее здравому смыслу.— Мсье Уилбек совершенно прав,— и я заметил, что все в зале облегченно вздохнули. До ушей моих донеслись слова одного из рыболовов, который что-то пробурчал о том, что, дескать, надо бы пристрелить обеих подлых тварей. Мадам Юно взяла на руки маленькую Долли, а Мари после недолгой борьбы схватила Баяра. Повздорившие дамы явно были довольны собой, они па-

говорили с три короба — и теперь самое время было продолжать обед.

— Если только обе собаки покинут столовую...— заявили они одновременно с такими минами, как будто они сами нашли столь чудесный выход из положения.

— Почему это ты, Стини, не всегда высказываешься столь определенно? — промолвила Долорес, когда в зале снова воцарился порядок.

Я понял, что в этот миг Долорес видит во мне сильного и решительного мужчину и что она примет все, что будет гармонировать с этой ролью.

Обе повздорившие аристократки продолжали взаимно презирать друг друга, но в их маленькой войне было объявлено нечто вроде двухдневного перемирия. Вопреки явному запрещению Долорес я упрямо продолжал любезно кланяться старой даме, сколько раз ее ни встречал. Не следует грубить престарелым особам, если даже вы надеетесь этим доставить удовольствие какому-нибудь третьему лицу. Баронесса награждает меня в ответ царственным кивком. Она, безусловно, хочет таким образом показать, что я ее отнюдь не обидел и что она даже сочувствует мне как мужу Долорес. Но для Долорес мой поклон старушке означает, что я признаю правоту ее противницы, и поэтому мне приходится выслушивать по этому поводу множество резких упреков.

4

Как я уже упоминал, Долорес два или три дня оставалась в более или менее терпимом настроении. Я усиленно и успешно старался поддерживать это настроение. Позднее, однако, Долорес ускользнула из-под моего влияния и верх одержали в ней наихудшие склонности. В такие моменты она ежеминутно может устроить скандал, неожиданный и чрезвычайно некрасивый. Чаще всего и прежде всего она устраивает сцену в столовой. Долорес заявляет, что от негодования у нее дыхание перехватило, встает и выходит. На этот раз поводом для конфликта стал наш давний спор о Летиции, о котором я расскажу позднее; но одновременно Долорес напала на мысль, которая чрезвычайно обострила ссору с напудренной Баронессой.

Когда я замечаю, что Долорес закусывает удила, я стараюсь либо улизнуть в Англию, либо делаю, что могу, дабы разрядить атмосферу: предлагаю автомобильные прогулки, выезд в театр или какие-либо иные развлечения, хотя бы и не вполне добродетельного порядка. Долорес разряжает свой гнев на пейзаже, животных, незнакомых людях, законах природы или созданиях рук человеческих, причем она критикует все с никогда не ослабевающим пылом, пользуясь чаще всего этим пренеприятным французским оборотом: Je trouve[1]... Эти два словечка вечно терзают мой британский слух, ибо в них заключается квинтэссенция ее неуместных и непрошеных суждений. Итак, Долорес «находит», что это «banal»[2], а то — «un peu stupide»[3], и в этом духе успевает проехаться по всему, что входит в ее поле зрения.

— Не могу тебя поздравить с тем, что ты выбрал этот маршрут, Стини,— говорит она. Она чувствует себя *«обязанной»* высказать мне *разные разности*, представляющиеся мне совершенно излишними. Возможно, что наша вселенная в целом и в частностях не вполне хороша, но я не вижу надобности беспрерывно об этом твердить. Стараюсь, однако, пропускать мимо ушей ее безапелляционные приговоры, ибо она делает все, что в ее силах, дабы испоганить все на свете.

Мы осматривали одну из многочисленных фигур у подножия распятия возле маленькой часовни в Сен-Эрбо. Я что-то говорил о статуях, изображающих святое семейство, но Долорес вовсе не слушала меня.

Она уже с самого утра была молчалива и задумчива. Не воспользовалась до сих пор ни одной из подвертывавшихся ей оказий, чтобы проявить свое презрение ко всему, что окружает нас в юдоли сей. И вдруг Долорес *обрела дар речи.*

— Я уже знаю! — воскликнула она.

— Что такое?

— У этой женщины проказа.

— У какой женщины? В священном писании все прокаженные, как правило, мужчины. Или ты имеешь

---

[1] Я считаю, мне кажется *(франц.)*.

[2] Банально *(франц.)*.

[3] Глуповато *(франц.)*.

в виду ту фигуру с левой стороны? Какой-то варвар попросту отбил ей камнем кончик носа.

— И, более того, я уверена, что мсье Юно об этом знает.

Теперь я испугался не на шутку.

— О ком ты говоришь, Долорес?

— Мы не можем ни минуты дольше оставаться в этом отеле, разве только она выедет. Это подло. Это омерзительно. Это неслыханно.

— Но, дорогая моя, с чего это тебе взбрело в голову...

— Я почувствовала что-то с первой минуты, когда увидала эту отвратно набеленную физиономию. Мы можем заразиться, хотя бы через собак...

Я взглянул на Долорес и с энергией отчаяния произнес:

— Послушай, с этим ты должна немедленно покончить!

— Ну, конечно, нужно с этим покончить. Нельзя терять ни минуты.

— Если ты без малейших оснований хочешь пустить слух, что в Торкэстоле появилась проказа, то знай, что не только эта несчастная старушка...

— «Несчастная старушка»! Вот так любящий супруг!

— Одним словом, не только она, но и все другие смогут обвинить тебя в клевете и диффамации. Ты причинишь ущерб супругам Юно, нанесешь ущерб официантам, ты лишишь их сезонного заработка. Пострадает репутация всего городка. Вся эта публика получит самый что ни на есть основательный повод, чтобы вчинить нам иск и потребовать компенсации. Ты разворошишь муравейник, моя дорогая. Мы до конца наших дней не сможем выпутаться из всего этого. Еще никогда тебе не приходила в голову более самоубийственная идея.

— Ты, как всегда, в своем репертуаре!— крикнула Долорес.— Все тот же мой супруг — слащавый и любезный в обхождении со всеми на свете и как всегда против меня! Вот законный и любящий супруг!

— Но, Долорес, подумай, какие у тебя есть основания утверждать, что эта бедная старая дама...

— «Дама»!

— Ведь ты же не можешь указать на какие-либо симптомы,— их попросту нет!

— А я тебе повторяю,— у этой женщины проказа. Я знаю. И мы и все постояльцы отеля — все мы в ужаснейшей опасности. Тебя, понятно, это не трогает, тебе ни до чего на свете нет дела. Если бы не я, мы жили бы в дерьме, нас бы черви сожрали! И для того только, чтобы избавить тебя от лишних хлопот, я должна буду остаток жизни провести в какой-нибудь колонии для прокаженных, и от рук моих останутся только искалеченные культи, и нос у меня отвалится...

— Но позволь...

— Неужели ты и впрямь не можешь меня понять? Даже если эта женщина не прокаженная, я, с моими нервами, могу заболеть проказой на нервной почве, меня истерзал страх,— все равно, больна она или нет.

— Слушай, Долорес, она такая же прокаженная, как мы с тобой.

— Тогда пусть ее обследуют врачи. Этого по крайней мере можно потребовать ради моего спокойствия!

— Ради всего святого, Долорес! Ты и впрямь хватила через край! Я не позволю тебе впутаться в такую историю!

— Не я начала это дело. Это все ее вина. Что ты видишь особенного в том, что мы потребуем медицинского освидетельствования?

— Ты хочешь оскорбить ее самым утонченным и неслыханным образом! Допустим, что ты это проделаешь. Ты отдаешь себе отчет, что таким образом объявишь войну не только этой старушонке? Повторяю, у тебя будут процессы со всем Торкэстолем. Они будут требовать с тебя огромную компенсацию.

— Но ведь ты богат, как Крез. Все это говорят. Тебе только тогда жаль денег, когда дело идет о моем здоровье или о моей чести.

— Нет, дорогая моя, тебе это не удастся! Ежели ты упрешься и пожелаешь все-таки втянуть меня в эту ужасную историю, то предупреждаю тебя, что все штрафы будут выплачиваться из сумм, которые я положил в банк на твое имя! Поняла?

— Я не могу есть в одной комнате с прокаженной.

— В таком случае давай соберем вещи и уедем от-

сюда, но ты не вправе говорить кому бы то ни было хоть слово об этом.

— Так, значит, мне пришлось бы уступить этой старой... (тут Долорес употребила малопристойное французское выражение, точного смысла которого я никогда не понимал. Более того, сомневаюсь, чтобы у него был какой-либо точный смысл).

— А ты предпочитаешь уступить своей собственной фантазии?

— И это говоришь ты, который столько наболтал о службе обществу! Ты, с твоими драгоценными «Путями, которыми идет мир». С твоей новой лучшей жизнью! Населению всей округи угрожает ужаснейшая болезнь, а ты находишь только один совет — смыться! Вот ты весь как на ладони! Болтаешь об идеалах, об усовершенствовании мира, а сам ни крошечки в это не веришь!

Мы дошли до машины в молчаливом бешенстве. Поехали обратно в отель.

— Долорес,— сказал я наконец.— Тебе никогда не приходило в голову, что ты когда-нибудь зайдешь слишком далеко?

— Тем, что я говорю тебе чистую правду?

— Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

— И этого человека я тысячу раз держала в своих объятиях!

— Быть может, даже больше. И, несмотря на это, есть же все-таки известные границы.

— Ты мой муж.

— Случается, что и мужья покидают жен.

— Ты угрожаешь мне? Знай, что я пойду за тобой по пятам, хотя бы ты убежал на край света. Я сумела бы отомстить. Тебе кажется, что я бессильна. Пусть я только увижу при тебе другую, есть еще на свете серная кислота! Любой суд меня оправдает, когда я расскажу свою историю. Это будет большой процесс. Я выведу тебя так, что люди тебя надолго запомнят!

Ей явно понравился этот проект.

— Ты ошибаешься, дорогая,— ответил я.— Никто не станет интересоваться моим характером в твоей интерпретации. Тем более, что ты, безусловно, будешь говорить только о себе. А так как я только безвестный, скромный издатель, то и тебе эта история особой славы

не принесет. Тебе следует понять, что вся эта идея насчет проказы может переполнить чашу. Всерьез подумай о том, что я тебе сказал; ты можешь зайти слишком далеко.

— И я, дура, приняла этого претенциозного книжника, этого пошлого торговца чужими чувствами за рыцарственного любовника! — сказала Долорес.

Я понял, что она выходит из игры. Она начала распространяться о моей нравственной низости. Идея заклеймить меня перед судом в самом остроумном и язвительном роде, разделать меня на все корки явно разжигала ее воображение. Ей представлялось, что суд, покоренный ее красноречием, отрешится от всяческих формальностей и она, прославленная, выйдет из залы суда. Эта фантазия отвлекла ее мысли от Баронессы.

Остаток пути мы провели в молчании. Долорес сидела, погруженная в мечты, усмешка блуждала на ее устах, руки время от времени словно бы намечали какой-то риторический жест. Она обдумывала ядовитые фразы насчет моего характера и моих манер. Я сидел за рулем, в душе наслаждаясь ее молчанием. Вид у меня, должно быть, был непреклонный и грозный.

Это было несколько дней назад. Теперь фаза максимальной злобности миновала, Долорес приходит в нормальное состояние. В ее крови берет верх шотландское начало. Она приняла к сердцу все, что я сказал ей о возможных процессах и компенсациях; пока, впрочем, никаких существенных перемен на фронте борьбы с Баронессой не произошло. Долорес определенным образом не сформулировала обвинения в проказе, она не сказала об этом никому, даже своей горничной Мари; и мне кажется, что она решила ограничиться упоминаниями о «какой-то ужасной кожной болезни, ибо как еще объяснить этот толстенный слой пудры?»

Но и этого она не высказывает в определенной форме. Ограничивается деликатными инсинуациями. Долорес не торопится перейти в наступление, а с каждым упущенным днем положение улучшается, ибо теперь она не может сослаться на свое внезапное и невероятное потрясение.

Теперь она изображает только боязнь заразиться, приказывая передвинуть наш столик как можно

ближе к окну и демонстративно приобретая у местного аптекаря обильные запасы дезинфицирующих средств. Говоря о Баронессе, называет ее «особой с физиономией прокаженной» или «особой с отвратительным гниющим лицом», но покамест все считают эти эпитеты банальным оскорблением, а не злобной клеветой. Конечно, в любую минуту, по любому поводу может произойти взрыв, но, во всяком случае, положение сейчас не настолько напряженное, как несколько дней назад.

Таков наш спор № 1 — наиболее безотлагательный и требующий немедленного разрешения. Если произойдет взрыв, то либо нам придется тут же съехать, либо, что не представляется мне правдоподобным, съедет Баронесса. У меня создалось впечатление, что почтенной даме этот скандальчик приелся не меньше, чем Долорес, но бедная старуха до сих пор не оценила всей тяжести обвинения в проказе. Но теперь, даже если Долорес начнет это дело, последствия уже не будут столь катастрофическими. Обе дамы бесспорно будут угрожать, что обратятся в суд, но, по всей вероятности, угрозами дело и кончится, а исчерпав фантазию, они наконец устанут от оскорблений, и все разрешится в некоем диминуэндо. Мы возвратимся в Париж, Баронесса уедет туда, откуда приехала; новые, более увлекательные свары займут обеих противниц. Таким образом, гроза расточится в воздухе. Это были грозные тучи, но, к счастью, мимолетные и преходящие. Спор № 2, напротив, носит куда более хронический и принципиальный характер. Мы берем его с собой, куда бы мы ни ехали. И я не думаю, чтобы эта туча могла развеяться без грозы.

5

Причиной нашего другого, более серьезного спора является моя дочь Летиция. Мне кажется, я уже упоминал, что оставил Летицию после развода у Алисы и Хуплера. Мне думалось тогда, что такое разрешение вопроса самое приемлемое. Но внезапно выяснилось, что в природе моей наряду с сильно развитым чувством долга таится еще и неистребимый инстинкт любви к потомству. По причинам, мне самому неясным, быть может, потому, что во мне дремлют чувства, которым я не

мог дать выход в отношениях с Долорес, я стал в последние годы много думать о Летиции.

Я хотел бы тут представить одни только факты, по возможности не приукрашивая их. Есть ли во мне что-то, что можно было бы назвать сердечной тоской? Я не тосковал по какой-либо конкретной женщине. Я хотел только иметь кого-нибудь, кому мог бы отдать самого себя, кого я мог бы любить, кого я мог бы воспитывать и поддерживать, кому бы я мог помогать. Я уверяю себя, что ничего не желаю взамен или, во всяком случае, очень немногого. Мне кажется, однако, что в этом отношении я чуточку похож на хитрющих старушек, на тех уличных цветочниц, которые ни за что не хотят назначить цену за свои букетики и только твердят: «Сколько дадите, сэр...» В глубине души я жажду чрезвычайно щедрой оплаты. Хочу любить кого-нибудь легко и просто, чтобы это чувство не было ничем ограничено и отравлено. Меня занимает жизнь других людей, так что я способен ради них забывать о себе, но в то же время — и это же совершенно иное дело — я жажду взамен познать неограниченную и невымученную сердечность. Есть в этом и нечто большее. Я мечтаю о союзе с родственной душой, которая приняла бы безо всяких оговорок мою концепцию жизни как творческого усилия. Я сам могу порой усомниться в себе, но это Любимое Существо должно было бы верить в меня непоколебимо. Я тоскую по ком-то, кто бы поддерживал во мне уверенность в собственных силах, кто бы примирял меня со мною самим. Жажду — если употребить избитую фразу — родственной души, родственной по складу ума и чрезвычайно утонченной в своих чувствах. Это должно было бы быть полнейшей противоположностью Долорес, без ее скачков от чувственных восторгов, через безграничное самовосхваление к самой фантастической злобности.

Среди типов, которые Стивен Уилбек как человек обращенный к внешнему миру любит наблюдать беспристрастно, с живым интересом и даже с некоторым удовольствием, обретается также некто, составленный из второстепенных черт характера того же Стивена Уилбека, третьеразрядный актер в труппе Стивена Уилбека, усложненный себялюбец, обращенный вовнутрь моего

существа, отчасти затаенный во мне, мой «эгоцентр». Именно эта глубоко укрытая частица моего «я» никогда не находила успокоения в общении с Долорес. Даже в исполненной прелести атмосфере наших первых дней я ощущал привкус стыда и неясной антипатии, как если бы мой Внутренний Человек давал знать, что его желания были против его воли направлены с достойных путей чувства на какие-то ухабистые и кривые перепутья. Причем мое «я» обвиняет в этом не себя — оно налагает всю вину на Долорес.

Я стараюсь только излагать факты, я не хочу оправдывать ни Стивена Уилбека, ни какую бы то ни было из его разнородных личностей. Так обстоит сейчас дело. Я не могу утверждать с полной уверенностью, но допускаю, что в его душе всегда таилось видение иной, совсем иной любви, лучшей, свободной от неясного привкуса жестокости, который я ощущаю, когда держу Долорес в объятиях. Это видение, эта антитеза Долорес, эта незнакомка с тихим голосом и спокойными движениями, этот незримый третий угол треугольника, является более чем реальным фактором в матримониальной психологии супругов Уилбек.

Еще много лет назад Долорес, которая в подобных вопросах выказывает порой необыкновенную проницательность, сказала мне, что ей кажется, будто я, лаская ее, изменяю какой-то другой женщине и думаю о той, другой. Эта женщина якобы всегда присутствует в моих мыслях, и я не забываю ее ради Долорес. Строя предположения далее, со свойственным ей реализмом, Долорес заявила, что в моей жизни *должна существовать* эта другая женщина. Холостяцкая квартира на Олденхэм-сквер заставила ее отбросить в этом смысле последние сомнения. Воображение моей жены разыгралось, и чувство ревности стало подсказывать ей такие живописные образы неведомой соперницы или соперниц, что все это, вместе взятое, повергло ее в мрачнейшее настроение. Ревность ее, как обоюдоострый меч,— она тем глубже ранит им себя, чем метче им меня настигает.

— Зачем,— спрашивает Долорес,— мужчина стал бы уезжать от жены, если не за тем, чтобы изменять ей?

Поскольку Долорес не признает никаких моих интересов, кроме одного-единственного интереса к ее особе, она не в силах поверить, что меня способно заинтересовать что-либо, кроме женщины. Если я так часто выезжаю, то, очевидно, только по амурным делам, в поисках разнообразия и новизны. Чем меньше доказательств моей неверности, тем хуже для меня,— это значит только, что преступления мои весьма запутанные, постыдные и, так сказать, достигшие известной квалификации. В тихом омуте черти водятся. Долорес воображает, что я возвращаюсь в Париж лишь затем, чтобы отдохнуть после излишеств моей развратной жизни. Конечно, мужчинам, как правило, куда больше импонирует репутация Казановы и Геркулеса, чем сомнительное реноме Иосифа Прекрасного, этого библейского недотепы, но для корректного англичанина в скромном сером пиджаке амплуа распутного сатира, пожалуй, чрезмерно трудоемкое!

Как-то, войдя неожиданно в нашу гостиную, я услышал, как Долорес уверяла некую даму:

— Моя дорогая, в Лондоне нет женщины, с которой бы он не переспал!

Приятельница Долорес подняла взор, полный упований, и кого она увидела? Меня!

Неужели Долорес считает, что при такой отчаянной жизни у меня еще хватает времени и сил, чтобы руководить издательством «Брэдфильд, Кльюс и Уилбек»?!

Все назойливей выслеживая мою Неведомую Любовницу (или даже Неведомых Любовниц), Долорес буквально теряет остатки стыда и совести. Она читает мои письма; раз и другой, словно бы по ошибке, она вскрыла письма, адресованные мне, конечно, потому только, что адрес был надписан женской рукой. А за неделю до нашего отъезда в Бретань я нашел в моей корреспонденции конверт, еще теплый и влажный от пара. Бурная сцена разыгралась, когда Долорес под машинописным фирменным отношением обнаружила подпись Камелии Бронте, выведенную каллиграфически округлым старательным и, несомненно, женским почерком; следует пояснить, что Камелия с недавних пор — моя личная секретарша в Дартинге.

— Приличную женщину так звать не могут,— изрекла Долорес.— Это имя танцовщицы из кордебалета или кинозвезды. Ты как, уже приглашаешь ее в ресторан позавтракать? Ведь так обычно действуют сластолюбивые работодатели-соблазнители?

Идея пригласить кого бы то ни было позавтракать в ресторан в пригородном поселке Дартинг и сама по себе достаточно забавна, но когда я вообразил, что предмет моей ненасытной страсти не кто иной, как милая старушка Камелия Бронте, Камелия, унаследованная мною, если можно так выразиться, от покойного Льиса Чиксхэлтона, который ее, кстати сказать, великолепно вышколил,— Камелия — очкастая, сутулая, вечно посапывающая носом,— я попросту расхохотался.

— Дела идут на лад, не правда ли? — бросила Долорес, толкуя мой смех как проявление грубого самодовольства, столь свойственного такому отпетому повесе и распутнику.

А вскоре после этого приехал в Париж Риджуэй, мой заведующий отделом рекламы, чтобы обсудить со мной, как нам провести одну небольшую кампанию в печати. Он позавтракал с нами, и Долорес сумела похитить его на десять минут для разговора с глазу на глаз. Позднее мы вышли вдвоем с Риджуэем, ибо я хотел показать ему свою новую парижскую контору.

Риджуэй не слишком осведомлен о моей частной жизни, но это добрый и простодушный человек, и вот теперь он был чем-то глубоко поражен, и я видел, что на сердце у него какая-то тяжесть. Мы шли молча, что было весьма необыкновенно, ибо Риджуэй от природы — невероятный болтун.

— Эта женщина *боготворит* вас,— выпалил он наконец.

— Это она вам сама сказала?

— Да.

— Узнаю ее стиль. Ну и что из этого следует?

— Она терзается из-за вас. Она хотела бы окружить вас большей заботой. Ее особенно беспокоит то, что вы делаете в Англии.

— А что я такого делаю в Англии?

— Ваша жена ужасно расстраивается... А когда вы выезжали в Индию и Китай...

— Бог с ними — с Индией и Китаем! Скажите мне, что я такого делаю в Англии?

— Эти дактило... Право же, мне неприятно об этом говорить. Эти маленькие дактило.

— Риджуэй, вы знаете хотя бы, что это такое — «дактило»?

— Но она расстраивается из-за них.

— И она вам не объяснила, что это, собственно, такое?

— Нет.

— Может быть, это какое-то особенное извращение?

— Не знаю. Право, не знаю, ведь я не владею французским в такой мере. Знаю только, что это чрезвычайно двусмысленный язык. Вижу также, что ваша жена тревожится. Она не ревнива, но только ужасно тревожится. Тревожится о вас. А причиной этому эти самые дактило. Уверен, что она употребила это выражение, я не ошибся.

— А там, в Англии, вы не слышали случайно чего-нибудь об этих дактило?

— Еще ничего не выплыло наружу, по крайней мере до сих пор. Пока еще. Но она чрезвычайно встревожена.

— Она просила вас, чтобы вы сказали ей все, что вы обо мне думаете, и так далее?

— Конечно.

— И что вы ей ответили?

— Я старался ее успокоить. Ни о чем таком не знаю и не ведаю.

— Так вы даже и теперь не знаете, что это такое — дактило?

— Простите, но я не настолько любопытен, я вовсе не интересуюсь этими вещами.

— Дактило, мой милый Риджуэй, — это самое обычное во Франции выражение, означает оно... дактилографистку, то есть попросту машинистку.

— Французский язык изобилует двусмысленностями, я знаю.

— Не будьте идиотом, Риджуэй! Моя жена болезненно ревнива, а из американских фильмов и рассказиков она узнала, что каждый американский работодатель заводит шашни со своими секретаршами. И она пола-

гает, что в этом вопросе англичане едва ли чем-либо отличаются от американцев. А что, моя жена не упомянула ни об одной определенной дактило, о какой-нибудь машинисточке, которая возбуждает ее подозрения?

— Нет.

— Очень жаль.

— Но ведь вы не хотите этим сказать, что такая особа *действительно* существует?

Мой собеседник взирал на меня с глубочайшей укоризной.

— Да,— ответил я покаянным тоном. Мне так хотелось поисповедаться, что я признался.— Моя жена считает, что я получаю слишком много писем за подписью Камелии Бронте.

— Что?! — воскликнул Риджуэй.— Наша мисс Камелия? Но это ни в какие ворота не лезет!

— Моя жена ее никогда не видела.

— Невозможно!

— Вы очень это метко определили.

— Я не в силах этому поверить!

— Чему вы не можете поверить?

— Чтобы мисс Бронте была этакой особой.

— Какой?

Мысль Риджуэя будто жернова ворочала.

— Неужели вы мне хотите сказать, что миссис Уилбек, простите, мадам Уилбек, ошибается? Она говорила об этом с глубочайшей убежденностью и уверяла, что знает об этом от вас самого. Что, собственно, вы в этом сами признались. Даже будто бы хвастались этим.

— Но чем, ради всего святого?

— Ну, этого уж я не знаю. Тем, что было...

— Милый Риджуэй, вас случайно нянька не уронила, когда вы были грудным младенцем? А может, вы таким и уродились? Может, ваша мама чего-нибудь очень испугалась перед тем, как вы явились на свет божий?

Риджуэй глядел на меня, и в глазах его рисовалось усилие постичь, в чем, собственно, дело.

— Простите, я таких вещей не понимаю,— объяснил он.— Я в этом не силен. Это не моя специальность.

— Конечно. Но я не вменяю вам этого в вину. Именно благодаря складу вашего ума вы являетесь лучшим специалистом по делам рекламы во всем Лондоне. Ва-

ша мысль катится по избитой колее. Вы думаете, как все. Но прежде, чем мы перейдем к иной теме, я хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали. Вы помните, конечно, что во время летней экскурсии наших сотрудников был сделан групповой снимок, не правда ли?

Риджуэй утвердительно кивнул головой.

— Не можете ли вы получить отпечаток этой фотографии? Сделайте чернилами кружок около фигуры Камелии Бронте и пришлите это моей супруге с припиской: *«Это мисс Камелия Бронте.* Не об этой ли дактило шла речь?» И распишитесь собственноручно. Моя жена, бесспорно, стремится узнать, как выглядит предмет — как бы это выразиться? — дактиломании ее супруга. Дактиломания! Я должен рассказать это Хавелоку Эллису!..[1] Не пожелаете ли вы оказать мне эту маленькую любезность? Очень вам буду признателен. А вот и наша новая парижская контора. Первый этаж и витрина. Как вам это нравится? Я очень интересуюсь вашим мнением, ибо то, что придется вам по вкусу, без сомнения, понравится всем и каждому...

6

Вот так я и узнал, что жена моя (ибо ревность ее росла не по дням, а по часам) докатилась до слежки за мной в Англии и, более того, начала клеветать на меня. Постепенно я выяснил также, что она не только выпытывает обо мне у всех моих приятелей, которые угодили в ее лапки, но также охотно выслушивает сплетни из уст каждого, кто якобы что-то знает обо мне, и сама эти сплетни распространяет.

У нее были богатейшие источники информации. Ее окружало чрезвычайно пестрое общество, составленное из давних знакомых времен Монако и Египта, и его еще сильно расширили новые приобретения: модистки, косметички, обойщики, чудаковатые офранцуженные американцы, русские беженцы. В этом кружке преобладали женщины, чаще всего сверстницы Долорес, необычайно изысканные, надушенные, размалеванные, по непонятным причинам присвоившие себе право представлять

[1] Английский литератор, много писавший о всевозможных маниях.

«высший свет»; одетые с умопомрачительной элегантностью, каждая на свой вкус. Они говорили много, самонадеянно или агрессивно; пересказывали друг другу шепотком на ушко всяческие скандалезные истории, а если уж помалкивали по углам гостиной, то корчили при этом весьма таинственные и вызывающие мины. О, это были совершенно великолепные дамы! Чаще всего они похвалялись друг перед другом своими любовниками, которые, как правило, неохотно появлялись в этом обществе. Однако время от времени какой-нибудь свежеизловленный и еще искренне влюбленный амант бывал тут выставляем на всеобщее обозрение.

— Mais il est charmant![1] — восторгались дамы, разглядывая его со всех сторон. Кроме того, бывали тут немногочисленные гости мужского пола — преимущественно мелкие сплетники из околотеатрального и окололитературного мирка. Это было как бы тусклое отражение того сугубо воображаемого высшего света, который выводят в своих салонных комедиях заправские парижские драмоделы. Вот разве что здесь меньше было мужчин и еще меньше титулов.

А когда я уезжал в Англию, в кружке моей жены начиналось усиленное коловращение. Устраивались сборища за чашкой чая, завтраки, приемы, пикники, совместные прогулки, посещения премьер, демонстраций модных туалетов; впрочем, я не считал нужным и попросту приличным чрезмерно углубляться в эти дела. Возможно, она поступала со мной, как другие красивые женщины со своими мужьями, но не думаю, чтоб это было так. Долорес, безусловно, рассказала бы мне об этом. Она, конечно, дьявол в юбке, но зато она куда менее скрытна, чем обычно бывают женщины. Ей свойственна какая-то своеобразная честность, честность навыворот, нечто вроде кривого зеркала. В зеркале таком отражается все на свете, хотя, конечно, в искаженном и ложном виде. Мне кажется, что свою близкую к ненависти любовь Долорес сохранила исключительно для меня. Любовник мог бы понадобиться ей лишь затем, чтобы использовать его против меня. Но она знала историю Алисы и понимала, что это было бы весьма и весьма рискованно.

---

[1] Он очарователен! (*франц.*)

Правда, в подобного рода делах никогда нельзя быть слишком уверенным. В лексиконе Долорес фигурирует прелестное французское словечко «passades». Быть может, у нее и бывали этакие «passades» — мимолетные капризы. И, конечно, партнерами ее оказывались немножечко запуганные и чрезвычайно молодые мальчики... Лучше, однако, не думать об этих возможностях.

В кружке приятельниц Долорес я считался из ряда вон выходящим любовником; подумать только: любовник и законный муж в одном лице! Сочетание ролей редкое, интригующее и загадочное. Меня считали жестоким ревнивцем, любящим закатывать шумные сцены; и вот теперь, когда Долорес явно изменила тон и тревожилась, безусловно, опасаясь, что я изменяю ей, все ее приятельницы начали с величайшей готовностью доставлять ей сплетни, почерпнутые из вторых или третьих рук или попросту порожденные их собственным воображением. Они как могли подливали масла в огонь.

Долорес было настолько легко раздразнить и вывести из равновесия, что ее товарки видели ее насквозь, и, думается мне, их очень забавляли ее унижение и испуг. Она не любила новостей, которых бы сама уже прежде не знала, и поэтому старалась опережать приятельниц по части сенсационных разоблачений.

— Моя дорогая, я могла бы тебе много об этом рассказать,— говорила она и под влиянием внезапного вдохновения пускалась в интимные подробности: речь ее изобиловала обиняками, намеками — и не слишком тонкими, кстати сказать.

Так, неприметно и без всякого своего участия, я утратил свою безупречную репутацию и превратился из Удовлетворителя Телесной Потребности, из прежнего Петруччио — к сожалению, слишком обремененного делами, — в Чудовище, в Монстра, и, более того, Долорес сама поверила тому, что рассказывала обо мне другим.

Исследуя истоки, развитие и рост этой ревности, я прихожу к предположению, что она поначалу была почти лишена эротической окраски. Это был только естественный конфликт женского эгоцентризма с волей мужчины, который хотел идти собственным путем и действовать в недоступной женщинам сфере. Да и правда, можно ли кичиться любовником, который не лежит покорно у ног

возлюбленной и не проводит жизнь в ожидании ее ласковой улыбки? Сперва, мне думается, Долорес сочинила сказочку о моей неверности, чтобы оправдать свои грозные тирады по поводу моих поездок в Англию. «Что он там делает?» — ломала она голову. Но отсюда уже недалеко было до подозрений, а потом — до глубокой убежденности в том, что я развратен и двуличен. А потом уже естественно было обвинять меня в том, что я-де маньяк и извращенец.

В течение некоторого времени Долорес пыталась внушить себе, что я ищу какого-нибудь необыкновенного выхода для своего темперамента; что, одиноко странствуя по свету, я, перемены ради, занимаюсь мужеложством. Однако вскоре ей пришла в голову более эффектная идея. Ее внимание все более и более привлекала моя дочь Летиция и мой возрастающий интерес к ее судьбе. Ну что ж, Долорес и в этом сумела найти материал для мрачных подозрений.

А я и впрямь все больше думал о Летиции, все горячее тосковал по ней и все сильнее жаждал, чтобы она была рядом со мной. Во всяком случае, это началось, и я не могу точно сказать, с чего это началось. Быть может, я вспомнил о Летиции, когда до меня дошли вести о семействе Хуплеров. Джордж Хуплер служил в какой-то из контор торгового флота в Саутгемптоне, и дела его шли не слишком блестяще. Он давным-давно уже отрекся от каких бы то ни было литературных претензий; причем роман, задуманный им, либо так и остался незавершенным, либо не увидел света, либо был издан и прошел настолько незамеченным, что даже я о нем ничего не слыхал. Летиция, как я узнал, посещала какую-то неважную школу, не проявила никаких особых способностей и сейчас готовилась к какому-то подобию деловой карьеры в местном коммерческом училище. Я был уверен, что Хуплер распорядился ее деньгами скрупулезно честно, но не слишком оборотисто и воспитывал из Летиции весьма заурядную буржуазную девицу. Мне подумалось, что будет лучше, если я сам займусь этим делом. Конечно, тут сказывалось тщеславие, уязвленное мыслью, что мое единственное дитя ничем не блеснет в этом мире, но в то же время тут действовала и чрезвычайно искренняя забота о будущности этого юного существа. Быть может,

я слишком безоговорочно передоверил отчиму ее воспитание. Этому обстоятельству также следует приписать то, что изумленная Алиса получила от меня длинное и дружеское письмо, в котором я сообщал, что часто думаю о ней и о ее судьбе, спрашивал, как живется семейству Хуплеров, что происходит с Летицией и не могу ли я что-нибудь сделать для девочки. Я сообщал еще, что издательская работа все больше поглощает меня и что годы, на мой взгляд, идут, пожалуй, даже чересчур быстро.

После этой прелюдии состоялась встреча. Я придумал себе какие-то дела в Саутгемптоне и, оказавшись там, пошел на чашку чаю к Хуплерам. Хозяйство у них было весьма скромное, хотя, принимая меня, они старались представить все в более выгодном свете. Тесная гостиная носила явные следы специальной уборки, а круглый стол изобиловал закусками. Большое окно фонарем смотрело на речной порт, и с открывающимся оттуда видом гармонировали стоящая на пианино модель старинного парусника, кораблики в бутылках и цветные гравюры с изображениями различных кораблей. В квартире было довольно много книжных полок, а на столике лежали толстые журналы и еженедельники. Меня ввела маленькая прислуга, а вслед за ней появилась Алиса. Она располнела и выглядела приземистее, чем раньше, но темные глаза ее сияли по-прежнему. Она была все еще красива, отнюдь не отреклась от жизни. При ее появлении в моей памяти ожило многое, как будто позабытое. Я узнал ее красивые брови и мило вьющийся локон над ушком. Она решилась поцеловать меня, а я возвратил поцелуй нежно и с некоторым оттенком сожаления. По крайней мере в тот миг я ощутил его. Следует признать, что сцена эта нам отлично удалась.

— Ты потолстел, Стивен,— сказала Алиса.

— А ты все такая же, прежняя Алиса.

— Ого! — начала Алиса, но, услышав звук шагов в передней, поспешно зашептала: — Мы сказали ей, что ты ее крестный отец. Запомни: *крестный!*

Сперва вошли дети Хуплера, мальчик в очках и тринадцатилетняя толстая девочка, а примерно минуту спустя явилась моя шестнадцатилетняя Летиция. Я с удовольствием подметил, что она намного красивее этих детей. Всякий мужчина на моем месте отреагировал бы

подобным же образом. Я не задумывался тогда над тем, что парочка младших Хуплеров находится как раз в самом малограциозном возрасте (уж очень они быстро тянутся!) и что девочка, которая на семнадцатой весне была бы лишена прелести, была бы чрезвычайно жалким и невезучим созданием. Но Летиция показалась мне прелестнейшим подростком. Можно было предвидеть, что она будет столь же привлекательна, как и ее мать на заре нашей любви. На душе у меня потеплело, когда я ее увидел. Личико у нее было умненькое, хотя и немного замкнутое; чувства ее еще не пробудились. Она мало говорила, но зато у нее были красивые руки, и я любовался ими, когда она наливала чай, придвигала тарелки и нарезала торт. Кстати, стоит ли девушке, пока она такая хорошенькая, быть особенно красноречивой?

Если мне не изменяет память, мы беседовали о саутгемптонской гавани, о кораблях и путешествиях, пока не пришел Хуплер.

Он располнел со времен нашего романтического столкновения, сделался увереннее в себе, меньше сутулился, и очки у него были еще сильнее, чем прежде. С первой его фразы я понял, что передо мной энергичный, но туповатый, уверенный в собственном величии господин, один из тех, кто способен омрачить все и вся. Он непременно должен был оказывать омертвляющее влияние на все свое семейство. Я помнил его молчаливым и замкнутым, но, безусловно, его тогдашняя молчаливость вызвана была наплывом бурных чувств. Теперь у него было что сказать каждому — разве только, что слова его, собственно говоря, ничего не выражали и никуда не вели. Приветствовал он меня уважительно и дружелюбно.

— Домик у меня тесный, да свой,— изрек он.— Отсюда видна только речная пристань Айтчен, но мы и тут чувствуем дыхание моря. Удивительно, до чего это влияет на душу! Кровь Островитян! Я, правду сказать, родом из Нанитона, но это неважно. Как видите, я начал коллекционировать кораблики в бутылках. Работа узников и моряков. Это совершенно меня захватило.

Ну, что на это ответить? У меня было безумное желание заявить, что моя тетушка была пиратом. Удержало меня только опасение, что Алиса обидится, решит, что я издеваюсь над ее благоверным.

Хуплер придвинул к себе чашку, и его лучезарная улыбка воссияла над чайным столом.

— Ну как нынче поживает наша Летиция? Свеженькая, как салат, в этом салатном платьице.

Я чувствовал, что должен откликнуться, но ничего подходящего не приходило мне в голову. Хуплер продолжал разглагольствовать.

— Наш сын влюблен в иную стихию — в воздушные пространства. Он будет авиатором или ничем. А с меня достаточно и Дыхания Соленой Стихии.

— Голос сердца...— попробовал я подать голос.

— Вот именно,— ответил Хуплер.— Озон...

— И водоросли,— добавил я, осмелев от успеха.

— А вот Алиса,— переменил тему Хуплер,— чувствует влечение к волнам эфира в ином смысле — любит музыку. Гм?

Несколько невпопад я ответил:

— Это мило и прелестно. Аккорды уюта.

Меня мучила боязнь, что я не смогу без конца обмениваться мыслями на этом интеллектуальном уровне. Выручил меня сам хозяин, обратившись к Алисе:

— Нельзя ли еще чашечку, мамуленька?

Хуплер вдумчиво осушал вторую чашку чаю, а Алиса заметила, что нужно разрезать торт.

— Труднее всего вырезать первый кусочек,— сказала она мне так непринужденно, как будто я был ее подругой-соседкой.— Потом уже идет легко.

— Первый лед...— сказал Хуплер и временно замолк, явно не находя под рукой дальнейших афоризмов

Прочие члены семьи до сих пор помалкивали. Теперь, пользуясь мгновением затишья, заговорил мальчуган:

— Моя модель пролетела сегодня, наверно, целых сто ярдов!

— Он строит модели,— объяснила Алиса.— Тратит на это все свободные часы и все свои карманные деньги.

— Новый Икар,— сказал Хуплер, глуповато улыбнувшись.— А я, стало быть, Дедал. Икару папенька Дедал всю жизнь надоедал!

Я воспринял эту попытку сострить с ледяным спокойствием.

— Orcus in saluto,— произнес я чрезвычайно веско и этими простыми словами надолго заткнул Хуплеру рот.

Гениальная вспышка вдохновения! Это прозвучало как латынь, как ученейшая цитата, это прозвучало как нечто, что высококультурному мистеру Джорджу Хуплеру следовало бы знать наизусть. Хуплер слегка покраснел и, как школьник, захваченный врасплох неожиданным вопросом, уставился в потолок, пытаясь припомнить какое-то толкование, что ли... Потом его глаза, увеличенные линзами очков, обратились ко мне, и он подозрительно стал ко мне присматриваться. Неужели я невежа? Неужели я ошибся в цитате? Или, может быть, я позволил себе подшутить над ним?

Я старательно избегал его взгляда. Во время этого обмена словами я смотрел на Летицию, на ее красивое, но подавленное и покорное личико; ведь в душе я твердо решил, что вырву ее из этой оглупляющей обстановки, прежде чем будет слишком поздно. По правде сказать, если бы даже речь шла о ней, мы могли бы говорить все, что нам в голову взбрело; у нее выработалась уже привычка не слушать, что говорят за столом.

Я раздумывал над тем, каковы, собственно, права крестного. Крестный, быть может, не имеет никаких прав, но, безусловно, никто не вправе запретить ему подбрасывать советы и планы. Итак, я спросил наконец Летицию, когда она поступит в колледж. Я сформулировал вопрос так, как будто дело было предрешено и только срок еще не установлен. Не дожидаясь ответа, я начал расхваливать прелести студенческого существования в женских колледжах в Бедфорде или в Халлоуэе. Любительский театр. Уроки живописи. Чудесные подружки. Болтовня. Игры. Лодочные прогулки. Танцы.

— Все это так, но... — отвечала на это Алиса.

— А почему бы Летиции и не поступить в такой колледж? — спросил я.

Хуплер очень резко подхватил мою мысль.

— Разве можно представить себе студенточку милее, чем наша Летиция? — сказал он с деланным великодушием.

— Да, но расходы! — напомнила Алиса.

— Этого не следует страшиться,— сказал я беззаботно и сразу начал расспрашивать мальчугана, сколько самолетов у него готово к вылету.

Хуплер-младший вскоре вынужден был признать, что для взрослого я весьма недурно разбираюсь в авиации. Я немного подождал, чтобы Хуплеры успели освоиться с мыслью о колледже для Летиции, и вернулся к этому вопросу только тогда, когда дети вышли из комнаты.

— Вы для нее так много сделали,— сказал я,— мне тоже хочется для нее что-нибудь сделать.

Они и не думали сопротивляться. Мне было позволено еще насладиться прогулкой с Летицией под тем предлогом, что девочка покажет мне самую *красивую* дорогу к вокзалу. Мне было приятно идти по городу с этим очаровательным созданием, плотью от плоти моей и костью от кости. Я познавал вкус отцовства, и он показался мне куда приятней, чем я предполагал.

— Вы, должно быть, волшебник,— сказала Летиция.— Я никогда не слыхала, что у меня есть крестный, а тут вы прямо с неба свалились, обещаете мне колледж, путешествия, всякие чудеса. Вы и в самом деле мне не снитесь?

— Прошу тебя, убедись,— сказал я.

Летиция остановилась и заглянула мне в глаза, склонив головку на плечо прелестным движением своей матери, чуточку вызывающим и чуточку нерешительным. Я положил ей руки на плечи и поцеловал ее. Мы поцеловались.

— Вы очень милый,— прошептала Летиция, а потом мы долго шли молча, не зная, что нам еще сказать. Она явно была очень умненькая.

Наконец я прервал молчание.

— Ты должна в совершенстве выучиться говорить по-французски. Я, видишь ли, живу преимущественно во Франции, а здесь я бываю только наездами и работаю, как каторжник. Вот почему мы не могли видеться до сих пор.

По пути в Лондон, растроганный этим нежданным обогащением моего мира, я предавался мечтам. «Я в самую пору вспомнил о Летиции,— подумалось мне.— Страшно счастливая идея. Еще не поздно дать ей образование. Я многое могу для нее сделать. Пошлю ее в колледж, позабочусь, чтобы у нее были красивые платья, буду ее водить в рестораны и театры в Лондоне, познакомлю с одной или двумя дамами из хорошего круга,

которые в курсе моих дел, возьму с собой за границу... Нужно будет обучить ее французскому».

В воображении я уже видел себя странствующим по свету с моей Летицией. Наконец я смогу насладиться обществом женщины, иной, чем Долорес, причем жену мою это нисколько не обидит.

Несмотря на то, что я уже сотни раз имел возможность убедиться в затаенной злобности Долорес, я решил написать ей о своих планах. Итак, в обычном, будничном письме я стал рассказывать ей о том, что занимало мои мысли. Долорес ответила мне пространным посланием. «...итак, как раз теперь, когда я начала наконец привыкать к пустоте моего существования, ты хочешь навязать мне ребенка от другой женщины,— писала она, обвиняя меня далее в жестокости и животности.— Оказывается, покидая меня одну и занимаясь якобы своим издательством, ты на самом деле гоняешься за тварью, которая тебя когда-то бросила, и за ее ублюдком,— может, твоим, а может быть, и вовсе не твоим, ибо что ты можешь об этом знать...»

В этом духе было все письмо.

— К дьяволу! — взвыл я, разорвал письмо, швырнул его в корзину, чтобы уже через минуту снова извлечь, сложить вместе и насладиться одним или двумя избранными местами.

— Зачем я сказал ей о Летиции? —упрекал я себя.

На сей раз Долорес удалось задеть меня за живое. Вместо того, чтобы просматривать текущую корреспонденцию, я бегал по кабинету конторы на Каррингтон-сквер, как зверь в клетке, негодуя, что мои желания наткнулись на новые препоны. «Ежели была когда-нибудь на свете прирожденная убийца,— думал я,— то это Долорес!»

Происходило это три года назад, и с тех пор дело Летиции все более и более расстраивает наши отношения с женой. Это одна из немногих вещей, от которых я не умею отделываться с улыбкой. Моя дочь переживает теперь решающие для девушки годы. Я убежден, что в ней дремлют скрытые способности, но она производит впечатление совершенно не предприимчивой и не особенно честолюбивой, и если я в ближайшее же время не введу ее в хороший круг, где на нее окажут влияние

интеллигентные люди, то обреку ее на будничное и бесцветное прозябание в течение всей жизни. Но не знаю, что делать. Одного колледжа Пирмэйн, куда я ее определил, явно недостаточно. Заведующая школой сказала мне с полной откровенностью, что каждая из девушек дружит там с теми, кто ближе к ней по домашнему воспитанию, общим склонностям и вкусам.

— Летиция не склонна к товариществу и ни с кем не дружит,— прибавила она.

К сожалению, я не могу подыскать для нее подходящее окружение. В Лондоне жизнь моя проходит преимущественно в клубе «Парнасцев», я не держу «открытого дома», как выразилась бы Долорес. В моей квартире мало кто бывает. Иногда я даю обед в мужском обществе или устраиваю чай в честь кого-нибудь из наших авторов. Проблема Летиции заставила меня ясно уразуметь, насколько мой так называемый парижский дом со всем его снобизмом и хаосом отгорожен от истинного света.

Пожалуй, наилучшим возмещением культурной среды, какое бы я мог дать Летиции, было бы мое собственное общество и, скажем, путешествия вдвоем. В Лондоне, поскольку у меня нет ни сестер, ни кузин, ни теток, я мог бы доверить Летицию заботам какой-нибудь из повсеместно уважаемых дам, лучше с дочерью. Я уже давно захватил бы Летицию с собой за границу, если бы не опасался громких сцен, которые бы мне стала закатывать Долорес.

А теперь пора поставить вопрос, к которому я приближался уже с известных пор: не созрело ли дело до такой степени, что следует окончательно и бесповоротно порвать с Долорес, хотя бы ради моего личного достоинства? Конечно, Долорес будет бороться, будет царапаться, как яростная кошка, поднимет страшный шум, да и заплатить придется немало, но если я все это стерплю, то когда заживут следы от ее когтей, я обрету наконец свободу и покой!

Правда, я в этом не вполне уверен. Брачные узы имеют своеобразный характер, и, быть может, Долорес никогда меня от себя не отпустит. Преимущество в супружестве всегда остается за более злобным партнером, и Долорес, конечно, отдает себе в этом отчет. Для развода

в Англии требуется согласие обеих сторон. Долорес знает не хуже меня, что никогда уже никто ей не будет так близок, как был для нее и все еще остаюсь для нее я. Она была бы обречена на ссоры с посторонними людьми, ей пришлось бы удовольствоваться сварами меньшего размаха. Было бы абсурдно называть ее отношение ко мне любовью, но, во всяком случае, я создаю ей престиж, вокруг меня вертится вся ее жизнь. Я составляю средоточие ее интересов и придаю смысл ее жизни.

7

Торкэстоль, 25 августа 1934 г.

Насколько далеко зашла Долорес в своей бурной ненависти к Летиции, я понял, побеседовав с моим кузеном Джоном. С годами Джон все более ревностно сочувствует ближним и вмешивается в чужие дела. Виргиния бросила его ради другого человека и хотела бы выйти за того замуж, однако Джон из сочувствия к ней пытается самым дотошнейшим образом выяснить, *действительно* ли она счастлива; он никак не хочет поверить, что «тот человек» достоин ее, и не желает дать ей развод.

— Настанет день, когда я снова буду нужен Виргинии и она вернется ко мне,— говорит он и твердо стоит на своем.

Мы видимся очень редко, но кузен мой уже с давних времен подружился с Долорес. Он гордится тем, что умеет понимать других людей. А уж способность понимать Долорес он считает одним из своих наиболее ценных качеств. В этом взаимопонимании, как на палитре, сочетаются самые неожиданные тона.

Джон время от времени приезжает в Париж по своим художественным делам — обычно, когда меня нет в Париже,— видится с Долорес; они завтракают или обедают вместе и ведут долгие откровенные беседы о моем обращении с ней. Я виделся с Джоном в Лондоне как раз перед моим последним выездом во Францию. Клуб Джона «Палитра» был временно закрыт на ремонт, поэтому его члены гостили в клубе «Парнасцев», в котором я состою. Я только сел завтракать, когда в ресторан во-

шел мой кузен. Он потоптался немного в дверях, но все же подошел к моему столику.

— Ты не позволишь мне сесть рядом с тобой? — спросил он. Все его поведение не предвещало ничего хорошего.

— Мне будет очень приятно. Я только что приступил,— ответил я.

Джон сделал заказ официанту, и некоторое время мы молчали. Джон был слишком занят собственными мыслями, а я никогда не знал, о чем с ним говорить. Весьма возможно, что Джон ощущал ту слегка презрительную и беспричинную антипатию, которую я к нему питал. Обычно мне удается принимать его не слишком всерьез, и я нахожу даже известную злобную приятность в том, чтобы слушать его — как бы это выразиться? — эмоциональное контральто, однако на этот раз я с первой же минуты совершенно утратил чувство юмора, право, не знаю, почему.

— Знаешь, Стивен, мы иногда видимся с Долорес,— начал он вдруг.

— Я знаю об этом.

— Она плохо себя чувствует. Страдает бессонницей

— Еще бы мне этого не знать!

— Она прескверно выглядит.

— О да, «острый меч — ножнам поруха».

— Она так выглядит, что ужаснуться можно.

Я сделал вид, что плохо его понял.

— Нет, Джон,— сказал я.— Ты преувеличиваешь. Отталкивающего впечатления она не производит. Правда, она слишком красится и, очевидно, начинает стареть, это ее пугает, и она теперь во всем маленько хватает через край. Она очень подурнела, это правда, но ты не должен говорить, что она производит отталкивающее впечатление.

— Я совершенно не хотел этого сказать,— кротко объяснил мне Джон.— Я имел в виду, что она измучена и силы ее подорваны.

— О, насколько я знаю, у нее нет поводов так себя чувствовать. Быть может, именно отсутствие забот и занятий лишает ее сна и подрывает ее силы.

— Не знаю,— сказал Джон.— Не знаю...

Я счел эту тему исчерпанной и начал вполне дружески расспрашивать кузена Джона о его живописи. Когда он устроит выставку своих работ? Что он думает о жанровой живописи, которая сейчас входит в моду?

Джон отвечал весьма рассеянно и вернулся к Долорес.

— Видишь ли, Стивен,— сказал он и выдержал паузу.— Долорес очень несчастна.

— Что ж ты можешь мне посоветовать по этому поводу? — спросил я, когда он умолк.

— Эта женщина тебя *боготворит*. С первого дня. Я ощутил это еще тогда, в те давние добрые времена в отеле Мальта. Это было необычайно красивое и редкостное чувство. Любовь до гроба. Она не из тех женщин, для которых любовь — пустяк.

— Видит бог, что нет! — признал я.— Кого она любит, того и карает!

— А причина всему этому в силе ее чувств,— объяснил мне Джон.— Я не знаю другой женщины, которая любила бы всем сердцем в самом истинном смысле. Но мы не ценим того, что нам легко досталось. Ты, Стивен, делаешь ее *ужасающе* несчастной. Не знаю, отдаешь ли ты себе в этом отчет. Эта твоя последняя история...

— Какая еще последняя история?

Джон пожал плечами.

— Ты знаешь, о чем я говорю.

— Ну ладно, но что тебе до «этой последней истории» или вообще до каких бы то ни было моих историй — если допустить, что они вообще существуют,— какое тебе, собственно, до этого дело?

У него вытянулось лицо.

— Как-никак, я твой ближайший родственник. Я *обещал* поговорить с тобой.

— Ты обещал Долорес?

— Да.

— Ну, так нечего разводить антимонии, говори толком, о чем речь?

— Об этом ребенке. Видишь ли, всему виной этот ребенок.

— Какой ребенок?

— Плоть от плоти твоей, Стивен, и кость от кости. Твоя родная дочь!

Он сопел. В глазах его сверкали гнев и возмущение. Он даже покраснел немного.

— Послушай, Джон,— сказал я чрезвычайно миролюбиво.— Не хочешь ли ты сказать... не инсинуируешь ли ты, скажем, что между мной и моей дочерью происходит нечто... неблагопристойное?

Джон кивнул головой.

— Ах, вот как!

Бывают мгновения, когда ветхий Адам пробуждается в человеке наших дней и велит ему вцепиться в горло противнику. Однако новый, цивилизованный Адам был во мне достаточно силен, чтобы подавить этот порыв и удержать меня от скандальной драки с кузеном Джоном в ресторане клуба «Парнасцев».

— Я не хотел этому поверить, Стивен,— говорил он, побагровевший, задыхающийся, но непреклонный.— Однако Долорес убедила меня. Доказала вполне недвусмысленно.

— Каким образом?

Джон проглотил слюну.

— Прошу тебя, скажи!

— Она всего лишь повторила то, что ты ей сам говорил. Тон, каким ты говоришь о своей дочери. У Долорес чрезвычайно острое чутье...

— У Долорес разнузданное воображение, но это еще не повод, чтобы я отрекся от собственного ребенка.

— Но подумай, Стивен, как на это люди посмотрят!

— Милый Джон, неужели ты хоть на миг можешь поверить этому?

— Разве речь о том, верю я или нет? Меня в это, пожалуйста, не вмешивай. Не вмешивай. Очень тебя прошу. Я вам не судья. Важно лишь то, что Долорес видит в твоей дочери — нет, Стивен, это слишком страшно! — она видит в ней свою соперницу!

— А что ты об этом думаешь?

— Тут дело не в моем мнении. Я твою Летицию в глаза не видал.

— Долорес тоже.

— Но зато она видит твое ослепление.

Минутку я приглядывался к возбужденному лицу моего кузена.

— Джон,— сказал я.— Давай вернемся к реальности. Ты ищешь соломинку в чужом глазу, а не видишь бревна в своем. Почему ты не хочешь дать развод своей несчастной Виргинии?

По лицу Джона пробежала тень неудовольствия.

— Если ты хочешь прибегнуть к совершенно нелогичному аргументу: tu quoque! [1] — начал он и не окончил фразы.

— Тут ведь нет ни малейшей аналогии,— прошептал он миг спустя, низко склонив голову над яблочным пирогом.

— Я признаю, что не могу отплатить тебе ничем столь же грязным, как упрек, который ты мне адресовал,— ответил я.

Он перестал пялиться в тарелку, поднял глаза. У него было лицо великомученика, который исполнил святой долг, а теперь ест яблочный пирог, напоминающий по вкусу власяницу и тернии. Во всяком случае, глотал он с трудом. Мы смотрели друг на друга, и глаза наши ровным счетом ничего не выражали. Я помню, что заметил мешки у него под глазами и складки у рта и на шее. Серые глаза его теперь стали больше, чем в юные годы, веки припухли, рот обмяк. Я подумал, что через несколько лет у Джона будет отчаянно дряблая, жалкая, стариковская физиономия.

— За какие грехи,— сказал я наконец,— судьба наказала меня сумасшедшей, опасно сумасшедшей женой и кузеном, который столь же опасен в своем... идиотизме? Именно такой мне представляется ситуация! Ну, ладно, я и вправду не знаю, что тебе на это сказать, милый Джон. Я не знаю, как быть. Я совершенно ошарашен.

Конечно, это были жалкие слова, но ничего другого не пришло мне на ум. Голова у меня пошла кругом. Итак, я снова повторил: «Совершенно ошарашен».

— Я сказал тебе все, что имел сказать,— заявил Джон.

Я ничего на это не ответил. Мы были слишком хорошо воспитаны, чтобы встать и хлопнуть дверью. И мы закон-

---

[1] И ты также! *(лат.)*

чили завтрак самым пристойным образом, но не проронив более ни слова и не издав, пожалуй, ни вздоха.

— Сыра не надо,— сказал я официанту.— Кофе тоже не надо.

— Сыра не надо, спасибо,— сказал Джон.— Кофе прошу подать мне наверх.

8

Я возвратился из клуба домой вне себя от гнева. Это было уже слишком. На этот раз Долорес сумела довести меня до такой ярости, какой не умела возбуждать уже много лет. Наконец она придумала нечто, к чему я не мог отнестись с легкой душой. Она пробила защитный панцирь шуток, которым я заслонял себя, и глубоко меня уязвила.

Мне хотелось избить этого простофилю Джона, а потом отправиться в Париж и убить Долорес. Конечно, я не мог поддаться этим желаниям. И, более того, я знал, что Долорес не имела бы ничего против: пускай я ее убью, лишь бы это произошло в сугубо драматической манере, чтобы все об этом узнали. Выражаясь точнее, ей понравился бы самый замысел, а не его осуществление.

Мысли клубились в моем мозгу. Я видел опасность в преувеличенных масштабах. Если Долорес пустит слух о моей кровосмесительной страсти к Летиции, то я не могу ни в коем случае перестать видеться с моей дочерью или перестать оказывать ей поддержку, ибо это выглядело бы как явное признание своей вины. Я угодил в трясину. Я не видел другого выхода, кроме как отправиться в Париж и категорически потребовать, чтобы Долорес приняла Летицию в нашем доме, чтобы показывалась в обществе вместе с ней и, таким образом, загладила бы эту гнусную клевету на нас обоих. Но даже если бы Долорес согласилась на это, она не была бы желательной подругой для моей застенчивой и робкой Летиции.

Я понятия не имел, широко или нет распространилась эта сплетня. Быть может, Долорес выдумала ее исключительно затем, чтобы настропалить Джона, и ему только под секретом доверила страшную тайну; а быть может,

раструбила уже всему своему парижскому кружку о самоновейшем грехе своего супруга-извращенца. Разъяренный и потрясенный, я не подумал тогда, что ведь никто всерьез не поверит такому слуху, хотя бы Долорес сто раз повторяла свои слова. Но в какой-то мере люди склонны прислушиваться к самым черным оговорам. Поразительно, насколько укоренилось в наших умах убеждение, что о каждом еще не все плохое сказано. Впрочем, верят в такие слухи лишь настолько, насколько это позволяет приятно пощекотать воображение. Игра начинается и кончается тем, что мы тыкаем пальцем в грешника. Однако мне не хочется, чтобы на Летицию указывали пальцем.

Лишь после нескольких весьма неприятных и отчаянно грустных ночей положение дел немного прояснилось, и я стал видеть всю эту историю в соответствующем свете.

9

Торкэстоль, 26 августа 1934 г.

Еще до отъезда в Париж к Долорес я более или менее восстановил душевное равновесие. Я решил, как всегда, насколько удастся, утихомирить Долорес, каким-то чудесным образом вызвать у нее вспышку великодушия и склонить к тому, чтобы она приняла Летицию в нашем парижском доме хотя бы на краткий срок, только бы развеять грязные слухи. Всякий раз я забываю, как неисправима Долорес. Я, всегда склонный смягчать свои слишком суровые и поспешные суждения, наверно, до конца моих дней не постигну, почему Долорес так упорствует в своей злобе. То, что Долорес однажды схватила, она уже не выпускает из рук. Она никогда не отрекается от своей лжи. Если я пытаюсь разрешить дело полюбовно, она видит в этом проявление слабости и сразу же старается ее использовать, ничего не уступая взамен. Разобравшись в моих намерениях, она увидела в этом предложении новое оружие против меня.

— На сей раз,— заявил я,— я тебе не уступлю.

Сколько раз я повторял: «На сей раз — нет!» И потом уступал.

— Ни ты, ни кто-нибудь иной не сможет разлучить меня с моей родной дочерью,— сказал я твердо.

— Итак, вот уже до чего дошло! Вот как скверно с тобой! Ты совсем ослеплен!

— Ты не получишь своей месячной квоты.

— Я пойду в суд. Мне следует на пропитание!

— Ну так я урежу твою квоту *наполовину*.

— Я начну бракоразводный процесс. Да, Стини. Я так разукрашу тебя, что ты прелестно будешь выглядеть в глазах твоих уродских английских приятельниц! Твоя собственная дочь, во всяком случае, твоя якобы дочь — как соучастница! Весь Лондон будет говорить об этом! Но твоя Летиция не будет единственной соответчицей! О нет! Не думай, что все твои друзья столь же скрытны, как ты. Я знаю все. И твоя тайная квартирка выйдет на свет божий! Ты-то думал, я не узнаю?.. Разве ты никогда не слыхал о частных детективах? Достанется на орехи и твоей Камелии Бронте и прочим дамам. В чудном свете предстанут твои «Пути, которыми идет мир», твое «Новое Человечество», все твои благоглупости. Не бойся, людские языки получат работу. Так что я тебе советую, Стини, подводи черту, пока не заставил меня зайти слишком далеко. Кончай с этим, пока не поздно. Я никогда не соглашусь, чтобы эта грязная девица, эта маленькая дрянь приехала сюда и выставила меня из собственного моего дома. Сделай из нее дактило. Это все, на что она годится. Отдай ее в ученье к портнихе, если в Англии вообще существует хоть одна настоящая портниха. Пусть научится работать...

И так далее.

Не прошло и часа после этой сцены, как мне пришлось противостоять новой атаке Долорес — на этот раз любовной атаке.

— Я люблю тебя. Видишь, как я тебя люблю? Почему ты меня никогда не хочешь понять? Почему ты всегда стараешься меня огорчить? А ведь я для тебя готова на все, на все!

— За исключением одного...

— Не возвращайся к этому. Ты опять хочешь меня расстроить? Какая женщина вынесла бы то, что я выношу? Почему тебе все время приходят в голову всякие глупости? Какой ты ужасно упрямый!

10

Задолго до нашей ссоры из-за Летиции возникла затяжная история с нашими двумя слугами по фамилии Беньель. Маргарита Беньель была кухаркой, а ее муж Франсуа — шофером. Понятия не имею, почему Долорес решила разорить их. Я испытывал тогда чувство бессилия, подобное тому, которое терзает меня сейчас, когда мы рассорились из-за Летиции, только что теперь это чувство глубже, сильнее и к тому же окрашено стыдом. Я был номинальным работодателем Беньелей, и из моего дома они были изгнаны самым оскорбительным образом. Сам я им украдкой помог, но Долорес смягчить не сумел. Они заняли теперь прочное место в ее иерархии человеконенавистничества.

А ведь они были ее собственным открытием. Мы встретились с ними случайно, когда объезжали замки над Луарой. Это было шесть или семь лет назад. Долорес страдала зубной болью, ее донимал коренной зуб, и она чрезвычайно разнервничалась. По ее словам, ей попался какой-то подлец дантист, хотя одному богу известно, в чем состояли его преступления; я приехал в Париж и, чтобы развлечь и утешить Долорес, устроил эту экскурсию. Она презирала туристов и отели для туристов, как, впрочем, презирают их и все туристы в мире. Она решила заезжать в маленькие гостиницы в поисках вымирающей старой, доброй, домашней французской кухни. Чаще всего мы получали подтверждение, что кухня уже пришла в упадок, и убеждались, что в маленьких гостиницах она неотделима от весьма относительной чистоты и неисчислимого количества мух.

Но у Беньелей было иначе. Маленькая гостиница сверкала чистотой, завтрак был исключительно вкусный, притом цена была даже чрезмерно низкой. В неведении и простоте душевной они слишком мало брали за свои услуги. Мы завтракали и обедали в беседке, увитой зеленью, с видом на излучину тихой серовато-голубой реки, а в отдалении, сквозь купы стройных деревьев, виднелся замок Амбуаз, возвышающийся как гроздь кристаллов кварца среди менее плотных кристаллов — городских домов.

Я вел машину сам, мы путешествовали без шофера.

Я не люблю постороннего человека в машине, в особенности потому, что Долорес сразу же пускается в разговоры. Мотор барахлил, и поэтому я осведомился, где находится ближайший гараж. Франсуа вызвался сам произвести ремонт и сделал это не только очень искусно, но и с явным удовольствием. Он был прежде шофером. Это был типичный француз — невысокий, голубоглазый, с тонкими чертами лица — и истинный мастер на все руки. Я догадался, что совершенная в пропорциях беседка и прехорошенький садик — также дело его рук.

А Маргарита тем временем приготовила превосходный завтрак и подала его, мило улыбаясь.

Они радовались нам, как будто мы к ним с неба свалились. В их глазах я был тем самым легендарным английским милордом, о каком и по сей день мечтают провинциальные французские трактирщики, и Франсуа сказал, что он никогда в жизни не заглядывал под капот лучшей машины, чем моя. Мне пришло в голову, что о таком месте можно только мечтать: здесь Долорес отдохнет, успокоит нервы, избавится от убийственной жажды влепить дантисту пулю в рот, чтобы посмотреть, как он переносит зубную боль, и отречется от мечтаний об отмщении за все, что подлый дантист ей сказал, сделал и не сделал. Можно было осесть в доме Беньелей и совершать оттуда вылазки в окрестные замки, вверх или вниз по течению реки, наслаждаясь при этом превосходством над толпой обыкновенных туристов, возимых в шарабанах и получающих корм всей оравой в отелях.

Наше предложение привело Беньелей в восторг. Они сразу начали относиться к нам так, как будто были старыми слугами нашего семейства. Весь дом они отдали в наше распоряжение. Были для нас на все готовы. После полудня я повез Долорес в лодке по реке. Она расхваливала красоту, богатство и бесконечное разнообразие впечатлений во Франции, сравнивая ее с Англией, к большой невыгоде для моего отечества. Я признал ее правоту.

Обед был простой, но отличный в своей простоте, а вино «Вуврэ» — превосходное. Луна выглядела так, как будто она специально в нашу честь умылась и надраила физиономию, а Долорес в любовной растроганности позабыла о зубной боли.

Наша комната оказалась идеально чистой, а Маргарита пообещала нам на завтрак сдобные рогалики и кофе.

— Где еще, кроме Франции, ты нашел бы таких культурных людей? — спросила Долорес.

— Да, где еще! — как эхо, ответил я.

Мы узнали, что Маргарита смолоду была в услужении. Она готова была по желанию Долорес приводить в порядок и гладить ее туалеты. Она сказала даже, что это доставило бы ей большое удовольствие, как воспоминание о счастливых, спокойных временах.

В этих благоприятных условиях Долорес мгновенно расцвела и превратилась в необычайно великосветскую даму. Она все чаще пользовалась предложенными ей услугами хозяйки, превосходно знающей обязанности прислуги, нашла множество мелочей, требующих вмешательства Маргариты, и когда я блаженно покуривал в беседке, я слышал доносящиеся из окна звуки льющейся сплошным потоком дружелюбной беседы. Голос Долорес струился ручейком, насыщенный модуляциями, безмерно изысканный, обворожительно ласковый. Маргарита отвечала с должным уважением. Вскоре она узнала, что я очень богатый человек, который занимается изданием книг не столько из-за денег, сколько из любви к делу и ради огромного, хотя и не выставляемого напоказ влияния, которое он благодаря этому приобретает. Она же, Долорес, была прежде принцессой, хотя теперь не пользуется титулом, а через отца-шотландца и клан Стюартов состоит в отдаленном родстве с британским королевским домом.

Маргарита была также засыпана вопросами касательно ее прошлого, ее настоящего и ее сердечных дел. Есть ли у нее дети? Только сын, единственный, сейчас он отбывает военную службу. Долорес раскрыла перед ней трагедию своей жизни, жгучую жажду материнства. Это было для меня совершенной новостью. А любит ли Маргарита своего мужа? Да, ну, а вот каким образом? Долорес настойчиво добивалась подробностей. Маргарита считала, кажется, эти проблемы не стоящими пристального внимания: мол, не те годы... не имела охоты слишком много об этом размышлять. Отвечала: Pas souvent... Pas beaucoup... Mais non, madame... Pas comme

ça... Jamais, madame[1]. У нее были иные заботы. Крохотная гостиница не приносила дохода. Порой Маргарита жалела, что бросила службу. Она была женщина, склонная к полноте, у нее было приятное и милое лицо, здоровый румянец, хорошая кожа и спокойные, внимательные глаза. Я приметил, что она испытующе и доброжелательно присматривается ко мне. Мы почувствовали взаимную симпатию с первого взгляда, и так оно и осталось. Но в отношении Долорес у нее, по-моему, с самого начала были какие-то опасения.

У Долорес же никаких сомнений относительно Маргариты не было. Она заявила, что эта простая женщина чрезвычайно умна, она крестьянка, конечно, но исключительно сообразительна. Вертелась перед ней, как если бы Маргарита была зеркалом, и к тому же очень льстивым зеркалом. Ведь она так редко находила на свете понимание! Она говорила, как наслаждается безыскусственной прелестью маленькой гостиницы. Рассказывала, как утомлена парижской суетой и как страдает от фальши тамошней светской жизни, как продажно и развращенно то избранное общество, в котором она вращается; как часто приходит ей в голову мысль, что она, собственно, создана для монастыря. Если бы не я, она, бесспорно, была бы уже монахиней, быть может, приориссой, гранд-дамой в рясе. Но она вынуждена думать обо мне. Я такой наивный, такой беспомощный и такой нерасчетливый! Именно ради меня она вынуждена одеваться, создавать и поддерживать красивую внешность, хотя часто в глубине души утомлена и опечалена. Она видит тщету всего этого, видит все насквозь, но я, Стивен, человек поверхностный и поэтому счастливый.

Я старался не прислушиваться к этому потоку слишком знакомых мне признаний. Как мог, избегал опасности быть вызванным ею в качестве свидетеля и выставленным напоказ. С первого дня мне казалось, что в глазах Маргариты я подметил какую-то тень, какое-то как будто неуловимое подмигивание, когда она слушала эти уверения; поскольку, однако, Долорес не замечала этого, я перестал об этом думать.

---

[1] Не часто... Не много... Но нет, мадам... Так — нет... Никогда, мадам *(франц.)*.

Маленькая гостиница не приносила дохода. Маргарита долго раздумывала, прежде чем решилась продать ее и доверить нам свою судьбу. Я убежден, что в конечном счете на ее решение повлияло представление обо мне как о человеке, на которого можно положиться. В семье Беньелей распоряжалась Маргарита, она была всему голова. Она управляла гостиницей, управляла мужем. Когда мы поселили ее вместе с Франсуа в нашем парижском доме, я не сомневаюсь, что она чувствовала себя способной управлять также и мною с Долорес. Весьма возможно, что она и сумела бы добиться этого. Сперва все шло наилучшим образом. Долорес хвалилась перед своими приятельницами новой кухаркой и благообразным шофером. «Кухня не рафинированная,— говорила она,— но истинно французская!» Постоянно также беседовала с Маргаритой, и во все новых вариантах рассказывала ей историю своей жизни и своих увлечений.

Но во время моей поездки в Швецию произошло что-то непонятное. Не знаю, что именно; быть может, Долорес всего-навсего приметила вдруг ту мимолетную тень во взгляде Маргариты. У Маргариты было чрезвычайно выразительное лицо. А может быть, в один прекрасный день Долорес прошла как-нибудь тихонько по кухонному коридору и случайно услышала, как в действительности оценивают ее верные слуги. Может быть, произошло и что-то более серьезное, но Маргарита никогда и ни в чем не призналась мне. До этого скандала, почти целый год, в нашем доме царили мир и спокойствие, каких ни до, ни после этого мы уже не знали.

Вернувшись в Париж, я застал Маргариту в слезах, а Франсуа в величайшем негодовании. Они получили от Долорес за две недели предупреждение о расчете. Маргарита, заплаканная, но до последнего дня на совесть исполняющая свои обязанности, рассказала мне, какой удар на них обрушился. Франсуа молчал, не зная, что говорить. Он возился с машиной, бормоча под нос проклятия по адресу госпожи, по адресу Парижа, парижской квартиры, института домашней прислуги и всей вселенной, а потом, когда он убедился, что я не в силах восстановить его в прежнем положении, и по моему адресу. Он сдерживался, но видно, было, что страдает.

— Зачем ты сделала это? — с укором спросил я Долорес.

— Прошу тебя, оставь домашние дела мне.

— Но ведь ты не можешь без серьезной причины выбрасывать этих людей на улицу. Они продали свою гостиницу, чтобы перейти к нам.

— Много стоила эта их лавочка! Пристали к нам, как пиявки!

Я попробовал настаивать, но Долорес нельзя было урезонить. Они ее враги. Я всегда становился на сторону ее врагов. Она не хочет жить с ними под одной крышей.

— Я требую, чтобы ты объяснила мне, в чем тут дело.

— Ты требуешь?! Ты требуешь?! — крикнула Долорес, гримасничая.

— Это *мой* дом и *мои* слуги. Если ты будешь вмешиваться в эти дела, я напомню тебе старые английские обычаи. Помнишь, что они делали?! Прицепляли кухонную тряпку к костюму джентльмена! Может быть, ты хочешь ходить с тряпкой, Стини?

Я выругался: «К дьяволу!» И она почувствовала, что на этот раз выиграла. Несчастные Беньели съехали со всем своим добром, Маргарита плакала и укоризненно поглядывала на меня. Я в секрете от Долорес помог им купить крохотную лавчонку на боковой улочке неподалеку. Мы отравили им жизнь, горько обманули их упования, и это именно я, тем, что у меня вид человека твердого и надежного, подвел их и отдал на растерзание Долорес во всей ее нелепой ярости — я и никто другой.

Такие истории выводят меня из себя; от этого я не умею отделываться усмешкой. Меня вынудили нарушить обещание — безразлично, было ли это обещание формально дано или нет. Я могу посмеиваться по поводу других наших разногласий, но не по поводу истории с Летицией или Беньелями. В обоих этих случаях меня выставили в ложном свете и лишают права называться честным человеком, а от этого трудно отделаться усмешкой. Я не выношу, когда помыкают прислугой или подчиненными. Эти экономически зависимые люди составляют более слабый класс. Они могут порой раздражать нас, но при

этом следует сразу вспомнить, как не уверены они в завтрашнем дне и какое почтение вынуждены оказывать нам. А разве мы проживем без них? Мы обошлись бы без них разве что в некоем утопическом, всецело реорганизованном в отношении услуг обществе. Все эти люди взирают на нас с недоверием, они ждут, что мы злоупотребим своей силой, оскорбим их, будем вмешиваться в их дела, и они совершенно правы. Беньели полагались на меня. Маргарита — женщина с кротким лицом и вдумчивыми глазами — оценила меня, вынесла обо мне свое суждение и наградила меня безграничным доверием.

С момента изгнания Беньелей через нашу парижскую квартиру прошла целая процессия слуг. Никто из них не завоевал моей симпатии. В неизменном ритме приходят, недолгое время пользуются доверием и признаниями Долорес, внезапно впадают в немилость, получают отказ от места и бесславно исчезают. Среди всех этих гроз, несчастий и злополучий я сохраняю олимпийское спокойствие. Когда кризис обостряется, я слышу голос долга, призывающий меня в Лондон.

В настоящее время штат нашего дома состоит из супругов Швейцер, эльзасцев, а также из Мари, Альфонса и одной горничной.

Мари все еще пользуется доверием своей госпожи. Швейцеры внушают подозрение. Они прячут глаза и, пожалуй, чрезмерно почтительны. Муж косит, у него выдающийся подбородок, и он навязчиво услужлив; он подает нам на стол, обслуживает хозяина дома и старается быть незаменимым. Он исключительно ловок во всяческого рода мелких работах по дому, и подозреваю, что он умеет отпирать любые замки. Это один из тех людей, которые обладают способностью внезапно и совершенно бесшумно материализовываться в вашей комнате, словно проникнув сквозь запертые двери! Сперва шло к тому, что он будет на ножах с Альфонсом и что при этой оказии мы многое узнаем о них обоих, но они живо снюхались, и теперь Альфонс охотно посиживает на кухне. Но ежели эти злосчастные заговорщики обтяпывают совместно какие-нибудь финансовые делишки в ущерб работодателям, то да поможет им бог! Их непременно разоблачат, ибо Долорес обладает великолепным нюхом и не знает жалости к грешникам.

11

Дело второстепенное, мелкое, но в том же вкусе, что и история с Беньелями, это висящий в воздухе скандал из-за угреватой официантки. Долорес свойствен какой-то панический страх перед микробами, и, не имея возможности говорить о проказе, она выбрала иную напасть. Когда Долорес замечает на чьем-нибудь лице пятна или прыщи, то сразу готов диагноз: сифилис. Что до маленькой официантки, то прыщи на ее лице являются, вне всякого сомнения, шуткой Всевышнего над невинностью подростка. Долорес иногда забывает о ней на день-другой, но потом снова вспоминает. Я вижу, как лорнет впивается в избранную жертву. Я знаю, что в один прекрасный день жена моя выйдет из себя и потребует объяснений от управляющего отелем. Я прямо вижу, как она врывается в контору, объятая гневом, нервно, но настоятельно жестикулируя, а руки ее увешаны побрякушками. Тщетно бы я пытался ее удержать. «Не вмешивайся, Стини,— скажет она,— это мое дело».

Если Долорес сделает это, то супруги Юно, вероятно, уволят девушку. Быть может, они окажутся настолько разумны, чтобы сделать это только для видимости, и укроют официантку от глаз Долорес. Однако я не вполне убежден в рассудительности супругов Юно.

Другое огорчение подобного рода также не имеет серьезного значения, и, может быть, если бы я не был так раздражен другими маниями Долорес, я посмеялся бы над тем, что английская мама с сыном перестала мне говорить «доброе утро» или «добрый вечер». Она проходит теперь мимо меня, не говоря ни слова, и отворачивается. Я совершенно точно вспоминаю, что произошло!

Меня она попросту игнорирует, но при виде Долорес сын ее приходит в настоящее смятение, и видно, с каким судорожным усилием он заставляет себя не смотреть на нее. Бедный мальчик, должно быть, никогда еще в своей юной жизни не был так нелюбезен; видно, как он задыхается, кривится, напрягает все мышцы. Его мама отнюдь не пытается скрыть своего ужаса и возмущения. Она становится до смешного похожа на курицу. Кудахчет, призывая сына под свое крылышко, трясется больше, чем оскорбленная Баронесса, и принимает не-

слыханно гордый вид. Ясно, что она шокирована сверх всякой меры.

Насколько я мог проследить, события развивались следующим образом: в саду при отеле или, быть может, на террасе после обеда Долорес изловила юношу, желая спровоцировать его на доверительную беседу. Догадываюсь, что она спросила его наконец, сохранил ли он еще невинность, ибо эта проблема занимает всех приятельниц Долорес, когда они встречают на своем пути зеленого мальчика. Подтвердила мои домыслы сама Долорес, произнеся в тот же вечер тираду о лицемерии и лживой робости британского юношества.

— Французский мальчик в его годы...— завела она.

— Знаю,— прервал я ее,— все знаю.

Дамы в избранном светском кругу моей жены обсуждают с неугасимым пылом проблемы сексуального воспитания юношества, а также сравнительные достоинства любовников всех рас и наций. Американцы, как выясняется, в этом смысле ничего не стоят, англичане ненамного лучше. Им свойственна сентиментальность, они легко возбудимы, но слишком торопятся. На противоположном полюсе стоят немного пугающие, но импонирующие способности «ле нэгр» и «ле горилль». Охотно приводится из ряда вон выходящий пример Распутина. Дамы разглагольствуют на эту тему неутомимо, постоянно возвращаются к излюбленному предмету, их воображение распаляется. Любовник для них уже не просто любовник, а техник-виртуоз, он подобен скрипачу, которого слушает знаток и ценитель; дамы с большим знанием дела оценивают его спортивные достижения. Любовь с грустью отворачивается от этих разговоров, убегает оскорбленная, подобно нашей английской мамаше. Проблема сексуального воспитания сыновей или племянников вызывает жаркие дискуссии. Нужно во что бы то ни стало уберечь этих юношей от возможных половых извращений. Ведь есть же тетушки, ведь есть же сердечные приятельницы, готовые направить их на истинный, согласный с природой, нисколько не противоестественный путь... Имеется целая литература по этому вопросу, этой цели служат сентиментальные романы, чувствительные и серьезные, ибо шутки по этому поводу могут все испортить. Не следует называть это порногра-

фией, это всего только литературная дискуссия, социологическое исследование.

Эти разговоры пролетают у меня мимо ушей. Я не интересуюсь ими, но нелегко быть глухим и слепым.

— Это — мое дело, Стини! Мужчиной в любом возрасте нужно руководить и обманывать его ради его же блага.

— Разве этот мальчик знал, что такое девственность?

— Вообрази себе, он думал, что девственница — это значит монахиня! — ответила Долорес. Она была ужасно возмущена.

— Шестнадцатилетний мальчик! Окончил школу, поступает в Оксфорд и *понятия не имеет*, что такое девственность!

— Ты в этом абсолютно убеждена? Быть может, у него не было охоты разговаривать с тобой об этом. Скорее всего он был так смущен твоими расспросами, что поднялся и ушел!

— Вообрази себе, что да!

— И при таком обороте дел ты пыталась доверительно поговорить о нем с его мамой?

— Она покраснела, как мак, и делала вид, что не понимает, о чем я говорю! «Не понимаю, о чем это вы», — сказала она и ушла в гостиницу.

— А у тебя язык чесался высказать все, что ты можешь, по этому поводу?

— Но ведь это же глупо замалчивать важнейшие вопросы. Зачем же человек обладает даром речи? Господь бог попусту растратил этот дар, наградив им англичан.

— Зато мы упражняемся в добродетели сдержанности, хотя нынче практикуем ее не столь ревностно, как прежде... Скажи мне, Долорес, почему ты всегда в разговоре с посторонними людьми начинаешь с сексуальных дел?

Я придвинул себе стул и уселся рядом с ее шезлонгом. Уже в течение многих дней во мне вызревали слова, которые я теперь хотел ей высказать.

— Быть может, ты вознамерился прочесть мне проповедь? — спросила она. — О боже правый, проповедь о скромности в твоих устах!

Я закурил сигару.

— Я хотел тебе сказать кое о чем и услышать, что ты можешь ответить.

— Я бы тебе многое сказала, если б решила поговорить с тобой начистоту!

Но на этот раз я действительно хотел наконец высказать ей кое-что и не намеревался позволить ей сбить меня с толку.

— Твое обыкновение сводить любой разговор к вопросам пола, к грязи; эта твоя любовь к непристойности...— начал я.

— А кто же меня этому научил?—прервала Долорес.

— Понятия не имею. Может быть, космополитическая школа для девиц в Монте-Карло? Это какая-то заразная болезнь души (я заранее приготовил это определение). В путешествиях, в общении с нормальными, здоровыми и приличными людьми эта твоя привычка становится обидной для других, а для меня — невыносимой. Невыносимой, Долорес. Эти вакации, с тех пор как ты приехала, превратились для меня в сплошную трепку нервов.

— Что же, Стини, это новый ультиматум?

— Дорогая моя, я не начинал этот разговор в ультимативном тоне.

Долорес поднялась в кресле и приступила к контратаке.

— Стини, я понять не могу, почему я тебя полюбила, почему я тебя терплю! Ты сидишь тут напыщенный, нудный, буржуй до мозга костей, торговец книжками, английский самец, тупой, как вол! Ты вечный подросток, которого ничто не может научить. Единственное твое достоинство — это некритическое чувство долга...

— Я хочу тебе сказать...— пытался я вставить словечко.

— Я была когда-то одной из красивейших женщин на Ривьере, я привыкла к обществу джентльменов, титулованных лиц, принцев, людей светских и рыцарственных. А что я теперь? Что ты сделал со мной? Все мне говорят, что с тех пор, как я вышла за тебя замуж, я сделалась почти такой же скучной, как ты сам. Ты ограбил меня — похитил у меня жизненный нерв, размах. Все видят, до чего я изменилась под твоим влиянием. Спро-

си моих приятельниц, спроси своего кузена Джона, спроси твоих сотрудников, которые бывают у нас в Париже.

— Я хочу тебе сказать...— вставил я.

— Ты стоишь надо мной, как учитель над ученицей. «Хочу сказать вам, мадам, несколько слов». Значит, тебе еще мало? Я еще недостаточно банальна для тебя! Я что, обязана смотреть тебе в глаза и спрашивать разрешения, прежде чем заговорить с кем-нибудь? Или ты требуешь...

Теперь уже не было силы, которая могла бы сдержать поток ее красноречия. Был только один способ: говорить самому, не обращая внимания на ее слова. Я применил эту уловку.

— Я хочу тебе сказать...— ввернул я и стал говорить свое. Поединок начался сдержанно и тихо, но теперь зазвучал крещендо. Я сказал Долорес, что пребывание с ней в Торкэстоле стало для меня невыразимо тягостным, что чем старше я становлюсь, тем менее я способен кротко сносить ее выходки, что, если я не сумею ее приструнить, мне придется расстаться с ней, что, чего бы это ни стоило, я хочу навсегда с ней расстаться.

Постепенно появились тайные слушатели. Супруги Юно прислушивались к этому диалогу из столовой, горничная — из подвала, два продавца почтовых открыток — с маленькой площади перед отелем, а какой-то пожилой господин — с террасы, где он потягивал фруктовую воду. Возможно, что слушали и другие.

Когда Долорес заметила, что зрительный зал наполняется, она начала вставлять в свой текст все больше и больше французских фраз, чтобы сделать спектакль более доступным для слушателей. Она говорила теперь все торопливей, все более пронзительным тоном, чтобы совершенно заглушить мои вставки и не дать им достигнуть до слуха публики. Она героически преодолевала при этом безумное желание услышать то, что я столь упорно повторяю над ее головой. Без передышки говорила свое.

Два голоса боролись друг с другом, как будто бы басовитые удары в барабан пытались заглушить бренчание цимбал.

— Позволь тебе заметить, Стини...— говорила Долорес.

— Пойми наконец, Долорес...— говорил одновременно я.

Это было смешно, постыдно. Наконец я поднялся. Хотел удалиться с достоинством, но забыл об этом и, склонившись над ней, пустил ей прямо в ухо прощальную стрелу.

— Всему есть предел, Долорес! — повторил я знакомый уже рефрен.— Всему есть предел!

К несчастью, я испортил эффект моего ухода, наткнувшись на маленький столик. Поднос и стакан с дребезгом полетели наземь.

С поразительной расторопностью, словно из-под земли, выросла на месте происшествия угреватая официантка.

— Подберите, пожалуйста,— сказал я,— и впишите в мой счет.

Я бесславно удалился. Долорес снова упала на подушки шезлонга, победительная, утомленная гранд-дама.

— Pouf!! — сказала она так, чтобы слышали все.— Quel maladroit! Mon amant! Mais c'est drôle! [1]

12

Попытка обратиться к разуму Долорес привела всего лишь к этой вот перепалке. Она никогда ничего не будет слушать; постарается ничего не понять. Как бы дурацки она ни истолковывала наши взаимоотношения, она защищает любое свое мнение криком и бранью. С ней невозможно столковаться.

Я сижу сейчас за письменным столом над моими заметками и размышляю о том, в какие тиски я попал и как высвободиться из них. Какой-то выход я должен найти: жизнь теперь стала уже совершенно невыносимой.

Следует решиться на что-нибудь более серьезное, чем прежде.

Я признаю, что Долорес раздражают мои все более частые и все более продолжительные отлучки. Мы оба изменились. Я уже не умею смеяться над ней за ее

---

[1] Ох! Что за недотепа! И этого человека я люблю! Забавно! *(франц.)*

спиной; меньше, чем прежде, я считаюсь с ее обидчивостью. Я почти не скрываю своего презрения к ее пустопорожним фразам и бессмысленным занятиям. Да, раньше я смеялся потихоньку, но это в немалой степени поддерживало то окрашенное юмором чувство, которое я питал к своей жене. Быть может, тому виной время и привычка, но мне кажется, что ум Долорес в последние годы закоснел и притупился. Она утратила былую свежесть. Она повторяется. Когда я слушаю ее разговоры, мне кажется порой, что слушаю заигранную пластинку. Она говорит все больше, слушает и читает все меньше; непрерывный поток красноречия, неизменно эгоцентричный, звучит все фальшивее, все низкокачественнее и терзает монотонностью. Если даже не обращать внимания на хлопоты, которые причиняют ее выходки, само по себе пребывание в ее обществе стало для меня безмерно скучным; мне надоели ее бесконечные повторения. Моя наигранная душевная энергия не способна заглушить ее голос. Я попросту не могу его больше слышать.

Что же, собственно, творится с ней? Что творится с нами обоими? Мы повздорили из-за непристойностей, которые она вплетает в свои разговоры. Почему она каждый разговор с посторонними людьми, а в особенности с англичанами, упорно нашпиговывает фразами, оскорбляющими слух?

Как беспристрастный судья, я рассматриваю упреки против Долорес и должен сказать, что она не поднимается над средним уровнем чувственности и не проявляет никаких извращений сексуального инстинкта. Она одарена нормальной чувственностью, и она капризна, но в ней нет ничего от развратницы. Она никак не может сделать выбор между манерами «великосветской дамы» и повадками «парижского сорванца». Это обычная дамочка со средиземноморского побережья, позволяющая себе известные вольности. В ее лексиконе слишком много малопристойных слов, и она вгоняет собеседников в краску, излагая свои псевдонаучные познания в области эротических проблем. Но, хотя она бывает при этом скучна и вульгарна и это у нее все усиливается, отталкивающего впечатления это на меня не производит. Она не сексуальная маньячка и говорит обо всем этом только затем, чтобы удивлять и эпатировать ближних.

Сексуальная одержимость, если говорить о телесных потребностях, является состоянием преходящим и излечивается простейшим способом. Но когда она овладевает душой, то становится болезнью чрезвычайно опасной, неисцелимой и прилипчивой. Больной мозг подобен застарелому кокаинисту. Он не в силах совладать с потребностью говорить «об этом», развивать вопросы «этого», всеми способами стремиться к поискам никому еще не ведомых проявлений «этой» столь, по сути дела, простой вещи. Эта тема возникает при каждом удобном случае, разум склоняется все к одной и той же мысли. Вот такого рода больными людьми являются Хьюмэн Сопстон, старый Блэйдс и Лоретта Гук. Они видят весь мир сквозь призму пола, источают из себя слякоть собственной гнилости, порочность тяготеет над ними, как заклятье. Это истинные прокаженные, несчастные и противные. Долорес, однако, не такова.

К тому, чтобы говорить непристойности, ее толкает не больное воображение, но сила совершенно иная и врожденная: неутолимый эгоцентризм. Долорес должна любой ценой привлекать к себе внимание, всегда быть в центре внимания. Она очень рано подметила, что молодая женщина проще всего добьется этого, если будет произносить в обществе, за светским завтраком или обедом, как можно больше нескромных фраз — так, походя. Без этого она удостаивается нескольких взглядов, нескольких мимолетных комплиментов — и только; однако все оказываются в высшей степени заинтригованными и с приятным нетерпением взирают на оживленную молодую и красивую особу, распустившую язычок и внятно и четко произносящую множество непристойностей.

У Долорес, собственно говоря, нет никаких психических отклонений, кроме ненасытной жажды обращать на себя внимание. Я никогда не замечал, чтобы она совершила нечто действительно необычное...

Меня внезапно озарило. Ее жесты, ее стиль, наряды, духи, красноречие, прононс и манеры; ее собачонки и мебеля; иерархия ценностей, которую она признает, странная неустойчивость мнений — все это сокровища сороки, собранные из нахватанных отсвсюду блесток, сваленных в одну кучу и удерживаемых с ужасающей цепкостью. Она собрала свою сложную индивидуальность

из разнородных кусочков, ибо ей казалось, что яркие компоненты сделают ее более эффектной. Это и был для нее единственный принцип отбора. Это нахватанная отовсюду, негармонизованная личность. Большинство людей, как утверждают психоаналитики, совершают те или иные нелепости под влиянием непреоборимого внутреннего стимула, подчиняясь некоей неудержимой склонности, определяющей их характер, но Долорес не испытывает внутреннего принуждения переделать на свой лад свои плагиаты и имитации. Долорес ничто не сдерживает; ум ее ясен и цепок, тем более ясен, что лишен каких бы то ни было внутренних устоев. И она воспринимает образцы, копирует их, ничего не забывает, ничего не меняет, разве что утрирует, поскольку у нее отсутствует собственный, личный, все укрощающий, все смягчающий тон. Она вовсе не ненормальна, напротив, она до того нормальна, что не имеет никаких индивидуальных, отличающих ее от нормы признаков. Это человеческое существо обнаженно-эгоцентричное. Это — воплощение алчности и самоутверждения. Мне никогда не приходилось встречать столь всецело, исключительно и притом неуклюже собранной из чужих элементов личности, как Долорес!

Она так долго ускользала от моего понимания именно потому, что она пуста, как планета, лишенная воздуха. Только в последнее время я понял, что Долорес — это заурядное и банальное человеческое существо, ничем не смягченное, самодовлеющее. Я тринадцать лет ломал себе голову, чтобы найти такое разрешение загадки. Теперь я знаю наконец, что все эти годы рядом со мною жило не существо, чрезвычайно усложненное, но, напротив, создание сумасбродное, но непомерно упрощенное. Я не могу считать ее сумасшедшей или преступницей. Долорес — это первозданная материя, из которой сотворено человечество. Это разобыкновеннейшая женщина в химически чистом виде.

Основа моей личности и личности всех прочих людей построена из того же самого сырья, только что она окрашена, проглажена, отделана, насыщена, подвергнута мерсеризации,— кажется, так это называется? — покрыта лаком. Моя Долорес отличается от всех прочих людей именно отсутствием этой индивидуальной отделки.

Присмотримся поближе к этому сложенному из элементарных человеческих инстинктов существу, от которого я хочу избавиться. Прежде всего в ней бросается в глаза страстная жажда привлекать к себе человеческое внимание. (Кстати сказать, кто из нас в этом смысле без греха?) Возникает вопрос: почему она так жаждет, чтобы ею интересовались? Почему к этому в известной степени стремится каждый из нас? Равнозначно ли это жажде любви или ее противоположности — ненависти? Мне кажется, что нет. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нас жаждал любви ради нее самой. Когда Долорес начинает крикливо выставлять себя напоказ, я не думаю, что она стремится покорять сердца. У нее более воинственная натура. Она хочет пробудить в зрителях ощущение того, что они ниже ее, и восхищение ее собственной персоной. Она жаждет навязать свою особу вниманию присутствующих и даже отсутствующих. Хочет испытать торжествующую уверенность в собственном существовании. Это доставляет ей судорожное наслаждение, которое она старается продлить, в этом она находит примитивное и истинное удовлетворение. И злобствует она лишь потому, что всегда легче наносить раны и увечить, чем очаровывать.

Итак, если правда, что Долорес представляет собой нормальное человеческое существо во всей его наготе, то подобное элементарное стремление кичиться собой и торжественно доказывать, что ты и впрямь существуешь, должно таиться и во мне, и в тебе, и в каждом. Оно есть у всех, только выражается в более усовершенствованной и возвышенной форме. Займемся для разнообразия вивисекцией мистера Стивена Уилбека. Не представляет ли он собой в основе своей мужскую разновидность Долорес? Нет, что вы! Стивен Уилбек не кричит, не бахвалится, не топит своих противников. Он истинный джентльмен!

А теперь поразмыслим не о том, чего он не делает, а о том, что он делает. Я перечитал начальные страницы этих воспоминаний: раздел об автомобильной поездке, о солнечном дне, о милом городе Ренне и обо всем таком,— и я отметил, с каким наслаждением мистер Уилбек ласково посмеивается над всеми встречными, и хихикает, и ластится к ним — можно подумать, что он их и

правда любит. Он замечает, какими мелочами они заняты, какие приятные они людишки, он сплетает целые истории об их мелковатости, подмечает их человеческие слабости. Он не навязывает людям своей особы, нет, он только все время витает над ними, как милостивый бог. Цель у него такая же, как у нее: показать, как он победоносно или по крайней мере сносно существует.

Он выбирает путь более утонченный, действует искусней и с бо́льшим успехом, чем Долорес, но в этом вся разница. Мистер Уилбек не вырывает своей добычи насильно, он хватает ее украдкой и уволакивает. Что касается взаимоотношений с прислугой, то он не поднимает голоса, не угрожает, не выбрасывает людей на улицу, но оплетает их сетью нравственных обязательств. Действительно ли он фанатик порядочности? Или только любит, чтобы окружающие считали его справедливым и достойным доверия работодателем? Заботится ли он о своих слугах как о человеческих существах или только как о своей челяди? Хотел бы знать, но — увы! — не знаю. Пусть это останется под вопросом. На весах, которые держит в руках Истинное Божество, царящее среди звезд, эгоцентризм Долорес, конечно, не перетянет внезапно чаши, если на другую чашу весов положить эгоцентризм Стивена Уилбека. Может быть, его чаша пойдет постепенно кверху, но, безусловно, не взлетит к небесам. Эгоцентризм Долорес — жестокий и пустопорожний. Примитивный и обнаженный, он стережет тесные пределы ее существования и проявляется в криках, в ненависти, в подозрительности и в зависти. Эгоцентризм Стивена Уилбека обладает наружным покровом; Фоксфильд сказал бы, что его осложняют неоморфемы.

Пока на карту не были поставлены его честь и достоинство, Стивен Уилбек от всего отделывался шуткой, с легким сердцем ускользал от неприятного, издевался над Долорес и над ее ожесточенной борьбой за удовлетворение своего самолюбия, возмущался ее враждебностью ко всему белому свету.

Я сказал здесь все, что можно было сказать в защиту Долорес...

Но...

Я в этом закрытом процессе одновременно и судья и заинтересованная сторона. Правда, я выставляю себя

беспристрастным судьей, но это отнюдь не значит, чтобы у меня было желание вынести самому себе обвинительный приговор. Я защищал Долорес, а теперь я выступлю в качестве своего собственного адвоката. Существует аргумент, который говорит в мою пользу. Разница между мной и Долорес не ограничивается только тем, что я более утонченный и усложненный. Иногда Долорес оказывается сложнее меня. Но во мне есть, помимо моего собственного «я», еще нечто большее, чего нет в Долорес,— есть некая ценность, переходящая границы моего эгоцентризма. Эту ценность я имею право защищать, и даже защищать, не зная пощады, против ее гибельных атак.

13

Написав предыдущую страницу, я вышел прогуляться в одиночестве и выкурить сигарету среди здешних ущелий и скал. Вернулся к обеду, и мы с Долорес уселись друг против друга в ледяном молчании. Проходя мимо почты, я подумал: не зайти ли в отделение и не дать ли шифрованную телеграмму в Дартинг, за которой последовал бы срочный вызов оттуда: «Ожидается забастовка наборщиков». Я не сделал этого потому, что мне надоели эти мелкие обманы. Мне стыдно перед самим собой. Слишком часто я уже вел себя как изобретательный муж-подбашмачник из парижского фарса.

Столовая застыла как бы в предчувствии грозы. Стояла удивительная тишина, нарушаемая только шуршанием платья Баронессы, когда она беспокойно оборачивалась от столика к столику, как будто хотела спросить всех вообще, а меня в частности: «Что произошло?» «Что такое стряслось?» — допытывалась ее лорнетка. Английская мама и сын сидели совершенно окаменевшие. Оба читали за столом книжки, и у сына уши были пурпурные, и сидел он неподвижно, будто окоченев.

Из двух рыболовов явился только один. Он пообедал раньше других, минутку глядел перед собой, а потом громко и с выражением безграничного изумления изрек: «Боже правый!» — поднялся и вышел из столовой. Новоприбывшие постояльцы сидели тихо, как мышки. Какое-то мгновение казалось, что языки вот-вот развяжутся. Угреватая девица внезапно уронила посреди зала

поднос. Три тарелки с треском разбились, но ничего не воспоследовало. Девушка ойкнула, но тут же умолкла, завороженная всеобщей тишиной. Все вновь окаменели. Официантка, жалобно шмыгая носом, стала подбирать осколки. Сквозь матовые стекла дверей заглянул мсье Юно, но не вошел, как обычно, дабы совершить дружескую инспекцию. У него не хватило духу.

Я подумал, что, пожалуй, зря не отправил телеграмму...

После обеда Долорес поднялась, на миг задержалась около меня и многозначительно взглянула мне в глаза. Я встал по стойке «смирно». Она поклонилась и прошла мимо меня с гордо поднятой головой. Я выбрался на террасу, чтобы выкурить сигару и выпить рюмку брэнди. Мне надо было выпить. Почти тут же вошла Мари и вручила мне послание от Долорес.

«Возлюбленный мой!

Ты сидел за столом, как надутый, дерзкий и упрямый малыш. Ты злюка — у тебя злое, очень злое сердце, но ты как дитя малое. Простираю к Тебе руки. Я не могу сердиться больше одного дня. Прощаю тебя! Не хочу уснуть, ненавидя. Пожертвуй мне одну минуту, отвори только двери и скажи с порога «покойной ночи», и я смогу принять мой семондил и уснуть. Помни, что я больна и очень страдаю. Ты ничего не знаешь о боли. Быть может, настанет день, когда ты с ней познакомишься. Это будет тебе на пользу. Но тогда я уже, конечно, буду спать вечным сном и наконец забуду об этом невеждедантисте, который отравил мне существование. Собственно, это ты позволил ему погубить мое здоровье, ибо своевременно не разузнал все о нем. А теперь ты не хочешь даже подать на него в суд, потому что боишься встать на мою защиту.

Завтра мы поедем в Роскофф, как и предполагалось,— я буду мила с твоим скучным ученым Фоксом, Поксом, или как там еще этот наемный писака называется? Я знаю, что целый день буду подавлять зевоту! Ты мое жестокое дитя! В один прекрасный день ты убьешь меня своей британской скукой!»

Я прочел эту записочку и после надлежащего размышления сказал Мари, что приду. Мне до зарезу на-

до было повидаться с Фоксфильдом. Он опять опоздал со сдачей рукописи.

Ну что ж, и этот кризис разрешился привычным образом.

Я заказал еще брэнди.

14

Как долго это еще будет продолжаться? Сколько людей во всем мире проснулось нынче утром в убеждении, что положение их невыносимо, сколько людей говорило себе: «Я должен с этим покончить. Больше я этого не вынесу»? И сколько людей уснуло ночью, ничего не изменив в своем положении? Порою мне кажется, что все человечество живет в ловушках, связано по рукам и ногам добровольно взятыми обязательствами, со дня рождения заперто в клетках зверинца. Современный психоанализ подчеркивает роль, которую играет в нас механизм «бегства от действительности». Его следовало бы называть механизмом квазибегства. Примером может послужить мое чувство юмора; вопреки тому, что я непрерывно взываю к нему, жизнь моя все более зависит от Долорес. Неужели все мы безнадежно скованы инерцией, неужели вся наша жизнь есть подчинение себя инерции, неужели наша жизнь подобна бесконечной ленте липкой бумаги для мух, к которой мы пристаем? Неужели все вокруг меня задыхаются от подавляемой жажды «совершить что-нибудь», от жажды мятежа против партнерш-поработительниц, против неразрывных уз, против пут обязанностей — обязанностей семейных, юридических и профессиональных, против окостеневших обычаев, привычек и междоусобиц?

Я возвращаюсь к вопросу о различии между мной и Долорес. Итак, на чем мы остановились?

Мы пришли к выводу, что Долорес является существом необычайно упрощенным, более обособленным от остального мира, более последовательным и эгоцентричным, чем большинство людей. Она до того сосредоточена на себе, так много в ней всего того, чем другие индивидуумы обладают в зачатке, и она настолько лишена тех черт, какими не обладают другие, что у нее совершенно отсутствует индивидуальность. К этому мы при-

шли в первую очередь. В Долорес нет того особенного, дополнительного внутреннего течения, которое свойственно почти каждому. Она подобна растению, у которого сломаны молодые побеги. Она безоговорочно отделена от остального мира. Не умеет переступать границу своего собственного «я». Она не может ни на миг позабыть о себе. И поскольку отдельная личность, как таковая, обречена на поражение, ибо внешний мир определяет ее поступки и существует дольше нее, жизнь Долорес стала мятежом против неотвратимого. Долорес борется, как капризный ребенок. Ни шагу не уступает, ничего не прощает вселенной. Пускай уступают другие.

Нормальный разум бывает более усложненным, чем у нее: он не вмещается столь безостаточно в пределах эгоцентризма. Значительная часть его деятельности выходит за рамки ликующих побед и драматических поражений собственного «я». Самовоспитание и тренировка в искусстве общения с людьми выражаются, помимо всего прочего, в способности согласовывать внешние неэгоистические мотивы с безграничной жаждой самоутверждения. Мы пришли к выводу, что у Стивена Уилбека есть какие-то качества, каких нет у Долорес, и даже намекнули, в чем главное между ними различие. Оно в том, что, хотя в Стивене также много своего эгоизма, он как личность этим не исчерпывается. Эгоцентризм составляет в нем остов, но остов, обросший слоем иного вещества. А теперь нам пора заняться этой оболочкой. Частицы ее составляют сдержанность, осмотрительность, способность уважать других. В нем присутствует некий советник, в первую голову, конечно, преданный его эгоцентризму, это верно, но исполняющий также функции юрисконсульта, который неустанно спрашивает: «А ты действительно находишь это справедливым?», «Следует ли заходить так далеко?», «Помнишь ли ты, что дело касается также и других людей?».

Возможно, что, когда я, Стивен Уилбек, явился на свет, эти мои качества были только в зачатке, и позднее они разрослись исключительно благодаря воспитанию. Правда, во мне было чему разрастаться. И эти зачатки, развившись, превратились в целую систему торможения, а система эта попросту сделалась моей второй натурой. Самоутвердившись, я положительно нахожу те-

перь удовлетворение, уважая других и подчиняя первобытную жажду торжества над ближними необходимости считаться с ними, добиваться их одобрения. Отчасти эту утонченность Стивена Уилбека, конечно же, следует приписать благоприятным условиям воспитания. Победа Стивена Уилбека в том-то и заключается, что другие не чувствуют себя побежденными им. Детство Долорес, напротив, прошло в худших условиях. Атмосфера монастырской школы, в которой она росла, проникнута была духом постоянно превозносимого соперничества. В этой школе не побуждали к учению ни по старинной системе принуждения и наказаний, ни более современным способом—путем возбуждения заинтересованности учениц. Монастырская школа опиралась на иезуитские традиции. Девочек побуждали к труду неустанными похвалами, похвальными листами, торжественно вручаемыми наградами, келейными и публичными поощрениями и унижениями, исповедями, покаяниями в грехах и тому подобными средствами. Долорес воспитывалась в духе соперничества, в постоянной похвальбе победами над другими, а такое воспитание для ребенка — попросту отрава, и последствия его тем страшнее и губительней, чем восприимчивей ученица. Долорес оказалась чрезвычайно восприимчивой ученицей.

Но пускай даже нам схематически удастся выяснить разницу в нашем воспитании, останется все же множество различий в наших характерах, и к тому же различий совершенно необъяснимых. Наши души разнились принципиально с самого начала. Мы не только разные индивидуальности, но и принадлежим к разным видам. Недостаточно сказать, что мой интерес к собственному «я» куда менее выражен и к тому же смягчен воспитанием; я испытываю сверх того чувство ответственности за научную истину, за историческую правду, за всеобщее благополучие общества, за красоту городов и селений, а Долорес не способна чувствовать такую ответственность.

Нет, я не утверждаю, что заинтересованность этим делом у меня врожденная, но она зародилась еще тогда, когда мой разум созревал столь же естественно, как пробивался пушок на моих щеках. Человеческий вид, к которому я принадлежу, одарен, мне думается, какими-то внеличностными интересами, в то время как виду, к кото-

рому следует причислить Долорес, они совершенно чужды. Я верю, что существуют такие различные человеческие виды, но не умею их, однако, ни точнее определить, ни как-нибудь увязать одни их свойства с другими.

15

Я сижу, размышляя о разнородности человеческих типов. Больше думаю, чем пишу, ибо время позднее, а мысли мои утрачивают ясность и разбегаются.

Мы, интеллигенты, охотно обобщаем, когда речь идет о человечестве, стараемся упростить эти проблемы, дабы их легче было понять; классифицируем некритически и наобум. До чего же мы поспешны в суждениях, преисполнены легкомыслия и до чего нетерпеливы! Даже лучшие из нас! Что за хлам вся наша литература, а в особенности исторические труды — по крайней мере то, что сделано нами до настоящего времени! Я пишу это как издатель. Несомненно, для облегчения практической деятельности во многих областях знания необходима какая-то классификация человеческих типов, но система, которую мы создали, является скорее плодом фантазии торжественно-серьезных подростков, с самым высокопарным видом забавляющихся игрой в мышление, чем итогов размышлений взрослого человека. «История,— сказал когда-то Генри Форд, имея в виду писаную историю,— это набор трескучих фраз». Какая у него поразительная интуиция! До чего я с ним согласен!

История! При этом слове я вспоминаю целые вороха пристрастных и однобоких книг, начиная от жалкого старого сплетника и пропагандиста Геродота и кончая нынешним бессвязным и недобросовестным набором фактов.

Когда наконец мы дождемся основательной весенней уборки в затхлых лабазах истории? Когда биологи и археологи, вооружившись тряпкой и щеткой, ринутся в атаку на эту гору мусора? Я не желаю, конечно, публичного сжигания книг на кострах, но неплохо бы перетащить многие из уважаемых ныне томов на тихие чердаки, чтобы они там мирно истлевали. Рои необразованных, страдающих недержанием речи эрудитов плодят бесчисленные уродливые и претенциозные исторические труды, в которых противопоставляются «Восток» и

«Запад», «Север» и «Юг», арийцы и неарийцы; труды, в которых сугубо неопределенный «Дух Цивилизации» марширует на Восток или на Запад (в конце концов, не все ли равно?), марширует, покинув свою «колыбель»; труды, в которых распространению христианства приписывается упадок Римской империи или открытие Америки; в которых военная слабость Китая объясняется влиянием буддизма. Капитализм в этих книжках представляется «системой», введенной злобствующими и всем ненавистными пуританами. А теперь давайте припомним все ошеломляющие «течения», выдуманные историками! Припомним все их малодостоверные «расы»!

У большинства принятых как эталон этнографических типов совершенно идиотические лица, это не лица даже, а мертвые маски, приляпанные к мешкам, набитым всякой всячиной. Историки болтают что-то о «еврейской расе», о расах «нордической», «альпийской», «средиземноморской». Да они и фруктовый салат признали бы ботаническим видом! Ни они сами, ни кто-нибудь иной не печется много о том, как произвольны все их классификации, подразделения и противопоставления. А что они пишут о культуре! Почти ни в одной из этих книг ничего не говорится о человеческом труде, зато с какой легкостью даются определения! Скажем, хоть эта несравненная «греческая культура»! Почему-то они в нее твердо верят. Все без исключения. Задумывался ли кто-нибудь над тем, из каких компонентов она состоит? Вездесущие коринфские капители, грубо размалеванные дома, розовые женские статуи, бессмертный громыхающий Гомер, городские воротилы и истеричные герои, сплошная риторика и слезы! Вспомним еще эти неопределенные «золотые века» наших историков и столь же туманные «периоды упадка»! Все, что только имеет видимость правдоподобия, признается верным и сваливается в общую кучу.

И, однако же, мы терпим всех этих Шпенглеров, и Тойнби, и Парето [1], и им подобных, даже порой читаем их. Мы терпим их. Мы вынуждены их терпеть. На ху-

[1] Шпенглер (1880—1936) — немецкий буржуазный философ-идеалист, историк культуры, автор книги «Закат Европы»; Тойнби (1852—1883)—английский буржуазный историк-экономист; Парето (1848—1923) — итальянский буржуазный экономист и социолог.

дой конец их можно признать экспериментаторами, утверждения их — гипотетическими, но ведь они не хотят даже выслушать друг друга, чтобы как-то согласовать результаты своих исследований, и, таким образом, оказывают нам неоценимую услугу, взаимно перечеркивая свои открытия. Они множатся без числа, забивают томами библиотечные полки, осаждают нас. Формулировки растут, как грибы, и становится совершенно невозможным создать себе ясное понятие о прошлом человека. В наших умах все заглушают девственные заросли исторических ошибок...

Мы заставляем себя читать эти книжки. Мы не верим им, но читаем их и дискутируем о них. В глубине души мы чувствуем, что, безусловно, существует разница между людьми, разница истинная, глубокая и четкая, что есть различные роды человеческих существ, что под мутной поверхностью Истории происходит некий существенный процесс, пока еще ускользающий от определения. Удивительная кротость, с которой мы принимаем весь этот поток исторических и социологических трудов, свидетельствует о нашем бессилии. Мы чувствуем, я полагаю, что самое лучшее для этих истолкователей (если уж они не могут вовсе не писать!)—ковылять, натыкаясь на свои гипотезы и предрассудки. Историки ждут одобрения. Но, увы, не дожидаются его. Как я уже говорил, ни один из этих историков не замечает трудов своих коллег, не подвергает их критическому анализу. Каждый весело резвится, вытаптывая факты, как траву, резвится, повинуясь только своему капризу. Мы вправе сетовать на это. Перед нами поставлена неразрешимая задача. Эта проблема напоминает проблему организации домов для умалишенных: приходится занимать лучших людей, чтобы удерживать в узде безнадежное предприятие. Например, прежде чем можно будет покончить с каким-нибудь Парето, придется отыскать первоклассного психоаналитика, у которого хватило бы терпения прочитать все его произведения, все проанализировать и вынести суждение об авторе.

Как совестливый издатель, как поставщик мыслей, я порой прихожу в отчаяние, когда в своей конторе созерцаю всю ту чушь, которая при моем посредничестве валится на головы несчастной читающей публики. Я без

особенной охоты, но все же издаю книги по современной и по общей истории, так же, как и малоценные, но удобочитаемые сплетни об императрицах, о Наполеоне или о прочих диктаторах; эти произведения еще хуже, чем бесконечные, невозможные теоретические рассуждения экономистов. Впрочем, и экономические рассуждения тоже достаточно плохи. Увы, такого рода книги фигурируют и в проспекте моего издательства! Но эти книги — как дым; как бессильные волны, разбиваются они об утесы конкретной действительности, не причиняя им особого ущерба.

Периоды процветания сменяются периодами депрессии, а они пишут, словно воробушки чирикают или канарейки поют, тогда как историки преисполнены раздражения, их сомнительные концепции попросту зловредны, они отравляют, проникают в жизнь, впитываются в самую ее суть, ослабляют коллективную политическую волю, овладевают умами, толкают их на ложные пути и наконец затуманивают и губят их.

Порой Долорес начинает обсуждать мировые проблемы. Инстинктивно она пользуется аргументами, как бы почерпнутыми у этих самых историков. Она рассуждает так, словно я в жизни не издал ни одной книги. Слушая ее, я кажусь себе человеком, который расчищает делянку в джунглях и видит, что едва он отвоевал пядь земли, она уже снова покрыта буйными тропическими зарослями. Долорес устанавливает законы, рассуждает о «Франции» в целом, об «Англии» или «Америке». Она и впрямь полагает, что существует некое собирательное существо, обидчивая леди по имени «Америка». Она укоряет «Германию»: нет, мы недостаточно наказали «Германию»; она упрекает «Россию». Целые народы она бросает на произвол судьбы. Нет, никогда уже она не станет разговаривать с «Германией». Германия пусть стоит в углу, лицом к стене, ну, а тупоумная Англия заслуженно опростоволосилась. Конечно же, все это жалчайший лепет, но он порожден той головоломной писаниной, что зовется «историей». Все это Долорес вычитала в парижских газетенках, все это дошло к ней из третьих рук — слабым отголоском околодипломатических пересудов.

Долорес не прикасается к серьезным трудам, которые я выискиваю и издаю. Они раздражают ее. В них нет

односторонности. Они сбивают ее с толку. Они не совпадают с общепринятым историческим шаблоном. Долорес не в состоянии читать их. Говорит о них резко, отказывает им в праве на существование. Она отмахивается от них. Она повышает тон. «Je trouve...» [1] — говорит она и отстраняет трудноперваримые идеи. Мне приходится убегать от нее, ибо меня она выводит из равновесия. Когда я слышу, как ее голосок щебечет об этих делах, я начинаю опасаться, что мое желание перестроить людские умы и способы мышления и приспособить их к нашим новым потребностям — это не более чем несбыточная мечта. Ибо я знаю, что миллионы существ мыслят, простите за выражение, именно так.

Но как найти средство от этой восприимчивости к избитым взглядам? Как вырастить в людских умах фагоциты критического мышления?

Народ существует в политическом смысле лишь постольку, поскольку он обладает какой-то историей и этнографией. Но чего можно ожидать от людей, головы которых забиты всей этой человеконенавистнической болтовней и пустопорожними сравнениями?

Немало было сделано за последние десять лет или около того, чтобы подтянуть обвисшие животики. Так почему бы не начать теперь великую борьбу с обвисшей и дряблой Историей? Что же в этом смысле делает моя фирма? Что может быть сделано ею? Что я сам делаю ради достижения этой цели? Я должен отыскать людей, молодых и наделенных умственной энергией, людей, которые, очистив эти авгиевы конюшни, основали бы новую критическую Школу Истинной Истории.

Так почему же я прозябаю тут в Торкэстоле, прикованный к сварливой и строптивой особе, когда мне следовало бы находиться в Англии и заниматься делом?

16

Я думаю так, я пишу об этом и, однако, продолжаю торчать тут, занятый пререканиями с Долорес и не способный воспротивиться соблазнам той исторической пошлятины, какую сам же называю отравой. Внезапно я об-

---

[1] А по-моему... (*франц.*)

наруживаю, что собственная моя голова забита поверхностными понятиями, случайными аналогиями, недоказанными утверждениями, бессвязными фактами.

Я, например, задаюсь вдруг таким вопросом: а не в расовых ли каких-нибудь различиях причина наших вечных пререканий с Долорес? И, словно позабыв, что ее отец — шотландец, начинаю называть ее представительницей «Востока», говорить о перевесе у нее армянских генов, усматривать аналогию между ее поступками и известными качествами, приписываемыми этой ближневосточной торговой нации, а именно емкой и точной памятью и меркантильным уклоном мысли. Я начинаю вдруг, без всяких на то оснований, усматривать в Долорес заметные проблески тех черт, которые принято именовать «еврейскими» в дурном, уничижительном смысле этого слова. Я не имею при этом в виду ничего расового, моими устами здесь от начала до конца говорит Предрассудок. Я, как и все, беру это попросту с потолка и, однако, оперируя пустыми словами, почти уже начинаю верить, что речь идет о чем-то реальном. Всякие рассуждения о расах надо отбросить. Чем в таком случае объясняются различия между одним и другим человеком?

А теперь предупреждаю дорогого моему сердцу, но, я чувствую, немного сопротивляющегося читателя, что, дойдя до этого пункта, я намерен всерьез заняться теорией.

Определяя человеческие расы, мы исходим обычно из таких поверхностных, несущественных признаков, как цвет кожи, характер волосяного покрова, рост; все это чисто внешнее и здесь только название, что раса, ибо все они давно перемешались и скрестились между собой. Истинные человеческие расы — это совсем не то, что мы за них принимаем, и они-то устойчиво сохраняют наследственные штаммы. До сих пор я не слишком ясно представлял себе это, но подобного рода убеждение, должно быть, уже издавна зародилось в моем мозгу. Созревало оно постепенно, под влиянием разговоров с Фоксфильдом и чтения биологической литературы, пока наконец не вылилось в законченной форме. Итак, существуют, по-моему, породы людей (возможно, это новые подвиды), приспособленные к современным масштабам жизни, к ее всемирному охвату; существуют породы пре-

имущественно паразитические; существуют породы податливые и кроткие; существуют наконец породы упрямые, эгоцентричные и злобно сопротивляющиеся адаптации (например, Долорес). Все эти породы никак не соотносятся с тем, что мы называем расами; они есть в каждой из них. Это для меня теперь ясно как день.

До сих пор не много сделано, чтобы классифицировать эти истинные человеческие породы. В частности, мы не сумели выделить новые разновидности, которые, несомненно, появляются среди нас. Мы упустили из виду отдельные компоненты смеси, новые, в частности, ибо мы привыкли мыслить групповыми категориями, а новые факторы могли появиться в любой из них. Некритическое разделение человечества по расам, культурам и народностям заслонило от нас истину. Макс Нордау[1] и Ломброзо[2] пытались, правда, выделить среди людей тип «преступный» и вырождающийся, но им не хватило критической принципиальности; они были по преимуществу журналистами, и в своих рассуждениях напрасно приняли авторитетный тон. Линней человечества еще не явился на свет, и фирма «Брэдфильд, Кльюс и Уилбек» ожидает его пришествия. Классификация человеческих типов и темпераментов, от тех, что установили Гиппократ, и до наших «церебральных», «соматических» и «висцеральных» типов (какие красивые «ученые» слова, как они должны нравиться зеленым юнцам!), служит уже испокон веков игровой площадкой для ученых забав, и я не вижу, почему бы и мне не порезвиться на этом поле. Именно порезвиться. Ибо надо еще понять, сталкиваемся ли мы здесь с наследственными типами, породами и штаммами или же речь идет о социальных классах, создавшихся под влиянием существующих условий и обозначенных как таковые просто для удобства аргументации — чем-то вроде «пролетариата» и «буржуазии», столь удачно придуманных доктринерами от коммунизма.

Я предлагаю принять первый взгляд и утверждаю при этом, что род людской представляет собой, так же как род собак, гигантскую мозаику видов, имеющую тенденцию к тому, что Фоксфильд называет генетиче-

---

[1] Нордау, Макс (1849—1923) — немецкий писатель.

[2] Ломброзо, Чезаре (1835—1909) — итальянский психиатр и криминалист.

скими возвратами: порода определяется многими генами, из которых каждый—как это он выразился?—попеременно проявляет инициативу.

Почему это я обязан принимать классификацию, созданную другими? Мне ни одна из них не по душе. Мысль свободна! Когда я слышу: «церебральный» тип,— то не знаю почему, но думаю об Олдосе Хаксли, страдающем невралгией, слабом, но стремящемся к идеалу. Я решил действовать совершенно по-своему. Прежде всего я упраздняю понятие Homo sapiens[1]. Я предлагаю заменить его некоторым количеством видов и разновидностей, новых и старых. Я утверждаю, что род Homo подразделяется на большое число видов, подвидов, гибридов и разновидностей, смешанных и преходящих. Так мне, по крайней мере нынче вечером, представляется. Я буду отныне собирать экземпляры отдельных разновидностей и создам собственную коллекцию, как и надлежит заправскому натуралисту. На первом месте фигурирует Homo долоресиформ, тип широко распространенный, общеизвестный, импульсивный, экзальтированный и неуступчивый. Именно — неуступчивый. После него идет Homo уилбекиус (вероятно, недавняя мутация), наблюдательный, исполненный внутренних торможений, скрытный. К этой разновидности может принадлежать множество индивидуумов, причисляемых к «церебральному» типу. Наиболее характерной чертой этого типа является его гибкость. Очевидно, существует множество иных разновидностей, но для начала удовлетворимся этими двумя. Впоследствии мы, несомненно, научимся выделять десятки других видов, вариантов, устойчивых гибридов. А пока назовем две основные разновидности, на которые делится род Homo: человек, смотрящий назад, и человек неудержимый. Один — привязанный к традициям и существующим законам, неподатливый, другой — устремленный в будущее, с открытой душой; причем тип долоресиформ принадлежит к первой группе, а тип уилбекиус — ко второй.

То, что я здесь заговорил именно о Долорес,— совершенно естественно. Ибо если решить, что я являюсь типом наиболее человеческим, то в таком случае, согласно

---

[1] Человек разумный *(лат.)*.

моей новой теории, Долорес не человеческое существо, а всего лишь человекоподобное животное, принадлежащее к виду, способному скрещиваться с человеком. Либо vice versa [1].

Когда я так размышляю под утро, мне видятся в мировой истории следы деятельности существ, подобных Долорес. Мозг мой отравлен бессонницей и повит дремотой, и я становлюсь все более похожим на наших современных историков, плетущих паутину своих доказательств. Понятия начинают соединяться между собой самым причудливым образом, черты Долорес вплетаются в ткань истории человечества; я начинаю казаться себе высокодобродетельным, интеллектуальным, светловолосым «современным» типом, а Долорес становится в моих глазах представительницей всех алчных темноволосых народов, упорно стоящих на своем, непреклонно сопротивляющихся каким бы то ни было переменам; людей, которые создали наш вчерашний день, а сегодня составляют группу, создавшую наше Вчера и не способную приспособиться к новой жизни.

Мне начинает казаться, что существуют целые нации, расы и народы типа Долорес. Такая нация упряма, самонадеянна, все время кричит о своем прошлом и исполнена непомерных претензий. Ее боги завистливы и ревнивы, и народ следует их примеру. Патриотизм такого народа — это священный национальный эгоцентризм. Того, чего они не в силах достигнуть как отдельные личности, они добиваются коллективно и с превеликим шумом. Такой народ не желает быть частью человечества, хочет оставаться собой и всегда остается собой. Хватается за любое преимущество, на которое почувствует себя вправе, а так как это вернейший способ получения щелчков — получает щелчки. И поэтому чрезвычайно мстителен. Никогда не забывает обид. Живет обидами...

Нация типа Долорес имеет совершенно иное понятие о будущем, чем тот тип, который я представляю. Я вижу в грядущем перспективу великого прогресса и великих достижений. В грядущем, на мой взгляд, для каждого открыт путь самоусовершенствования и надежда на вза-

[1] Наоборот *(лат.)*.

имное прощение и взаимопонимание, а ей будущее кажется судным днем и днем строгой расплаты.

Нация типа Долорес ухватилась за лихоимство как за наилучшую, и притом растущую с процентом, возможность властвовать над ближними и оказывать на них нажим. Я полагаю, что этот тип преобладал во всем мире на заре Истории. Это он выдумал деньги, и мы живем теперь в мире, где правят деньги. Мы могли бы жить в ином мире, но продолжаем жить в этом. Мы сберегли традицию никогда не исчезающих задолженностей и никогда не устаревающих денежных обязательств. Жизнь людей этого типа является дедукцией в бесконечность. Что бы ни случилось, они никогда целиком не исчезнут с лица земли; никогда обиды и претензии этой «Долоресландии» не исчезнут; никогда это воинственное племя, состоящее из обломков различных народов типа Долорес, не перестанет существовать. Во веки веков такие нации будут восседать за игорным столом, будут выигрывать либо проигрывать попеременно, будут постоянно заводить споры... Старый мир был их миром, они его создали по своей мерке, а теперь отчаянно борются против возникающего нового мира. Лицо Долорес — худое, размалеванное, запальчивое — возникает передо мной на фоне этой ночной картины Истории Человечества. Наверно, я уже пишу во сне. Весьма возможно, что именно так поступают и другие историки. Этим объясняется, пожалуй, почему они с такой безответственной легкостью приходят к своим обобщениям... Кроме того, мне кажется, что я немного пьян. Удивительное дело, но со времени моего приезда в Торкэстоль я начал злоупотреблять брэнди... Лицо Долорес, как это часто бывает в сновидениях, начинает вдруг расти, становится лицом всех упрямых наций, жаждущих распрей и любых триумфов над другими. Оно становится всем тем, что препятствует утверждению Вселенского Мира и Универсальной Системы Взаимных Услуг. Я вижу Долорес в коридорах Времени, непреклонную хранительницу собственного «я», Долорес, не желающую приспособиться, притерпеться, воинственно выступающую против недругов, внемлющую подсказкам своего злорадства; вижу ее, не способную позабыть свой старый мир, не способную приспособиться к новому...

Все великие религии, все пророки, все проповедники недогматической истины сливаются в этой картине в единый голос нового человека, нового Homo, жаждущего явиться на свет.

Но ведь это просто детская игра! Почему я только издатель? Нынешней ночью мне неожиданно показалось, что я могу писать. Разве мое сегодняшнее открытие более произвольно, чем писания Шпенглера? Разве оно более претенциозно, чем социальная философия Парето, Восхвалителя Силы, маленького Баяра исковерканной Истории?

В эту ночь по крайней мере я обо всем сужу по-своему. Разве не вправе любой из нас иметь свои собственные взгляды? Достаточно начать с любой подвернувшейся теории, уцепиться за какую-нибудь аналогию, а потом громыхать, как заправский историк, и вот уже факты, злосчастные, немного изувеченные факты и поспешные суждения летят вам на подмогу, суматошливые, словно толпа, добывающая места на речном пароходике. Течение тормозит мои мысли. Я колышусь на волнах и вновь ударяюсь о берег. Мысли начинают занимать свои места.

Совсем уже засыпая, я вижу себя на чем-то вроде капитанского мостика, а вся толпа перестраивается по моему приказанию. Есть тут новейшие идеи, рядом с вековыми предрассудками, последние достижения биологии и заношенные обобщения, «революционные изменения основных условий человеческого существования», «приспособление к новому синтезу», «типы, пригодные и непригодные к приспособлению», упрямые традиционалисты против гибких современных типов, понятия закоснелые и узкие, против новых и широких. Все самые разнородные мысли, затронутые в разговорах с Фоксфильдом, вынырнули из глубин моего сознания, всплыли на поверхность, как пена в бродильном чане. «Человек, так же как и собака, является продуктом скрещивания многих видов» — вот мысль, которая стоит дороже, чем дюжина Шпенглеров. (Вы слышите эти всплески? Это «Восток» и «Запад» выброшены за борт!) На борту моего корабля надо написать: серия «Путь, которым идет мир». Над флагом Истории мы подняли флаг Науки и Социального Прогресса. Прежде мне казалось, что

я управляю шлюпкой или баркасом. Теперь я вижу, что это огромный лайнер. Лайнер на приколе... .

Новые пути — в политике и в личных взаимоотношениях... Долорес против Стивена... Приспособление к новым, в корне изменившимся условиям...

Где я нахожусь? Как далеко я дал увлечь себя волне, не заметив, что пускаюсь по волнам собственной теории?

Я в моей спальне в Торкэстоле, а листы, лежащие передо мной на столе, усеяны неразборчивыми, престранными письменами. Я и вправду писал сквозь сон...

Не все удастся теперь разобрать.

Придется завтра заняться этим...

Ну, а теперь, если я не хочу открытой войны с Долорес, я должен пройти по коридору в ее комнату и пожелать ей покойной ночи.

17

Торкэстоль, 31 августа 1934 г.

В течение нескольких дней я не раскрывал этого дневника. Мы поехали в Роскофф, чтобы осмотреть фиговое дерево и посетить лабораторию океанологии. Долорес оделась на эту экскурсию так, как если бы собралась на чашку чаю в кафе на Вандомской площади. (Не помню, как оно называется. Там еще все дамы щеголяют в наимоднейших шляпках. Нет, забыл!) В Роскоффе, как и было условлено, мы встретились с Фоксфильдом.

Сперва Долорес вознамерилась обходиться с Фоксфильдом свысока, поскольку знала, что я иногда даю ему подработать. Фоксфильд, казалось, не замечал этого. Долорес несколько раз весьма внятно сказала мне:

— Как это ты позволяешь ему одеваться так небрежно? Это неуважение к нам обоим. А что, разве он *никогда* не стрижется?

Если даже Фоксфильд и слышал эти слова, он совершенно на них не реагировал. Когда мы здоровались, он мельком бросил взгляд на мою жену, а потом не обращал на нее ни малейшего внимания, пока мы не оказались среди резервуаров морской воды, к которым он повел нас, сутуловатый и преисполненный решимости. Только там он внезапно обратился к Долорес и начал

чрезвычайно серьезную и подробную лекцию о половой жизни осьминогов.

— Это мерзопакостнейшие твари,— сказала она.

— Но признайте, однако, что они исключительно чувственны,— убеждал ее Фоксфильд и сам в этот миг напоминал осьминога. Вдруг он закричал с изумлением в голосе: — Взгляните-ка! Этот осьминог явно *присматривается* к вам!

Это заинтриговало Долорес.

— Следует принять во внимание, что эти существа очень редко интересуются чем-либо за пределами своего резервуара.

Фоксфильд говорил это с величайшей серьезностью и сам начал задумчиво приглядываться к Долорес, как будто искал причину заинтересованности осьминога. Долорес очень элегантно указала пальчиком на извивающееся в воде страшилище. «C'est un monstre» [1],— сказала она, смягчившись. Заметила приглашающее движение щупалец и застыла перед аквариумом, не проявляя намерения отойти.

— Вы не считаете, что в этих стелющихся волнообразных движениях есть какая-то своеобразная грация?

— Своеобразная грация? — проговорила она. — О, да!

— Конечно, грация чрезвычайно утонченная. О! Разве человек сумел бы сделать нечто подобное? Прошу взглянуть! *Вот сейчас, например*!

— М-м-м,— пробормотала Долорес, погруженная в глубокие размышления.

— Мало кто знает, сколь велика у морских тварей способность к страсти,— вещал далее Фоксфильд любезным, сладким и чуточку шельмовским голосом, и мне пришло в голову, что он хочет теперь по-своему отплатить Долорес за ее былой высокомерно-покровительственный тон.

— Подумайте, эти существа, плавая в глубине, свободные от закона притяжения...

Для Долорес в этом было что-то новое.

—...подобны божкам на расписном плафоне...— твердил Фоксфильд.

---

[1] «Это чудовище» *(франц.)*.

— Это правда,— признала Долорес. Она призадумалась и любознательно осведомилась:

— Но... как же они могут любиться вот так, все время в воде? Возможно ли это?

— Они делают это постоянно. Беспрерывно. Вот, например...

Аквариум как арена пламенных страстей! Для Долорес это было полной неожиданностью.

— Например? — эхом отозвалась она.

Фоксфильд на мгновение заколебался, он все тщился заглянуть мне в глаза. Его большие мягкие губы вопрошающе зашевелились. Нет, в глазах моих он не увидел протеста и сразу же начал голосом кротким, как бы со скромной сдержанностью, посвящать Долорес в интимные тайны природы. Я подметил, что воображение у него куда более разнузданное, чем у Создателя. До чего интересным был бы наш мир, если бы дело сотворения было доверено этому эрудированному биологу!

— Конечно,— объяснял Фоксфильд, вздыхая и как бы прося извинения,— море здесь сравнительно теплое, оно принимает большие массы теплой воды благодаря тому, что недалеко отсюда проходит Гольфстрем. Даже овощи в этой части Бретани,— тут он понизил голос,— скороспелые.

— Да? — сказала Долорес.

— Это относится также и к цветам. Они распускаются тогда, когда в Англии еще только почки завязываются. И тут есть большое фиговое дерево... Но это вы увидите собственными глазами... А теперь, взгляните-ка на эту акулу. Итак...

Нет, я не стану повторять всего, что Фоксфильд наплел о пикантных приключениях в мире кистеперых рыб.

Долорес до того искренне и неподдельно была заинтересована, что забыла о своей позе ультравеликосветской дамы. Она превратилась в ревностную и даже по-ребячьи своевольную последовательницу великого ученого; счастливец, он обрел на склоне лет толковую и схватывающую все на лету слушательницу, способную по достоинству оценить его рассказы об удивительных и волшебных тайнах природы!

Фоксфильд говорил и говорил, очень долго и вполне серьезно, о предметах отнюдь не поучительных, и, по мере того как он углублялся в свою лекцию, лицо его сияло все сильней и сильней, становилось елейным и ликующим.

Долорес была вдохновлена мыслью, что океан является гигантским резервуаром, в котором обитают существа, неустанно мечущие икру, рассеивающие зародышей, и все это «без малейших предосторожностей», как ее уверял Фоксфильд, который, углубляясь в дебри этой захватывающей лекции, все больше ерошил волосы, все быстрее сверкал глазами, еще увеличенными стеклами очков, и разворачивал перед не на шутку заинтригованной слушательницей все менее обоснованные биологические откровения.

Жизнь в глубинах океана он представил как непрестанную оргию, прерываемую разве что взаимным истреблением.

— Но эти существа не успевают ничего почувствовать, когда их пожирают,— уверял Фоксфильд.

Никогда еще я не видал Долорес оживленной таким пылом к науке!

И когда, провозгласив, что, собственно говоря, наука не исключает возможности существования наяд и тритонов — «вообще-то говоря, они мыслимы, ну да, мыслимы»,— Фоксфильд перевел на меня взгляд, как бы требуя, чтобы я подтвердил справедливость его слов, я поддакнул ему с таким видом, будто выдаю величайшую тайну.

— Конечно, об этом не говорят во всеуслышание,— прибавил Фоксфильд чрезвычайно доверительно.

— Вот видишь, Стини,— откликнулась Долорес,— какая у меня интуиция!

— ?! — молвил Фоксфильд с помощью подходящего к случаю мычания.

— Недаром я никогда не хотела купаться в море!

— Была однажды юная правительница острова Сарк,— завел было Фоксфильд, но внезапно отвернулся и начал шумно сморкаться. Он явно уже дольше был не в силах сдерживаться. Из-за краешка носового платка он поглядывал на меня, чтобы убедиться, какое произвел впечатление. Скажем, не зашел ли

слишком далеко? У меня было рассудительное выражение лица. По моим глазам он понял, что я предлагаю ему сохранять известную умеренность. Ввиду этого Фоксфильд на некоторое время отошел от темы разврата в морских пучинах. Мне кажется, что никто так никогда и не узнал ничего больше о юной правительнице острова Сарк. Одной неисследованной Тайной Морских Глубин стало больше.

Таким образом, наша вылазка в Роскофф неожиданно увенчалась успехом. Долорес заявила Фоксфильду, что здешняя океанологическая лаборатория во всех отношениях превосходит морскую биологическую станцию в Плимуте, о которой она, кстати, услышала сегодня впервые в жизни, и что британская научная мысль не может сравниться с ясным и логичным латинским разумом.

— Вы заспанные, заспанные,— говорила она.— Ваши англичанки не способны вас растолкать и вдохновить. Взгляните хоть на моего Стини. Он был бы ничем, если бы не узнал Францию!

— Ааа,— ответил Фоксфильд и взглянул на меня с величайшей укоризной. Глаза его были увеличены линзами очков.

Потом мы дивились великолепному фиговому дереву в «Саду Капуцинов». Долорес до того распустила язычок, что мы оба с Фоксфильдом все время оглядывались, не подслушал ли ее кощунственных слов дух какой-нибудь монашки, ибо в этом месте и доселе сохраняется атмосфера старинного монастыря.

— Это замечательно, Стини, — щебетала Долорес.— Никакой шикарный модельер не мог бы создать более удачной модели фигового листка. Мне почти захотелось снова поверить в эти библейские сказочки.

Это был ее день — наилучший день в ее жизни! Она была почти счастлива, и я любил ее.

Она громогласно расхваливала маленький ресторанчик на пляже, его чистоту, непритязательную простоту, рыбный вкус его рыбных блюд. Начала рассуждать, не следует ли ввести в нашей парижской квартире бретонскую прислугу, сообщила владельцу ресторана, что была когда-то всамделишной египетской принцессой; сказала ему, что Фоксфильд вместе со мной пишет книгу

о Бретани, в которой он, ресторанщик, будет, конечно, фигурировать в самом почтенном виде, а позднее, во время прогулки по городу, пожелала приобрести исполинский стеклянный резервуар для морской воды и установить его в своей гостиной, чтобы иметь возможность ближе исследовать нравы морских жителей. Но она решила в конце концов, что резервуар вместе с перевозкой влетит в копеечку, и отказалась от этой мысли.

На обратном пути мы распростились с Фоксфильдом, который прерывисто кудахтал, ибо ему неудержимо хотелось расхохотаться. Уже с завтрака он не мог удержать хихиканья, и я видел, что он в толк не возьмет, почему это я порой выражаю неудовольствие своей супружеской жизнью.

В машине Долорес в изнеможении повалилась на подушки, жалуясь на свою боль, но тут же ожила и начала с изумлением рассуждать о полноте жизни морских созданий, ибо именно об этом только что поведал ей Фоксфильд.

— Вот, например, анемоны,— говорила она,— я всегда считала, что это всего-навсего прелестные игрушки, а ведь подумать только...

Потом она заметила:

— Вы, издатели, выжимаете соки из таких людей, как Фоксфильд. Что он получает от жизни? Да ничего! Точь-в-точь такая же история, как с великим Кюри, который всю свою жизнь вынужден был работать в жалком сарае. А потом все так сокрушались, так сокрушались!

— Ты не разговаривала с Фоксфильдом обо всех этих делах?

— Фоксфильд не хотел много об этом говорить: он слишком предан тебе. Но я видела его насквозь!

Потом она с восторгом прибавила:

— Сколько этот человек знает! Сколько он еще может сделать открытий! Природа оживает в его устах! Кипит жизнью. Он умеет проникать в суть вещей. В сравнении с ним как скучно все, что ты, Стини, рассказываешь! Как все это банально! Какое все это типично английское! Никогда ты не рассказывал мне ничего такого интересного. Если бы я была побогаче, я назначила бы

Фоксфильду постоянную пенсию. Как Руссо. Как Екатерина Великая Вольтеру!

— Проклятие! — вдруг вырвалось у меня.

— Что?

— Ничего, я подумал только, что специально поехал в Роскофф, потому что срок представления рукописи давно уже миновал. Провел с Фоксфильдом целый день и ни словом об этом не обмолвился.

18

Торкэстоль, 1 сентября 1934 г.

Только что у меня в курительной был забавный разговор с одним из двух английских рыболовов. Оказалось, что это англичане, а не ирландцы, как я сперва полагал. Товарищ его исчез из отеля дня три или четыре назад. Осиротевший сидел одиноко в уголке, пялясь в пустоту. Погасшая трубка оттягивала книзу угол рта. Я почувствовал, что он одинок, и заговорил с ним.

— Ваш друг покинул вас? — спросил я.

Рыболов ответил опечаленным тоном:

— Уехал к жене. А какой был великолепный клев!

— Что, жена заболела?

— Да где там! Здоровехонька!

— А они давно женаты?

— Испокон веков! Попросту она все время как-то ему мешает. Не может оставить его в покое. Всегда что-нибудь да выдумает.

Я подумал, что мой рыболов, по-видимому, женоненавистник, и следующие его слова подтвердили мою правоту.

— Супружество,— сказал он,— это ужасная неволя. Ужасная!

С минуту он молчал.

— Вы не женаты? — спросил я.

— Был женат, был,— сказал он, опуская детали.— Отлично знаю, как оно бывает.

Я не отвечал ни слова, всецело предоставляя ему продолжить или оборвать нашу беседу.

Рыболов в задумчивости посасывал трубку.

— Удивительная вещь, до чего мой приятель дер-

жится за эту женщину,— сказал он наконец.— Как жена — она немногого стоит. Знаю ее хорошо.

При таком обороте дела я решил, что слово за ним.

— Ни минуты покоя,— говорил он,— передышки ему не дает. На сей раз дело идет о какой-то неприятной стычке в Бридж-клубе. Кто-то обвинил ее в нечестной игре, или она кого-то в этом обвинила, или и вправду мошенничала. Насколько я знаю, большинство женщин мошенничают в картах или других в этом обвиняют. Они не могут, чтоб не передергивать. Но кто-то должен был их вывести на чистую воду. А мой приятель, бедняга... немолодой уже, тихий человек... Ну что ж, пришлось ему уехать с половины отпуска. Что он там застанет? Толпу расфуфыренных балаболок? Он обязан защищать собственную жену, хотя бы ему пришлось из-за этого перессориться с лучшими друзьями. Женщины всегда, хочешь не хочешь, втягивают мужей в беду... А тут был такой великолепный клев!

После минутного молчания он прибавил еще:

— Все это от безделья. Избыток энергии... Почему бы им не приняться за что-нибудь полезное? Например, за работу в совете графства? Женщины бывают превосходными администраторами. Или за какие-нибудь научные исследования? Но нет. Сами знаете. У них в голове только бридж и сплетни, сплетни и бридж. Либо этот проклятущий трик-трак.

Он почему-то с особенной ненавистью говорил о трик-траке.

Я признал, что его упреки вообще справедливы, поскольку речь идет о женщинах из зажиточного буржуазного круга.

— Мне кажется, что они ломают себе голову только над тем, как убить время,— сказал я.— Иногда я просто не могу на это надивиться. В Париже наблюдаю то же самое. Вечно играют в бридж, вечно таскаются в гости пополудни.

— Именно пополудни... Пополудни дьявол в них всего сильнее пляшет,— согласился мой собеседник.— Я бы запирал их на ключ от двух часов дня до семи часов вечера. Всех без исключения. Это избавило бы нас от множества хлопот.

Некоторое время он молча курил, как погрузившийся в мысли мудрец, а клубы дыма из трубки вздымались над ним, как боевой сигнал краснокожих. Наконец он спросил:

— А вы видали когда-нибудь, чтобы женщина удила рыбу?

Я долго раздумывал над этим вопросом.

— Это удивительно меткое и оригинальное наблюдение,— ответил я.— Действительно, мне никогда не случалось увидеть нечто подобное. Иногда я вижу на Сене в лодке парижского буржуа, этакого мсье Дюпона, с супругой, но женщина всегда либо что-то вышивает, либо читает книжку, либо хлопочет около корзины с завтраком. Вы вполне правы. Женщины не ловят рыбу. Никогда в жизни я не видал одинокой женщины с удочкой над рекой. Никогда!

— И никогда не увидите,— заявил он категорическим тоном и начал медленно выбивать табак из трубки на ладонь.

— Таковы женщины,— закончил он, кивнул мне на прощание и вышел.

19

Так сказал одинокий рыболов. В его взглядах на жизнь наверняка отразились какие-то личные переживания. Но хотелось бы знать: много ли мужчин его лет смотрят на женщин, как он,— с такой же вот присущей людям среднего возраста разочарованностью, с таким же близким к ненависти чувством? После моих наблюдений, правда, не слишком обширных, я склонен думать, что в наших нынешних условиях множество пожилых мужчин, которые в прежние времена были бы гордыми отцами семейств, повелевающими покорной — по крайней мере с виду — женой и целой оравой забитых детей и внуков, тянут теперь лямку бездетной семьи, год от году все меньше понимая, зачем это им нужно, и все меньше находя в этом удовольствия. Супружество некогда было чередой не определенных заранее событий и переживаний — отцовство, роль главы семьи. Оно было содержательнейшим житейским испытанием. А теперь мир населен множеством не удовлет-

воренных жизнью пар, инстинкты которых не гармонируют; людей, которым хочется всего вообще и ничего в частности.

Мы млекопитающие, и нам предназначено судьбой производить на свет и воспитывать новое поколение, выполнять свой родительский долг, а потом, износившись и исчерпав свои силы, умирать. Наша зубная формула рассчитана именно исходя из таких сроков земного существования. И когда отсутствует естественная совместная цель жизни, мы, люди, оказываемся перед необходимостью приспособления к новым заданиям, а так как приспособление это по неизбежности неполное, то мы, мужчины и женщины, впадаем в крайнее раздражение, чтобы не сказать в ярость, причем чем дальше, тем больше.

Неприязнь к женщинам, которой дышали слова рыболова, заставила меня задуматься еще об одном. Интересно, в какой мере антагонизм между мной и Долорес является всего лишь частным проявлением современной борьбы полов? Врожденная неспособность к материнству только помогла выявить это общее положение вещей. Возможно, что женщинам, которым в области размножения человечества была назначена более хлопотная роль, труднее приспособиться к нынешнему ограничению и даже часто устранению этой функции из их жизни. Женщины не умеют избегать страданий с той ловкостью, как мужчины, более в этом понаторевшие. Они менее способны отстраняться от своих личных забот, а ведь человек с удочкой и есть пример такого отстранения. Они не умеют так же легко, как мужчины, абстрагироваться от своих переживаний. Я, например, все более проникаюсь своей ролью воспитателя и исследователя. Я развил эту идею в разумную и логичную систему житейской философии, основанной на принципах служения и преданности великим общечеловеческим идеалам, и благодаря этому я все меньше сосредоточен на самом себе. Насколько я способен понимать самого себя, меня не слишком угнетает сознание, что, по сути дела, у меня нет собственного дома. Наша парижская квартира — только жилище, а свое жилище — это далеко не то, что «свой дом». Однако я болезненно переношу одиночество. Потребность в товариществе ко-

ренится глубоко в моей натуре. В прежних условиях общие интересы, связанные с домом и хозяйством, содействовали возникновению такого взаимного товарищества у супругов. Я хотел бы иметь кого-нибудь, с кем я мог бы смеяться вместе, одного человека или нескольких, родственных по духу, с которыми без малейшего стеснения я мог бы делиться мыслями, к которым я прибегал бы за помощью в трудные минуты; а у меня нет людей, близких мне в такой степени. Правда, при мне Долорес, но наши отношения напоминают взаимоотношения Франции и Германии, соседей, которых разделяет укрепленная граница. Все, что я ей поверяю, тут же становится всеобщим достоянием и раньше или позже обращается против меня самого. Ни в отношениях с ней, ни в отношениях с кем-нибудь еще я не могу разрядить своего эгоцентризма, а что до нее, то она свой эгоцентризм и не пытается подавить. Поэтому, наверно, я и пишу этот дневник, эту исповедь.

Вследствие распада семьи женщины больше, чем мужчины, оставлены наедине с собой. Их этот распад лишил большего, чем нас, потому что супруги противостоят друг другу; естественные расхождения во мнениях между ними становятся вследствие этого более выраженными и перерастают в открытую борьбу. Да, все это правда, но из этого еще не следует, что антагонизм между мной и Долорес всецело вытекает из этого положения вещей. Мы принципиально не подходим друг к другу, а глупейшее из всех общественных установлений — практически нерасторжимый, хотя и бездетный брак — настолько усугубляет эту дисгармонию между нами, что любая (в других супружествах пустячная) ссора уязвляет нас до глубины души. Если говорить об обстоятельствах сексуального характера, то между нами не возникает существенных недоразумений, с тем, однако, исключением, что я слишком часто покидаю Долорес ради деловых разъездов. В наших взаимоотношениях я не улавливаю никаких отзвуков толстовской «Крейцеровой сонаты». У нас нет и намека на фазы влечения и отвращения. Я подозреваю, что герой «Сонаты» обладал меланхолическим и эгоцентричным темпераментом и что ему недоставало ясности и гибкости характера. Я не думаю, чтобы корни нашей истории уходили ку-

да-то в извечный спор женщины и мужчины. Это скорее стычки между двумя людьми отличного друг от друга типа. Если бы Долорес была мужчиной другой расы и культуры, чем я, и если бы я с этим человеком был связан нерасторжимым контрактом в совместном деле, которое требовало бы постоянного и близкого общения, так что я, например, был бы старшим партнером, а он моим неустранимым и несменяемым сотрудником, то конфликт между нами был бы, возможно, менее напряженным, но, по сути своей, почти таким же, как между мной и Долорес. Человек этот терзал бы меня и связывал не меньше нее, и я так же испытывал бы бессильное раздражение.

Я все больше утверждаюсь в мнении, что Долорес и я не являемся женской и мужской особями одного и того же вида, но представителями двух разных видов, между которыми абсолютно исключена какая бы то ни было общность и взаимопонимание. Исходя из моей собственной теории, я допускаю, что существуют на свете женщины типа Уилбека и мужчины — врожденные актеры, например, типа Долорес.

Я перечел написанное прошлой ночью о разнородности человеческих типов. Когда я писал это, я был одурманен брэнди и усталостью, но нынче, трезвый, я готов подписаться под собственными словами. Не стану этого исправлять. Когда я писал это, то думал, что создаю пародию, а теперь вижу, что только форма была шуточная, а содержание — нет. Моя экскурсия в область несколько подгулявших теорий не была заблуждением мысли, но открытием, если можно так выразиться, праздношатающегося разума. Случаются такие открытия, сделанные, например, под гипнозом или когда мы пробуждаемся утром с готовым решением проблемы, над которой тщетно бились накануне вечером. Полагая, что я высмеиваю труды историков и социологов, я, по сути дела, применил метод, который позволил мне выявить целую массу идей, дремлющих в моем подсознании. Теория, согласно которой человек является продуктом скрещения разнородных видов, подобно тому, как смешались они в собачьем царстве, мне кажется, стоит того, чтоб от нее не отмахиваться. Я использовал в ней разные сведения, нахватанные в

дискуссиях с Фоксфильдом и вообще почерпнутые мной из биологической литературы.

Мы с Долорес являемся представителями двух разных видов, отличаемся друг от друга, как неандерталец отличался от кроманьонца. Хотя, наверно, их можно было бы скрестить...

20

Я перестал писать. Миг назад я писал спокойно. Но вдруг до моего сознания дошло, что что-то изменилось на моем письменном столе, чего-то на нем недостает.

Исчезла фотография Летиции. Разорванную в клочья я отыскал ее в корзине для бумаг.

Явно, во время моего отсутствия, Долорес, желая что-то разведать, побывала в моей комнате. Быть может, она хотела понять, почему я провожу здесь так много времени. Рукопись я обычно запираю на ключ в портфеле, но могло случиться, что наверху лежало какое-то письмо или другая какая-нибудь бумага; была также и эта фотография. Она стояла прислоненная к забавной бронзовой пепельничке. Летиция прислала мне свой портрет всего три или четыре дня назад... Нет, с этим надо покончить. Я должен поговорить с Долорес, и поговорить сейчас же, не откладывая ни на минуту.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАУПОКОЙНАЯ

1

Торкэстоль, 2 сентября 1934 г.

Я не смогу довести до конца ДЕЛО СТИВЕНА УИЛБЕКА ПРОТИВ ДОЛОРЕС по той простой причине, что оно утратило всякое значение. Долорес умерла.

Бедное создание, тщеславное и сумасбродное, перестало существовать.

А я свободен.

Когда я расстался с ней вчера, была уже поздняя ночь. Обнаружив разорванную фотографию моей дочери и нацарапав в дневнике последние слова «ни на минуту»,— я сидел еще некоторое время, складывая перед собой обрывки Летиции, — широко раскрытый глаз, кусочек щеки, рот, улыбающийся одним только уголком губ.

— С этим надо покончить,— сказал я себе. Но, говоря так, я великолепно чувствовал свое бессилие.

Что же я мог сделать! Избить ее? Она рассказывала бы об этом всему свету. Она превратила бы это в еще один узел, связывающий меня с ней. Что я мог сделать, кроме этого? На что мне весь мой словесный протест, сразу же захлестываемый потоком ее красноречия?

И все-таки я поднялся и, сжимая в кулаке обрывки фотографии, пошел в ее комнату.

Она еще не спала, ожидала меня.

— Взгляни,— сказал я и разжал кулак, чтоб показать ей, что́ я принес.

— О, да! — ответила она вызывающе.— Видишь, что осталось от этой фотографии?

— Я не вынесу этого!

— Я тоже нет! Не вынесу, чтобы на месте, принадлежащем мне, ты ставил фотографию этой девчонки! Нет! Она не будет стоять там, на твоем письменном столе, всем на обозрение!

— Но это моя дочь!

— Это твоя любовница!

— Слушай, Долорес, неужели ты спятила? Ради чего ты выдумала эту невероятную историю? Чего ты хочешь достичь? Что тебя толкает на это?

— А зачем ты выставляешь ее напоказ? Зачем хочешь взять ее к себе? Зачем хочешь выгнать меня из моего собственного дома — из дома, который я сама обставила,— чтобы ее туда ввести?

— Ты ведь и сама знаешь, что это только твои собственные фантастические домыслы.

— Домыслы, но не вымыслы! Почему ты меня так оскорбляешь, Стини? Почему ты так жесток ко мне? Держишь меня в доме, из которого сам убегаешь. Шляешься по всему свету.

— Чепуха,— ответил я.— Ты прекрасно знаешь, что мне приходится разъезжать. У тебя есть все, что тебе необходимо. Есть дом, какой ты сама хотела иметь, автомобиль, который ты сама выбрала, прислуга, которую ты можешь выгнать, сплетни, какие любишь. Одеваешься великолепно. Живешь полной жизнью. Всем все рассказываешь чрезвычайно остроумно и авторитетно. Твои приятельницы боготворят тебя, ты сама это говоришь. Люди оглядываются на тебя на улицах. Ты превосходно знаешь, что в Англии Летиция не находится постоянно со мной. Я не вижу ее и раз в месяц. Она в школе, а на каникулы ездит домой, в Саутгемптон. В глубине души ты прекрасно знаешь, что всю эту историю ты попросту высосала из пальца. Зачем ты это сделала? Чего ради?

Она слушала меня с необычайным терпением. Сидела, опираясь о подушки, оплетя руками приподнятые колени, упиваясь своими обидами. Впервые тогда я увидел с такой четкостью, что ее худое и некогда довольно красивое лицо уже съедено косметикой, а морщинки вокруг огорченного рта углубились.

— Ненавижу тебя,— сказала она.

И добавила:

— Ненавижу и в то же время люблю. Почему? Не знаю... Но ты... Разве ты хоть когда-нибудь любил меня? Да никогда! Я ведь не слепая. Ты прикидывался. Ты использовал меня. Но, если ты меня не любил, зачем ты взял меня? Я рванулась в твои объятия, не раздумывая и не ставя условий...

Я не отвечал ни слова. Перебрал в памяти подробности этой капитуляции Долорес. А она тем временем продолжала импровизировать историю своей жизни.

— Ты схватил меня, как неразумный ребенок хватает красивую игрушку,— схватил и сломал. Прежде чем мы познакомились, у меня была среди людей своя слава. Да, у меня она была, ты не можешь этого отрицать. Все обращали внимание на необычайную живость моего ума. На мои таланты. У меня было легкое перо, и говорить я умела так, что постепенно все за столом умолкали.

Ни у кого недоставало отваги соперничать со мной. Я подавала большие надежды. У меня был декламаторский талант, и не только декламаторский, я уже могла

читать лекции. И вдобавок — я была принцесса. Соотечественница Клеопатры. Не такая, как ваши занудливые британские королевские высочества! Женщина, которая умела одеваться с нескончаемым шиком. И в то же время — женщина, играющая заметную роль в искусстве, в литературе. У меня были любовники, которые по-настоящему меня любили. Они действительно любили меня, милый Стини. Они ни в чем не могли мне отказать. Каждый мой каприз был законом. Жизнь улыбалась мне. Если бы ты захотел мне помочь, даже здесь, в Париже, я могла бы создать салон. Вопреки тебе. Я могла бы влиять на государственных деятелей. Я, пожалуй, могла бы иметь влияние на какого-нибудь диктатора. И вдруг — втюрилась в тебя! Сначала, да, сначала это был только каприз, а потом — влюбленность. Это как у Шекспира. Да. Ты — Основа! Ты — увалень Основа! Хитрый Основа! Расчетливый. Бесчувственный, как чурбан. Что я могла поделать с тобой? Ведь ты был настолько туп, что не мог даже оценить, какую женщину ты держишь в объятиях! От всего, что я говорила, от всего, чем я была, ты всегда отделывался своей издевательской усмешечкой. Ты растоптал мою молодость! Погубил мою жизнь!

Я стоял молча, неподвижно, руку, в которой сжимал изорванную фотографию, сунул в карман.

— Ты тугодум, ты неотесан. Ты невежа, хотя издаешь книжки. Хотя завлекаешь и грабишь бедных авторов. Вот, например, этот несчастный Фоксфильд. Обшарпанный, безропотный. Разве дело только в том, что со мной ты всегда был туп и неловок. Ничего иного ведь и нельзя было ожидать от англичанина да вдобавок ко всему еще и торгаша. Сперва это меня даже немножечко забавляло. Это было как соус пикан. Когда-то мне это нравилось. Но в тебе есть нечто сатанинское, какая-то извращенность. И постепенно, день за днем, я узнавала тебя и знаю теперь, каков ты на самом деле. У тебя нет моей деликатности. Даже следа ее нет! И это чувственное животное, да притом еще злобное, растоптало все мои иллюзии. С некоторых пор на лице твоем какое-то выражение жестокости. Даже ты, должно быть, способен его разглядеть — в зеркале Ты все больше становишься самим собой. Я прекрасно слы-

шу, я все вижу, от меня ничто не укроется. Не спрашивай меня, как и откуда,— хватит с тебя, что я все знаю. Да, милый Стини, знаю. Ты всегда был для меня открытой книгой, а теперь сделался совершенно прозрачным, я вижу тебя насквозь.

Когда ты вошел сюда, Стини, ты сам сказал, что так дольше быть не может. Я тоже об этом думала, когда ты прятался там, наверху, в своей комнате, чтобы строчить тайком письма к своим английским любовницам. Но у меня ясный латинский ум, латинское чувство реальности, и я должна позаботиться о своей собственной жизни...

(Она говорила все это прошлой ночью...)

Я должна позаботиться о себе... Моя влюбленность в тебя исчезла. Fini[1]. С меня довольно. Никогда уже с этой минуты я не стану обращать внимания на твои желания, на твои планы, на твое благополучие. Я не буду уже мучиться, хлопоча по хозяйству, чтобы тебе угодить. Я не буду пререкаться с прислугой ради того, чтобы тебе жилось, как у Христа за пазухой! Окончилось мое рабство. Я порываю со всем этим. Отныне я буду заботиться только о себе. Долорес для Долорес. У меня от природы ясная голова и масса энергии, а теперь я стану еще вдобавок беспощадной эгоисткой, женщиной, лишившейся всех иллюзий. Это ты натворил, Стини. Я буду теперь использовать положение твоей законной жены. Я буду тверда и блесну в твоем мире. Слишком долго ты держал меня в тени, душил все мои порывы. Я уже все обдумала. Все до мельчайших подробностей. Поеду в Лондон, поселюсь в твоей квартире и наведу там свои порядки! Увидишь, как запляшут твои заспанные, неряшливые английские лакеи! Я преподам урок морали и приличия твоим английским хахальницам. Я покажу этим светским дамам, которые задирали передо мной нос, потому что не могли со мной сравниться! Потолкую с ними по душам! Буду отвечать на телефонные звонки: простите, мадам, но здесь уже больше не холостая квартира. Миссис Уилбек вернулась к себе домой, и вы можете встречаться здесь с ней, если хотите. Я устрою шикарный коктейль и при-

---

[1] Кончено *(франц.)*.

глашу всех этих дамочек. Пусть тогда попробуют смеяться надо мной.

Нет, слушай меня, Стини, и не перебивай, потому что я буду вынуждена поднять голос, и тогда могу и вовсе расхвораться. Говорю тебе совершенно спокойно, что намерена сделать. Не выводи меня лучше из равновесия. Раз я сказала, что все это сделаю, так, значит, и будет.

Но я вовсе не перебивал ее. С величайшим напряжением мысли я застыл над ней, ибо никогда прежде она не обнажала передо мной столь откровенно свою натуру и свои побудительные мотивы. Я стоял у ее постели, а Долорес произносила свой монолог, и щеки ее вдохновенно пылали.

Было ясно, что она повторяет заранее заученный урок. Должно быть, она уже с давних пор вынашивала в голове эти планы. Я видел, как они созревали в ее мозгу. Так выглядели наши взаимоотношения в ее истолковании. Таким способом она сумела найти оправдание для всех своих настроений и порывов. Все, что она говорила, было до того фантастично, что я даже задумался над тем, что, наверно, и я сам, излагая события, неизбежно отклоняюсь от истины. Но думаю, я все-таки ближе к истине, чем она.

Долорес продолжала развертывать передо мной свои планы на будущее. Она вещала тоном непоколебимой решимости. И все-таки это были мечтания, пылко воплощаемые в явь порывы ее сердца, ее излюбленная поза. Безусловно, она не собиралась осуществить всех этих замыслов, но могла отравить мне жизнь, пытаясь осуществить хотя бы самую малую их часть.

— Да, Стини,— говорила она дальше, вздымая ввысь тонкий указательный палец, увенчанный пурпурным ногтем.— Перед тобой теперь женщина, исцелившаяся от иллюзий. Я буду безжалостна. Безжалостна. Использую против тебя все свои права. Ты мой муж. Спасибо за эту честь, но не думай, что я отрекусь хоть на йоту от привилегий, которые мне положены, как твоей жене. Я обращу против тебя все, что когда-либо от тебя получила, использую каждую твою уступку. Приеду в Лондон официально и с шумом. Меня не остановят неудобства морского путешествия. Я вытерплю и это. Вот уже три с

половиной года я не была в Англии. Я не буду отходить от тебя ни на шаг. Постараюсь, чтобы в «Таймс» появилось сообщение, что миссис Уилбек вернулась в Англию «после продолжительного пребывания за границей». Если все это потребует расходов, я сделаю долги от твоего имени. Я уж сумею устроить, чтобы за тобой хорошо следили и сообщали мне обо всем. Я выведу на чистую воду весь твой лондонский гарем! Извлеку на свет божий всех этих дамочек, которых ты прятал по углам. Если они замужем, я буду писать мужьям. Меня не очень огорчит, если из-за этого начнутся бракоразводные процессы. А твою мерзкую дочку — да, да, мерзкую, грязную, развратную! — выгоню прочь из твоей жизни. А если ты будешь сопротивляться, устрою громкий скандал. Величайший ужас для англичанина: шум, огласка! С достоинством покину твой дом. Переберусь в Клэридж. Все разводки перебираются в Клэридж, правда? Во всяком случае, поселюсь в одном из этих шикарных отелей. Дам интервью журналистам. Чем упорней будешь ты защищаться, тем беспощадней я буду. Весь Лондон заговорит о тебе. Ты стоишь теперь в тени, незамеченный, но я вытащу тебя за ушко да на солнышко! Можешь мне поверить, уж это будет скандал так скандал! Да, да, мой бедный, мой упрямый Стини. Ты этого заслужил. Меня ничто не остановит, на весь Лондон будет скандал!

Так все и будет, Стини. Без всякой пощады. Ты упустил свой последний шанс в минуту, когда мы приехали сюда. День-два мне казалось, что все у нас теперь будет, как в самом начале. Но потом ты стал против меня на сторону этой прокаженной старухи, которая выдает себя за баронессу, на сторону этой скаредной англичанки с картофельным рылом — почему эта идиотка не красится? Ты стал на сторону прислуги и этих людишек, которые заняли у нас под самым носом столик в столовой. Так же как прежде, когда была история с этими несносными Беньелями. Вечно одно и то же. Вечно ты против меня. Вечно!

Она смотрела перед собой широко раскрытыми глазами, и так как я продолжал молчать и не шелохнулся, она повторила еще раз:

— Вечно против меня... Ох, как я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу! Никогда я не могла пробудить в те-

бе истинную страсть, никогда. Если бы ты хоть раз в нашей совместной жизни заплакал! Но теперь-то наконец я из тебя что-нибудь выжму — пусть это будет только ненависть, или хотя бы злость, или жестокость. За все это сам себе будешь благодарен! Моя доброта исчерпана. Я покончила с любовью уже навсегда. Теперь я буду ненавидеть! Что бы ты теперь ни сделал, сомневаюсь, чтобы я смогла еще простить тебя. Отныне я твой враг. Теперь мы в состоянии войны. Я хочу тебя уничтожить, Стини, хочу тебя разорить и сделать всеобщим посмешищем, хотя бы мне самой это недешево стоило. Хочу причинить тебе боль, больше всего жажду, чтобы ты страдал.

Великий боже, как я ненавижу тебя, Стини, как я ненавижу тебя! Если бы ты мог заглянуть в глубь моего сердца в эту минуту, даже ты содрогнулся бы. Погоди только, вернемся в Англию! Увидишь, как я обойдусь с этой твоей дегенеративной, ублюдочной дочкой, с этой панельной тварью, с этой жеманной соплячкой. Она получит по заслугам. Да неужели ты сам не видишь, какая она? Даже на этой фотографии...

Она исторгла из себя эти распаленные ненавистью слова почти радостно. И вдруг остановилась на полуфразе и взглянула на меня. Быть может, ее поразило в конце концов, что я так покорно слушаю. Обычно я пробовал прервать лавину ее красноречия или выходил из комнаты. Видимо, она хотела убедиться, все ли, что она говорила, дошло до моего сознания. Она должна была при этом в моем молчании заметить какой-то совершенно новый род опасности, ибо я внезапно понял, что Долорес испугалась. Понятия не имею, что она увидела в моем лице. Полагаю, что лицо у меня было совершенно бесстрастное.

Оскорбления замерли на ее устах, и она умолкла, а глаза ее были прикованы к моим глазам. На мгновение мы застыли. Смотрели друг другу прямо в глаза — и молчали.

В какой-то миг лицо Долорес внезапно изменилось, его исказили боль и страх. Она схватилась за бок.

— Какая боль,— крикнула,— какая боль!! Ты всегда меня до этого доводишь. Ох, я этого не вынесу, если бы у тебя так болело! Если бы я могла заставить тебя

почувствовать, какая это адская боль! Это ты отравляешь мою кровь. Это из-за тебя у меня снова приступ. Ужасная боль! Дай мне быстро семондил, скотина. Не злорадствуй, ты, садист! Две крохотных таблетки, Стини, развести в воде. Две крохотных таблетки. Ох, какое это волшебное средство!..

Она пила.

— М-м-м...

Я наклонял стакан.

2

На следующее утро Мари вошла с чашкой кофе в комнату своей госпожи и застала Долорес раскинувшейся поперек постели. Одеяло было сброшено набок. Долорес, казалось, мирно спала. Мари поставила поднос и потрясла ее за плечо. Но Долорес уже не могла проснуться.

Тогда Мари заметила на столике рядом с подносом тюбик из-под семондила. Тюбик был пуст. На столике стояли еще пустой стакан, графин с водой и электрическая лампа.

Все эти подробности Мари заметила очень точно, прежде чем ее нервы сдали и она решилась поднять крик и устроить драматическую сцену.

Сразу же на месте происшествия появился коридорный, который перед тем принес Мари с кухни кофе, горничная и супруги Юно. Хозяева были изумлены, потрясены и поражены, но прежде всего озабочены тем, чтобы никто из постояльцев отеля не доведался о происшедшем. Они заперли двери комнаты Долорес и быстро оценили ситуацию. Мадам Юно распорядилась, чтобы тут никто ни к чему не прикасался.

Потом все они на цыпочках прошли по коридору и по лестнице наверх ко мне, чтобы сообщить о несчастье. А потом все вместе со мной вернулись в комнату Долорес, как дети, которые бегут следом за кукольником, представляющим похождения Панча и Джуди.

Когда я подошел к постели Долорес и убедился, что тело ее мертвое и холодное, а потом отступил на несколько шагов, глядя на умершую, я ощущал на себе испытующие взгляды. Я, как говорят кинематографисты, был

в этот момент довольно, а то и совсем невыразительным, но ведь на то я и англичанин. Первая прервала молчание Мари.

— Мадам чувствовала себя вчера вечером очень несчастной,— сказала она.— Очень огорчилась, что мсье не пришел пожелать ей спокойной ночи.

Я молниеносно собрался с мыслями.

Если я оставлю всех в убеждении, что я не видал накануне вечером свою жену, то я смогу избежать многих неприятных вопросов, а может быть, и подозрений.

Но в этот миг я подметил во взгляде Мари какой-то блеск, который склонил меня немедленно отбросить первое, трусливое и безрассудное побуждение.

— Я пожелал ей спокойной ночи,— заявил я.— Я почти наверняка последним был вчера вечером в этой комнате. Я писал допоздна, и Мари уже ушла к себе. Должно быть, было уже сильно за полночь.

Нотка разочарования прозвучала в голосе мадам Юно, которая тут же отозвалась:

— Да, я слышала, как вы входили.

Мне кажется, что мадам Юно какой-то миг надеялась сказать это позднее и при более драматических обстоятельствах.

— Мадам Юно и ее супруг, безусловно, лучше всех знают, что следует теперь предпринять,— сказал я.— Нужно пригласить врача и комиссара полиции. Я полагаю, что все в этой комнате должно остаться как есть.

Оказалось, что мадам Юно уже позвонила комиссару полиции и доктору.

Мсье Юно стал перед запертыми дверьми и, побуждаемый к действию энергичными взорами своей супруги, заявил:

— Никто из постояльцев не должен узнать о том, что здесь произошло. Таково правило. В особенности вы,— обратился он к Мари,— должны молчать. Если окажется необходимым, вы скажете просто, что больна и беспокоить ее нельзя. Вы поняли меня? Больна — и все. Даже вашему шоферу — ни слова. А вы, Матильда? А вы, Огюст? Ни слова. Полное молчание. Огюст пускай сейчас же сойдет вниз и проводит сюда господ Добрэ и Донадье, как только они прибудут.

Он отпер дверь, чтобы выпустить Огюста, осмотрел при этой оказии коридор и вновь запер двери.

— Это ужасный удар для меня,— сказал я и опустился на ближайший стул.— Вчера еще жена моя была полна жизни и даже очень оживлена.

— Я слышала ее голос,— сказала мадам Юно.

— Я попросту ошеломлен.

— Это очень понятно, — засвидетельствовал мсье Юно.

— Она всегда была такая оживленная! — говорила его жена.— Никогда в нашем отеле не было более оживленной и очаровательной дамы. Вам ее будет так недоставать.

— Я еще не освоился с тем, что произошло,— ответил я, взглянув на окоченелую, молчаливую фигуру, раскинувшуюся на постели. Это так на нее непохоже.

Мы сидели в молчании, прерывая его время от времени замечаниями подобного рода. Все мы почувствовали облегчение, когда Огюст ввел врача, и еще большее, когда прибыл комиссар полиции и приступил к исполнению своих обязанностей. Тут же вслед за ним в комнату влезли два субъекта неопределенной наружности, присутствие которых никого как-то не удивляло.

Один из них, должно быть, был низшим полицейским чиновником, а другой показался мне представителем прессы, ибо он не выпускал из рук блокнота. Но я так никогда и не доведался, зачем они сюда пожаловали.

Всем нам пришлось ответить на ряд вопросов. Доктор огласил свое заключение. Комиссар был румяный, белотелый и немного пресыщенный мужчина в криво застегнутом мундире, небритый. Он систематически исследовал факты, а когда начал задавать мне вопросы, не суть их, но тон произвел на меня впечатление допроса.

Комиссар расхаживал по комнате, что-то пренеприятно бормотал себе под нос и внезапно бросал мне какой-нибудь вопросец. Ему непременно хотелось добиться от меня, чтобы я точно, минута в минуту, назвал время, когда я нынче ночью покинул комнату моей жены. У меня было впечатление, что он надеялся поймать меня на каком-то расхождении с показаниями мадам Юно. Он задавал мне этот вопрос на все лады. Спрашивал веско, преисполненный значительности, не терпя противоречия,

спрашивал атакуя, спрашивал коварно, спрашивал врасплох, спрашивал откровенно, спрашивал доверительно, но вопреки всем этим подходам всегда получал один и тот же спокойный ответ, что я не знаю точно, который был именно час. Наконец он заметно измотался и заявил, что приступает к опечатанию номера.

Когда мы расставались в коридоре, мадам Юно повторила, драматическим жестом прикладывая палец ко рту:

— Никто не должен об этом узнать! Здесь отель. Надо помнить об интересах других людей. Мадам больна, и ее нельзя тревожить. Все это поняли?

— Жизнь в отеле должна идти своим чередом,— прибавил мсье Юно.

Из комнаты Мари донесся до нас тонкий меланхоличный собачий вой. Мари удивленно всплеснула руками.

— Песик почуял! — закричала она.— Бедняжка Баяр! Бедная, невинная тварь! Он уже знает обо всем.

Я с удивлением заметил, что возненавидел бедную тварь за эти жалобные стоны больше, чем когда-либо.

— Лучше покормите его,— сказал я.— И выпустите на двор.

— А вы не хотели бы его увидеть? — спросила Мари.— Песик будет теперь очень несчастлив. Он все-все понимает.

Я не откликнулся на это предложение. Я вернулся задумчиво в свою комнату и, усевшись за стол, раскрыл этот дневник на том месте, где начинались мои вчерашние записи.

3

Я просмотрел исписанные накануне страницы, и мне показалось, что теперь самое время спрятать дневник, побриться, одеться, пойти выпить кофе, а потом возвратиться к себе и снова раскрыть свою тетрадь. Я пишу сейчас по инерции.

В город я пойти не могу, а тут мне нечего делать. Я хочу быть на месте, чтобы в случае надобности ответить на возможные вопросы и отдать необходимые распоряжения. К тому же я еще не совсем понимаю сложившуюся ситуацию. Следует побыстрее разобрать-

ся в кое-каких важных фактах. Кроме того, я начинаю как-то неясно ощущать, что жизнь моя с нынешнего дня полностью изменилась.

Есть еще нечто большее... Сегодня мне кажется еще менее правдоподобным, чем в день, когда я начертал первые строки этой рукописи, чтобы она была когда-нибудь опубликована. Я должен конфиденциально доверить этому дневнику одну мысль, которая засела в моем мозгу и не дает мне покоя. Хочу это записать, хотя бы мне пришлось разорвать страницу, прежде чем просохнут чернила. Хочу черным по белому увидеть перед собой эту мысль, выраженную словами. Речь идет об этом тюбике семондила.

Однажды или дважды в жизни я видел сон настолько подробный и настолько прозаически-реальный, что впоследствии мне трудно было отличить его от подлинных воспоминаний. Однажды или дважды реальные факты странно преображались в моей памяти. А нынче я тоже не убежден, что в миг, когда я должен был положить в стакан две таблетки семондила, мне не взбрело на ум высыпать туда все содержимое тюбика. Когда я взял его в руки, то заметил, что он непочат. «Это усыпило бы ее навек»,— подумал я совершенно спокойно. Я не помню, чтобы что-нибудь при этом почувствовал. Я попросту оценил удачную возможность. Если все было именно так, как мне сейчас представляется, то я, видимо, совершенно не отдавал себе отчета в тяжести моего поступка — во всяком случае, я сразу же и безо всяких колебаний возвратился в свою комнату, нисколько не помедлив, чтобы увидеть, как подействует такая сильная доза лекарства, и не испытывая ни малейшего волнения. Потом я разделся, улегся в постель и уснул совершенно так же, как в любой другой вечер. Все это звучит неправдоподобно. Хотя бы потому, что молниеносные и необдуманные решения вообще не в моем характере.

Но было ли это решение и впрямь молниеносным? Не был ли я к нему с некоторых пор готов? Даже теперь, в зрелом возрасте, я все еще склонен к мечтаниям. Есть люди, которые грезят всю жизнь. Так не мечтал ли я, и не однажды, о том, чтобы избавиться от Долорес.

Два, в частности, аргумента свидетельствуют, я полагаю, против меня. Прежде всего я проснулся нынче утром в убеждении, что миг спустя кто-то войдет в мою комнату и скажет мне, что это свершилось. Я был внутренне уверен в кончине Долорес, прежде чем мне об этом сообщили.

К мысли, что в истории с таблетками есть доля правды, склоняет меня и то, что Долорес, которую я знал так, как никто иной, не была способна отречься ни от чего, во что она однажды вцепилась, и, стало быть, тем паче не могла без борьбы отказаться от дара жизни. Возможно, конечно, что ночью, в полусне она снова воссоздала перед собой в драматических тонах всю предшествующую сцену со мной и, дополнив свои угрозы еще и угрозой самоубийства, взвинтила себя до такой степени, что проглотила все таблетки, но в таком случае, я полагаю, она успела бы тут же позвонить Мари и потребовать рвотного.

С другой стороны, я должен сказать в свое оправдание, что обладаю врожденной и, вообще-то говоря, совершенно поразительной склонностью измышлять обвинения против себя самого. Не исключено, что мое подсознание перевоплотило пронизывающее меня чувство обиды на Долорес в такое необычайно яркое сновидение, которое совпало с действительностью.

Конечно, этих своих мыслей я не могу доверить никому. Нет на свете суда, который смог бы прийти к определенному заключению в столь неясном и столь запутанном деле. Более того, на этих мыслях мне самому опасно задерживаться, и я хочу выкинуть их из головы. А сейчас нужно будет заняться всеми сложными делами, которые повлекла за собой эта смерть.

4

Мне предстоит долгий и трудный день. Было решено, что мы, как можно незаметней, перенесем тело Долорес нынче в полночь в дом мсье Дебюсси, шурина хозяина, который устроит шикарные похороны. До этой минуты Долорес останется в опечатанной комнате.

У меня нет сейчас срочных дел. После кое-каких собеседований и формальностей наступил период ожи-

дания. Полагаю, что вести себя я должен именно так, как мне, по мнению жителей Торкэстоля, надлежит себя вести. Мне кажется, что я не должен удаляться за город и что пристойней всего будет, если я пойду и постою в немом созерцании у распятия или посижу, размышляя, в деревянной ярко размалеванной церквушке.

Я заметил, что Баронесса пытается устроить мне засаду. Я уже несколько раз с трудом избегал этой встречи.

Пред лицом простого и сурового факта кончины Долорес полнейшее бессилие овладело моей душой. Трудно описать, как я выдохся. Однако это случилось, как ни поразительно — но это случилось. Только теперь я впервые постиг, сколь огромная часть моего мозга выключилась вследствие этого потрясения.

В течение тринадцати лет без минуты отдыха я оборонялся от нее. В частности, во время совместных поездок, когда мы бывали вместе, Долорес ни на миг не переставала присутствовать в моих помыслах. В вечном напряжении я ожидал с ее стороны всевозможных сюрпризов. Меня постоянно терзал тревожный вопрос, что́ именно Долорес преподнесет мне в следующий миг. Теперь я вдруг знаю, что она уже ничего сделать не может... Мадам Юно была права, говоря, что мне очень будет ее недоставать. Я это мучительно ощущаю.

Должно быть, так чувствует себя человек, внезапно исцелившийся от хронической болезни, которую уже считали неизлечимой. Это удивительное чувство — внезапное и полное исчезновение чего-то, с чем годами приходилось бороться... Я больше не могу ломать голову над всеми этими делами. Эта история меня совершенно ошеломила.

5

Торкэстоль, 4 сентября 1934 г.

Снова прошел нескончаемо долгий день. Я разрешил множество неизбежных формальностей, отвечал на бесчисленные вопросы, все уладил и распорядился всем, что было необходимо. Признано, что Долорес приняла в полусне чрезмерную дозу семондила. О самоубийстве никто и не заикался.

Долорес всегда боялась, чтобы ее не похоронили заживо, и потребовала от меня когда-то обещания, что я прикажу перед тем, как закроют гроб, вскрыть ей вены. Я выполнил это обещание. Решил похоронить ее на здешнем кладбище и водрузить на могиле бретонский тяжелый крест из вечного гранита, покрытый кельтским орнаментом. На кресте приказал выбить следующие простые слова: «Dolores, Pax»[1]. Местный священник, молодой, аскетический и серьезный, очень настаивал, чтобы я прибавил третье слово «Resurgam» — Восстанет из мертвых... Он хотел, наверное, либо утешить меня таким образом, либо вдохновить мою скептическую душу верой, но я предпочел остаться при своем первоначальном проекте. Пусть будет «Pax» и ничего больше.

Я вызвал из Парижа моего доверенного нотариуса, Шарля Бело, чтобы уладить за меня гостиничный счет. Счета в таких обстоятельствах приобретают фантастические размеры. Люди в свежем трауре не склонны торговаться, а содержатели отелей на всем белом свете — превосходные психологи. Противно препираться о цене в атмосфере трагических событий. Юрист же вправе по-иному подойти к делу. Поскольку то, что случилось со мной, может случиться также и с другими людьми, менее богатыми, чем я, то мсье Бело, защищая мой карман, выполнял заодно роль защитника вдов и сирот.

Я решил с помощью посредника продать голубой лимузин и не без труда избавился от Альфонса. Сначала он не хотел принимать моего решения всерьез.

— Мадам, конечно, пожелала бы, чтобы я остался у вас на службе,— заявил он мне.— Мадам очень любила эту машину и была мною довольна.

Он немного утешился, когда я подарил ему его ливрею. Под конец он еще раз заверил меня, что всегда, если что-нибудь переменится, готов к услугам.

Все платья Долорес я отдал Мари. Она приняла это как должное. Мари также выражала сомнение, обойдусь ли я в Париже без ее попечений, но я уверен, что она мне не понадобится. Я немедленно ликвидирую парижскую квартиру со всей обстановкой. Квартира эта для меня слишком велика, и я не мог бы теперь в ней

[1] «Долорес, покойся с миром» (*лат. сокр.*).

остаться. Мне придется подыскать себе в Париже какое-нибудь пристанище, но я меблирую его сам, по моему собственному строгому вкусу.

Некоторое время я терялся в догадках, как быть с Баяром? Он не принадлежит к тому типу собак, которые легко завоевывают людские сердца, поэтому я считал, что дальнейшее его существование не будет, пожалуй, чрезмерно счастливым. В первую минуту я хотел подарить его Мари, которая всегда уверяла, что любит его почти столь же пылко, как и ее госпожа. Но, когда я предложил это ей, она, не раздумывая, ответила, что держать собаку с таким деликатным желудочком, как у Баяра, было бы для нее слишком накладно. Во взгляде, каким она при этом наделила бедняжку, сверкнуло выражение, настолько непохожее на любовь, что я как можно скорее отказался от этой мысли. В этот миг я впервые понял, чем руководствовались древние, когда они вместе с останками умершего вождя сжигали на костре всех его любимцев. Я решил, что единственным на свете достойным Баяра местом было и будет место у ног его любимой госпожи. Я обсудил это дело с молодым священником, с аптекарем, с супругами Юно и наконец с нотариусом Бело, который приехал как раз к тому времени. Все они после разъяснений с моей стороны признали мою правоту. Итак, маленький Баяр будет завтра утром усыплен навек здешним ветеринаром, а потом мы зароем его без особенных церемоний за пределами освященной земли, около кладбища. Ведь, помимо всего прочего, ему уже почти десять лет, и вскоре для него начался бы период ожирения и одряхления. Он стал бы неопрятен, и никто не хотел бы покоить его на старости лет. Мари, безусловно, жестоко обходилась бы с ним. Постепенно, но неотвратимо он утрачивал бы свою аристократическую внешность, становился бы смердящим старым псом с испуганными глазками. День ото дня ему приходилось бы все больше избегать людских пинков и людского презрения. Умерщвляя его, я спасаю его собачье достоинство.

Завтра Долорес будет перенесена в место вечного успокоения, а мое пребывание здесь, начатое в столь радужном настроении, придет к концу. Я не знаю еще, что стану делать дальше. В Лондоне и Дуртинге, по правде

сказать, не происходит сейчас ничего такого, что требовало бы моего присутствия. Я предварительно отдал все распоряжения, так что не буду нужен фирме до октября. Кое-кто из главных моих сотрудников находится сейчас в отпуске, а новых людей, с которыми стоило бы связаться, я не застану сейчас на месте. Либо я поеду в Париж и займусь там ликвидацией квартиры, а позднее через Сен-Мало поеду в Англию, либо протелеграфирую Летиции, чтобы она приехала встретиться со мной в Гавр. Я мог бы теперь взять ее с собой в образовательную экскурсию по континенту, которую вот уже несколько лет мечтаю совершить с ней.

6

Перелистываю страницы моего дневника и размышляю, как с ним быть. Многое в нем, я вижу, сказано о Долорес слишком сурово и несправедливо. Я упустил множество вещей, которые следовало бы сказать в ее пользу. И все-таки я не собираюсь уничтожить мой дневник. Если он не является портретом одного человека, то, во всяком случае, является картиной взаимоотношений двух людей. Не думаю также, чтобы следовало сделать теперь какие-либо исправления. Дневник стал бы, возможно, привлекательнее, но утратил бы искренность. Я думаю, что буду и дальше отмечать известные события, а позднее либо дополню всю историю, либо попросту оборву ее в каком-либо месте. С самого начала это должно было быть отнюдь не повестью, но исследованием о счастье, и вопреки трагическому событию, которое прервало течение этой книги, аргументы не утратили своей весомости.

Кроме того, писание отвлечет, быть может, меня от непрестанно терзающей меня мысли: «Что ты будешь теперь делать, когда Долорес нет?» Позвольте мне порассуждать на биологические темы.

Итак, на чем мы остановились?

Проблема множественной наследственности у человека кажется мне и в дальнейшем достойной внимания. Мне хочется подробнее это продумать. Быть может, то, что мы называем Homo sapiens, является результатом соединения многих некогда различных видов. Быть мо-

жет, представители этого вида также дают в настоящее время некоторые новые, жизнеспособные разновидности, различающиеся скорей умственными качествами, чем зримыми чертами физического строения. Некоторые из этих разновидностей, насколько можно предполагать, лучше приспособлены к новым, современным условиям человеческого существования. Быть может, среди старых видов уже существуют новые человеческие разновидности, рассеянные по всему свету, как первые капли летнего дождя. Нужно будет продумать эти мысли и поискать аргументов, которые их подтверждают...

Нет, я не могу дольше этим всем заниматься — по крайней мере сейчас.

Я теперь ужасно одинок. В перерывах между этими разговорами, формальностями и погребальными церемониями я как-то не знаю, чем заняться. Я привык в течение тринадцати лет подчинять все свои поступки агрессивной воле Долорес и утратил, как мне кажется, целиком и полностью способность к самостоятельным действиям. Общественное мнение местечка Торкэстоль требует, чтобы жизнь для меня теперь остановилась, чтобы я шествовал по городу, а не просто ходил по улицам, и отвращал глаза от всего, что хотя бы в малейшей степени могло меня развлечь. Не следует забывать, что в Бретани куда серьезней, чем во всех других краях Европы, относятся к жизни, а тем паче — к смерти.

Грустно и медленно, заложив руки за спину, потупив взор, я тащусь по городу, и только в километре или больше за его чертой позволяю себе поднять голову, зная, что никого теперь этим не огорчу. И тогда я ускоряю шаги, сую руки в карманы, начинаю посвистывать и приставать к встреченным птичкам, овцам, собакам или ребятишкам. Моя тоска по какому бы то ни было обществу столь сильна, что вчера я провел целых полчаса в беседе о разных проблемах философии биологии с маленьким косматым пони, который тянулся ко мне над калиткой. Правда, пони не отвечал ни слова, но, по-моему, рассудил обо всем очень здраво. По-видимому, он не меньше, чем я, жаждал общества.

«Престранное ты животное,—думал я.—Ты мой кузен в миллионной степени родства. Твой длинный череп состоит из костей, аналогичных костям моего черепа,

с некоторыми незначительными отличиями, в частности в строении резцов. Череп твой — вместилище мозга, настолько подобного моему, что если бы он был извлечен и заспиртован, многие профаны решили бы, что это человеческий мозг. Твои черепно-мозговые нервы разветвляются согласно той же самой схеме, что и мои, с теми только незначительными различиями в масштабах и пропорциях, которые обусловлены удлиненной формой твоей головы. Их действие, безусловно, тоже весьма подобно действию моих нервов. Ты трясешь ушами с энергией, которой я могу позавидовать, а твои смелые выпуклые глаза куда более выразительны, чем мои глубоко посаженные человеческие глаза. Волосы у тебя спускаются вдоль шеи, в то время как мои располагаются на черепе. Поэтому ты вынужден летом носить соломенную шляпу. Я могу назвать тебя кудлатым, но ты, в свою очередь, вправе смеяться над моим голым лицом. Твоя шея и морда созданы для того, чтобы гладить их и ласкать. Ты способен к немой, но самой искренней дружбе, и если бы у меня было в кармане яблоко, чтобы тебя угостить, наше взаимопонимание и доверие стало бы полнейшим. В какой степени ты способен понять мои заботы? Мне кажется, ты говоришь: «Уж такова жизнь. Но недурно дышать свежим воздухом и греться на солнышке».

Я в принципе согласен с тобой. В сравнении со мной ты образец простодушия. Твой мозг, так же как человеческий, умеет сохранять воспоминания. Но как ты его используешь? Твоя способность запоминать дороги и местность, если мерить ее человеческой меркой, изумительна. Серое вещество твоего мозга является великолепной крупномасштабной картой шоссейных и проселочных дорог. Но, кроме этого, разве остальная часть твоего мозга совершенно не развита?

Я полагаю, что ты чрезвычайно понятлив. В твоем мозгу, безусловно, еще много неразработанных участков. Каким образом происходит у тебя ассоциация идей, каковы бы они ни были? Либо ты самым возмутительным образом не используешь возможности своего мозга, либо я перетруждаю свой. Я, видишь ли, мыслю иносказаниями, применяю слова-символы, мне знакомы усложненные сочетания понятий, которые тебе даже не снятся. Если твою службу связи между отдельными клет-

ками можно сравнить с рассыльным, бегущим от дома к дому, то моя система связи подобна центральной телефонной станции огромного города. Встречая другого пони, ты знакомишься с ним посредством зрения, обоняния, осязания и ржания и сразу отдаешь себе отчет, чем является для тебя это встреченное на дороге существо. Я же, когда встречаю другого человека, когда пишу или телеграфирую, замыкаю в нескольких словах целый мир необычайно дифференцированных мыслей. Скажу тебе больше. Фразы множатся тогда и кипят во мне, как кипяток в котелке, и через некоторое время я не знаю уже, ни кем является для меня тот другой человек, ни чем я сам являюсь для себя самого. Ты попросту смотришь, слышишь, обоняешь, непосредственно ощущаешь и немедленно на это реагируешь. Ты никогда не говоришь себе «я существую» и тем паче не утверждаешь: «Я должен быть самим собой».

А я, мой милый пони, принадлежу к тем мыслящим животным, которые вот уже несколько сот тысяч лет терзают мир и самих себя. Мы обладаем аппаратом, служащим для мышления и взаимопонимания,— аппаратом, именуемым речью, и в некоторых отношениях он оказался исключительно эффективным. Вот почему ты скучаешь в загоне, вместо того, чтобы вольно резвиться на лугах. Поэтому же ты разговариваешь со мной через калитку, которую сам не умеешь отпереть. Ты находишься там, куда тебя поместили люди, и идешь туда, куда они погонят тебя. Я привык повторять, что мы сумели приручить тебя благодаря тому, что нашли применение своему мозгу; в глубине души, однако, я серьезно сомневаюсь, нам ли служит наш мозг или же мы ему служим. Порою мне кажется, что он захватил власть над бедными простодушными обезьянами, какими мы были прежде. Человеческий мозг перестает повиноваться человеку. Он непрестанно терзает его, стремясь дознаться, что мы делаем с собой и с остальными тварями, чья судьба отдана в наши руки. Поверь мне, дружок, эти наши мозги не дают нам ни минуты покоя. Они часто изобретают и открывают вещи, с которыми человек не знает потом, как быть. Знаешь ли ты, милый пони, что такое бессонная ночь? Человек ли тогда, в бессонницу, повелевает мозгом, или же мозг человеком? Видишь

ли, тебя понукают люди, а я, хотя меня понукает мой собственный мозг, так же, как и ты, не знаю, куда должен идти».

Вот как примерно я описывал милому пони свои мучения:

«Все млекопитающие развили свою мыслительную способность в гораздо большей степени, чем это нужно для удовлетворения их непосредственных потребностей. Сначала, правда, мозг был им нужен, чтоб выжить, но когда люди научились говорить, писать, считать, передавать знания от поколения к поколению и передавать мысли на расстоянии, их мозги вырвались за пределы своих первичных и безотлагательных задач, начали общаться, реагировать один на другой, стимулировать и обогащать друг друга, а бедные человеческие существа оказались выбитыми со своих личных позиций, изгнанными из своих закутков и норок и оказались перед лицом некоего коллективного разума, от которого исходят изобретения, новые нормы поведения и новые руководящие идеи. Наши мозги ускользнули от нас, чтобы соединиться над нашими головами в коллективный мозг. Мы перестаем быть только самими собой. Ты пони, твой мозг начинается и завершается в твоей собственной голове, я же, Стивен Уилбек, перемешан со всеми людьми времен прошедших и нынешних, которые подчинились власти идей. Ты хотел бы, может быть, чтобы я рассказал тебе об этом побольше? Были, видишь ли, разные этапы в этом захвате власти мозгом с момента, когда он пробудился из непритязательного состояния первичной полезности, в котором твой мозг пребывает еще и доселе. Можно бы написать историю возникновения Империи Мозга в мире животных. Сперва наш мозг открыл индивидуальность и постарался ради себя самого сотворить безумный эгоцентризм, свойственный той эпохе истории человечества, которую мы назовем эпохой Долорес. Ты ведь понял меня, милый пони, как понимаешь все, что я говорю. Потом он уразумел, что возможно коллективное мышление, подлинный «Новый Курс», и начал предпринимать атаки против эгоцентризма, атаки, которые мы называем религией, философией и наукой. Сперва развитие сознания обособило человека в пределах его эгоцентризма, его индивидуальность сдела-

лась похожа на сжатый кулак, но потом этот верховный импульс (назовем его Природой, или Жизненной Силой, или как угодно) вроде бы понял, что эгоцентризм зашел слишком далеко и обращается против самого индивида. Вот так мы и дошли до наших моральных конфликтов».

А потом я говорил еще милому пони — или, может быть, мне даже и не потребовалось ему говорить, так хорошо он сам все знал,— о себе и о Долорес, о том, как мы не подходили друг другу, о том, что, по сути дела, мы представляли собой два различных вида или по крайней мере две разных ступени умственного развития, и о том, как в течение тринадцати лет я страдал, связанный нерасторжимыми узами с этим неприступным и непрошибаемым воплощением эгоцентризма.

— А теперь совсем неожиданно и как-то непонятно,— говорил я, гладя шею милого пони,— все это минуло.

Я трепал пони по холке, гладил его длинную морду и размышлял обо всех этих делах, а иногда говорил о них вслух.

— Как ты думаешь, как мне теперь быть? — спрашивал я.— Забыть обо всем? Вычеркнуть из памяти эти тринадцать лет? Так бы ты, наверно, не поступил. Если бы я распахнул перед тобой калитку, ты, не раздумывая, ринулся бы вперед. Не оглянулся бы на загон. Помчался бы в белый свет, по широкой дороге, к вересковым лугам, бодро цокая копытами, и бог знает, что сталось бы с тобой. Ты вдыхал бы запахи. Рвался бы в будущее. Что тебе до прошлого?

Ну так вот, передо мной как раз распахнули калитку.

Запрягают ли тебя в тележку? Ходишь ли ты под седлом? Каким образом твой хозяин приручил тебя? А меня мой мозг впряг в повозку, которая на человеческом языке называется издательским делом, и я развожу по белу свету познания. Но целиком это занятие меня не удовлетворяет, мне хочется и другого. Даже ты, если бы ты был свободен, не потрусил бы прямехонько в каретный сарай за своей тележкой. Даже в твоем примитивном мозгу воссияла бы какая-нибудь иная мысль, если бы внезапно распахнулись ворота. Мы ожидаем чего-то, что будет нам по душе и даст нам счастье. Ни ты, ни я не созданы для одиночества. Именно поэтому мы и стоим у этой калитки.

Так я болтал с милым пони. И пока я излагал ему все эти биологические нелепицы, в голове у меня прояснилось. Теперь я уже знаю, что делать дальше. Выеду из Торкэстоля завтра, сразу же после погребения. Из Морлэ отправлю телеграмму Летиции! Возле меня должна быть какая-то живая душа, я должен о ком-то заботиться и заполнить пустоту, которую после себя оставила Долорес.

Я чувствую себя до странности потерянным. Не испытываю ни одного из тех чувств, которые, согласно всеобщему мнению, должен испытывать вдовец. Я очень мало думаю о Долорес и много больше — о себе. Настроение мое понемногу меняется, ко мне возвращается жизнерадостность. Вчера я ничего не способен был делать. Я казался себе камнем. Сегодня же я как только что вылупившийся цыпленок.

Словно бы до сих пор я жил только начерно. Я смотрю в свое будущее и не вижу в нем ничего определенного, кроме дальнейшей издательской работы, никаких личных намерений, никаких желаний.

7

Торкэстоль, 5 сентября 1934 г.

Мне осталось полчаса до минуты, когда надо будет наконец запереть чемоданы. Все кончилось. На постели лежит измятый черный костюм; историю с этим костюмом, пожалуй, стоит рассказать. Я, правда, с большим удовольствием рассказал бы эту историю о ком-нибудь другом, а не о себе.

Итак, в последнюю минуту перед похоронами выяснилось, что из-за своей непонятной рассеянности я оказался причиной небольшой неприятности. Это было небольшое, но поразительное расхождение во мнениях между старым и новым миром. Я уразумел свою оплошность, когда приехал Бело, облаченный в черное с головы до пят; на голове у него красовался котелок, увитый крепом. Бело был в черных перчатках. Он нес саквояж и бумажную сумку с черной каймой. Когда он взглянул на меня, на его добродушном лице выразились изумление и возмущение.

— Mais, M'sieu. Votre deuil? [1].

— Боже правый! — воскликнул я.— В самом деле! Представьте себе, в то время как все торкэстольские лавочники в знак соболезнования опустили жалюзи или шторы в своих заведениях, я ходил по городу в сером дорожном костюме и мягкой фетровой шляпе и намеревался в таком виде появиться на похоронах жены.

Я взглянул на часы и начал составлять план немедленных действий.

— Времени осталось двадцать пять минут! — сказал я.— И нам нельзя ходить слишком быстро. Идемте немедленно!

Я шел длинными плавными шагами, стремясь сохранить надлежащую серьезность и вместе с тем как можно быстрей добраться до мануфактурного магазина. По крайней мере, я старался так идти, но чувствовал, что двигаюсь чуть вприпрыжку.

— Как вы думаете, что тут можно будет купить? — спрашивал я, задыхаясь. Бело трусил сбоку — он ниже меня ростом.

— Я привез вам черный галстук и перчатки,— сказал он.— Но где взять все прочее?

— Может быть, у них есть какой-нибудь готовый костюм,— утешал я себя. Но моему оптимизму был нанесен удар. Жители Торкэстоля ездят за костюмами в Шавонэ на автобусе.

Бело творил в магазине чудеса. Он объяснил все дело именно так, как следовало.

— M'sieu est devenu fou de chagrin! Pas de deuil! Et le cortège part dans une demi-heure! Que faire? [2].

Почтенная пожилая лавочница проявила массу доброй воли. Трудностей никаких не было. Не было ничего, кроме готовности помочь. Однако готовых костюмов у нее на складе тоже не было. Она была энергична, проворна и возбуждена, но при всем том сохраняла горестный и соболезнующий тон. Шторы в лавке были опущены, и вся сцена разыгрывалась в полумраке, мы объяснялись шепотом, а порой и вовсе обходились без слов. Это было

---

[1] Но, простите, мсье, где же ваш траур? (*франц.*)

[2] Мсье потерял голову от горя! Забыл о трауре! А погребальная процессия должна двинуться через неполные полчаса! Как быть? (*франц.*)

необычайной прелюдией к похоронам. Нужно было обязательно прикрыть крепом мой не соответствующий случаю наряд. Все мы трое были словно бы немного не в себе. Вдруг пожилая дама, напав на новую мысль, приложила палец к губам, выбежала в другую комнату и сразу же появилась снова, неся на руках целую штуку великолепного черного шелка.

— Быть может, это?

Черного костюма у них на складе не было. Были только готовые вельветовые брюки мрачного тона, но не черные. Лавочница предлагала задрапировать меня черным шелком, нисколько не жалея булавок.

Вдруг мне пришла в голову спасительная идея.

— Monsieur Debussy! Comment s'appelle cet homme? Fournisseur des pompes funèbres? A coté. Peut-être aura-t-il des pantalons noirs supplementaires! [1].

— Parfait!— воскликнул Бело. — Magnifique! [2] — и, не переводя дыхания, ринулся к владельцу бюро. Воротился он в мгновение ока, торжественно таща гигантский фрак, черный шарфик, трехцветный шарф и несколько пар штанов, должно быть, на осьминога. Все это он поверг к моим стопам.

— V'la un choix de pantalons! Monsieur Debussy a une certaine grandeur mais..! [3].

Запасной фрак мсье Дебюсси оказался невозможно мешковат. Несмотря на это, похоронная процессия двинулась всего лишь с пятиминутным опозданием, а я занял свое место, облаченный согласно требованиям торкэстольской общественности. Мы раздобыли вполне сносную бретонскую шляпу, какие носят юные щеголи,— черную, слегка приспособленную к городской моде, с не слишком широкими полями. Я вырвал из нее лихое птичье перышко и обвил ее крепом. На свой пиджак я набросил плащ, напоминающий покроем сутану, занятый у экономки молодого священника. Это одеяние я препоясал черным шарфом. Брюки из похоронного бюро лишь

---

[1] Мсье Дебюсси! Так, кажется, его зовут? Владелец похоронного бюро? Оно тут рядом. Может, у него найдутся какие-нибудь запасные брюки! (франц.)

[2] Великолепная мысль! Блестящая мысль! (франц.)

[3] Вот брюки на выбор! Правда, мсье Дебюсси несколько полноват, но..! (франц.)

чуть-чуть складывались на моих ногах гармошкой. Дородность мсье Дебюсси концентрировалась главным образом в поясе, и все излишки удалось подвернуть и зашпилить. *Служанка за все* в заведении мсье Дебюсси перекрасила мои коричневые туфли, изведя на это целую баночку черной мази. После того, как я надел эти многострадальные туфли, руки мои тоже оказались в трауре. Бело вручил мне перчатки. Они были великоваты, но кое-как подошли. Пора!

Я взглянул в магазинное зеркало. Выглядел, как профессиональный негодяй, как наичернейший злодей из викторианской мелодрамы. Но так именно и следовало выглядеть. Более или менее так. Не было уже времени для отступления.

Я прибыл в отель как раз вовремя, чтобы положить конец слухам, согласно коим я будто бы покончил с собой. Паника уступила место рассудительному соболезнованию, когда объяснились некоторые странности моего поведения.

«Fou de chagrin». «Le pauvre Monsieur»[1]. Меня быстро и заботливо провели на мое место. Мы тронулись

Я должен был собрать всю свою волю, чтобы не сбежать. Я был уже без дыхания, и меня вывел из равновесия этот трагикомический маскарад. А Бело вел себя с достоинством придворного церемониймейстера. Чем нелепее были детали этих обрядов, тем легче находил он наипристойнейшую форму, тем более красноречивым жестом успокаивал мои нервы. Буду ли я способен вышагивать как ни в чем не бывало в брюках мсье Дебюсси, драпированных вокруг моей фигуры? Мне показалось вдруг, что они уже начинают сползать. Рукой в черной перчатке я схватился за живот, стараясь только, чтобы жест получился поизящнее. А ведь неплохо получилось! Я шел теперь, склонившись вперед, с ладонью под сердцем. Я приходил в ужас при одной мысли о том, что будет, если я отпущу руку. А может быть?.. А может быть, лучше сбежать? Нет, в таких брюках не убежишь: в них как стреноженный. Я чувствовал на себе бдительные взоры толпы. Я отбросил искушение подвергнуть испытанию торжественную серьезность этих людей. Но

---

[1] «Потерял голову от горя». «Бедный мсье» *(франц.)*.

мысль была столь фантастической, что какое-то мгновение я находился на грани истерики. Я хватал воздух ртом, как будто бы собирался чихнуть. Я поймал тревожный взгляд мсье Бело. Я почувствовал, что в любую минуту могу расхохотаться. Свободной рукой я поднес к лицу платок, почти всхлипывая, набрал в грудь воздух и рассмеялся. Глаза мои при этом заволоклись слезами. Мне полегчало. Я протрезвел. Попытался ослабить пальцы на поясе, но брюки остались на месте.

Уже сейчас, описывая это, я не могу точно припомнить, как переходил от одного состояния к другому. Они кажутся мне теперь странными и непостижимыми. Все эти состояния выступают в моей памяти оторванными друг от друга. Я знаю, что в некий миг мне захотелось извиниться перед Долорес, лежащей там, впереди, в гробу. Все это должно было произойти иначе. Я искренне стыдился за себя. Я должен был помнить о траурном платье. То, что я так отнесся к последнему появлению Долорес в свете, было с моей стороны неприличным. Этот мой шутовской наряд и все прочее было все равно как показать язык поверженному противнику. Я дал себя захватить врасплох. Лучше уж было как ни в чем не бывало остаться в сером костюме. Хватило бы черной повязки на рукаве. Мне было неприятно, что по моей вине все это происходит иначе, чем Долорес могла бы себе пожелать. Если бы не безжалостное бессилие смерти, которому она вынуждена была уступить, она, наверно, отбросила бы крышку гроба и засыпала меня упреками.

Странно, что она до сих пор еще не сидит в гробу и не обливает нас такими потоками брани, что в пору б нам всем разбежаться. Впрочем, если даже это и произошло бы, похороны по-прежнему продолжались бы. Ничто на свете не могло бы нарушить их невозмутимой серьезности. В Бретани похороны остаются похоронами, как бы покойник себя ни вел. Мысль, что Долорес могла бы усесться в гробу и заговорить на своих собственных похоронах, побудила мою фантазию выделывать удивительные антраша. Я стал воображать себе, что сказала бы Долорес в эту минуту. Это были бы необычайные вещи. Я воображал себе выражение ее лица, если бы она увидела меня в этом наряде. Выгляжу ли я элегантно?

Все ли происходит с шиком? А ведь она всю свою жизнь была элегантнейшей женщиной на свете! Я должен был бы дать ответ на ее вопрос. Произошла бы перепалка. Попробуй выглядеть элегантно в этих брюках! Долорес обратилась бы по своему обыкновению ко всем присутствующим. Как смеют они хоронить таким образом даму ее происхождения и ее круга? Она повторила бы в новой версии свою автобиографию. Потом она обратилась бы к молодому священнику, уже и без того ошеломленному и пораженному...

На такой дорожке сошлись мои мысли, когда я вышагивал в похоронной процессии. В известный момент я, кажется, громко крикнул: «Ха!»

Я тотчас прижал платок ко рту и снова подавил истерическую жажду смеха. Серьезная маленькая девочка, торжественно выступавшая рядом с процессией, взглянула на меня с интересом и отметила про себя этот странный английский способ выражения печали.

Я снова опомнился. Эта истерия начинала меня пугать. Я вел себя отвратительно. Мне стало искренне жаль, что Долорес не может на своих собственных похоронах выступить как должно. Это не смешно. Это жестоко. Долорес никогда уже не сможет говорить о себе, представляться людям, бахвалиться, жаловаться, выставлять себя напоказ. С этой минуты она уже будет проигрывать все свои дела из-за неявки в суд. Я подумал о ее навсегда сомкнувшихся устах и ощутил в сердце своем великую жалость к ней. Бедная, сумасбродная Долорес! Единственным выходом для ее жизненной энергии было непрерывное самовосхваление. Теперь ее положили в гроб и заткнули ей рот. Мне казалось, что я слышу ее мольбу: «Позволь мне говорить, Стини, я хочу говорить!» Я жалел, что не могу вернуть ей дара речи. Может быть, на этот раз она не слишком бы стала меня оскорблять. Она ведь не всегда меня оскорбляла. Я теперь совершенно не помнил о ее злобности. Ее страсть делать мне больно казалась мне теперь только капризом. Иногда можно было просто наслаждаться ее ребячеством. Быть может, я не проявил должной терпимости? Ведь, собствено говоря, все ее оскорбления не особенно обижали меня... А как прелестна и забавна она была во время экскурсии в Роскофф!..

В глазах моих стояла Долорес лучших времен. Все другое исчезло из памяти. Я почувствовал жалость, а потом растроганность. К моему величайшему изумлению, я заплакал. Я оплакивал мою несносную жену простодушно и искренне. Заплакал я потому, что она не могла уже говорить.

К тому времени, когда мы дошли до кладбища, мысли мои уже не разбегались безумно в разные стороны, нервы успокоились, и скоро я совсем овладел собой. Все, чего от меня ожидали, я делал безучастно и как полагается.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЛЕТИЦИЯ И АФРОДИТА

Нант, 25 сентября 1934 г.

1

Оказывается, я целых три недели не прикасался к этому дневнику. В Торкэстоле все благоприятствовало писанию, мне там нечего было делать. У меня была отдельная комната, и эти мои размышления о Долорес, о счастье и о жизни были для меня бегством от ужасной скуки. Я познакомился уже со всеми возможными закоулками этой местности. Правда, я иногда брал с собой Долорес на совместные экскурсии, но это не заполняло целиком мои дни. Она целые часы проводила перед зеркалом или читала, растянувшись в постели. А мне оставалась тогда моя комната, письменный стол и уйма свободного времени. В таких условиях кто угодно мог бы сделаться автором.

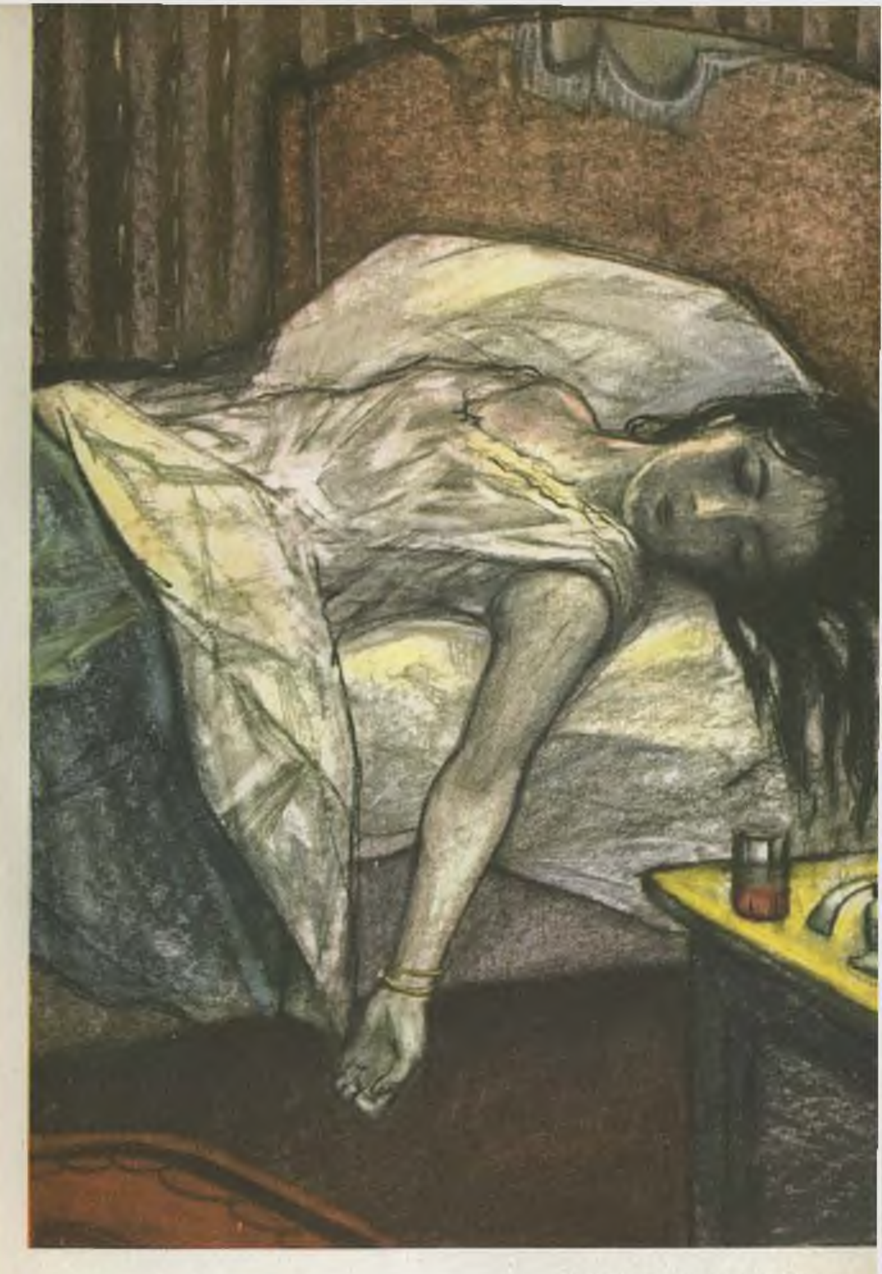
Я вынужден был сиднем сидеть в Торкэстоле, ибо прежде слишком часто покидал свою жену одну во Франции. У Долорес были расстроены нервы, и я решил посвятить ей по крайней мере четыре недели своих вакаций. Из моих предыдущих записей можно увидеть, какие плоды принесли эти усилия. Я намеревался, конечно, успокоить ее, но в мои намерения не входило успокоить ее столь основательно, как я это, видимо, сделал.

Последние три недели я провел с Летицией, но об этом позже. Летиция несколько дней назад свела дружбу с семейством Бэннингтон, состоящим из матери, сына и двух дочерей,— семья эта происходит из района Портсмута, и встретились мы с ними в нынешнем путешествии случайно. Летиция завязала с этими людьми наилучшие отношения, нашла с ними общие интересы и общий язык — шутки и прочее, и сегодня Бэннингтоны приняли ее, так сказать, из моих рук. И они поехали все вместе осматривать замок и музей изящных искусств. Они позавтракают в каком-нибудь из ресторанчиков, рекомендуемых путеводителем для туристов, где-нибудь над рекой, а потом осмотрят еще собор. Словом, по-видимому, перед ними большой трудовой день, заполненный серьезным, хотя и не слишком углубленным изучением местных достопримечательностей. Вечером мы все вместе сядем обедать, а потом я намереваюсь благословить их и отправить в кино. Обстановка и освещение моего номера в этом отеле соблазняют взять в руки перо. Кресла здесь удобные, но не чрезмерно усыпительные, письменный стол приятно выглядит и прекрасно освещен яркой, низкой лампой с отличным абажуром.

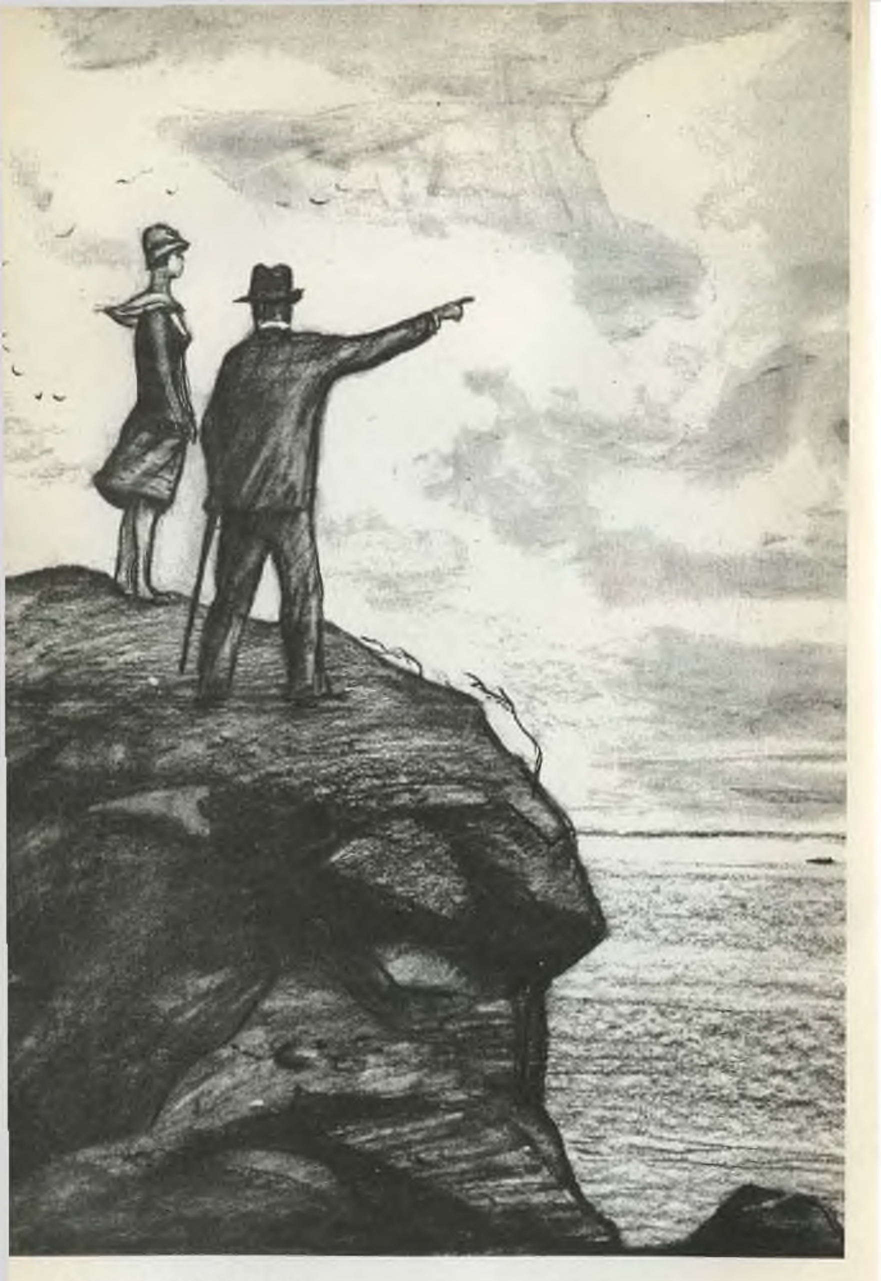
Хотя с момента отъезда из Торкэстоля я ничего не писал, однако много передумал за это время. Кроме того, за этот период произошли те или иные события, в частности, одна встреча...

Но об этом я скажу позже. До самого этого события, которое немного заслонило Долорес в моих помыслах, она была средоточием всех моих размышлений. Этого требовал мой мозг. Я напрасно пытался рассеяться, пустившись с Летицией в образовательное путешествие по Бретани. Никто на свете не рассеялся бы в воспитательном путешествии с Летицией. Долорес, бесспорно, была своеобразной и весьма яркой личностью,— Летиция в сравнении с ней кажется тусклой и неинтересной, и, кроме того, у Долорес, чтобы произвести на меня впечатление, было тринадцать лет сроку, и это в самый важный период моей жизни.

Быть может, я никогда уже не буду способен к столь интенсивному вчувствованию в психику другого человеческого существа. Я знал Долорес насквозь, для меня не было никаких ширм и декораций, я проникал в ее суть.



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».

отметая все внешние видимости. Она останется моим важнейшим подопытным материалом для изучения жизни и самого себя. Важнейшим материалом, взятым из реальности. Быть может, я сумел познать ее так хорошо именно потому, что всегда ощущал к ней какую-то неприязнь. Даже когда я ее физически желал. Это обостряло мой взор. В супружестве два несчастных человеческих существа помещены взаимно друг у друга перед глазами, как кролики на операционном столе в биологической лаборатории. С той только разницей, что кролик в этом случае всегда один и тот же. И опять-таки тут существует взаимность, и оператор в то же время сам является объектом вивисекции. И даже когда кролик исчезает, разум продолжает оперировать на материале памяти. Я хочу также подвести итог своим лабораторным записям и разобраться, до чего же я дошел. Я начал эти записи в Портюмэре со сравнения душевной деятельности человека, обращенного к людям, и человека, обращенного внутрь, в свой внутренний мир. Я исходил из того, что сам я обращен к людям, а Долорес по контрасту зачислил в противоположную группу. И здесь я совершил ошибку. Ибо в действительности я бываю обращен либо к людям, либо в свой внутренний мир, в зависимости от расположения духа. То же самое может быть сказано о Долорес, и даже я полагаю, что она была обращена к людям в большей степени, нежели я. Но только Долорес все, что замечала, немедленно относила к самой себе, как ребенок, который хватает и пытается присвоить каждый предмет, доставляющий ему удовольствие. Я же обладаю более утонченной и к тому же спасительной способностью отрываться от самого себя в своих наблюдениях. В этом, как мне думается, состоит суть различия между нами.

Приняв этот пункт за исходный, я раздумывал над тем, в какой степени разные человеческие типы обладают этой способностью абстрагироваться от самих себя. Врожденные это различия или же благоприобретенные? Я пытался выдвинуть гипотезу, что разница эта врожденная, что существуют типы ума, интересы которых всецело сконцентрированы на собственном, сознательном «я» и которые не могут совершить ничего хорошего или дурного, не видя при этом самих себя на первом плане кар-

тины, но есть и другие, не столь всецело самососредоточенные, умеющие мыслить и даже порой действовать, совершенно забывая о себе. Особенности, отличающие эти два типа, могут быть в процессе окультуривания замаскированы или смягчены, но в принципе они врожденные.

В ходе исследования, как сказал бы профессор с кафедры, мы обсудили и отбросили предположение, что якобы разница эта связана с различием полов. И мужчине и женщине тут легко ошибиться, ибо эгоцентричный мужчина или женщина больше обращают на себя пускай даже и недоброжелательное внимание особи противоположного пола, нежели неэгоцентричный тип. Это различие обусловлено видовой, а не половой принадлежностью. Эгоцентричные мужчины и эгоцентричные женщины составляют общий класс, так же как и особи противоположного типа.

Я оставляю открытым вопрос, за кем перевес в каждом из этих классов — за мужчинами или женщинами.

Во время путешествия с Летицией я много думал о том, насколько различие этих типов определяется терминами религии или морали. Быть может, Долорес была «злая», а я «добрый»? Конечно, если забыть о маленьком упущении с тюбиком таблеток. Я заговорил об этом, потому что с момента выезда из Сен-Мало я все время имел дело с великим множеством церквей, крестов, часовен, алтарей, распятий, монастырей и благочестивых легенд. Бретань — область не менее религиозная, чем Бенгалия. Здешние люди живо проникнуты всеми этими делами, которые мы обычно называем «духовными». От этих дел тут никуда не денешься.

Что, однако, в действительности кроется под словом «духовное»? Долгие минуты я простаивал либо просиживал в церквах, присматриваясь в тишине к одиноким, застывшим в молитве фигурам, и все старался представить себе, в чем суть их религии. Я глядел на женщин, коленопреклоненных под сенью исповедален, и на священников, бесшумно движущихся и творящих святые обряды; на бесчисленные свечи, зажигающиеся и гаснущие у алтарей; я присутствовал вблизи и вдали при святой обедне; внимал аккордам органа и голосам певчих. Я приобрел несколько карманных мо-

литвенников и прочитал несколько житий святых; кое-кто из этих божьих угодников показался мне очаровательным, а кое-кто совершенно отталкивающим. Но во всем этом не было одухотворенности, была только благочестивая магия и материализованные суеверия. Я продолжаю допытываться, имеют ли все эти религиозные историйки, эти так называемые дела духа что-либо общее с принципиальной проблемой централизации или децентрализации нашего «я»?

Большинство взрослых людей ответило бы, не размышляя, что да, имеют, и что, обратившись к вере, я нашел бы в ней разрешение своих загадок. Но действительно ли это ключ ко всему? Долорес, например, пережила перед встречей со мной период весьма неподдельной набожности. Подумывала даже о том, чтобы пойти в монастырь и стать Христовой Невестой. Но этот план взятия небес штурмом вовсе не утолил ее жажды стать центром всеобщего внимания. Напротив, это ее еще больше возбуждало. Набожность нисколько не отвратила ее от эгоцентризма, а со временем ее уязвило, что Небесный Жених не выделяет ее среди прочих, и, если можно так выразиться, швыряется своими чувствами направо и налево, и тогда она перенесла внимание на своего исповедника. Этот несчастный в известной степени ответил ей взаимностью: поцеловал ее в лоб, потом в щеку и наконец в губы, но тут ощутил угрызения совести и покаялся. Так совершенно внезапно оборвалась духовная карьера Долорес.

Религия занимает меня лишь как стороннего наблюдателя. Отец мой утратил веру, кажется, еще в юности, и поэтому я не испытал благодетельных или, если кому угодно, вредных последствий религиозного воспитания. Для отца эти дела были «предрассудками», и он не задавался вопросом, польза от них или вред. Единственно только он предостерег меня против ошибочного противопоставления духа материи. Он пространно говорил мне о том, сколь неоправданно «разграничение материального и духовного, тела и души», основанное на неверных представлениях средневековой физики о «субстанции» и «сущности». Отец особенно подчеркивал, что дуализма

такого рода не существует. Принятие этих взглядов было равнозначно умственному грехопадению человека. Это — ключевое заблуждение человечества. Большинство людей впитывает его вместе с членораздельной речью и не подозревает даже, какой это обман. Ничего, что не основано на этой предпосылке, они просто не способны понять.

— Остерегайся этого выражения — «духовное»,— говорил мне отец.— Это чрезвычайно скользкое слово, собственно, решительно ничего не означающее, и, как все пустые слова, оно является гибельной ловушкой для не слишком проницательных умов... Остерегайся, сын мой!

С годами я все больше становлюсь похожим на отца. Я знаю, что унаследовал от него не только отлично налаженное издательство, но незаметно и значительную часть того, что я привык считать своими собственными оригинальными мыслями. Даже моя идея общественной полезности нашей фирмы принадлежит ему. Он никогда не давал себе труда говорить мне об этом, полагая, видимо, что я сам должен высказать эту мысль. Проповеди не помогут. И поэтому он ограничился только своим принципиальным предостережением.

Мечтой его жизни было издать «Послания апостола Павла», которого он считал главным выразителем этого злосчастного раздвоения человеческих понятий, по крайней мере поскольку речь идет о западном мире.

Писания апостола Павла я читал и перечитывал с немалым интересом, а в последние недели вернулся к ним, поскольку я хочу проверить, заботило ли его, как я подозреваю, различие между эгоцентричными и неэгоцентричными человеческими типами, и убедиться, как далеко зашел он, размышляя об этой противоположности мотивов человеческих поступков, так меня занимающей. Ибо, когда разум вырастает из готовых, заранее скроенных для него другими людьми одежд, он должен поставить перед собой эту задачу — задачу ухода от наших личных дел, бегства от собственного «бренного тела». Многие из нас нынче больше чем когда-либо предаются подобным мыслям.

Мне по душе апостол Павел. Мне всегда нравился тип его ума. Есть в его писаниях кое-где сознательная не-

договоренность, которая мне особенно близка и понятна. Разум, взыскующий истину, не может изливаться в формах чрезмерно определенных и недвусмысленных. Нельзя вполне ясно рассказать о том, чего еще сам ясно не видишь. Апостол Павел, в известный миг своей жизни, как громом пораженный необычайной идеей и увлеченный ею, потом очень ее стеснялся. На этой идее он построил гипотезу, что сумеет обелить мессианизм, сочетав его с культом Митры[1]. Он совершил роковую ошибку, пытаясь влить молодое вино своих идей в старые мехи упований мессианизма и кровавых жертвоприношений культа Митры. Но на этой пересмотренной новой вере была основана его карьера апостола, и ему трудно было отступиться от этих догматов.

Его исходная идея спасения, столь ясная вначале, помутилась, и он в течение всей своей жизни старался обрести ее вновь на путях и перепутьях настойчивых исканий. Его послания к галатам, евреям и коринфянам — это, по сути, полемика с самим собой. Свои собственные сомнения он представил в них как заблуждения иных людей и проклял этих людей и их заблуждения. Как жаль, что в Торкэстоле я не встретил апостола Павла, скажем, вместо рыболова-женоненавистника! Мы вели бы страстные споры и не приходили бы к окончательным выводам.

Сколь изобретательно и находчиво апостол Павел избегает в первом послании к коринфянам явного подтверждения телесного или хотя бы личного бессмертия! Это превосходный пример того, как люди с разумом нашего типа умеют вводить в заблуждение ревностных, но невнимательных учеников. Мы боязливо останавливаемся, опасаясь разрушить их доверие к нам. Они так довольны и спокойны, оставаясь при том, что им сказано, и не потому ли у нас не хватает духа поведать им, что в бесконечно долгом пути к истине нужно еще пройти бесчисленные мили и что путь этот не всегда

---

[1] Древний восточный культ бога света, чистоты и правды. В период кризиса Римской империи происходила борьба между христианством и культом Митры. Христианство многое заимствовало от культа Митры (обряд причащения, учение о приходе Спасителя, о конце света и т. д.).

совершенно прям. Миллионы верующих читали или слышали эти послания и усматривали в них нечто диаметрально противоположное намерениям автора. Как мало обращают они внимания на иносказания апостола Павла! Иносказания эти составляют, правда, часть заупокойной литургии, которую читают тогда, когда слушатели слишком погружены в собственные переживания и не способны ясно мыслить, и все-таки какая удивительная непонятливость!

Его послания, однако,— отличный пример таких же умственных метаний, как те, какие свойственны нам сегодня. Перед ним стоят те же самые проблемы. Его «Ветхий Адам» и «Новый Адам», безусловно, аналогичны моему, «Человеку, смотрящему вспять» и «Человеку безудержному», причем эти два понятия как бы частично перекрывают друг друга. Разница лишь в том, что апостол Павел упрямо верит в возможность чудесного превращения одного в другого. Он также решительно признает, что один ДОБР, а другой ЗОЛ.

В этом отношении я смотрю на вещи иначе, чем он. Это, конечно, вопрос суждений и наблюдений. Знал ли он, апостол Павел, какого-нибудь человека так исчерпывающе, как я знал Долорес? Знал ли он самого себя так подробно, как я начинаю себя знать? Я глубочайшим образом убежден, что ничто, кроме смертельной дозы семондила, не могло освободить Долорес от абсолютной замкнутости в своем собственном «я».

Ничто также не оправдывает гипотезы, что я, с какой бы то ни было точки зрения, лучше, чем она. Мы были двумя людьми принципиально различными, вот и все. Она по природе своей принадлежала к миру, который, подстегиваемый чрезмерной алчностью, требовательностью и пронырливостью, трудится себе же на погибель. Я же, напротив, по доброй своей воле, веруя и зная, принадлежу к новому миру, к миру существ менее сосредоточенных на самих себе. Этот мир, быть может, возникнет на руинах прежнего, а может быть, и нет, но сегодня он борется, чтобы вырваться на поверхность и не сгинуть.

Вопреки всему, абстрагируясь от эпохи, в которую жил апостол Павел, отвлекаясь от грубоватости его метафизики, от его полнейшего незнакомства с биологией,

от того, что он был проникнут социально-политическими теориями мессианизма и, в частности, мечтами о Втором Пришествии, я нахожу в этом человеке ум, и впрямь чрезвычайно родственный моему.

А что касается веры во Второе Пришествие, то она выражала лишь всеобщую уверенность в скором падении Римской империи: это была идея, по сути своей очень близкая той тревоге, которой пронизан наш сегодняшний мир; очень близкая нашему ожиданию какой-то великой перемены, мировой революции или военной катастрофы — трудно для этого подыскать определение; очень близкая нашей надежде, что тогда возвратится на землю сию Дух Человеческий к вящей славе своей...

Впрочем, для этого нет ни малейших реальных оснований...

Что такое моя серия «Путь, которым идет мир», если не новая форма мессианизма? Мессианизма без Мессии, но зато с роем Новых Адамов, Порожденных Звездами?

Картина мира, увиденная глазами апостола Павла, очень похожа на мою картину, хотя он смотрел с иной точки зрения и истолковывал ее иначе; он сам с собой спорил, спорил искренне и по-джентльменски, а если порой и замалчивал известные трудности, то, во всяком случае, никогда их не отрицал; и я уверен, что, если бы он был тут, вместе с нами в этой экскурсии в Сен-Мало, в Мон-Сен-Мишель и обратно, через Морлэ в Брест, в Плугастэль и Кэмпер, среди дольменов Карнака и Менека и наконец здесь, в Нанте,— он посещал бы со мной храмы в ничем не омраченном братском согласии, с не меньшим, чем я, изумлением разглядывал все эти голубые и красные статуи и странные картины, явно посвященные Изиде, Звезде Моря и младенцу Гору, и никак бы не мог понять, что у них общего с проблемами подчинения эгоцентрической души и контроля над ней — проблемами, которые, несмотря на то, что он мыслил в теологических терминах, составляют центральную тему его посланий.

Распятия он бы узнал, и они заинтересовали бы его. Но его изумил бы всеобщий обычай применять этот символ для ради заклинания и изгнания духов. Его сим-

вол освобождения человека от плотских уз стал здесь орудием чисто материальным, видением из крови и слез, садическим призывом судьбы.

— А *воскресение?* — осведомился бы апостол.— *Что является у вас символом воскресения?*

— Фигура джентльмена-иллюзиониста, который только что провернул волшебное мероприятие,— пришлось бы мне ответить,— и возносится на небо, демонстрируя пустые руки. А засим собравшиеся, абсолютно не испытывая внутренней потребности воскресения из мертвых, потихоньку расходятся по домам...

Как бы мне хотелось взять апостола Павла с собой в Плугастэль, показать ему там распятие, охватить взором вместе с ним всю христианскую легенду и проверить, многое ли он *узнает*.

— Что это еще за «Евангелия», ты на них все время ссылаешься? — осведомился бы он.— Я о них не слыхал.

Мне кажется, что большинство христиан было бы возмущено сверх всякой меры, если бы им сказали, что апостол Павел никогда не читал Евангелия. Такое же возмущение вызвал бы тезис, что Шекспир позволил себе пародировать апостола Павла в совершенно недвусмысленной и фамильярной манере в монологе пробудившегося Основы. Мы никогда об этом не говорим. Но мне не хочется превращать апостола Павла в неприкасаемого святошу. Он был для этого чересчур хорош. Если бы христиане захотели прочесть Священное Писание с меньшим пиететом, но зато более вдумчиво, их взгляды стали бы куда ясней! Когда Мэтью Арнольд хотел привить англиканцам интеллектуальные интересы, он сослался на апостола Павла. Кто еще из отцов церкви остался столь живым по прошествии стольких веков?

Но в Плугастэле апостол Павел широко раскрыл бы глаза.

Я вижу его коренастую кривоногую фигуру, как ее описывает живший во втором веке автор «Деяний Павла», и я не в силах противостоять искушению обрядить его в спортивный костюм и нахлобучить на его плешивую голову кепи-гольф, надвинув козырек на «немного выдающийся нос».

Я несколько бестактно показал бы ему:

— Вот твой друг, апостол Петр. А вот еще... А вон там тоже...

— Да, да,— ответил бы он чуть нетерпеливо.— Я знал Петра. Отлично знал его. Собственно, с ним одним из иерусалимской группы я и был знаком. Весьма рассудительный человек, с ним можно было иметь дело.

И глаза его из-под сросшихся бровей и козырька надвинутого кепи бесплодно рыскали бы по бесчисленным каменным изваяниям и наконец обратились бы ко мне с укором.

Но в Бретани очень мало свидетельств уважения к святому Павлу. Если он здесь где и появляется, то только под именем Сен-Поль, как святой Павел Аврелий, Поль Орельен, валлийский волшебник, не обремененный какой-либо умственной нагрузкой.

Серая и зеленая Бретань, страна гладко отшлифованных гранитных скал, чрезвычайно старомодна; она горда красотами прошлого, и она совсем не думает о новом, невероятном и неправдоподобном мире, которого глаз не видел, о котором ухо не слышало; о мире, который еще и не снится людям; о мире, где все мы станем сочленениями единого тела... Малоправдоподобно, чтобы эти бретонцы подписались на мою серию «Путь, которым идет мир», впрочем, малоправдоподобно и то, чтобы они принялись за чтение писаний апостола Павла.

Мы оба тут представители современной мысли. И ни для одного из нас нет места в кельтских снах наяву.

Но я слышу уже в коридоре шаги Летиции. Через минуту-другую она постучится у моих дверей.

— Пора пить чай! — скажет она.— Папуленька, зверски хочется ча-а-а-ю...

Я слышал эти слова уже много раз. Мне кажется, что она некогда придумала эту формулу и эту интонацию для Хуплера и по его вкусу.

— Ча-а-а-ю...

Страница кончается, а я ни слова не написал о том, что должно было стать главной темой сегодняшних признаний.

Я должен был писать о том, что случилось со мной недавно, но я отклонился от темы. Я вовсе не думал,

что мне взбредет в голову писать об апостоле Павле. Я хотел рассказать, как несколько дней назад влюбился. Я должен вернуться к этому после обеда.

2

Нант. Вечером того же дня, 25 сентября 1934 г.

Удивляюсь теперь, зачем я вызвал к себе Летицию.

Мне кажется, что после смерти Долорес меня обуяла паническая боязнь одиночества. Я не знаю, как обстоит дело у стариков, но от колыбели до пятидесяти средний человек непрестанно встречается с другими людьми и как-то на них реагирует. В таком взаимном общении большинство из нас проводит свои дни и ночи.

В настоящее время гораздо больше, чем прежде, людей спит отдельно или в одиночестве посвящает себя живописи, писательству, науке или коммерции. Это стало возможным главным образом благодаря более просторным, чем прежде, жилищам, лучшему освещению и отоплению. Но, несмотря на это, инстинкт наш требует тесного контакта с ближними.

И как всякий инстинкт, так и этот, если он не удовлетворен или удовлетворен не вполне, возбуждает мечты и грезы. Голодный думает о пиршестве, человек, заблудившийся в лесу во время ливня, представляет себе дверь, открытую в теплую, светлую комнату. Сегодня мне ясно, что уже несколько лет воображение мое исподтишка протестовало против того, что у меня не было духовной близости с женой, а в Англии я целиком посвящал себя делам и теоретическим размышлениям. Правда, в Англии были люди, которых я уважал и с которыми дружил, были также и деловые связи, но это не удовлетворяло той области моего мозга, в которой располагаются мечты. Я всегда жаждал какого-то более близкого, более радостного контакта,— я жаждал полнейшего взаимопонимания в общении постоянном и будничном.

Однако поскольку я человек обычный, гетеросексуальный, то эти заветнейшие грезы всегда воплощались для меня в образе какой-то женщины. И поэтому, как только это стало возможно, мне захотелось завязать сер-

дечные и добрые отношения с моей позабытой дочерью. Я думал о Летиции, и раздумья мои окрашивались в романтически-восторженные тона. Теперь я допускаю, что у большинства бездетных преувеличенное понятие о природном взаимопонимании, якобы существующем между родителями и детьми. Безусловно, в семье существует весьма заметное сходство способов накопления и разрядки нервной энергии, настроений, вспышек темперамента, сходство характера мышечной координации и т. д. Но процесс приобретения определенных навыков и формирования интеллекта идет настолько быстро и настолько независимо, совершенно независимо от наследственности, что эти основные наследственные свойства становятся относительно маловажными. Нормальный человек делается, а не рождается; а принесенные им в мир способности и таланты играют пустячную роль, если только не подвертывается соответствующее благоприятное стечение обстоятельств. Последние три недели — это сплошная комедия разочарований. Началось все, когда я стоял на берегу в Сен-Мало, ожидая прибытия саутгемптонского парохода. Я ждал, как тоскующий влюбленный, издалека уже высматривая Летицию среди маленьких точечек, которые с каждым мигом росли, становясь все более похожими на человеческие фигуры. В конце концов можно было уже различить одежду и лица. Мне бросилась в глаза стройная фигурка дочери, неожиданно высоко возвышающаяся над другими, ибо Летиция взобралась на скамейку у поручней. Черное платье и черный плащ трепетали вокруг нее, как полуразвернутое знамя. Моя дочь! Она была в трауре! В первую минуту это меня удивило, но мне сразу подумалось, что это, конечно, Алисина идея.

До этого мгновения я не раз видел мою Летицию, много раз с ней разговаривал и, стало быть, не имел ни малейших оснований для иллюзий. Но моя жажда была настолько сильна, что сердце живей забилось у меня в груди, когда я отвечал на ее приветствие.

Она сошла на землю. В черном наряде она была прелестна — такая юная и такая серьезная. Она подошла ко мне, и в глазах ее были печаль и соболезнование, но настроение это улетучилось, как только мы поздоровались и расцеловались. Я расспрашивал об Алисе

и Хуплере, но ничего не было сказано о Долорес. Это было слишком трудно: черное платье и чуть склоненная головка были красноречивей всяких слов.

Я помог ей разрешить не слишком сложные таможенные формальности, и мы позавтракали в пресимпатичном ресторанчике, заранее присмотренном на этот случай, и Летиция даже пискнула от радости, что все там оказалось «такое французское». Высказав это первое впечатление, она сразу утихла. Я подхватил ее и ее чемоданы, и мы покатили в Мон-Сен-Мишель, где я заказал два номера.

— Как тут прелестно! — сказала Летиция, когда перед нами предстал прославленный островок.

Она повторила то же самое, когда мы ехали вдоль берега и по озаренной солнцем дамбе, а потом в вестибюле маленького отеля. Видимо, это было весьма меткое определение. Песчаная отмель, синее море, островок в ласковых лучах послеполуденного солнца — все это было замечательно и всегда прелестно! Вечер мы провели на островке, гуляя в лунном сиянии. «Прелестно» было море в лунном сиянии и «прелестен» был превосходный французский омлет, который мы уписывали за обедом. Потом мы поехали через Сен-Бриёк и Гинган в Морлэ, где осматривали «прелестную» винтовую лестницу и «прелестный» виадук. В течение четырех или пяти дней я обращался с речами к Летиции, стараясь изъясняться самым красноречивым образом, как только умею, говорил обо всем на свете, непоколебимо уверенный, что когда-нибудь наконец она перестанет отвечать мне одним, все тем же самым словцом и проявит вдруг поразительное понимание. Я пытаюсь припомнить темы этих моих общеобразовательных монологов. Теперь я уже знаю, что надежда найти в Летиции отклик оказалась пустой фантазией. Но так сильна была во мне потребность привить кому-нибудь свою личность, свой мир и свой труд, что я совершенно не замечал тщетности этих усилий. Когда я теперь взираю на это из некоторого далека, мне неприятно вспоминается тот день, когда я сидел в садике над Луарой, в садике при скромной гостинице, и с насмешливой улыбкой слушал, как Долорес старается очаровать Маргариту Беньель. Аналогия эта, быть может, не вполне точна, но возникает

неизбежно. Безусловно, я действовал, побуждаемый стремлением найти в Летиции полную восхищения дочь и в то же время ученицу.

Помнится, я среди прочего рассказывал ей также о зеленом мире кельтов. Я хотел вызвать картину этого древнего уклада, когда безопасней было плавать под парусом в утлой ладье вдоль берега, чем странствовать по суше, сквозь лесные дебри, разлившиеся реки, трясины и вражеские засады. Ирландия, Уэльс, Корнуэльс и эта вот Бретань были связаны друг с другом слабой, но искренней и преисполненной взаимопонимания общностью. Люди в этих краях говорили практически на одном и том же языке и обладали общей культурой; бретонские святые и апостолы прибывали сюда из Уэльса и Ирландии. Рим приходил в упадок, погибал где-то в непостижимой дали, а Иерусалим был и вообще чем-то совсем легендарным. Я пытался живописать картину этого забытого мира — пятого и шестого веков—в его странствованиях и деяниях; я говорил о святых и королях и о волшебнике Мерлине; я рассказывал Летиции, как начали тут появляться скандинавы с северо-востока, норманны и англичане; как потом надвинулись французы, оттесняя кельтов к западу, как надломилась кельтская общность и обособленность. Я говорил также о расширяющейся бреши между Францией и Англией, растущей с тех пор, как на континенте возникли дороги и Ла-Манш перестал быть большой дорогой и сделался границей; я рассказывал обо всех вторжениях, осадах, морских боях, разыгравшихся вследствие этих обстоятельств. По мере того как корабли становились все больше и надежней, а у мореходов прибавлялось отваги, на историческую сцену выплеснулся Атлантический океан. Меня поразила мысль, что если бы не было Колумба, мореходы из Девона и Бретани непременно открыли бы Америку в течение следующего столетия или за несколько больший срок. И без Колумба поселились бы в Нью-Фаундленде французские рыбаки, а отцы-пилигримы основали бы за океаном Новую Англию. Мы переоцениваем Колумба. Ирландцы до него открыли Америку, но никто не поверил их рассказам; мореходы Канута открыли Америку; китайцы и японцы открывали Америку, и не однажды, а исландцы вооб-

ще не считали ее неведомой землей; Америку постоянно открывали, но широкие дороги контакта с ее северной частью взяли начало на обеих сторонах пролива.

Вот такими мыслями я пичкал Летицию.

Мне вспоминается также, как я несколько раз пытался вызвать в ее воображении картину древних обычаев, картину давней обыденной жизни в Мон-Сен-Мишель, в Сен-Мало, в Сен-Бриёк и по всей округе. Но то, что я говорил, становилось все более похоже на образовательные радиобеседы. Я хотел воскресить в узких улочках старых городов толпу людей прошлого, так похожих на нас и так от нас отличных. Занятые своими повседневными делами, они жили, старились и умирали, почти не ощущая ни волны времени, которая их уносила, ни перемен, которые вокруг них происходили на свете. Их жизнь кажется нам маловажной не только потому, что они видятся нам в перспективе столетий; нет, потому, что эти люди не ощущали принципиальных перемен. Они полагали, что их Арморика будет существовать вечно, и, однако, она исчезла, растаяла; они думали, что герцогству бретонскому не будет конца. Войны между французами и англичанами велись по-рыцарски, на галантный манер, а где же теперь увидишь подобный способ ведения войны?

Потом я много говорил о жизни и о громадных переменах вокруг нас и рассуждал о том, какая это великая вещь, что мы входим в жизнь в наши дни, когда над нами занялась заря надежды, когда мы поверили, что сможем сыграть свою роль в формировании грядущего. Я рассказывал и о том, как жизнь пришла ко мне и распахнулась перед моими глазами. Я говорил о своих надеждах и честолюбии. Поверял ей, Летиции, мои помыслы, отпускал глубокомысленные замечания и пускался в пространные отступления... Кто дочитал мою книгу до этой страницы, тот знает, до чего я склонен к рассуждениям и отступлениям. Я пробовал угадать, что еще ждет в жизни меня и что ждет ее. Спрашивал, где мы будем через двадцать лет. Что мы совершим до того времени и что тогда будем делать?

— Мне тогда будет тридцать девять лет,— подсчитала Летиция не без усилия.— Это ужасно!

— Не так ужасно, как тебе теперь кажется,— ответил я. И пока мы беседовали так, автомобиль мчал нас в ясном закатном сиянии; и мы останавливались в дороге, чтобы нарвать цветов, задерживались, чтобы утолить голод, осматривали церкви, менгиры и все, что было достойно обозрения, разглядывали других туристов, ночевали в чистеньких маленьких гостиницах.

Но потом — мы тогда были в Морлэ — наблюдательность вдруг и как-то незаметно вернулась ко мне. Я подметил перемены в своем поведении. Мне все меньше хотелось высказывать свои взгляды на мир, говорить о переменах в жизни и о ее смысле, я снова замыкался в себе. Я уразумел, что я делаю, и до чего это нелепо. Еще некоторое время я говорил на прежние темы, но уже не сводил глаз с Летиции, следя за ее реакцией, а в лекции свои иронически ввертывал провокационные словечки. Прежде чем мы доехали до Бреста, я перестал читать ей лекции. Теперь или молчу, или говорю сам для себя, не обращая внимания на то, слушает ли она меня; время от времени я задаю Летиции вопросы и вытягиваю из нее — откровенно или обиняком — кое-какие сведения о ней самой.

Никогда в жизни не встречал я столь неподатливого собеседника. Летиция умеет не следить, не слышать, не обращать внимания ни на что из того, что вокруг нее творится, и это страшно меня злит. Она как бы защищает некую сокровенную внутреннюю жизнь, собственную систему понятий от наплыва внешних фактов, новых мыслей, защищается от какого бы то ни было их обогащения и расширения. Когда я наконец спрашиваю ее о чем-то, она делает задумчивые глазки и отвечает самым подходящим к случаю и новым для меня словечком: «мр-гм». Тем самым она все отклоняет. Это решительное отклонение дальнейших расспросов и означает примерно вот что: «Спасибо, я уже знаю достаточно».

Как-то она стояла на скале, вырисовываясь на фоне неба, и смотрела на залив Киберон.

— Здесь,— промолвил я,— из-за этого самого мыса выплыл флот адмирала Хука и захватил французов совершенно врасплох. Разве ты не видишь, как плывут корабли, распустив паруса?

Заслоняя глаза рукой, Летиция глядела вдаль, в пустоту, глядела на все вместе и ни на что в частности.

— Мр-гм.

— Но шестнадцать лет спустя на этом самом месте британцам пришлось туго.

Снова приглушенное: «Мр-гм».

— Тут постоянно разыгрывались битвы. Цезарь устремил сюда римские галеры против варварских парусников.

Летиция казалась угнетенной. У нее в запасе не было нового «мр-гм». Зачем только я выволок на сцену Цезаря? Охватить взором широкий, залитый солнцем простор было и без того мучительно трудно, даже если не перегружать пейзаж тремя слоями абсолютно незримых фактов. Быть может, Летиция чувствовала себя обязанной с одним выражением смотреть на Цезаря, с другим — на флот адмирала Хука и с еще иным — на французских эмигрантов и никак не могла с этим справиться. Залив, озаренный солнцем, был все такой же. Для громадных скопищ туристов исторические ассоциации представляют совершенно излишний и даже вредный балласт. Для Летиции тоже. На нее наводят тоску какие бы то ни было ассоциации.

— Какой маленькой кажется вон та лодочка,— заметила она внезапно.

— Она и вправду маленькая.

— Но выглядит совершенно малюсенькой...

— Так всегда бывает с лодками на море. В особенности, когда они далеко от нас. От нас до этой лодки целая миля или даже больше.

— Мр-гм, — энергия Летиции была исчерпана этой попыткой самостоятельного наблюдения. Она начала спускаться со скалы.

Она нисколько не интересуется тем, что было, что будет, что еще существует, кроме мира видимых предметов или за его пределами. Сперва я полагал, что это отсутствие отклика нужно приписать оборонительной системе, которую она выработала себе дома, защитной реакции на скучные и тягостные хуплеровские поучения. Но теперь мне думается, что в этом есть еще нечто большее. Это вовсе не защита собственного мыслительного процесса от внешних воздействий. У Летиции

нет собственной точки зрения и собственных мыслей, она не защищается от непрошеных назиданий. Просто она вообще не видит внешних явлений и нисколько не думает о них. На ее вкус их слишком много. Мир, прельщающий меня как пиршество, отпугивает ее своей щедростью, как будто она страшится не усвоить всего, что он ей подсовывает. Она отворачивается, она любезно говорит:

— Нет, спасибо, с меня довольно,— и замыкается в себе.

Один только раз во время этой экскурсии я увидел в ней внезапный интерес. Места эти изрезаны узкоколейками, петляющими среди гранитных скал. Мы ехали по волнистой заброшенной дороге, как вдруг в углублении скалистого грунта на расстоянии всего каких-нибудь ста ярдов увидели маленький поезд. Он появился внезапно, как будто вынырнул из-под земли, и двигался почти бесшумно, приглушенно и ритмично постукивая по рельсам.

Единственный — черный и длинный — вагон резко вырисовывался на фоне неба. Черные и белые силуэты бретонцев-пассажиров торчали в нем неподвижно и безгласно. Трое или четверо мужчин были в характерных черных бретонских шляпах, увитых лентами, а женщины в белых чепцах. Некоторые из них держали на коленях корзины и узлы. Вагончик двигался параллельно нашей дороге, равнодушный, невозмутимо покорный своему предназначению. Никто из этих людей не оглянулся в нашу сторону. В них была озабоченность и безучастность. Они были маленькие и очень четкие против света. Было в них что-то настолько отличное от лихорадочной туристской спешки, как будто они были жителями совсем иного, волшебного, зачарованного мира.

Летиция почувствовала это. Она выпрямилась и вскрикнула от изумления:

— Смотри!

Я посмотрел.

— Откуда они тут взялись вдруг? Ох, откуда они тут взялись?

Я не пытался ей этого объяснить. Предпочел предоставить ответ ее собственной фантазии.

Миг спустя дорога наша снова начала подниматься в гору, и вагончик пропал, как будто его земля поглотила. Он скрылся, исчез.

— Куда они подевались? — закричала Летиция.

— Тсс! — ответил я таинственно.

Она обратила ко мне вопрошающий взор.

— Ты смеешься надо мной,— сказала она и начала ерзать в машине, высовываясь, оборачиваясь во все стороны, высматривая, не удастся ли еще раз увидеть таинственную узкоколейку. Но вагончик покатил своей дорогой, обходя по серпантину возвышенности почвы, а наше шоссе поднялось прямо на гребень холма и перевалило на другую сторону, в другую долину. Никогда уже больше мы так и не увидели этого вагончика.

За ужином Летиция вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Куда же они могли деваться?..

— Кто?

— Эти странные люди в вагончике.

Это был единственный случай, когда Летиция проявила любопытство.

— Правда, это было необычайно? — прибавила она еще.— Явились, как из-под земли. Это было чудное зрелище. У них был такой торжественный вид!

Я боялся напрямик выспрашивать ее, какие мысли и чувства таятся под ее защитной скорлупой. Это было бы столь же опасно, как шарить кочергой в темной кладовке, чтобы найти завалявшееся там яйцо. Я приметил, однако, что Летиция чрезвычайно аккуратно посылает открытки. Время от времени она адресовала их Алисе или какой-нибудь из своих школьных подруг, сообщая, что проводит время в «прелестной Франции» и шлет поклон. Это было вполне естественно и понятно. Новые взрывы восторгов. Но, кроме этого, Летиция ежедневно посылала открытку по одному и тому же адресу. Однажды вечером, когда она грызла перо, ломая себе голову над тем, чем бы разнообразить форму ежедневных поздравлений, я спросил ее врасплох:

— А он действительно достоин тебя?

Она робко взглянула на меня, испуганная и пристыженная.

— Ты читал мои письма? — сказала она с укором.
— Нет, Летиция, я читал в твоих глазах.
— Ну раз уж ты открыл мой секрет... он очень милый.
— Поэтому ты блуждаешь, как сомнамбула, и поэтому Бретань наводит на тебя скуку, не так ли? Ну, а какой он, этот твой молодой человек?
— Он очень умный.
В памяти моей возникла Алиса, восхваляющая умственные качества Хуплера. Летиция иногда бывала чрезвычайно похожа на мать. Ее ответ был признанием и утверждением, что возлюбленный может смело помериться со мной. Ей не хотелось, чтобы я отнесся к нему свысока.
— На год или около того старше тебя?
— Да. Ведь так лучше всего.
— И, конечно, ты восторгаешься им?
— Я хочу, чтоб он знал свое место.
— А чем он занимается?
— Служит в агентстве торгового флота. Рассчитывает транспортные расходы, фрахты и все такое прочее. В конторе его любят.
— Почему ты мне об этом раньше не сказала, Летиция?
— Я не думала, что это тебя интересует.
— А знает ли твоя мать об этой истории?
— Я ей об этом не говорила.
— И давно уже это длится?
Летиция подсчитала по пальцам на скатерти.
— Пять месяцев, — сказала она.
— А что говорит на это папа Хуплер?
— Ничегошеньки об этом не знает.
— А твоя мама, однако, знает, хотя ты ей об этом не говорила. И, конечно, дала тебе понять, что лучше не рассказывать об этом благоприобретенному новому папе, по крайней мере теперь.
Эти мои слова сбили ее с толку.
— Было не совсем так, — медленно вымолвила она.
— Конечно, не совсем, — отвечал я. — Пустяки, не обращай внимания! Приношу тебе мои поздравления, Летиция. Желаю вам счастья, дети мои. Если бы ты не была влюблена теперь, то уж, наверно, никогда бы не уме-

ла любить. С каждым годом это все труднее. Расскажи мне о своем избраннике только то, что тебе самой хочется рассказать. Или вовсе ничего не говори, если хочешь.

— Ты очень хороший, папуля,—шепнула она и взглянула на меня так, как если бы чуточку сомневалась в моей доброте. Я улыбнулся и погладил ее руку, лежащую на столе. Потом, чтобы разрядить положение, заказал ужин и снова к ней обратился.

— Можешь мне об этом рассказать, когда придет охота, но я вовсе не заставляю тебя говорить,— сказал я.

— Я всегда о нем думаю, ничего с этим поделать не могу.

— Это вполне естественно,— согласился я.

— Ты устроил мне такие прелестные каникулы. А я все-таки думаю только о нем.

— Путешествуешь со мной и все время неотвязно воображаешь себе, что бы было, если бы он вдруг появился тут, если бы вышел нежданно вот из той улочки и вошел сюда, в эту столовую...

— Откуда ты знаешь об этом?

— Что, разве я кажусь уже таким стариком?

— Ох, нет!

— Так видишь, я еще помню, как это бывает. Мне даже не кажется, что подобные истории случались со мной в такие уж незапамятные времена...— Говоря это, я не допускал, что вскоре мне придется тряхнуть стариной.— В этот миг ты опять думаешь: «Если бы он сюда вошел...»

Она подняла на меня глаза, сияющие безрассудной надеждой. Но сейчас же сникла.

— А ведь ты же отлично знаешь, что он далеко за морем, в Саутгемптоне.

— Правда. Я страшно глупая.

— Так уж мы сотворены, моя Летиция. Так уж мы сотворены... Когда он пойдет в отпуск?

— Отпуск у него начинается за целых три дня до моего возвращения,— сказала она очень выразительно, и внезапная надежда блеснула в ее взгляде.

— Мы это как-нибудь уладим, дорогая моя,— сказал я.— Видишь, нужно было раньше сказать мне всю правду.

Весь остаток этого вечера меня забавляла Летиция, старательно утаивающая радость по поводу сокращения на три дня наших совместных вакаций.

После этого разговора мы оставили такие темы, как история Бретани, история человечества и тому подобное. В наших будничных беседах для этого уже не оставалось места. Летиция до смешного не любит произносить имя своего возлюбленного. Предпочитает несколько загадочно называть его «один человек». Она сообщила мне не слишком много подробностей о нем. Однако порой цитирует его фразы, говорит о его вкусах. Я вижу, что это вполне пристойный и весьма заурядный молодой человек. Во взаимоотношениях юной пары я не усматриваю ни тени поэзии, романтики, каких-либо особенных интересов или явной чувственности. Кажется, что главная приятность для них — видеться, ожидать свидания, ждать случайной и неожиданной встречи (это, может быть, самое приятное!); они рады услышать что-то друг о друге от других людей. Возможно, однако, что Летиция очень скрытная и что в ее голове роятся неизвестные мне волшебные мечты и упования. Но в таком случае все картинные галереи, которые мы тут осматриваем вместе, музыка, которую слушаем, должны бы говорить ей что-то, пробуждать волнение. Ничего подобного до сих пор не было. Я не могу понять этого полного отсутствия интересов. Алиса такой не была. Глаза у нее были прикованы к магазинным витринам, к движению, она вслушивалась в гомон жизни и старалась раздобыть все, что было ей по сердцу.

Я чувствую, что остатки моего интереса к Летиции пошли прахом. Но в коридоре уже слышатся голоса Бэннингтонов и Летиции, возвращающихся из кино, и, думаю, нужно выйти им навстречу и пригласить все общество на рюмку коньяку в бар внизу.

Мамаша Бэннингтон всегда ломается, когда ей предлагают этот напиток вместо «покойной ночи», но ежевечерне, перед тем как уйти в спальню, смакует его с превеликим удовольствием. Завтра мы разъезжаемся, каждый к себе домой.

Ну, на сегодня хватит, и, оказывается, я вновь ни словом не обмолвился об этом особенном приключении, о котором собирался писать.

Я даже наедине с собой стыжусь его. Трудно будет рассказать о нем как следует. Я влюбился. Следующая страница этого дневника начнется сразу с этой истории, и я постараюсь уже не слишком отклоняться от темы.

3

Сен-Мало, 30 сентября 1934 г.

Итак, согласно обещанию, начну без обиняков.

Вот в чем я должен признаться: я влюбился по уши. Самого себя я удивил этим открытием неделю назад в местечке Кэстомбек, на площади перед гостиницей, напротив маленького и необычного крытого рынка. Разразилось это внезапно, как гром среди ясного неба, и я неохотно об этом рассказываю. Событие это сбило меня с толку и вывело из равновесия. К тому же тут было столько неуловимого, что трудно как следует обо всем рассказать.

Это было в тот самый день, когда мы познакомились с Бэннингтонами, которые уже четыре или пять дней едут в том же направлении, что и мы. В Нанте я не успел об этом написать. Я как раз собирался начать, когда возвратились из кино Бэннингтоны вместе с Летицией. Отступление о святом Павле получилось чересчур пространное. Что-то в подсознании не давало мне расстаться с этой темой. Я все не знал, как повести речь о том, что сейчас больше всего меня занимает.

Теперь я могу уже говорить об этом, поскольку события немного отдалились, к тому же произошел новый эпизод, который дополняет все, что я пережил, и ставит крест на всем. Нынешний вечер мы с Летицией остановились в Сен-Мало вместо того, чтобы быть в Динаре, где Бэннингтоны, конечно, дивятся нашему отсутствию и допытываются, что с нами стряслось. Причина этой перемены планов — моя тайная влюбленность. Но прежде чем рассказать о ней, мне следует еще вывести на сцену семейство Бэннингтонов.

Бэннингтоны появились в самую пору, чтобы несколько разрядить напряженность, воцарившуюся в наших с Летицией отношениях. Впервые мы увидели их в сто-

ловой незадолго до нашего приезда в Киберон. Входя, они взглянули на нас робко, но любопытствующе. Они путешествовали в машине, правил молодой Бэннингтон. Мамаша была широколицая, носила она нечто вроде полутраура. С виду она казалась добродушной и мирной особой, но иногда в ее глазах сверкала расчетливость и настороженность, и это было так внезапно, как будто из окна приличного дома выглянула вдруг физиономия преступника.

В состав семьи входили, кроме того, сын — отощавший парень лет двадцати с небольшим, одетый по-спортивному, и две дочки — шестнадцати и девятнадцати лет — в платьицах-джерси и беретах. Молодой человек изъяснялся на абсолютно лишенном идиом французском, вызубренном в британском отечестве, к тому же обладал настолько скудным запасом слов и таким прононсом, что разве что другой англичанин мог бы его понять, и ему, естественно, нелегко было объясниться с прислугой, которая, в свою очередь, не умела говорить по-английски. Я видел, что он совершенно изнервничался, объясняясь с ничего не понимавшей официанткой, причем сестрицы не очень-то помогали ему своими подсказками. Ну что ж, я предложил семейству свои услуги. Матушка приняла их с благодарностью, а сын — с неудовольствием.

— Я бы справился и сам, мама,— сказал он,— если бы меню было написано как следует.

— Действительно, писали они ужасно и к тому же все меню чем-то заляпали,— заявил я, взяв карточку,— официантка притом не сильна во французском. Она бы лучше поняла вас, если бы вы обратились к ней по-валлийски.

— Я не говорю по-валлийски,— заявил молодой человек.

— Ну, конечно, откуда же?

— Эти их диалекты — совершенно невозможное дело,— заявил юноша, и лицо его немного прояснилось.

Я прочел им список блюд, делая вид, что разбираю с трудом, и задерживаясь иногда, как бы размышляя. Выслушал их пожелания и пересказал их официантке.

— Могу ли я дать вам совет по части вина? — осведомился я.

— Джордж говорит, что не надо смешивать вино с водой,— живо отозвалась старшая из девиц, явно возобновляя давнишний семейный спор.

— Французы так поступают,— объяснил я с грустью в голосе и добавил: — За столом.

— Но лучше не смешивать? — осведомился Джордж.

Я доверительно кивнул, подчеркивая тем самым нашу мужскую солидарность. Затем я помог еще заказать вина.

— Мы вам очень благодарны,— сказала миссис Бэннингтон. — Вы говорите по-французски, как истый француз.

— Скорее, как коммивояжер,— сказал я и вернулся к Летиции.

Я слышал, как миссис Бэннингтон сказала достаточно громко, чтоб быть услышанной:

— Чрезвычайно приятный господин. Интересно, кто бы это мог быть? Что бы мы делали без него?!

— Ну я бы как-нибудь все уладил, — отрезал ее сын.— Это такие пустяки.

Однако на следующее утро, когда дамы были еще в своих комнатах, молодой человек снизошел до того, что спросил моего совета насчет дороги в Кэмперле.

— Говорят, что стоит посетить это место,— сказал он.

Я осторожно подтвердил это мнение. Когда появился лакей в зеленом переднике с пожитками всего семейства, молодой человек начал заметно тревожиться. Итак, я удалился, чтобы не мешать ему при погрузке багажа и не смущать юного знакомого, когда он будет вручать чаевые. Бэннингтоны обогнали меня на шоссе, сердечно поздоровались, а Джордж сделал зигзаг, будто хотел отвесить мне поклон. Я застал Летицию за зеленым столиком на террасе, она была чем-то озабочена.

— Приятные люди,— сказал я.

— Мр-гм,— ответила она и впала в еще более глубокую задумчивость.

— Папочка,— спросила она,— какое на самом деле родство между нами?

— Разве ты не знаешь, что ты вроде бы моя приемная дочь? — ответил я.

— Мр-гм, но...

— А что, разве эта милая леди выспрашивала тебя об этом?

— Да-а...

— Ну и что же?

— Спрашивала, кто я тебе — дочь? Я ответила, что да, потому что это показалось мне проще всего. Потом она спросила, почему я в трауре. Мне показалось, что лучше всего будет сказать, что по подруге, с которой ты не был знаком. Понимаешь, чтобы она не удивлялась, что ты в светлом костюме. Но тогда она снова поинтересовалась, жива ли моя мать. Я сперва, не подумав, сказала, что да; потом поправилась, что нет... Она внимательно посмотрела на меня и заметила, что я не должна ей говорить ничего такого, чего не хочется. Но ты кажешься ей чрезвычайно приятным господином — словом, я должна быть для тебя утешением. Она тоже чувствует себя одинокой, сказала она, иногда. «Будь к нему добра, дитя мое»,—говорит, будто я и без того хорошо себя не веду. Наконец она поцеловала меня, снова на меня внимательно посмотрела и еще из автомобиля делала мне какие-то знаки.

Я на миг задумался.

— Не морочь себе этим голову, дорогая моя,— сказал я.— Эти люди поехали в Кэмперле, а мы поедем в глубь страны, а потом — в Нант. Сомневаюсь, чтобы мы еще хоть раз в жизни встретились.

— Конечно,— согласилась Летиция.— Но я считала, что должна пересказать тебе этот разговор.

— И превосходно сделала. Ну, а теперь не думай об этом больше.

— Как-то все глупо получилось...— добавила напоследок Летиция.

Однако судьбе угодно было, чтобы мы снова встретились с этим семейством. В Кэстомбеке мы только сели завтракать в тесной столовой, как Бэннингтоны внезапно всей оравой ввалились туда и тут же подошли к нам, спрашивая, могут ли они сесть рядом. Начался разговор. Где провели мы все эти дни? Что видели? Не правда ли, какие тут ужасные дороги и как безумно хочется пить после целого дня в машине?

Мне кажется, что, несмотря на маленькое недоразумение с миссис Бэннингтон, Летиция была довольна

встречей. Мое общество наскучило ей еще больше, чем мне ее. Меня по крайней мере развлекали мои собственные мысли, недоступные ей. Я был способен увидеть и постичь наиболее интересные образы этого края, этой страны-акватинты, возвышающейся в «Конце света», у пределов мира, забавляться философскими проблемами, ломать голову над своими собственными делами. А для дочери моей весь этот вояж был как бы лекцией на неведомом языке, лекцией, которую она слушала на фоне странного пейзажа — нисколечко не веселого и не забавного, скорее попросту бесхитростного... Но молодые Бэннингтоны сумели с первого же мига вступить в контакт с Летицией. Они были родом, как выяснилось, из района Портсмута и Саутгемптона, из местечка Бэзлар, а Бэннингтон-младший даже был знаком с «одним человеком» или с его однофамильцем, чрезвычайно на него похожим. Ну, просто невероятно! Еще одно доказательство того, как тесен мир. Постепенно тождество было окончательно установлено.

Но миссис Бэннингтон не принимала участия в их разговорах. Она сидела справа от меня, и вскоре я заметил, что она присматривается ко мне с особенным упорством. Выглядела она так, как будто хочет заслонить от меня прочее общество и подвергнуть меня месмерическим чарам. Пыталась непременно заглянуть мне в глаза.

Наконец она заговорила негромко и доверительно:

— Простите, но вы один из тех людей, которые очень сильно все переживают.

— Как это вы догадались? — спросил я.

— Я вижу это,— ответила она.— Вам следует вспоминать время от времени, что все на свете не так скверно, как это нам порою кажется.

— Вы полагаете, что это можно возвести в некий общий принцип? — старался я поддержать интеллигентный разговор.

— Нет ничего доброго или злого само по себе. Все дело в нашей оценке.

— Это я уже где-то слышал.. Кто это сказал?

— Мой муж.

— Ваш муж? Что вы говорите?!.

— Мой супруг был Целителем Душ,— разъяснила миссис Бэннингтон.— Сперва он был остеопатом, потом стал Целителем Душ, кстати, он придумал особую систему физических упражнений. Быть может, вы о нем не слыхали, но он был очень известен. Имел большую практику. Множество знаменитостей, деятелей искусства и писателей занималось по его совету специальной гимнастикой шеи. Он называл это «лебедированием» (?!). Да, пусть это вас не удивляет — именно «лебедированием» —от слова «лебедь». Некоторые из его пациентов добились весьма серьезных результатов. Муж мой незадолго до смерти закончил книгу о своей системе.

Мое издательское сердце слабо екнуло: неужели мне предстоит отбиваться от этой рукописи? Но в ту минуту миссис Бэннингтон, видимо, еще не помышляла о ее обнародовании.

— Пусть ваше сердце хранит спокойствие. Пусть оно ничего не страшится! — ободряюще шепнула она мне в самое ухо.

— Это что, тоже один из способов врачевания, завещанных вашим супругом?

— Да. У него было множество подобных мыслей. Но неужели это вам ничего не говорит?

— Н-нет, много,— ответил я с полным ртом.

— Я *вижу* над вами какую-то тень.— Миссис Бэннингтон глянула в сторону Летиции, но та была занята своим разговором.— Мне хотелось бы вам помочь.

— Нет, я не думаю, чтобы надо мною была тень. Нет, нисколько. Уж если бы она была, я бы сам ее почувствовал. Не правда ли? Ну, а как вам нравится этот салат с легчайшим чесночным запахом?

Миссис Бэннингтон приблизила ко мне лицо и, смотря на меня искоса своими настырными хитрющими глазками, сказала:

— Вы меня не проведете, я лучше знаю.

— Мне не хотелось бы спорить.— И я отодвинулся от нее как можно дальше.

— У меня чутье. Мой муж не раз говорил мне, что мои предчувствия более верны, чем его наука. Вы понимаете? Это — нечто психическое, психопатологи-

ческое. Я могу сказать о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Мне трудно от этого удержаться. Над вами тень большой утраты. Ваша воля размагничена.

— Разве моя племянница рассказывала вам что-нибудь обо мне?

— Нет. Мне все самой известно.

Я решил как можно скорее перейти к обороне.

— Должен вам признаться, миссис Бэннингтон, что там, где дело касается личных чувств, я склонен к сдержанности. Из чувства стыдливости. Мы ведь не раздеваемся публично донага?

— Однако в присутствии врача!

— Когда я зову врача, это — другое дело.

К счастью, подошел официант и торжественно поставил на стол сыр и десерт.

Но миссис Бэннингтон нелегко было отвадить. Моя атака заставила ее слегка отступить, но лишь для того, чтобы собраться с силами. Минуту спустя она уже рассказывала мне о необычайной карьере и трудах своего покойного мужа. Он не был, как она говорила, человеком рослым, но был зато чрезвычайно силен и с хорошо натренированной мускулатурой. Грудь у него была широкая, и он умел набирать в легкие столько воздуха, что удерживался на волнах без малейшего усилия, «как плавательный пузырь». Он был учителем гимнастики, и это натолкнуло его на собственный метод лечения человеческой психики. Он обнаружил в себе способность помогать ближним и давать им спасительные советы. Постепенно он пришел к убеждению, что Тело и Дух здорового человека составляют его Драгоценнейшее Наследие.

Миссис Бэннингтон со смаком повторила эту фразу. Хотела, чтобы я проникся ее значительностью. Она сама дивилась открытию своего супруга и стремилась, чтобы я признал его красоту. «Драгоценнейшее Наследие Человека!»

Я снова дал втянуть себя в разговор.

— Это подлинная фраза вашего супруга? — спросил я.— Конечно, разные авторы нередко цитировали ее. Да, это правда, мы наследуем нашу личность.

— Это, конечно, бесспорно. Это величайшая правда. Но, однако, отдаем ли мы в ней себе должный отчет? — все назойливей допытывалась миссис Бэннингтон.

Трудно было как-то ответить на это.

Она вновь обратилась к истории своего мужа. Мистер Бэннингтон со временем заметил, что обладает способностью возвращать людям здоровье, и счел, что его долг как по отношению к близким, так и по отношению к себе самому — применить на деле этот талант. Он оценил всю значимость *психического аспекта* и в этом смысле воспользовался сотрудничеством своей жены, ибо ее отличали особые психические свойства. С тех пор они работали вместе. Причина большинства недугов на свете — отсутствие гармонии между телом и душой; чаще всего страдает дух, а не тело. Конечно, очень немногие умеют надлежащим образом дышать и держаться действительно прямо. В особенности, по мнению миссис Бэннингтон, забыты и запущены нами наши Желудок и Шея. Мужчины стискивают шею крахмальным воротничком, и осанка у них никудышная, как у черепахи в панцире. Это, однако, вещи, которые возможно победить силой духа. Величайшая трудность заключается именно в санации психики.

— Не все, однако, зависит от духа,— сказала миссис Бэннингтон.— Именно в этом отличие нашей теории от «Христианской науки» [1]. Но в принципе куда больше значит дух, чем тело...

И так далее. И тому подобное. Мое внимание рассеивалось. Я казался себе запертым в клетке зверем, в которого непрестанно тычут палкой и который силится не обращать на это внимания.

— Вот почему я и заинтересовалась вами. Я вижу, что вас подстерегает душевный недуг, в то время как тело еще с виду совершенно здорово. Я ощущаю в вас какую-то заторможенность. Вам нужен кто-то, перед кем бы вы могли исповедаться. Мой муж всегда говорил, что исповедь имеет громадное значение...

Я слушал до отчаянности бездумно и старался как можно громче колоть орехи.

[1] Секта, считающая физические страдания иллюзорными и учащая побеждать их внушением.

— Кофе? Кто хочет кофе? — обратился я ко всему обществу и, полуобернувшись, приказал, чтобы мне подали кофе на террасу.

Молодые Бэннингтоны заметили, что мамочка напала на свою любимую тему. Время от времени они тревожно посматривали на нее. Однако они все еще вполголоса беседовали с Летицией. Едва я заказал кофе, Джордж спросил:

— Простите, мистер Уилбек, что это за место Сен-Леап? О нем нам здесь все уши прожужжали.

— Дивной красоты местечко,— ответил я, обращаясь преимущественно к миссис Бэннингтон.— Всем вам необходимо там побывать. По городу не больше полумили до старого замка и ущелья. Так по крайней мере меня уверяли. Это восхитительная прогулка после обеда. Взгляните! Все это черным по белому пропечатано в путеводителе Мюрхеда. Сен-Леап! Вам следует всем туда отправиться. А я тут охотно подожду, нынче мы никуда не спешим.

Я встал и пошел расплатиться с официантом. Потом, не возвращаясь к ним, отправился на террасу, где обнаружил единственный свободный шезлонг. Но миссис Бэннингтон почти сейчас же отыскала меня в этом укрытии. Придвинула немилосердно скрипевший железный стул и примостилась рядом со мной. Она явно собиралась приступить к долгой и заранее обдуманной речи.

— А вы не едете в Сен-Леап? — спросил я.

— Мне нужно поговорить с вами,— ответила она.

Я решил, что сейчас не время для полумер. Весьма императивным тоном я заявил:

— После завтрака я всегда отдыхаю. Ради душевной разрядки я выкуриваю сигару, и притом выкуриваю ее в одиночестве. Полагаю, что вам будет приятнее среди молодежи.

Минутку длилось молчание.

— Конечно,— с явным усилием вымолвила наконец миссис Бэннингтон, не теряя привычного добродушия, и медленно поднялась.— Если вам так хочется.

Она стояла надо мной и присматривалась ко мне с каким-то недоверием.

— Спать днем, когда вам еще далеко до пятидесяти! — сказала она на прощание.

Я не ответил. Я вовсе не собирался спать. Я хотел только, чтобы она наконец ушла. Вот проклятущая!

4

Я и сам теперь поражаюсь, отчего эта шарлатанка так вывела меня из себя. Быть может, оттого, что, как мне кажется, подобные россказни все еще находят слушателей вопреки всяческим воспитательным усилиям критических умов, к каковым и я имею честь принадлежать. Я стараюсь сохранить терпение, сдерживаться, ибо в противном случае это уже было бы началом нетерпимости. Но, искренне опечаленный, спрашиваю, как долго еще шарлатаны будут эксплуатировать людскую ребячливость. А ведь эта внучка медиума Слуджа пыталась овладеть мною, моей волей, да и сама наполовину верила собственной болтовне. Это раздражает и бесит меня так же точно, как некогда бесили меня в устах Долорес пошлейшие рассуждения о проблемах рас и наций и шаржированные картины международного положения. Это вызывает во мне чувство раздражения и бессилия. Неужели мы так никогда и не справимся с этой ерундой? Или все это, быть может, свойственно природе человека?

Люди моего типа столько сделали, чтобы расшатать систему религиозных и шовинистических предрассудков, что я теряю терпение и спасаюсь бегством, видя, как побежденные чудища, вместо того чтобы благоприлично провалиться сквозь землю, перед смертью исходят кровью и отравленным гноем. Яд распространяется, разливается и отравляет по-прежнему. Я встречаю все больше жертв этого коварного зелья — и это среди людей самого разного уровня развития. Американский негр избавляется от евангельской простоты лишь затем, чтобы угодить в тенета какого-нибудь пророка, а всякого рода Учителя, Мэтры, Целители Душ, Психологические Исповедники на любых ступенях человеческой культуры отравляют своим ядом Мозг Вселенной. И все

успешной к тому же. Миссис Бэннингтон — женская особь этого вида.

Я уверен, что таких, как она, сотни.

Насколько я способен проанализировать состав этой липкой грязи, основным ее ингредиентом является ложная картина жизни. Ложь упорно противопоставляет себя нашей правде, она изменчива, как Протей, и до того упряма, что, кто знает, не выйдет ли она победителем из борьбы... Такой вот упорнейшей ложью является Вера в Совершенство. Вера эта в различных формах возникает то тут, то там, но испокон веков она одна и та же. Мало кто в полной мере постигает значение биологической науки, о которой теперь столь повсеместно и столь поверхностно распространяются. Люди не в силах понять, что достижения биологии устраняют какие бы то ни было самообольщения относительно совершенства тела и души, совершенной формы и совершенного здоровья. Умы недостаточно развитые упорно цепляются за этот «идеал», если, конечно, мы вправе так называть его. Правда, жизнь есть и всегда должна быть борьбой за относительное, пусть несовершенное, приспособление к окружающим условиям, но эта истина слишком тягостна, неприятна и слишком уязвляет душу, поэтому люди не хотят верить, что они таковы, каковы они есть; они предпочитают думать, что можно достичь безукоризненного совершенства. Им кажется, что когда они наконец вступят на этот самый путь истинный, обретут эту тупо сияющую прямолинейную *правоту*, жизнь их, с этого самого волшебного мига и вплоть до неизбежного финала, станет протекать в блаженном состоянии некоей благоутробной неуязвимости или же неуязвимого благоутробия. Они внушают себе, что потому только не достигли этого вожделенного совершенства, что их скверно информировали о пути, ведущем к счастью...

Мне кажется, что догмат первородного греха есть не что иное, как самая обобщенная версия этой легенды об утраченном совершенстве.

Итак, когда всплывает в зависимости от культурности окружающей среды тот или иной Бэннингтон и начинает нести какую-нибудь ахинею о четвертом измере-



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».



«КСТАТИ О ДОЛОРЕС».

нии, о тайнах тибетских лам, о Воле и об Управлении Душой; когда он начинает раздавать волшебные рецепты Окончательного Совершенства, приказывает питаться «сознательно», заниматься желудочной гимнастикой, не брать в рот мяса, остерегаться консервов, есть фрукты в кожуре, каждый день в течение четверти часа создавать в своих мыслях вакуум, участвовать в «ауре Мэтра» за умеренную плату в две гинеи в час,— людишки поддаются искушению. Они тешатся тем, что наконец-то вроде вступили на путь истинный, верят, что отныне силой воли приобретут наконец безукоризненное здоровье; нужно только сильно поверить словам Учителя и повторять за ним ежедневно как заклинание: «С каждым днем, с каждым часом я чувствую себя все лучше...» Им кажется, что они посвящены в великую тайну. Они отпадают от немногочисленного войска тех, кто страдает, мыслит и борется ради лучшей жизни на этом дрожащем, расшатанном в своих устоях свете.

Не знаю, впрочем, большой ли будет толк от этих субъектов в рядах борцов. Быть может, следует попросту, без дальних разговоров отдать их жрецам старой веры и обветшалых алтарей...

Одно только воспоминание о миссис Бэннингтон приводит меня в мерзопакостнейшее настроение. Она воплощенная противоположность всему тому, чему я посвятил свою жизнь. Она напоминает мне, что большинство людей от природы своей и по врожденным склонностям настроены против меня и против моего «вида» и что так оно останется еще долгие века. Людское тщеславие, людские надежды и стремления противопоставляют себя неумолимой правде. Благодаря этому миссис Бэннингтон делает деньги, а люди, подобные мне, составляют лишь исчезающее малое меньшинство. Когда я стараюсь упорядочить собственные понятия, не говоря уже об упорядочении чужих, я лишь усугубляю свое одиночество... Или усилия эти ведут к чему-либо другому?

Я опять непростительно отклонился от темы.

Меня слишком взволновала эта бесстыжая попытка навязать мне, именно мне, эти нелепицы!

И опять-таки повторяю: вот проклятущая!

5

Я сидел, покуривая, перед гостиницей в Кэстомбеке и ненавидел миссис Бэннингтон, ненавидел люто и без малейшего проблеска юмора; и все спрашивал себя: как это меня угораздило попасть в такое несносное общество? Какой смысл таскаться по Бретани с молчаливой дочкой, мечтающей единственно о том, как бы ей улизнуть от меня при первой возможности? Конечно, я любил водить мой маленький «вуазен» — меня занимал этот отрезанный от прочей вселенной край, дремлющий в солнечном застое, и, прежде чем возвратиться в Париж и потом в Лондон, я хотел продумать все о Долорес и множество других проблем. Да, это правда, но компания, в которую я попал, была донельзя неподходящая...

Мне нелегко теперь припомнить прежние фазы этого острого одиночества, вернее, как бы это определить? Нет, не одиночества, но пустоты и страха перед одиночеством.

Именно оно, это состояние, заставило меня вызвать Летицию и породило обманчивую надежду, что дочь моя проявит чудесное понимание и вообще будет восхитительной. И когда она была уже здесь, при мне, все еще продолжала действовать сила инерции.

Итак, я находился в Кэстомбеке. Передо мной была площадь, озаренная солнцем, на ней — старинное приземистое здание. Вдали мягко вырисовывались поросшие лесом холмы. Мне казалось, что до возвращения Летиции и семейства Бэннингтонов ничего уже не может случиться.

Перед моим мысленным взором прошла вся моя жизнь вплоть до этого мига. Управлял ли ею случай в большей степени, чем жизнью иных людей? Нет, в общем, нет. У меня была собственная жизненная концепция, был план, некая, скажем, религия, которой я следовал в своей умственной и практической деятельности, но, кроме того, я еще ел, пил, встречался с людьми, вступал с ними в те или иные отношения, занимал свое время и растрачивал свою энергию почти без разбора, неосторожно, нерасчетливо. И я безжалостно признал вдруг случайный характер моих личных

контактов с людьми. С тех пор как я увидел свет, разнообразнейшие люди встречались на моем пути, а я почти ничего не делал, чтобы как-то управлять этими событиями. Домашняя жизнь, знакомства, взаимоотношения, вся атмосфера, которой я дышал, были навязаны мне извне, не согласованы с планом моего существования. Я вспоминаю главные вехи своей жизни по пунктам: Алиса — Долорес — и теперь, когда я, как за соломинку, ухватился за Летицию,— клуб — прочие знакомства. В сфере моей работы, в Лондоне и в Дартинге, я выбирал людей, наблюдал их, оценивал, выдвигал их или удалял из моего окружения. Но все остальное мое существование ускользало от моего контроля, меня несло, как пробку, по волнам водопада.

Передо мной встал вопрос — удивительно нелепый у человека сорока пяти лет от роду! — живет ли таким образом большинство людей или же я, грешный, представляю собой исключительный случай легкомыслия среди предусмотрительного, и осмотрительного, и все заранее планирующего человечества?

Как головокружительно изменилась жизнь вокруг меня! И это выразилось хотя бы в этом все возрастающем легкомыслии. В том, что все кругом пренебрегают назиданиями и предостережениями. А ведь в старомодном, трезвенном существовании времен минувших была какая-то атмосфера осторожности и предусмотрительности, по крайней мере, на известном уровне благосостояния. Наши отношения ограничивались кругом тех людей, которые могли представить соответствующие «рекомендации»; молодых предостерегали, чтобы они осторожно заводили знакомства и с оглядкой выбирали друзей. Брачные союзы заключались исключительно в своем кругу. Всегда было известно, от кого чего можно ожидать. Лучшее общество поступало и даже ошибалось согласно определенному, заранее установленному шаблону. Все это, думалось мне, надломилось еще задолго до войны; война ускорила и завершила процесс разложения общества. Прежние классы утратили последние остатки своих принципов, а новые люди, появившиеся на сцене, были слишком разнородны, чтобы создать новые обязательные рецепты и правила повседневного быта.

Итак, я не однажды оказывался чрезмерно строптивым и выходил из рамок, установленных обычаем, но я сомневаюсь, что мое несчастливое супружество с Долорес слишком отклонялось от привычных и общепризнанных современных стандартов. Все больше среди нас мужчин и женщин, бредущих одиноко своим собственным путем. Сто лет назад, говорил я себе, наверно, я посвящал бы много времени и энергии охоте, хотя она неминуемо наводила бы на меня скуку, как наводит скуку и теперь; я никогда не был хорошим наездником, а стрельба по живой мишени кажется мне отвратительной. Кроме того, я торжественно поглощал бы обильные обеды, устраивал бы приемы, ходил бы в оперу и в театр — на те спектакли, на которые ходят «все», украшал бы брильянтами и жемчугами плодовитую, как положено, супругу и мечтал бы о титуле. В полдень я обедал бы в клубе. Мир тогда был скроен по мерке всякого, кого судьба освободила от труда и нищеты, был он покорный и объезженный, как лошади, которых мы нанимаем в парке для прогулки верхом, и к этому-то образцу люди изо всех сил стремились пробиться.

А теперь этот былой церемонный мир если не умер, то сделался призрачным. Самым долговечным его пережитком оказался английский дворецкий. Пристойные английские дома изумленно воззрились на своих новых владельцев. Обширные апартаменты предназначены почти исключительно для представительства, мебель не служит даже своим законным владельцам. Поколение эпохи Эдуарда VII сильно перетрясло свою меблировку и обогатило ее приобретением с Тоттенхем-Корт-роуд, но оно, это поколение, никогда публично не обнажалось, и, стало быть, лишь домашней утвари были известны его капризы. Новое поколение прикрывается только дворецким, неистребимым дворецким. Нынешние новые люди, а их среди нас все больше, ничего из всего этого не впитали. Среди знакомых мне преуспевающих деляг даже богатейшие живут в домах столь же случайных, искусственных и импровизированных, как мое парижское обиталище. А жены этих людей — эти неисповедимые случайные компаньонки!

Урегулированная светская жизнь возможна была только в мире людей, скроенных по шаблону, но даже и

тогда платой за нее были бесчисленные умолчания и бесконечное притворство. Ныне, когда мы все так разнимся друг от друга, когда ничто не запрещает нам разниться, мы рассеиваемся и бредем каждый своим путем, лишь неясно сознавая, чего именно мы хотим от других людей, и, когда случай ставит их на нашем пути, вступаем с ними в какие-то отношения, а потом убеждаемся, что люди эти нам чужды.

Алиса не была, собственно, столь уж чуждой. Она годилась в жены молодому человеку, который сидел бы с ней дома и стерег ее. Великое множество мужчин встречает на своем пути таких Алис, и союз с ними оказывается чаще всего долговечным и сносным.

Я встретил ее случайно и расстался с ней, поскольку так сложились обстоятельства. В большинстве случаев Алисы не настолько плохи, чтобы совместная жизнь с ними непременно вызывала катастрофу. Алиса была ошибкой в пределах нормы. Долорес, как мне кажется, провоцировала более редкий тип супружеского разлада. Но не обманываюсь ли я? Ведь все-таки я терпел эту случайную жену в течение тринадцати лет, до самой ее кончины. Долорес вторглась в мое существование, применила всю свою энергию, чтобы противопоставить мне свою эгоистическую и нетерпимую женственность, пока наконец мы не дошли до отчаянной схватки, в которой одна из сторон должна была потерпеть поражение. Сколько на свете супружеств, раздираемых подобной борьбой! В нашем случае разлад выступил наконец в форме яркой и смертоубийственной, поскольку у нас не было примиряющего начала, каким бывает общий ребенок. Но даже там, где есть дети, между людьми, случайно друг с другом соединившимися, должен проступить принципиальный антагонизм. Он может даже принять еще более резкую форму из-за вовлечения в домашнюю междоусобицу этих бедных созданий в роли союзников одной из сторон. Удивительнейшим парадоксом в нашей жизни является то, что мы постоянно убегаем от одиночества и в то же время непрестанно пытаемся освободиться от связей, которые, собственно, и должны были нас уберечь от одиночества...

Я дошел более или менее до этого пункта в своих рассуждениях, когда посреди площади увидел вдруг иду-

щую ко мне молодую женщину. Она была высокая, светловолосая, загорелая, без шляпы; на ней был светло-коричневый твидовый костюм, как-то особенно ладно скроенный, а руки — без перчаток — она сунула в карманы жакета. Она осматривалась, разглядывала все вокруг, как будто маленькая площадь и гостиница удивляли ее и в то же время забавляли. У нее был широкий лоб, голубые глаза; волосы, свободно отброшенные со лба, красиво лежали, чуть вздернутый подбородок открывал необычайно грациозную шею. Светлые волосы были теплого тона, не льняные, а золотые. Когда она подошла поближе, я заметил, что лицо ее позолотили солнечные поцелуи — веснушки. Я сразу же понял, что никогда в жизни мне не встречалось существо столь обворожительное. У входа в гостиницу она задержалась, о чем-то размышляя. Потом обратила взор на террасу, взглянула на меня, мгновение мерила меня взглядом, а потом, как если бы экзамен завершился в мою пользу, уставилась на меня вопрошающе. Я поднялся.

— Вы кого-нибудь ищете?

— Здесь должен стоять автомобиль,— ответила она. Низкий звучный голос тоже показался мне прелестным.— В машине были шофер, пожилой господин и сиделка...

— Вы, конечно, оставили их в этом месте?

Молодая дама начала разглядывать площадь.

— Безусловно, здесь, разве что у этого городка есть свой двойник.

— Уже два часа здесь никого не было,— пояснил я.— Вернее, никого здесь не было уже час сорок пять минут. Ибо именно столько времени я завтракал и сидел тут с моей сигарой. Видите, остался уж только огарок! — И я вышвырнул огарок с таким видом, как будто готовился ради нее к рыцарским подвигам.— Я не видел тут машины; вон только там на углу площади этакая неподходящая пара...

Незнакомка взглянула на неуклюжие машины и не нашла ту, которую искала. Вдруг за моей спиной раздался женский голос:

— Ох, простите, он снова повел себя прескверно!

На миг я испугался, что это меня кто-то так несправедливо обвиняет. Я оглянулся и увидел в окне второго

этажа типичнейшую английскую сиделку всю в белом. Но, к счастью, она не указывала на меня пальцем. Через мою голову она обращалась к молодой красавице:

— Уперся и хочет в постель!

Красавица не очень возмутилась. Однако сказала:

— Ему следовало бы за это всыпать!

— Попробуй только, дорогая моя,—ответил новый голос, и из-за спины сиделки выглянул веселенький седенький старичок, маленький, свежий, румяный и необычайно почтенный. По-видимому, это был дедушка юной дамы. В нем была масса самодовольства.

— Я улегся по всем правилам в постель,— похвалялся он.— И всегда буду так поступать пополудни, где мы ни будем находиться!

— Где Уилкинс с машиной? — спросила молодая женщина у сиделки.

— Куда-то поехал. Ох, вспомнила, он говорил что-то насчет смазки...

Маленький седенький джентльмен обратился ко мне:

— Человек, который, прожив шестьдесят лет, не спит регулярно после ленча,— глупец,— поучал он меня,— а мне восемьдесят два!

— Вы выглядите моложе своих лет,— проговорил я машинально.

— А если уж спать, то почему бы не соснуть по всем правилам искусства? — продолжал престарелый господин.— Зачем мучаться одетым, отдыхать только наполовину, не развязывая галстука, не распуская ремня? Надо быть безумцем, чтобы в мои годы не заботиться об удобствах.

— Конечно, гораздо удобнее спать раздетым,— признал я его правоту и лихорадочно раздумывал, каким бы образом втянуть в разговор молодую даму.

— Именно,— развивал свою тему дедушка.—Легкую дремоту нельзя и сравнить с обстоятельным, толковым, заправским сном в постели. Небо и земля! Я ежедневно стараюсь найти какую-нибудь комнату и вздремнуть после второго завтрака. Я делаю это ежедневно, и это мне удается, хотя они и пытаются мне помешать!— В голосе старичка зазвучало торжество.

— Вам это по душе, потому что вы знаете, что этим портите кровь мисс Стюарт,— сказала красивая дама.

— Портите кровь, портите кровь,— проворчал дедушка.

В этот миг мисс Стюарт с улыбкой подмигнула мне, и это доказывало, что она вовсе не так уж сильно гневается на строптивого дедушку. У нее было очень приятное лицо, и чувствовалось, что обе эти женщины просто боготворят везучего старикашку.

— Куда же все-таки девался Уилкинс? Ага, подъезжает, не спешит, как всегда. Расплатись по счету, дорогая моя. Почему ты этого не сделала до сих пор? Нам пора в дорогу, в самый раз к обеду мы будем на месте.

С бессильным отчаянием я взглянул на Уилкинса, бесшумно подкатившего в большой серой «Испано-Сюизе». С помощью сиделки он принялся раскладывать в машине подушки, предназначенные для старичка. Красивая внучка тем временем вошла в дом, где весьма деловито расплатилась по счету. Я тщетно ломал себе голову, пытаясь найти какой-нибудь способ задержать их хотя бы на мгновение. Минуты проходили, а я не мог ничего измыслить. Наконец, в последний миг, я робко спросил старичка, далеко ли они нынче едут.

— Двадцать или тридцать километров. Точно не знаю. Уилкинс подсчитает. Во всяком случае, у нас море времени, океан времени.

— Ну, сэр...— сказала мисс Стюарт.

Красивая дама кивнула мне и наградила меня приятной улыбкой. Я до того был поглощен попыткой установить хотя бы самый робкий контакт с ее глазами, что мне не пришло в голову представиться, запомнить номер машины, подметить какой-нибудь признак, который позволил бы мне отыскать впоследствии след чудного видения.

Прежде чем я поостыл, все трое были уже в машине. Машина завернула за угол, и они исчезли с моих глаз.

Меня сразу охватило чувство невозместимой утраты.

Для меня была невыносима мысль, что они уехали... Как будто солнце в небе угасло. Солнце превратилось в намалеванную лампу.

Дедушка сказал, что до обеда у них масса времени. Где же они вознамерились отобедать? Я раскрыл путево-

дитель и начал изучать карту. Я не допускал мысли, что они могут укрыться в чьем-нибудь частном доме. Это было бы невыносимо. Решил, что они поехали в Ла Боль. Я никогда там не бывал, но знал, что это модный и дорогой морской курорт. Единственным шансом увидеть прекрасную даму было ехать в Ла Боль, осесть там и ревностно приняться за поиски.

— Папочка,— услышал я вдруг голос Летиции,— в Сен-Леап было прелестно!

Она шла ко мне по пустой площади, а за ней тащились все как есть Бэннингтоны.

— Не хотите ли сегодня поехать в глубь континента, в Нант?—спросил Бэннингтон-сын.—Не люблю я этих проселков. На них скорость не разовьешь.

— Нет, мы не поедем сегодня в Нант,— заявил я.— По крайней мере не поедем туда прямо. Отправимся в Ла Боль. Быть может, сможем там еще купаться.

— Но ведь утром вы говорили, что отправляетесь на ночь в Нант,— запротестовала миссис Бэннингтон, ничуть не смущенная.

— Конечно, но не сейчас,— любезно объяснил я.

Итак, они отправились в Нант, а я в погоню за золотоволосой молодой женщиной, а ведь я не знал, кто она, не знал даже ее имени! Мы провели двое суток в Ла Боль; трижды купались в море, причем я обнаружил, что Летиция великолепно плавает, и это сильно подняло ее в моих глазах. Кроме того, мы проводили время, прогуливаясь вдоль эспланады, петляя по полю для игры в гольф, патрулируя перед отелем «Эрмитаж»; несколько раз мы побывали в казино, наносили визиты в коктейль-бар и заглядывали под тенты, и поглядывали на шезлонги на пляже. Наконец я обнаружил, что веду себя не как разумный человек, а как пес, потерявший хозяина, а бедняжке Летиции предназначаю не слишком приятную роль другой собачонки, а именно такой, которую хозяин всячески силится потерять по дороге.

Я взял себя в руки. Вознамерился дерзко разорвать эту фантастическую и коварную паутину.

— Хватит с меня этого курорта!— заявил я Летиции решительно, и пополудни мы отправились в Нант, где в отеле нас дожидались Бэннингтоны.

Но и здесь также я ловил себя на безрассудной надежде, что вдруг из-за какого-нибудь поворота выйдет мне навстречу златоволосая стройная дама. Не потому ли я с удовольствием принялся за дневник и отпустил поводья фантазии, воображая себе странствие святого Павла по Бретани? Не потому ли также я был столь суров в суждениях о Летиции?

Но нынешней ночью — а ведь уже минула полночь — я в состоянии описать с начала до конца историю этого безумия, которое на несколько дней обуяло уравновешенного и свободомыслящего издателя.

Нынче пополудни я во второй раз увидел мою златоволосую богиню. И во второй раз она исчезла с глаз моих, как это и положено божеству.

Это было на пути из Плёрмэля в Динар. Я ехал довольно быстро, потому что люблю держаться на приличном расстоянии от Бэннингтонов. Мне всегда кажется, что их машина может испортиться в пути и тогда мне придется прийти на помощь малосимпатичному юноше или по крайней мере изображать эту помощь. Я боюсь к тому же, что если у меня в руках очутился бы французский ключ, или рычаг домкрата, или какой другой тяжелый предмет, дело могло бы дойти до нежелательных инцидентов: а вдруг иронии показалось бы мне недостаточно, и я раскроил бы ему голову.

Летиция должна завтра утром отплыть домой из Сен-Мало и последнюю ночь на французской земле хотела провести в Динаре с нашими новыми друзьями. Я согласился исполнить ее желание, тем более, что по отношению к ней меня мучают угрызения совести, и причиной тому не столько мое реальное поведение, сколько критические мысли, скрытые в моем сердце. Когда мы летели по шоссе, озаренному послеполуденным солнцем, позади нас на дороге возникла огромная серая «Испано-Сюиза» и настойчиво, хотя и любезно, просигналила, что, дескать, хочет нас обогнать. И вот моя богиня пронеслась мимо меня!

Она сидела за рулем. Ехала со скоростью семидесяти пяти или восьмидесяти километров в час, но Уилкинс, восседавший рядом с ней, ничуть не казался встревоженным. Голубые глаза ее были прикованы к дороге,

как и следовало, и даже не взглянули в мою сторону. Она обогнала нас.

И тогда тоска по незнакомке пронзила мое сердце с удвоенной силой. Это противоречило всем законам природы, чтобы мой маленький заезженный «вуазен-14» пустился наперегонки с мощной, прекрасной, ухоженной «Испано-Сюизой». И все-таки я решил сделать все, что в моих силах.

— Ты нынче быстро едешь,— заметила Летиция.

— Дорога отличная,— только и сказал я на это.

Но расстояние между нами и серым автомобилем увеличивалось с каждым мгновением. Еще миг — и «Испано-Сюиза» исчезнет за холмом. Дорога в этих местах несколько раз плавно извивалась. Помню, что, несмотря на безумный темп гонки, я старался на виражах не создавать опасных ситуаций. Потом на сравнительно более прямом отрезке пути я еще раз увидел перед нами серую машину, летящую так уверенно и ровно, что издали казалось, будто она еле движется. Иногда она пропадала в низине и снова показывалась на гребне холма. В некий миг попала на немощеный отрезок пути и взбила за собой облако пыли. Перед нами была теперь развилка. «Испано-Сюиза» повернула вправо и исчезла с наших глаз.

— В Динар, влево! — закричала Летиция.— Я прочитала надпись на указателе.

— Знаю,— сказал я, не снижая скорости,— но мы сделаем сначала небольшой крюк. В противном случае мы были бы на месте на несколько часов раньше, чем Бэннингтоны. А я хочу сверить дату на твоем билете.

Ибо я догадывался, что, покинув дедушку и сиделку во Франции, моя богиня возвратится, конечно, в Англию через Сен-Мало. В Кэстомбеке я не заметил даже, британский или французский номерной знак на «Испано-Сюизе». Но поскольку Уилкинс был явным англичанином, должно быть, серая машина зарегистрирована в Англии. Теперь же я сохранял присутствие духа и успел прочесть две литеры ДЖИ, БИ на номере машины. Мне казалось, что, подумав о Сен-Мало, я верно отгадал цель поездки. Но, не доезжая Динара, дорога стала очень укатанной, пыль уже не клубилась, указывая мне, куда едет «Испано-Сюиза». Не стоило и вылезать, чтобы раз-

глядывать отпечатки шин на шоссе: я не знал, какие шины у серой «Испано-Сюизы». Итак, я выдумал наспех это дело в Сен-Мало: необходимость удостовериться в исправности немного смазанного штампа на билете Летиции. Мы отправились туда и тщетно рыскали по всему городу. Я нигде не нашел ни серого лимузина, ни его водительницы.

Мне пришла в голову другая возможность. Быть может, она поехала в Парамэ, ведь мог же там отдыхать кто-нибудь из ее друзей. Мне казалось маловероятным, чтобы она отправилась в Канкаль. Мы отправились в Парамэ, а по дороге я выспрашивал в гаражах у шоссе о большой «Испано-Сюизе». Никто о ней ничего не знал.

— Ну, а теперь мы наконец поедем в Динар?— спросила Летиция.— Уже вечереет.

— Мне кажется, я ошибся дорогой,— солгал я.

Я повез Летицию в Канкаль, а оттуда, разочарованный и злой, возвратился уже в потемках сюда.

Летиция успела за это время понять, что творится нечто непостижимое, и воздерживалась от дальнейших замечаний.

Я сыграл притворную комедию, только на месте якобы обнаружив, что город Сен-Мало отрезан от Динара широким морским заливом, через который никакими силами не перебраться на автомобиле. Конечно же, я и раньше об этом знал. Я не предложил оставить машину и отправиться с прощальным визитом к Бэннингтонам на катере, курсирующем на манер морского трамвая между обоими городами. Летиции тоже не пришла в голову эта мысль.

Итак, после бесплодной погони за таинственной «Испано-Сюизой» я решил описать эти приключения, а Летиция пошла спать, чтобы завтра, отдохнув, подняться на борт. Я надеюсь, что она видит упоительный сон о завтрашней встрече с «одним человеком»...

Согласно всем человеческим предвидениям, поразительный эпизод с Прелестной Молодой Дамой в Золотой Солнечной Пыльце на этом заканчивается. Заканчивается целой шеренгой восклицательных знаков. И мне ничего другого не остается, как задуматься над моим странным поведением.

6

Я старался описать все это подробно, именно так, как все было на самом деле, спешил запечатлеть это, пока оно еще свежо в памяти. Весь этот эпизод резко контрастирует с тем, что я до сих пор о себе писал в этом дневнике, и поэтому я, думается мне, обязан точнейшим образом изложить его. Мне хочется, чтобы передо мной четко предстала собственная моя непоследовательность.

Что увлекло меня? Какая сила подцепила меня, как рыбу на крючок, почему я внезапно утратил былую ироническую позу и превратился на несколько дней в ребенка, пытающегося поймать солнечный луч? Чего же я, собственно, хотел? На что надеялся?

Нет, я не в силах уснуть и не смогу теперь писать разборчиво. Минуту назад я встал, подбежал к окну, чтобы только взглянуть, не покажется ли большая машина, летящая в лунном сиянии неведомо куда.

Нет, нет, это совершенно абсурдно!

Если я хочу вновь овладеть собой, мне следует продумать это событие, я должен его описать. Почему сознание устраивает мне такие сюрпризы? Снова спрашиваю; чего, собственно, оно от меня хочет?

Я допускаю, что меня охватило сексуальное влечение, но, конечно, чрезвычайно сублимированное. Мне хочется только увидеть это прелестное существо. Хочу, чтобы она была со мной. Я жажду ее присутствия в моей жизни с такой силой, что все прочее в сравнении с этой жаждой отходит на задний план и кажется несущественным. Я не в состоянии интересоваться подробностями. Я тоскую по ней, как человек может тосковать по свету. (А еще совсем недавно я укорял Летицию, что она поддается такой тоске!)

Самое странное в моих переживаниях. это то, что я не упомню, чтобы когда-нибудь, даже в юности и в молодости, я так исключительно вожделел бы к какому-то избранному существу; в жизни я не раз испытывал желание, но никогда оно не проявлялось во мне с такой всевластной и такой непреоборимой силой. Мне кажется совершенно противным опытности и рассудку, чтобы страсть на сорок пятом году жизни была сильнее, чем в

двадцать пять лет. Напротив, кажется естественным, что с возрастом человек становится все более привередливым.

То, что я испытал, не было собственно влечением к женщине. Мое чувство было не физическим вожделением, но тоской по какому-то образу прелести ради самой прелести.

Все ли сказал я, что можно об этом сказать? Думаю, что нет. Если я соберусь с силами и начну мыслить трезво, то мне придется заметить во всем приключении еще нечто большее. Эта девушка была для меня не просто существом особенно прелестным, она еще предстала передо мной в такую минуту, когда все соединилось воедино, чтобы показать мне ее в ослепительнейшем сиянии, превратить ее в символ, в мир, которым я мог бы обладать, но который утратил безвозвратно.

Это и было причиной того, что мимолетное впечатление так запало мне в душу и так потрясло меня. Ибо ведь это было всего только мимолетное впечатление. Она явилась передо мной улыбающаяся, позлащенная солнцем дня в то самое мгновение, когда я поддался жалости к самому себе, обреченному на глубочайшее и неизбежное одиночество. Она пришла именно тогда, когда я болезненно осознал, как скучно и бессмысленно я провожу время. Именно тогда, когда я печалился, что так мало обрел счастья в случайных встречах с людьми, когда оплакивал годы, растраченные с Долорес. Нет, она не могла бы прийти в минуту более подходящую!

Тут действовали не только обычные чары, какие испокон веков заставляют мужчину гнаться за избранной им женщиной. Моя погоня за ней была в то же время бегством от всего того, что я есть, от того, что я пережил, от всех моих житейских разочарований, была бегством в мир грез. Можно, пожалуй, сказать, что самая личность прекрасной дамы не играла при этом ни малейшей роли...

Ибо — и теперь я наконец прихожу к какому-то объяснению — истина в том, что в эти несколько промелькнувших дней я гнался за призраком, а не за живым существом, за богиней, а не за женщиной из плоти и крови. Божество пожелало принять образ молодой дамы, но не она, не эта дама, а сама богиня похити-

ла мое сердце! Афродита собственной персоной пленила меня, дабы напомнить мне, что даже под солнцем буден есть в этой жизни нечто более сокровенное, чем обыденные, каждодневные события. Я имел видение, как имели его в былом Святые Господни. Только меня обольстило иное божество.

Я уверен, что уже никогда в жизни не увижу мою прелестную даму. И теперь я знаю уже, что мне вовсе не нужно еще когда-нибудь встретить ее. Я вновь обрел рассудок и свидетельствую, что не стремлюсь ее больше видеть.

Ибо что случилось бы, если бы мне удалось завести знакомство с этими людьми? На протяжении нескольких часов богиня исчезла бы, но уже безвозвратно, а я, конечно, влюбленный по уши, увидел бы перед собой только симпатичное человеческое существо, по-человечески ограниченное, моложе меня на много лет, энергичное и преисполненное собственных взглядов на жизнь, быть может, даже совершенно отличных от моих. Взглянем правде в глаза. Так бы, конечно, выглядело это знакомство. У нее широкий открытый лоб, ее искренние глаза свидетельствуют о независимости мысли и воли. Хорошо ли она воспитана? Сколько ошибок она впитала в процессе воспитания? Быть может, я завоевал бы ее, ибо на любовь нередко отвечают взаимностью, но прежде чем мы уразумели бы, что с нами творится, быть может, уже возник бы между нами нежный, но и мучительный, мучительный и терзающий конфликт двух индивидуальностей, жертвами которого обречены стать все, принадлежащие к новому миру?!

Мы стали бы супругами, и, несомненно, у нас были бы дети. Ибо именно ради этой цели Природа, Матерь Всех Вещей, послала свою дочь Афродиту, чтобы она меня обольстила и очаровала. Ну, что ж, моя красивая жена рожала бы и кормила бы детей, а я, старше ее на двадцать лет, трудился бы по-прежнему, утверждался бы в своих взглядах и честолюбивых устремлениях. Она, обремененная долгом материнства, не поспевала бы за мной. Я всегда любил бы ее, уверен в этом. Непосредственные цели Матери-Природы были бы достигнуты полностью. Нас оплели бы нити десятков тысяч нежных чувств. Но все это не было бы тем, что мне обеща-

ло воображение, тем, что сердце мое хотело встретить на площади в Кэстомбеке. Глядя на нее, прирученную и сидящую взаперти у меня дома, я чувствовал бы, что Природа в союзе со мной обманула меня, что нас обольстили, показывая нашим очам неземное сияние, исчезнувшее навсегда. И впрямь, одной из горчайших трагедий современного усложненного человека, может стать воспоминание о первом мгновении любви к женщине, которую потом тоже любишь, но уже иначе.

Это к лучшему, что я не увижу ее даже мимолетно.

Но, несмотря на это, я тоскую по ней, сердце бунтует против разума. Куда я ни пойду, в какую сторону ни обращусь, я знаю, что подсознательно и неосознанно буду искать красавицу, которая была не столько собой, сколько олицетворением вечного и недостижимого божества.

Уже третий час ночи. Я высплюсь, потом нужно рано утром проводить Летицию по улицам Сен-Мало, среди серых стен, на пароход, который доставит ее в Саутгемптон, и поцеловать ее на прощание. Как я ей и обещал, она поедет на три дня раньше, чем предполагала, дабы встретиться с «одним человеком». И тогда — в Париж.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОВСЕДНЕВНОСТИ

1

Парамэ, 1 октября 1934 г.

Парамэ. Разгар купального сезона. Номер с видом на пляж может показаться не слишком подходящей обителью для человека, который не в силах совладать с самим собой и стремится продумать проблемы своего существования. Но для меня место не имеет значения... Разве что стоило бы вернуться в Портюмэр, поболтать с Фоксфильдом. Но не обо всем, что меня тревожит, по-

говоришь с Фоксфильдом. Вчера я проводил Летицию на пароход и намеревался в тот же вечер отправиться в Париж. Я и в самом деле выехал в этом направлении, но по дороге угодил, если так можно выразиться, в этот отель.

Меня терзали противоречивые мысли, и я был не в настроении ехать дальше. Я подумал, что одинаково хорошо могу задержаться здесь, как и в любом другом месте, чтобы на досуге привести в порядок свои дела.

Я обрел тут приятный фон для своих размышлений. Мне по душе мирный рокот моря. Оно сейчас в своем лазурнейшем настроении. Белые гривы вырисовываются почти параллельно линии берега. Мне по душе отдаленный гомон и полупрозрачные розовые силуэты детей и несколько более четкие силуэты их нянюшек.

Мне по душе полосатые тенты и людские тени на влажном песке.

Редко случается видеть картину равно невинную...

2

Я хочу эту свою погоню за красавицей-автомобилисткой и эту беспокоящую меня тоску по какому-то близкому мне, моему собственному существу рассмотреть в перспективе всей своей жизни и расположить их в ее рамках.

Нет, этот пароксизм безрассудного чувства, конечно же, не будет в моей жизни последним. Итак, я, начинающий вдовец, таскаюсь по Бретани, иногда думая о Долорес, иногда забывая о ней, помня только, что я свободен от нее, и неразумно гоняясь за красавицей в два раза моложе меня.

Одурь уже проходит — столь же непонятным образом, как и нашла на меня,— она испаряется, но теперь я уже знаю, насколько я раним.

Теперь я понимаю, что в течение тринадцати лет Долорес играла в моей жизни роль — мне трудно будет подыскать подходящее сравнение, так пусть уж будет: ограды, шумной колючей изгороди, которая прегражда-

ла путь моему воображению, мешая ему пускаться в безрассудные эскапады. Долорес часто играла эту свою роль пренеприятным образом, но, принимая во внимание всю ситуацию в целом, я полагаю, что был неблагодарен, недооценивая то, что именно ее страстная ревность, ее агрессивное отношение принуждали меня к труду, делали для меня невозможным мало-мальски серьезное отклонение от избранного пути.

Последнее приключение прояснило мне суть перемен, которые произошли в моей жизни. Кончина Долорес произвела во мне химические изменения, а ведь воображением заведуют железы внутренней секреции.

Ураган, подобный тому, который я только что пережил, может снова сбить меня с ног. Так как же я собираюсь справиться с грядущей грозой, и еще с одной, и еще, и со всеми, которые еще могут меня настичь? До этого мига я позволял волнам жизни уносить меня. Теперь я это осознал. Как мне теперь с собой быть, если снова появится передо мной существо соблазнительной прелести и во мне проснутся непреоборимые желания? Пройдет десятилетие — другое, и во мне замрут этого рода порывы. Так по крайней мере говорят люди... Однако, прежде чем это случится, эти порывы будут повторяться. Это у меня в натуре, в крови и в костях. Буду ли я сопротивляться этим порывам, буду ли я их сдерживать, подавлять, обходить или же буду им покоряться? И насколько это будет зависеть от моей воли? А ведь где-то рядом с этим вожделением, которое таится во мне и каждый миг может схватить меня за горло, существует еще глубже укрытая, неуловимая, постоянная и совершенно неутолимая тоска по сближению с существом, которое было бы всецело, а значит, и сексуально, моим.

Оба этих внутренних течения можно истолковать как голос Матери-Природы, которая призывает меня к служению ради выполнения важнейших своих задач, ради супружества и отцовства. Но необыкновенное развитие человеческого ума, обогатившего мысли посредством слов и символов, о чем я и толковал милому пони в Торкэстоле, позволяет человеку избегать ловушек и соблазнов Матери-Природы. Мы все определеннее отграничиваем вожделение и нужды от целей, которые их оправ-

дывают. Мы жаждем красоты ради нее самой, а сближения с другим человеком — ради нас самих. Нас не ослепляет приманка у входа в ловушку. Мы хватаем лакомый кусочек, но не даем себя втянуть, мы не хотим быть обманутыми, не отдаем уже наших сердец в жертву неосознанным биологическим целям.

Мать-Природа не наградила взрослого мужчину и взрослую женщину ни природным постоянным инстинктом заботы о потомстве, ни постоянной привязанностью к семейному очагу. Она не сумела также уберечь наши помыслы от устремления вдаль, к более широким интересам, к поразительным и сложным созданиям воображения.

Традиция и старинные обычаи склоняли людей в прошлом подчиняться домашнему существованию. Но до чего легко и бездумно женщины и мужчины уходят от такой жизни! И чем дальше человек отошел от младенческих лет, тем труднее заставить его вернуться к этим обязанностям. Перед Матерью-Природой застыли испуганные статистики и с укором демонстрируют ей резко уменьшающееся число рождений, свидетельство бессилия ее соблазнов.

Я сам исследую себя и ясно вижу, что если бы когда-нибудь и завел жену и детей, то это произошло бы не под влиянием моих непосредственных естественных стремлений, а тут действовали бы мотивы более сложные и опосредствованные, как, скажем, чувство социального долга, расовая гордость или отвращение к биологическому самоубийству. Вот какое было бы условие: я хочу вступить в брак, но не хочу, чтобы меня сватал инстинкт. Если пожелаю иметь детей, найду женщину, которая стремится к тому же самому. Я мечтаю о друге и воплощении женственности, но не вижу ее в образе жены, замороченной стряпней и пеленками. Я не тоскую по отцовству, но, быть может, это — только мимолетное состояние, вызванное разочарованием в Летиции. Полагаю, однако, что в этом таится нечто большее. Я убежден, что принадлежу к новой разновидности человеческих существ, к разновидности, которая созревает не на двадцать первом году жизни, а лишь после сорока, когда уже прошел срок вить гнездо. В то же время я отдаю себе отчет, что жизнь меня чуточку одурачила.

Война, развод с Алисой и тринадцать лет бесплодного супружества с Долорес были причиной тому, что я безвозвратно утратил некую естественную фазу жизни.

Мне кажется, что в жизни человека в течение восьми или девяти лет — где-то начиная с двадцать второго года у девушки и двадцать восьмого года у мужчины — продолжается период «первичной зрелости» духа, период, когда человек наиболее расположен выбирать себе партнера и плодить потомков. Старик Мередит, британский романист, отдавал себе в этом отчет, когда примерно тридцать лет назад предлагал ввести супружества на десятилетний срок. Мы слишком часто легкомысленно полагаем, будто разница между сорока пятью и двадцатью пятью лишь в числе прожитых лет.

В сорок пять лет большинство людей уже не находится в состоянии «первичной зрелости», но вступает во вторичную зрелость, на иной уровень, хотя не каждый знает, какое существование должен бы вести в эти годы.

Наивная восприимчивость к чувственным импульсам и повиновение традиционным взглядам исчезают в этом возрасте, уступая место более усложненным критическим суждениям и требованиям.

Инстинктивное существование, которым прежде всецело заполнялась жизнь, теперь становится для многих из нас лишь известной фазой. Прежде чем я дожил до двадцати лет, для меня существовала тысяча возможных подруг жизни; после двадцати можно было соответствующих кандидаток считать уже только сотнями; после тридцати нетрудно было бы найти жену; но по мере созревания мы постепенно утрачиваем гибкость, наша личность установилась в точной, определенной форме. Современный полусозревший человек нелегко находит себе пару. После достижения полной зрелости, к которой стремится человечество, человек уже вообще не захочет жить в стаде.

Так мне представляются эти проблемы. Полагаю, что в течение двух тысяч лет человек подвергался чрезвычайно серьезным умственным и биологическим, если не

физическим, изменениям и что в настоящее время изменения эти происходят в необычайно ускоренном темпе. Этот Новый Адам, «Человек безудержный», который уже в любой день может явиться на свет, будет жить дольше и разум будет иметь более определенный и устойчивый, чем его чувственные, отдающие должное мифам предки. Его мировоззрение будет более дальновидным, более широким и менее эгоцентричным. Люди моего типа в лучшем случае достигают этого только наполовину; как личности, весьма живо осознающие в себе свою собственную индивидуальность (созревшую в возрасте двадцати лет и около сорока утрачивающую значение), мы только наполовину вызволяемся от жизни в относительно тесных пределах, чтобы приобщиться к жизни в более широких пределах пространства и времени; к жизни менее личностной, более тесно связанной воедино взаимными межчеловеческими нитями.

Возможно, что в этой более полной жизни воспроизведение потомства и воспитание его будет только фазой, предваряющей зрелость, и люди вполне зрелые не станут связывать себя нерасторжимыми узами брака.

Наши будущие общественные учреждения могут прекрасно обеспечить сохранение вида, не сосредоточивая этой деятельности у колыбели и семейного очага. Но Мать-Природа, которая не выносит, чтобы дело прогресса вырывали из ее рук, конечно же, будет бунтовать.

Она уже теперь протестует. Конфликт импульсов, борющихся во мне,— это, собственно, ее отчаянное сопротивление новому укладу, вызволяющему человеческую жизнь из-под власти методов Матери-Природы, медлительных, слепых и жестоких. Природа старается вечно ставить человеку препятствия на пути к новому строю. Придется обороняться от нее, обманывать ее и усмирять, обуздывать, как удастся.

А теперь я вынужден ускорить окончательный вывод, ибо Природа, вмешиваясь, как всегда, в дела человеческие, торопит меня, нашептывая, что давно уже пора обедать. Мне следует теперь закалить свой разум,

чтобы отречься как от искушающей мысли о романтическом любовном приключении, так и от мечтаний о единственной близкой подруге, образ которой с давнишних времен я пестовал в сокровеннейших глубинах своего «я».

Не для меня уже эти дела, не для меня. Это была последняя хитрость Природы, последняя ее игра со мной.

3

Я привык думать, что моя цель — стремиться к спасению цивилизации, ну, скажем, с помощью цикла изданий, какой-нибудь энциклопедии или еще чего-нибудь в том же роде, посредством, так сказать, возрождения путем перевоспитания! Все это действительно необходимо, и это тоже для меня и мне подобных путь к цели, но это еще не все. «С меня довольно и шага вперед»,— гласит гимн. Однако это не принесет спасения цивилизации, конечно, нет! Это шаги, которые следует предпринять, но они не ведут к спасению цивилизации.

(Я запамятовал, чья это фраза; звучит как-то знакомо; мне кажется, автор ее — кто-то из наших писателей, явно преисполненный наилучших намерений, однако эта фраза неточная, неудачно сформулированная. Она наводит на мысль о людях, выносящих из пылающей усадьбы шедевры старых мастеров.)

Нашу цивилизацию не спасти. Она не заслуживает спасения. Были в ней некоторые прелестные вещицы, но этот шаблон уже устарел. Она иссякает, лопается и разлагается, удушенная старческой опухолью собственных своих традиций.

Мы теперь являемся свидетелями заката самого представления о стабильности. Самое время признать, что мы, современные люди, либералы, ничего не спасаем; мы только подготавливаем нечто совершенно новое. Убегать из-под рушащихся развалин — совсем не то, что подпирать их.

В течение нескольких тысячелетий человек в поте лица пытался устроить себе спокойную жизнь под

сенью собственного вертограда и собственной смоковницы. Но тщетно! Если он хочет обрести долговечность, то ему следует отказаться от мысли о безопасном, оседлом образе жизни; он должен снова стать кочевником, вернуться к новому, впрочем, более усовершенствованному кочевому образу жизни — кочевому на высшем уровне,— ибо вместо того чтобы странствовать с караваном, человек должен теперь идти к своим целям сам, идти куда сам пожелает, имея спутниками всех людей на земле и странствуя по всей неизведанной планете.

Мы, все мы, самые творческие, передовые и дальновидные среди нас, усматриваем только в грядущем эту новую послечеловеческую фазу жизни, следующий акт в драме непрестанных изменений.

Мы готовимся к этому будущему. Оно формирует нашу жизнь. Прежде чем настанет пора нового кочевничества, мы сойдем с дороги, исчезнет все наше поколение; так, впрочем, будет лучше для нас самих, ибо новый номад, новый неутомимый кочевник непременно унизил бы нас, сам того не желая, ибо он пробуждал бы в наших душах горчайшую ненависть и гнев. Мы не могли бы глядеть, как широко он шагает, ничем не связанный, не стреноженный, а мы-то все ковыляем и неуклюже подпрыгиваем! Я сказал бы, что, подобно амфибиям, мы являемся тварями-посредниками, связующим звеном между старой и новой жизнью. Головы наши уже упираются в синеву прогресса, сердца вязнут в трясине ветхих традиций.

Нам следует примириться с нашим несовершенством. Мы терзаемся, разрываемые тремя силами: нашим разумом, нашим эгоцентризмом и нашим сердцем. Наши умственные способности, снабженные новейшими, усовершенствованными орудиями, толкают нас перед лицом гибели к организованности и творчеству; наши извечные безрассудные инстинкты не требуют творческого деяния и сотрудничества, они требуют власти, причем скорее власти ради разрушения, чем ради созидания, а наши бедные, робко взывающие к красоте сердца жаждут прелести, жаждут игры, жаждут покоя и веселья.

Мне хочется взирать на жизнь, и улыбаться ей, и даже немного любить ее.

Ясно, что наилучшей формулой рабочего компромисса с жизнью будет: как можно больше слушаться разума и достойно исполнять свою роль; облагораживать или подавлять глубоко в нас укоренившиеся злобные побуждения; а печали сердца успокаивать в такой степени и таким образом, каким нам это позволит совесть...

4

Завтра я еду в Париж.

Что меня там ждет? Полное и к тому же умышленное одиночество. И «работа», которую я сделал оправдательным рефреном своего существования.

В чем же все-таки суть моей работы? Попытаюсь ответить на этот вопрос.

Мне сейчас сорок шесть, и я отлично понимаю, что доселе никогда не трудился воистину терпеливо и последовательно. В моей жизни переплетались противоположные фазы: от великолепных порывов я переходил к полнейшей праздности; я понимаю уже, что мне никогда не удастся избежать таких колебаний, ведь я живу в периоде переходном, раздираемый двумя противоположными устремлениями. Я воображал, что нашел постоянную цель своей издательской и воспитательной деятельности, что помогаю пробудить и усовершенствовать Человеческий Разум. Ну что ж, это отчасти правда, но отчасти, увы, всего лишь утешительная иллюзия. Я говорил себе, что помогаю созидать Ковчег Человеческой Мысли, но ведь построение такого ковчега — предприятие исполинское, и сомневаюсь, что в нем я играю хотя бы роль скромного клепальщика, медлительно передвигающегося вдоль титанического корпуса.

Человеческий Разум? Построение Ковчега Человеческой Мысли? Эти фразы звучат нелепо и претенциозно; но как же иначе выразить то, что, как мне думается, необходимо человечеству, дабы оно избегло разложения и спаслось от гибели?

По мере того, как дозревает моя жизнь, проблема эта кажется мне все более реальной и жгучей; я пола-

гаю, что лучше уж начертать патетические слова, чем писать об этом в тоне небрежном и ироническом. Ежели кто-либо не настолько поэт, чтобы выразить величие, которое чувствует, то это еще не значит, что самое дело не принадлежит к числу великих дел. Говоря стыдливо и робко о своих убеждениях, я уподобился бы мистеру Тутсу [1], который все твердил: «Это неважно, это не имеет значения!» Напротив, это очень важно. То, что я называю своей работой и своим предприятием, составляет основу моей жизни, хотя, быть может, я и не смогу достаточно убедительно отстаивать свои тезисы и хотя действия мои до сих пор были весьма заурядны.

Поразмыслив, я замечаю, что «ковчег» — это не слишком удачная метафора. Мы говорим «ковчег», и воображению является нечто массивное, негибкое и окончательно завершенное, как символ веры или конституция.

«Войдите в ковчег, и все будет хорошо!» Нет, не это я хотел выразить. Это вновь вызывает к жизни фразу о «спасении», ту самую, от которой я не оставил камня на камне. Позвольте мне попытаться поточнее изложить, что именно я подразумеваю.

Я знаю, что мой разум отуманен и хаотичен. Он не всеобъемлющ, и, обремененный второстепенными проблемами, он не в силах создать ясное мировоззрение. Создает картину загрязненную, как кристалл, помутившийся от массы чуждых и ненужных примесей. Несмотря на это, он в значительной степени подмечает существующие возможности. Мне ясна форма кристалла, образ мира. Неясность мысли — это всеобщий удел: можно проспрягать во всех временах и лицах следующую фразу: «У меня хаос в голове, у тебя хаос в голове, у него хаос в голове...» Несмотря на это, я верю, что картина мира способна постепенно все яснее вырисовываться перед нашими глазами, если только как можно большее число людей будет усиленно стараться мыслить, стараться поточнее выражать свои мысли и приводить к общему знаменателю результаты этого труда. Уже сегодня это прояснение происходит, но я полагаю, что процесс этот мог бы быть ускорен. Философы, педаго-

[1] Персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын».

ги, редакторы и издатели — ибо всех этих служителей идеи я ставлю в один ряд — должны стать вожаками человеческих масс. Таким должен быть каждый издатель, на это претендует каждый здравомыслящий философ.

Когда какое-либо непрозрачное и мутное вещество кристаллизуется, устанавливается и формируется, отбрасывая чуждые примеси, суть этого процесса заключается в том, что его частицы укладываются на свойственных им местах. Не прибавляется ничего нового, ничего такого, чего бы первоначально уже не было, но происходит более целесообразное взаимораспределение всех этих элементов.

Я верю, что справедливая всеобщая идея новой жизни человечества уже существует, пока еще незримая в сутолоке нашего времени, и что когда она вынырнет на свет божий, власть ее над людьми будет тем больше, чем яснее будет сформулирована эта идея. Вопреки моему опыту с Долорес я не думаю, что средний человек неисцелимо испорчен. Человек часто бывает злым, часто, но не всегда, и в большинстве случаев способен к чему-то совершенно иному. Когда нам станет ясно, Что Надлежит Делать, мы сделаем это. Конечно, ворча, надув губы, сопротивляясь, со многими явными и скрытыми противоречиями, но сделаем. Постепенно мы все лучше научимся вылавливать и уничтожать потенциальных диктаторов и тому подобных вредителей. Все меньше будет им благоприятствовать общая умственная атмосфера. Здравый смысл приказывает уничтожить их. И здравый смысл их уничтожит. Лучше устроить диктаторам кровавую баню, чем позволить, чтобы хоть один ребенок погиб от бомбы. Человеческая жизнь — это пока еще настоящий кавардак. Жизнь наша постоянно подвергается угрозам потому только, что в людских умах царит удивительная сумятица. Следовательно, наилучшее, что можно сделать,— это упорядочить понятия во всем мире. И в себе самом. Это моя ведущая мысль, мое кредо, которыми я в меру своих скромных сил руководствуюсь в своей деятельности. Конечно, я делаю это чрезвычайно несовершенно, поскольку, как я уже говорил, я не вполне «приспособлен» и представляю собой переходную форму.

5

Изменяется характер человеческой интимности. Я должен поговорить об этом с Фоксфильдом, как только представится случай. Перемены эти можно наблюдать из поколения в поколение. В следующем поколении, безусловно, будет больше индивидуумов, лучше приспособленных, и они пожнут плоды наших усилий. Я только начинаю осознавать это.

Способ, каким живые существа вступают между собой в контакт, может подвергаться изменениям. Постараюсь объяснить, что я под этим понимаю. Как знакомится собака со своими сородичами? Посредством слуха, не слишком четкого ахроматического зрения, чрезвычайно чувствительного обоняния и в кратковременных бурных половых актах. Чем же бóльшим может быть контакт между ними? Наши человеческие контакты гораздо более полные, а с течением времени становятся все более утонченными и более щедрыми. Прошли века с тех пор, как человек членораздельно заговорил. С тех пор, как он начал одеваться и познал чувство любви. Он становился существом общественным, главным образом благодаря словам, членораздельной речи. Влюбленные говорят друг с другом и сплетают тысячи грез. Слова стали орудием, обогащающим и дифференцирующим наши мысли. В разговоре мы как бы взаимно обогащаем наши умы. А зрение сделалось более совершенным. Мы видим с большой точностью и умеем замечать красоту. Мы сочетаем наблюдения. Медленно отходим от примитивных контактов, чтобы достичь новых, более полных и более приятных. Отходим иногда с грустью, ибо эти примитивные контакты терзают и мучат нас необыкновенными обещаниями; но так надо. Мы любим мысль, выраженную в музыке, находим красоту в картинах, откликаемся на мудрость или мелодию поэзии. Мы любим женщину, которую любил Леонардо; и писатели, которые за целые столетия до нас умерли физической смертью, живут для нас и ныне и все еще нас волнуют. Наше сосуществование с другими людьми все больше переступает границу нынешнего дня и физического присутствия.

Когда в Ренне в тот памятный день я ощутил себя

счастливым, то частицей моего счастья была иллюзия общения с людьми, которые когда-то проектировали и возводили этот старинный город. Признательность им неярким, но заметным образом умножила сияние солнечного дня. А когда я задумываю и издаю книги, когда пишу эти строки, я делаю это для близких мне людей, которых я никогда не видел и не увижу. Кто-то, кого, полагаю, я никогда в жизни не встречу, будет читать эти книги; если бы я его встретил, мы, быть может, повздорили бы, может быть, разочаровались бы друг в друге; быть может, в повседневном общении открыли бы в себе какие-то недостатки.

Люди в своих взаимоотношениях уже вырываются из узилища нынешнего дня, уже распахивают двери в просторный мир, но пока еще возвращаются в свои кельи, чтобы есть в них и спать. Мы и дальше будем любить прекрасные пейзажи и приятные звуки, вожделеть к красивым женщинам, но это будут чувства легкие, мимолетные, не столь жестокие и ненасытные, как теперь. И наши незримые щупальца мы протянем, конечно, дальше в пространство и время, в поисках новых, более глубоких и совершенно иных, чем в наши дни, форм взаимного общения. Человек, сидящий в тихой комнате с книгой или с пером в руках, только кажется одиноким и обособленным. В действительности он общается с миллионами близких ему существ. У него тысячи друзей, и с каждым из них его связывают нити куда более крепкие и более тонкие, чем узы, которые существуют, например, между крестьянином и его женой и их соседями...

Итак, я не одинок и не буду одиноким. Если я порой испытываю одиночество, то причина лишь в том, что я принадлежу к переходному типу. И это потому, что проницательный мозг всего человечества, частицей которого я являюсь, еще не нагромоздил вокруг меня достаточной массы клеток.

6

Фоксфильд сказал мне однажды, что сознательная жизнь является «тончайшей, деликатнейшей из пленок, растянутых между атомами и звездами». Наши лич-

ности по природе вещей и по необходимости поверхностны и случайны. Даже святые заблуждаются и забывают. Эти поверхностность и случайность представляются неизбежными. Нам кажется, что в жизни индивидуума нет логического смысла так же, как его, пожалуй, нет и в жизни всей вселенной. Быть может, это попросту такое же иллюзорное упрощение, как и понятие нашего «я». И, однако, существует какая-то реальность вне нас. Существует и идет вперед вопреки нашим взглядам и нашим ошибочным концепциям.

Эта высшая реальность скрыта от нас завесами и, может быть, по природе своей слишком разнородна и сложна, чтобы быть нам понятной, но тем не менее она существует и развивается.

Возможно, она переходит границы нашего понимания, но существует. И не только каким-то неуловимым образом увлекает нас с собой вперед, но мы являемся ее частицей. Наше существование не только случайность. По неведомым нам причинам мы обязаны существовать.

Я признаю, что это смахивает на мистицизм чистой воды. Однако я никогда не имел ничего против мистицизма, только бы он был именно чистой воды. Я протестую лишь, когда шарлатаны силятся применить его для волшебных фокусов и продают его с этикеткой в качестве панацеи.

В этой тайне жизни скрывается до поры не одна только гибель. Мы совершаем ошибки, но способны их исправлять. В каком-то смысле жизнь каждого человека прожита успешно. В той же мере, что и бессмысленно. Подвести ей итог — значит просто решить, чего было больше, а это зависит от того, насколько упорно борется человек с судьбой. Мы не живем в состоянии непрестанного райского блаженства, но на поверхности жизни есть светлые проблески и много занятного, а в недрах ее есть правда и красота.

Это не только слова, ибо простые слова можно уточнить с помощью других слов. Нет, красота и истина являются главнейшими, основополагающими вещами.

И я думаю, я думаю также, что основополагающим во мне является совесть. Она отзывается, правда, из непроглядной тьмы, но это — нечто реальное.

Я забрался теперь в глубь жизненной загадки и, должно быть, никогда уже не сумею пойти дальше. Если бы я даже и остался в Парамэ на целый год и писал бы дальше, я не смог бы уже ничего существенного прибавить к тому, что написал. Я пел бы только все время одну и ту же песню с вариациями, повторяя все тот же мотив. И разве вся эта книга не есть всего лишь серия вариаций, вышитая на канве событий? Теперь я пришел к финалу. Я знаю уже, где я. Стоический агностицизм — это для здорового и зрелого человека единственная возможная религия. Принимай и терпи все, что случится с тобой и помимо тебя. Делай то, что следует делать, то, что правильно в твоих собственных глазах, ибо нет другого путевого указателя. Иди вперед, иди к своему пределу. Иди без абсолютной веры и без абсолютного неверия. Не переступай границ ни в надежде, ни в отчаянии...

7

Алансон, 2 октября 1934 г.

Прекрасный день, и я провел его очень приятно. До полудня я был в Парамэ. Перечитывал этот дневник, думал, писал, впрочем, больше думал, чем писал. Попробовал изложить нечто вроде Символа Веры, и это было усилие торжественное и чистосердечное. Потом меня вдруг охватило беспокойство, и, видя, что ничего уже больше не напишу, я отправился в Париж.

Во всяком случае, я уговаривал себя, что намерен отправиться в Париж. Ибо я не поехал прямо в Париж: выбрал окольную дорогу и покатил в Ренн. Я не усомнился, куда свернуть, ни на одном перекрестке. Думаю, что воспоминание о первом вечере там, в Ренне, два месяца назад, склонило меня избрать такой маршрут. Скоро я уже был на месте. Этот город задним числом приобрел в моих глазах индивидуальность и теперь призывал меня.

Оказалось, что Ренн все еще остается Ренном. Он вышел мне навстречу и сразу же принял меня как родного. Дни теперь короче, город в сумерках был освещен,

как бы для того, чтобы приветствовать меня. Как раз закрывались магазины. Вечер был погожий, теплый, на улицах сновали юные парочки. В сумраке роились тени. Так же, как и в первый раз, Ренн умел утишить все желания, утолить жажду, мирно, действенно и любезно. Я снова пообедал в кафе перед мэрией, тот самый официант зажег ту самую лампу с красным абажуром, и снова играл оркестр в кафе над Виленой, теперь отчасти застекленном. По счастливой случайности бронзовая Бретань, которую я вспоминал с таким приятным чувством, низошла на землю и ожила к моей радости. На этот раз я, однако, не изображал уже надменного равнодушия к ней. Оказалось, что она столь же проста, мила и дружелюбна, как и ее лицо. Она была в полном смысле этого слова обращенной к людям, жизнь забавляла ее, и она принимала ее такой, как она есть. Быть может, недурно будет возвращаться время от времени в Ренн, в объятия невинной чувственности семнадцатого века. Быть может, было бы лучше, если бы мужчины и женщины не встречались никогда иначе, как только случайно; если бы они не руководствовались второстепенными соображениями, гоняясь друг за другом и взаимно друг друга связывая.

Как немного мы знали бы тогда друг о друге, как вольно могли бы танцевать, как весело и легко было бы нам любить друг друга! Я превосходно выспался в Ренне. Спал до позднего утра. Мне было жаль покидать этот город, но я опасался, что слишком долгое пребывание может испортить впечатление о нем.

Я пишу последние строки моих заметок в Алансоне, в отеле «Параклет», по пути в Париж, где я должен привести в порядок свои финансовые дела. Прибыл сюда под вечер, съел простой, но вкусный обед. Кларет был отличный. Телячью голову я не заказывал.

Планы мои уже вполне определились. Я ликвидирую квартиру, в которой жил доселе, вместе со всей ее элегантностью и восточным великолепием. Выгоню Швейцеров и возьму обратно Беньелей; таким образом, у меня будут шофер и кухарка и холостая квартира, обставленная по моему собственному вкусу. По-

том поеду в Лондон, чтобы в течение некоторого времени трудиться воистину серьезно и придать моему издательству более смелое и решительное направление.

Должно быть, я, согласно общепринятым понятиям, существо морально толстокожее, ибо вопреки кончине Долорес, вопреки одиночеству, вопреки безрассудным любовным порывам и вопреки все более ясному ощущению собственной заурядности я чувствую себя теперь очень довольным Бретанью, самим собой и всем светом. «Mais, M'sieu. Votre deuil?»[1].

Это чувство довольства, спокойствия и уверенности в избранной цели. Эга дорога по-прежнему обладает для меня волшебными чарами. Я ехал по ней два месяца назад, исполненный надежды и непонятного восторга, и нынче вижу, что меня тут забыли. Я совершил в обратном направлении тот же самый путь, и он оказался столь же приятным, еще более позлащенным солнцем, воистину путем покоя и благодати.

С мгновения, когда я впервые поехал этой дорогой, жизнь моя, обстоятельства, образ мыслей — все подверглось изменению. Как я теперь оцениваю эти изменения? Мне очень помогло то, что я заподозрил и продолжаю подозревать себя в преступлении. Я освободился не только от Долорес, от ее пут и силков, но также и от педантичной внутренней скрупулезности, которая была сродни робости и нерешительности, а заодно и от тех зачатков отцовского чувства, которое могло стать новой сентиментальной уздой. Была своя правда, своеобразная, тонкая проницательность во враждебном отношении Долорес к моим родительским чувствам. Как бы она торжествовала, если б могла увидеть мое разочарование! Итак, все это к лучшему!

Я не испытываю ни печали, ни угрызений совести по поводу смерти Долорес. Эта смерть, собственно, кажется мне не столько фактом, сколько устранением известного факта. Даже если бы мой удивительный сон о тюбике семондила был явью, я не испытываю ни печали, ни раскаяния. Если бы я мог возвратиться к той минуте,

---

[1] «Но простите, мсье, где же ваш траур?» *(франц.)*

когда, записав разговор с рыболовом о женщинах, я пошел по коридору в комнату Долорес, сделал ли бы я это (если, конечно, я действительно это сделал тогда!) снова?

Да.

Если даже тогда я и не сделал этого, то теперь, по здравом размышлении, сделал бы это наверняка. Я счастлив, я несказанно доволен, что избавил себя от Долорес и что она избавлена от самой себя.

Хорошо, что так произошло. Долорес оставалось только скатываться по наклонной плоскости, от плохого к еще худшему. С годами она становилась бы все более ожесточенной, все более злобной, все более никчемной. Никто не мог бы этому помешать. Она была проклята, как это понимают кальвинисты, проклята с начала дней своих. Она напоминала уже тучу пыли в знойный день: сквозь нее нельзя было дышать. В старости она была бы совершенно невыносима. Быть может, даже на нее указывали бы пальцами, как на сумасшедшую. От этого по крайней мере судьба избавила и ее и окружающих. Мне жаль Долорес не потому, что она умерла, но потому, что не умела жить. Наконец она перестала суетиться, утихла ее горячечная алчность, исчезло вместе с ней ее неугомонное тщеславие. Долорес спит, она уже не может никого уязвить, никто и ничто не в силах причинить ей боль.

В деле Стивена Уилбека против Долорес я, осуждая обе стороны, прошу суд вынести милостивый приговор. У обоих были дурные сердца. Она была несдержанна и несносна, но спутником жизни ее стал человек, который слишком предусмотрительно оборонял свою неприкосновенность. Долорес — эта псевдовосточная натура — явно пересаливала по части всяческих волнительных чувств, но у него, у Стивена, сердце было столь же холодное, как и легкое. Он не оглядывался на нее, убегал к своей работе. (Читатель, конечно, заметил, что свою работу автор представил на первых страницах этих заметок иначе, чем на последних.) И все-таки он любил в Долорес действительно многое и был обязан ей в значительной степени импульсом к действию. Это он признал бы за ней, если бы она дала ему когда-нибудь эту возможность!

В кроткой ясности иного мира, в некоей дремотной стране неподвижных небес, надменных скал, стройных деревьев и зеркальных озер, быть может, он и она могли бы жить в согласии друг с другом...

Но, конечно, лишь мимолетно. Ибо, когда они начали бы вспоминать подробности, вновь открылись бы старые раны.

И вскоре спокойная гладь озера покрылась бы гневной рябью, задрожали бы недвижные небеса, всколыхнулись бы верхушки деревьев, всклубились бы тучи, и листья полетели бы наземь. И тревожные голоса спугнули бы тишину...

Из дальней дали вновь донеслось бы тявканье Баяра. И я снова услышал бы голос моей прежней жизни.

1938.


Статьи

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ РУССКОМУ СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ (изд. «ШИПОВНИК»)

Мне сказали: «Напишите предисловие к русскому изданию ваших сочинений».

Я удивился и обрадовался. Признаться, мне и в голову не приходило, что меня читают по-русски. И теперь, когда я приветствую своих нежданных читателей,— не правда ли, мне простительна некоторая гордость? Английский автор, выступающий перед читателями таких мастеров, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Максим Горький, имеет право слегка возгордиться.

«Расскажите нам о себе»,— попросили меня. Но чуть я принимаюсь за это дело и пытаюсь рассказать русскому читателю, что я за человек, мне с особенной силой приходит в голову, какая страшная разница между моим народом и вашим, разница в общественном отношении и в политическом. Вряд ли можно найти хоть одну общую черточку, хоть один клочок общей почвы, на которой мы могли бы сговориться. Нет общего мерила, которым мы могли бы мерить друг друга.

Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и у друга моего Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и

набожных, веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли.

А вы, в России, как представляете себе Англию? Должно быть, вам мерещатся дымные фабричные трубы; города, кишащие рабочим людом; спутанные линии рельсов, жужжание и грохот машин и мрачный промышленный дух, обуявший собою всех и вся. Если так, это не моя Англия. Это север и средняя полоса. Моя же Англия лежит к югу от Темзы. Там нет ни железа, ни угля; там узкие, прекрасно возделанные поля, обсаженные дубами и вязами, там густые заросли хмеля, как будто аллеи виноградников; там каменные и кирпичные дома; опрятные деревушки, но мужики в этих деревушках не хозяева, а наемники; там красивые старинные церкви и священники — часто богатые люди; там обширные парки, и за ними ухаживают, как за садами; там прекрасные старинные усадьбы зажиточных людей. Там я родился и провел всю свою жизнь,— только на несколько лет отлучался в Лондон и немного путешествовал. Там у меня тоже есть маленький домик с красной крышей, площадкой для тенниса и небольшим цветником. Этот домик я выстроил сам. Он стоит на берегу, между двумя морскими курортами — Фолкстоном и Сэндгэтом, расположенными почти рядом, и, когда летними вечерами я прогуливаюсь на сон грядущий по маленькой террасе перед окнами моего кабинета, я вижу вращающиеся огни маяков на дружественных берегах Франции, в девятнадцати милях от меня.

Мне сейчас сорок два года, и я родился в том странном неопределенном сословии, которое у нас в Англии называется средним классом. Я ни чуточки не аристократ; дальше деда и бабки не помню никаких своих предков, да и о тех я знаю весьма немного, так как они умерли до моего рождения. У моего деда по матери был постоялый двор. Кроме того, он держал почтовых лошадей, покуда не прошла железная дорога, а мой дед по отцу был старший садовник у лорда де Лисли в Кенте. Он несколько раз менял свою профессию, и ему то везло, то нет. Отец мой долгое время держал под Лондоном

мелочную лавчонку и пополнял свой бюджет игрою в крикет. В эту игру люди играют для развлечения, но она бывает также и зрелищем, а за зрелища платят деньги. Это породило игроков-профессионалов вроде моего отца. Со своей торговлей он прогорел, и моя мать, которая до замужества была горничной, поступила экономкой в богатую усадьбу.

Мне тогда было двенадцать лет. Меня тоже прочили в лавочники. Чуть мне пошел тринадцатый год, я был взят из школы и поступил мальчиком в аптекарский магазин, но не имел там удачи и должен был перейти в мануфактурную лавку. Я пробыл там около года, но потом натолкнулся на мысль, что у меня есть возможность добиться лучшего положения посредством высшего образования, доступ к которому так легок у нас в Англии и с каждым годом становится все легче. Таким образом, я принялся изо всех сил заниматься, чтобы получить нужные мне права, которые дадут мне возможность поступить в университет. Спустя некоторое время я и поступил в Новый Лондонский университет, который так разросся и прославился теперь. Там я получил ученую степень и разные знаки отличия, весьма, впрочем, незначительные. Моим главным предметом была сравнительная анатомия, и занимался я под руководством профессора Хаксли, о котором русские читатели, без сомнения, знают. Первое русское имя, которое я научился уважать, было имя биолога А. О. Ковалевского.

Добившись диплома, я пошел в учителя и стал преподавать биологию. Но через два-три года бросил преподавание и занялся журнальной работой: в Англии это гораздо прибыльнее, да и влечение к этому делу всегда у меня было большое. Сначала я писал критические заметки, статьи и т. д., но потом пристрастился к фантастическим рассказам, используя в них богатые увлекательными возможностями идеи современной науки. На такие произведения в Англии и в Америке значительный спрос, и моя первая книга, «Машина времени», вышедшая в 1895 году, привлекла изрядное внимание и вместе с двумя последующими книгами, «Война миров» и «Человек-невидимка», обеспечила мне популярность — как раз такую, что я без особого риска мог целиком отдаться литературному труду.

Писательство — одна из нынешних форм авантюризма. Искатели приключений прошлых веков ныне сделались бы писателями. Пускай хоть немного посчастливится твоей книге — ну хоть так, как посчастливилось моим, — и в Англии ты тотчас же превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Все открыто и доступно тебе. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до тех пор, и вдруг начинаешь сходиться и общаться с огромным количеством людей. Ты, что называется, видишь свет. Философы и ученые, военные и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди — к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумаешь. Вдруг оказывается, что тебе уже незачем читать обо всем в газетах и в книгах, ты все начинаешь узнавать из первых рук, подходишь к самым истокам человеческих дел. Не забудьте, что Лондон не только столица королевства; он также центр мировой империи и огромных мировых начинаний.

Быть художником — не значит ли это искать выражения для окружающих нас вещей? Жизнь всегда была мне страшно любопытна, увлекала меня безумно, наполняла меня образами и идеями, которые, я чувствовал, нужно было ей возвращать. Я любил жизнь и теперь люблю ее все больше и больше. То время, когда я был приказчиком или сидел в лакейской, тяжелая борьба моей ранней юности — все это живо стоит у меня в памяти и по-своему освещает мне мой дальнейший путь. Теперь у меня есть друзья и среди пэров и среди нищих, и ко всем я простираю свое жадное любопытство и свои симпатии и ими, как нитями паутины, связываю верхи и низы человечества. Эту широту моего общественного положения я почитаю едва ли не самой счастливой моей особенностью, а другая счастливая моя особенность та, что я человек непритязательный, скромный, никому ничего не навязываю, преследую только литературные цели, не мечтаю о том, чтобы играть роль в свете, и ни на что не променяю я своей настоящей работы: наблюдать и писать, о чем хочу.

Почему я заговорил об этом? Потому что моя неустойчивость и мои переходы от одного общественного

положения к другому могут объяснить тот утопический элемент, который был присущ моим первым произведениям. Неустойчивые, неоседлые люди никогда не могут принять мир таким, каков он есть; но теперь, когда я перестал быть бродягой, я перешел уже за предел тех научно-фантастических идей, которые прежде были причиной моего успеха. Правда, всего только месяц назад я держал корректуру новой фантастической повести «Война в воздухе» — о летательных машинах и о мировой войне, но такого рода вещи, повторяю, перестали поглощать все мое внимание. Чем дальше, тем фантастичнее и ярче кажется мне реальная действительность. Первая моя вещь в реалистическом роде появилась в 1900 году под названием «Любовь и мистер Люишем», вторая вещь —«Киппс», посвященная изучению приказчичьей души, вышла в 1905 году. В промежутке между ними мною был создан ублюдок, помесь фантастики и реализма,— «Морская дева», где любовь, как мучительная страсть, символизирована в образе сирены. Теперь я заканчиваю сразу два романа, и оба, надеюсь, появятся сразу в будущем, 1909 году. Один называется «Тоно Бенге» и будет объемистее обычных современных романов. В нем содержится попытка проследить карьеру одного продавца патентованных медицинских средств, основавшего для их сбыта особое промышленное товарищество, и таким образом выставить напоказ всю нелепую, построенную на рекламе, торгашескую цивилизацию, средоточием которой является все тот же Лондон. Не в пример моим прошлым романам, которые, в сущности говоря, были всегда как бы монографиями, посвященными одному персонажу, этот новый роман будет заключать в себе разнообразные типы. Другой роман посвящен современному положению женщины; в нем изображается развитие страсти в душе английской девушки новейшего типа — лондонской студентки [1].

Начиная с 1900 года я написал еще третью серию книг, и серия эта теперь, полагаю, закончена. Это мои социологические этюды; они были нужны мне для моих романов. Я стал писать их почти случайно. Прежде чем описывать жизнь тех или других личностей, мне понадо-

---

[1] Речь идет о романе «Анна-Вероника».

билось самому для себя, так сказать, для своего собственного назидания изучить те условия общественной жизни, в которых мы плаваем, как рыба в воде. Я написал книгу под названием «Предвидения», которая, принимая мир как некую развивающуюся систему, представляет собою попытку предсказать то, что может случиться через сорок — пятьдесят лет. Еще я не окончил этой книги, а уже почувствовал, что мне необходимо писать другую и представить прогресс мира как воспитательный процесс; это я выполнил в книге «Создание человечества». Эта книга привела меня к более общим вопросам, которые я пытался решить в «Современной утопии». Но в то самое время, когда мною писались эти книги, из них, как две боковые ветви, выросли два фантастических романа: «Пища богов», где открытая учеными пища увеличивает все предметы до гигантских размеров и таким образом изменяет масштаб всех человеческих дел, и другой роман—«В дни кометы», где представлены все последствия внезапного роста нравственных чувств в человечестве.

Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества; но социалистом не по Марксу, а скорее по Родбертусу,— и вот однажды меня соблазнила мысль: взять все положения социализма, развить их по-своему до последней степени и посмотреть, что из всего этого выйдет; так создались еще две мои книги —«Новые миры вместо старых» и «Первое и последнее».

Русскому читателю нужно знать, что наш английский социализм во всех отношениях отличается от американского и от континентального социализма. Мы, англичане, парадоксальный народ — одновременно и прогрессивный и страшно консервативный, охраняющий старые традиции; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов.

Со времен Норманского завоевания, 850 лет тому назад, у нас менялись династии и церковные иерархии, но чтобы мы что-нибудь «свергли», «опрокинули», «уничтожили», чтобы мы «начали все сызнова»— как это бывало почти с каждой европейской нацией,— никогда. Революционная социал-демократия континента не встречает отклика в широких кругах английского народа. Тем

не менее мы все гуще и плотнее насыщаемся социализмом. Наш индивидуализм уступает место идеям общественной организации. Мы парламентарны по природе и по своему социальному развитию, в котором принимают участие все слои и все классы народа. Консерваторы, либералы и отъявленные социалисты ходят друг к другу в гости и за десертом обсуждают те уступки, которые они могут сделать один другому,— все в равной степени не веря в какие-нибудь твердые, непоколебимые формулы и все же молчаливо допуская страшную сложность и запутанность государственных и общественных вопросов. Это чувство, скорее национальное, чем принадлежащее лично мне, я надеюсь, будет замечено в моих социальных этюдах каждым русским читателем.

Эти этюды писались с 1901 года. Они послужили, так сказать, руководством для моих дальнейших писаний. Ими я как бы сказал себе: «Если ты хочешь стать изобразителем современной жизни, вот как ты должен поступать». Ведь у меня под ногами не было твердой почвы, вера отцов наших давно перестала быть нашей верой. Мне оставалось либо определить и выяснить свою собственную точку зрения, либо писать о жизни разбросанно, бессвязно и неуверенно. Теперь, после этой теоретической работы, я, кажется, имею некоторое право отдаться своему призванию и приняться за изображение хоть небольшой части этого огромного, величавого зрелища жизни, которое окружает меня и дает пищу моему наблюдению и опыту.

Иначе говоря, я надеюсь после всех приготовлений засесть наконец за писание бытовых романов и отдаться этой работе на много лет.

Я столько распространяюсь о себе и вдаюсь в такие подробности вот почему: ежели русские настолько добры, что читают меня и даже выпускают теперь собрание моих сочинений, так пускай же они знают меня по-настоящему, а не как-нибудь. Но, конечно, никто живее меня самого не чувствует, от каких случайностей и превратностей опыта зависит литературная работа. Что такое, в сущности, делаем мы все, мы, которые думаем и пишем? Мы отнюдь не какая-то особая каста вдохновенных людей, которые могут вещать о своих открове-

ниях темному, непросвещенному миру. Мы просто голоса разнообразных людей, и каждый из нас выражает то, что думает и чувствует.

Многим из нас суждено прожить лишь одно мгновение — и потом исчезнуть навсегда. Кое-что из подмеченного нами, кое-что из предсказанного нами, может быть, и вспомнят потом, но кто это предсказал, кто подметил, забудут, и потеряют из виду, и никогда уж не припомнят опять. Мы рассказываем наши рассказы неведомым и безмолвным слушателям, и если мы им даем наибольшую меру нашего чувства и ума, чего еще можно требовать от нас? Наше дело — трудиться. А будет ли труд наш для немногих или для многих, хорош ли он будет или плох, на много лет или на секунду — не все ли это равно? Это касается только издателя и литературного критика.

1908

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ДЖОРДЖА МИЙКА «ДЖОРДЖ МИЙК — САНИТАР НА ВОДАХ»

Не всем понравится эта книга, и не всем понравится ее автор. «Ну и пусть»,— как говорят мальчишки. Я мийкист и знаю, скоро появятся на свете другие мийкисты. Для них и напечатана эта книга. Мистер Мийк очень типичная и вместе с тем незаурядная личность — он выступает от имени самого многочисленного класса современного общества и вместе с тем выделяется из него, потому что способен выразить себя почти с предельной полнотой. Кто любит не только книги, но и реальную жизнь, поймет, что я хочу сказать. В наше время сотни тысяч людей всех классов берутся за перо и оставляют на бумаге его следы, но далеко не у всех чернильные штрихи сливаются в единое целое и оживают. Мистер Мийк иногда вытворяет своим пером ужасающие вещи — есть в его книге страницы, которые отпугнут даже не очень грамотного человека,— и все же он пишет. Тут сама жизнь, описанная с откровенностью, присущей немногим. У него нет пошлости, свойственной деланно тактичным и деланно благородным людям, и он испытывает поразительно мало нежных чувств к самому мистеру Мийку. Поразительно мало, на мой взгляд, принимая во внимание обстоятельства его жизни. Ему, без всякого сомнения, присуща порой безыскусственная простота великого художника слова. Год тому назад он принялся, и горд добавить — по моему совету, изображать себя на бумаге, и вот он перед вами — его автопортрет, удивительно удачно исполненный.

Мое знакомство с мистером Мийком началось по почте. Не помню, когда именно он выделился из общей массы незнакомых докучливых людей, переписка с которыми неизбежно отнимает часть жизни у всякого писателя, но, помнится, я увидел в нем человека необычного и интересного еще до того, как узнал как следует, какое положение он занимает в нашем обществе. Несколько лет тому назад я непосредственно принял участие в социалистическом движении, и его первые письма как-то были с этим связаны. Он горячо ратовал за «единство социалистов», столь же возможное на этом свете, как и единодушие богословов,— а потом, мне кажется, он рассказал о себе и своих планах. Я очень хорошо помню: он предлагал литературные проекты, все абсолютно не осуществимые. Он хотел написать книгу на достаточно трудную тему — о нравственности — и романтическую повесть о научном прогрессе. Я, разумеется, его отговаривал, и вряд ли достаточно вежливо, потому что я бываю не очень-то вежлив с людьми, которые, не обладая специальными знаниями в области естественных и общественных наук, берутся за эти темы — по-своему простые, но требующие известной подготовки. Может быть, тогда-то я ему сказал: «Писать надо не о том, чего вы, естественно, знать не можете,— а о единственном, о чем люди вообще имеют право писать,— о личном восприятии жизни. Вы чего только не видели, чего только не испытали; я, как писатель, с радостью отдал бы за все это левую руку. Попробуйте, напишите об этом!»

Свою просьбу я повторил более настойчиво, когда встретился с мистером Мийком. Он пришел ко мне в солнечный праздничный день. Но мне не удалось поговорить с ним обо всем так подробно, как мне бы хотелось, потому что одновременно явился другой посетитель, не менее настоятельно требовавший моего внимания. Мистер Мийк — откровенный художник, у него есть прямота мудреца, и я без смущения признаюсь ему теперь, что тогда меня сильно поразила и озадачила его внешность. На нем был плохо сшитый черный костюм, сильно запыленный после путешествия, которое он совершил в этот день, был он неловок, и что-то у него было с глазами — не знаю, как назвал бы это окулист,— за-

темнение белка, что ли — и формы они были странной; невольно подумалось: не слеп ли он? И он действительно слеп на один глаз, как я впервые узнал из книги; он плохо видит, плохо ходит и не очень внятно говорит. Держался он, как теоретически полагается джентльмену, но как ни один настоящий джентльмен себя не ведет; он не смущался и не робел, но не был самоуверен и груб. Не выказал ни приниженности, ни самомнения, говорил просто, как и пишет обычно о вещах, не выходящих за пределы его понимания. Он был одержим идеей «единства социалистов».

В двадцать седьмой главе вы найдете рассказ о его путешествии, большую часть которого он совершил пешком, чтобы навестить меня. Это отчет о незаметнейшем человеке, занятом самой неосуществимой задачей, и в то же время это рассказ о невыразимо трогательной мечте. Представьте только — вот он бредет по дороге, еле передвигая ноги, а мимо мчатся велосипедисты и машины, все в бешеной погоне за праздничными увеселениями. Сначала он побывал в Ашфорде и поговорил с несколькими социалистами в крошечной комнатушке. Он рассказал мне, какие они хорошие. Затем он побывал в Фолкстоуне, где живут два-три стойких социалиста, но не застал их, встретил только одного из самых старых участников движения, после чего посидел со мной за вторым завтраком и отправился в Дувр, где тоже отыскал крошечную группу. Он сочувствует им, но настроен критически. Как я уже сказал, его миссия была мечтой. Он призывал разрозненные группы к объединению, а интересующихся и колеблющихся — к единодушию, дабы не замедлило наступить Царство небесное. Прочитав книгу, вы лучше поймете его нетерпение. Он посетил нас всех, преисполненный радужных видений, как, верно, посещали апостолы только что воздвигнутые храмы. Какое имели значение все эти утомительные мили, разделяющие нас? Что нам эти учреждения, и традиции преуспеяния, и собственничество, на которых зиждется окружающий мир? Разве мы, озаренные светом марксизма, не знаем, что конец всему этому близок? Все отодвинется прочь, как занавес, и перед нами откроется сцена, уже приготовленная для того, чтобы рабочий класс показал нам поставленное им

зрелище всеобщего братства и добродетели. Он весь светился, несмотря на свою усталость. После завтрака мы сидели у меня в саду, курили, смотрели на солнечное море и вели беседу о Золотом веке. (Мы с вами, мистер Мийк, давно будем мертвы, и, боюсь, много наших потомков замолкнут навсегда, так и не дождавшись Золотого века.) Наконец он заявил, что ему пора идти. На прощание он как-то многозначительно, с таинственным видом пожал мне руку (интересно, нет ли каких-нибудь подпольных обществ, о которых мы и не подозреваем?) и, по-своему, я уверен, преисполненный благодати божьей, ушел в огромный мир — исчезающая вдали, запыленная фигура в черном.

Его поход не привел к каким-либо практическим результатам. Читатель узнает — это был только эпизод в его жизни. Однако не пустой каприз заставил его выйти в путь, а мечта, близкая всем, кто чего-нибудь да стоит в наше время, и она будет значить для нас все больше, чем больше будет развиваться человечество.

«Разве вы не видите,— говорит мечта,— мир еще далек от совершенства, он полон тупости и жестокости, насилия и бедствий. Восстаньте и измените его, измените, насколько в ваших силах». Мы не способны дать мало-мальски достойный ответ на эти слова. Мийк совершает паломничества в Кент и Суссекс, другие бубнят малопонятные лекции или излагают свои непродуманные идеи в одной-двух книгах. Третьи организуют комитеты, мечутся из стороны в сторону, ссорятся друг с другом. На алтаре этой мечты лежат довольно странные и сомнительные жертвы. Не вдовьи лепты, а от души подаренные рваные чулки от разных пар и преподнесенные от чистого сердца спицы от старого зонтика...

Но меня сейчас интересует не мечта социалистов о Золотом веке, а мистер Мийк как литератор. Я высоко ставлю автора этой книги. Впрочем, когда я говорю о литературе, я расхожусь с мнением большинства; я пренебрегаю красотами и изяществом стиля и слишком, может быть, упираю на отражение жизни.

Больше всего мне нужно знать, что чувствуют люди, и проникнуть под внешний покров заученного, сквозь инстинктивную защитную броню, в самую сокровенную сущность человека. Я терпеть не могу всякую идеали-

зацию и всякую прикрытую идеализацию. Жизнь и без того осквернена сентиментальной ложью. Я живу в эпоху, когда искреннее и глубокое проникновение в человеческие эмоции, к которому я тяготею, встречает отпор и подавляется, когда писателя призывают оставить свои попытки отражения действительности какой она есть, а заняться изготовлением красивых картонных масок, льстящих тщеславию глупцов и предусмотрительности трусов. Всякий, кто хочет сказать правду о жизни, говорит ее на свой страх и риск, возвышая голос среди хора хулителей. Сколько еще простоит свет, истеричные ханжи и люди, искренне возмущенные прочитанным, будут, наверно, жестоко обрушиваться с бранью и клеветой на всякого более или менее значительного писателя. «Иными словами»,— как говаривал Крамфер,— я сомневаюсь, что новая библиотечная цензура, которой предстоит столько сделать для защиты британского домашнего очага от любого рода идей, пропустит мистера Мийка. Ведь за ним еще непристойная веселость «Любовных похождений», и «Я отправляюсь ко всем чертям», и неуместная защита любителей пива. Не слишком ли?

Имея перед глазами подлинную жизнь санитара, интересно поразмыслить, какого же рода автобиография человека этой профессии их устроит. Она, без сомнения, должна быть написана умной женщиной, из тех, что посещают больных в своем приходе. В происхождении героя, разумеется, не будет досадных отклонений от установленной нормы, в которых признается мистер Мийк, а на место его ужасающего цинизма по адресу духовенства и бойскаутов должна прийти твердая вера в то, что эти учреждения пребудут во веки веков. С ранних лет он познает борьбу за кусок хлеба для своей овдовевшей матери, а физические недостатки, превратившие его в санитара, станут результатом героической попытки спасения во время пожара любимой собачки какого-нибудь читателя «Спектейтора». Заполучив каталку, он станет почтительным поклонником своих клиенток и порой невольно будет слышать их разговоры. Он воспылает тайной и бесконечно трогательной страстью к прекрасной больной девушке, своей постоянной пациентке, и она тоже проникнется к нему великодуш-

ной симпатией, но тут появится на сцену ее красивый и безупречный во всех отношениях возлюбленный, которого она, увы, держит на почтительном расстоянии, потому что легкомысленно обещала это своей незамужней тетке, а теперь не может нарушить слова. Большая часть книги будет посвящена их сдерживаемой и достойной всяческого поощрения страсти,— молодой человек уйдет на войну, получит ранение при обстоятельствах, отвечающих требованиям хорошего тона, а в заключительных главах будет описана свадьба, ибо незамужняя тетя не только освободит девушку от клятвы, но даже выделит ей приданое. Возможно, рассказ еще будет продолжен — ведь в современных, даже самых приемлемых романах встречается иногда этакая вольность — и санитар расскажет, что только вчера ему посчастливилось увидеть с почтительного расстояния дитятко его дорогой молодой леди,— и что за прелестное дитятко!

Такая книга рассчитана на укрепление верноподданничества и взаимного понимания между классами.

Как не похож на этого героя и как мешает этой задаче Мийк! Он не только отказывается быть эхом своих клиентов, но и почти до жестокосердия безучастен к их важным заботам. Он предпочитает говорить о своих собственных. Вместо почтительного излияния чувств, приличествующего человеку в его положении, он осмеливается рассказывать грязные эротические истории — как сказал бы мистер Сент Лоу Стрэчи — о самом себе. Он решительно не желает читать достойные всяческой похвалы «Письма к рабочему», такие благородные и убедительные, грамматически безупречные и интересные по содержанию, которыми издатель «Спектейтора» чуть не совершил революции в пролетарском мышлении. Про мистера Мийка нельзя сказать, что он посвятил себя критике литературных произведений и социальных трактатов, но все же, по его мнению, без таких перлов современного интеллекта можно было бы вполне прожить. Его попытка организации союза санитаров была прямо-таки преступлением против освященных веками законов политической экономии и выявила его, мягко выражаясь, в высшей степени непочтительное отношение ко всему, чем дорожит преуспевающий англичанин.

Я не могу писать всерьез о том, что такие вот мертвецы хотели бы создать заговор молчания вокруг мистера Мийка. Он написал жизнеспособную книгу, бросающую вызов запретам мистера Мьюди и всех библиотек. До чего же она живая! Есть ли что на свете трогательнее, чем жажда жизни и интерес к ней, заключенные в этом неказистом, тщедушном теле? Его голос, может быть, немузыкален, приглушен, ему приходится пробиваться к нам сквозь грязь и хаос, но голос этот говорит о неистощимом интересе к жизни. Когда читаешь книгу, не остается места сомнениям — мистер Мийк уверен, что жить на свете стоит. Эта привязанность к жизни и вытекающая отсюда простота выражения дают ему право на место в литературе. Он возвышается над толпой в силу своей откровенности. Человек толпы не видит жизнь такой, какая она есть, ему обязательно надо ее приукрасить, спрятаться от нее, увильнуть, он затыкает уши, вопит и стонет. Человек толпы обманывает себя, обманывает других и проходит по жизни трусом и лицемером, бессознательно исполняя что-то, к чему его предназначило провидение. А мистер Мийк способен без всякой аффектации, искренне и талантливо, рассказывать такие истории, как его любовь к Руфи и горькая минута появления перед американским кузеном. Эти два эпизода потрясли меня до глубины души. Зачем мне выдумки беллетристов, когда есть такие книги? У него нет пошлого стремления забыть об этом. Он не скрывает своих горьких унижений — он возвышается над ними.

Его язык, по-моему, чрезвычайно ясен и прост; он обладает удивительным даром при помощи той или иной подробности оживлять создаваемые им картины. Если у него проскальзывают порой такие пошлости, как «улыбка номер девять», то это лишь минутный срыв под влиянием книг, составляющих круг его чтения. Но как все живые существа, он лучше, чем пища, которую он потребляет.

Друг мистера Мийка получил рукопись этой книги в то время, когда он складывал вещи, чтобы ехать на уик-энд в загородное поместье весьма высокопоставленных людей, и она среди прочего стала предметом разговора присутствовавших там вице-королей, министров и

великосветских дам. Занятно было, переодеваясь к обеду, завязать галстук, засунуть в петличку красивую гвоздику, что в этом доме вменяется в приятную обязанность, и усесться, чувствуя себя очень чистым и элегантным, в обитое ситцем кресло у камина, чтобы посвятить оставшиеся десять минут чтению Мийка. И сразу все начинало выглядеть как-то иначе. Ты говоришь о том, о сем, тебя обслуживают проворные дворецкие и лакеи, ты восхищаешься сервировкой и цветами на великолепном столе, а тут же, где-то в тени, прячется Мийк — человек, с таким же аппетитом, как и у каждого из нас, способный, несмотря на недостаток образования, на такие же тонкие суждения, но заключенный в какой-то мусорный ящик. Весь следующий день он маячил повсюду, как темное пятно на солнце, как черная тень под деревом. От сравнений было не уйти. Из Мийка вышел бы сносный, может быть, слишком эмоциональный пэр, только по благородству он многих пэров за пояс заткнет,—впрочем, я пишу во время предвыборной горячки. Друг мистера Мийка стал плохо спать по ночам, пытаясь разгадать загадку: «Что нам делать с нашими Мийками?» Он задавал этот вопрос герцогине, вице-королю, руководителю партии. Проблему обсуждали за воскресным обедом, но ни на йоту не приблизились к решению.

«Что делать с нашими Мийками?» Я просматриваю правленые гранки этой книги и обнаруживаю на каждом шагу трогательную веру автора в то, что «эти превосходные и энергичные люди, которые взялись за пересмотр закона о бедных», непостижимым образом создадут лучшие условия жизни для Мийка и ему подобных и что какая-то замечательная новая организация «займется всем этим» при поддержке Сиднея и Беатрисы Уэбб. А потом еще появится «Колония исправительного типа для преступников». Но сейчас, когда я вчитываюсь в «Проект меньшинства при комиссии по урегулированию закона о бедных» и одновременно с этим читаю исповедь мистера Мийка, у меня возникает неприятное подозрение, что именно мистер Мийк и подпадет под действие закона об этих колониях. В некий период своей пестрой жизни мистер Мийк перестал называться своим именем и превратился в «номер Д-12». Из тогдашних разгово-

ров с тюремным начальником и с несколькими тюремщиками он вынес неблагоприятное впечатление об этих людях. Но именно из таких-то личностей и наберут служителей для «Колонии исправительного типа». А в придачу назначат туда интеллигентных людей из активных членов того самого политического клуба, отношения с которым у Мийка, надо сказать, сложились натянутые. И мистер Мийк не только станет счастливее, но и пользы для общества от него станет больше, ибо в периоды такого рода «временной безработицы» он сможет фиксировать на бумаге свои впечатления о нашем загадочном и до сих пор не устроенном мире. Словом, боюсь, что вопреки его упованиям билль меньшинства не поможет кардинально решить вопрос о Мийке и подобных ему.

Тем временем Мийк сам решил, как ему быть, и описал свою жизнь для вдумчивого читателя, причем сделал это так умело, как не удалось еще никому из тех, кто брался писать о подобных людях. И что за ужасную картину он нарисовал: мрак, грязь, нужда, от которых нет избавления, и полная во всем неуверенность... Когда я думаю о том, в каких условиях он живет, сохраняя притом благородство, думаю о его страхах, надеждах, радостях, наблюдаю за тем, как он питает свой мозг случайной книгой, усваивает обширную теорию социализма, обсуждает человеческие судьбы и политику с другими санитарами, сидит в своей неуютной комнате за своим трактатом по этике и выводит буквы в линованой ученической тетради чернильным карандашом, я поражаюсь непобедимому мужеству этого писателя.

Мистер Мийк убедил меня, что, когда человек желает запечатлеть свой жизненный опыт, он способен преодолеть любые препятствия. Ведь наше писательское дело — отражать жизнь, и откуда, из каких бы слоев общества каждый из нас ни пришел, если он сумел это сделать, значит, он, для писателя, сделал главное.

1910

О СЭРЕ ТОМАСЕ МОРЕ

Одни писатели интересны в основном сами по себе; другие по воле случая становятся для всех выразителями и олицетворением того или иного типа сознания и мироощущения. Именно к последним относится сэр Томас Мор. В нем и в его «Утопии» воплотились целый тип сознания и целый век, и как бы приятна и почтенна ни была его личность со своими пенатами, вряд ли он так выделился бы в глазах современных читателей из среды своих многочисленных современников, чьи имена теперь лишь изредка попадаются нам в письмах и других документах, если бы не был первым политическим деятелем в Англии, воспринявшим идеи «Государства» Платона. Благодаря этому на его долю выпало преподнести миру два неверно всеми понятых слова: существительное «утопист» и прилагательное «утопический»; освободительные идеи Платона помогли ему выразить в той форме, в какой они явились английскому уму его времени, ведущие проблемы современного нам мира. Ибо большинство вопросов и проблем, которые волновали его, волнуют и нас; некоторые из них, надо думать, выросли, стали взрослыми и переженились; в свой круг они приняли новеньких, но вряд ли хоть одна ушла из жизни; и для нас одинаково большой интерес представляет как то, в чем они совпадают, так и то, в чем они отличаются от теперешних наших философских идей.

Судя по отзывам современников и по его собственным вольным и невольным признаниям, Томас Мор был

человек живого ума и приятных манер, замечательный труженик, большой любитель острот, эксцентричных выражений и игры слов, равно прославленный как ученый и как шутник. Последнему своему качеству он обязан быстрым продвижением при дворе, и, может быть, его слишком явно выраженное нежелание играть роль неофициального застольного королевского шута положило начало той все возрастающей монаршей неприязни, которая в конце концов привела к казни Мора. Однако король ценил его и за другие, более серьезные заслуги: он был нужен королю. Скорее общее отчуждение и отказ от присяги, чем застольные насмешки и оспаривание законности развода, были причиной взрыва королевского гнева, от которого погиб Томас Мор.

На первый взгляд, он всю жизнь не отступал ни от ортодоксальной веры, ни, в общем, от идей и обычаев века, был вполне приемлем для людей своего времени и прославлен среди них, но не его конформизм, а его скептицизм делает его для нас интересным, и под покровом приверженности к общепринятым правилам и ограничениям, определившим всю его деятельность, мы обнаруживаем глубочайшие сомнения,— воодушевленный и взволнованный Платоном, он счел нужным о них написать. Могут спросить, так ли уж необычен сам по себе его скептицизм и разве у большинства великих государственных деятелей, знаменитых проповедников и правителей не было своих периодов сомнения, когда они подвергали уничтожающей критике и самих себя и те самые принципы, на которых был основан их успех? Да, это так, но весьма немногие признались в своем скептицизме столь открыто, как сэр Томас Мор. Он, без сомнения, был добрым католиком и все же, как мы видим, оказался способным создать нехристианскую общину, по мудрости и добродетели превосходящую весь христианский мир. В жизни его религиозное чувство и ортодоксальность были в достаточной степени очевидными, но в своей «Утопии» он отваживается признать, и не только предположительно, но с полной уверенностью, возможность абсолютной религиозной терпимости.

«Утопия» не становится менее интересной из-за того, что она на редкость противоречива. Никогда еще в

теле социалиста и коммуниста не поселялась душа такого законченного индивидуалиста. У него руки Платона, свободного от предрассудков грека, а голос гуманного, думающего об общем благе, но ограниченного и весьма практичного английского джентльмена, который считает совершенно непреложным низкое положение низших классов, терпеть не может монахов, бродяг и тунеядцев, всех недисциплинированных и нетрудовых людей и желает быть хозяином в собственном доме. Он преисполнен здравых практических идей — о миграции земледельцев, о повсеместном насаждении садов, об искусственном высиживании цыплят и так решительно отбрасывает все платоновские идеи о гражданских правах женщины, словно такое и в голову не может прийти. Он виг с головы до ног, вплоть до привычки читать вслух в обществе, еще не забытой самыми типичными из уцелевших представителей этого племени. Он убедительно выступает против частной собственности, но о том, чтобы дать право пользоваться общественными благами еще и рабам — наполовину обритым, в ярких форменных одеждах, чтобы не сбежали,— это для него уже слишком, у него об этом и речи нет. Его коммунистическое общество создано всецело в интересах сифогрантов и траниборов [1], этих глубокомысленных и умудренных опытом джентльменов, назначенных следить за тем, чтобы князь не подмял под себя других. Вот вам еще один пример вигизма, видящего цель свою в том, чтобы сократить цивильный лист короля. В этом истинная сущность конституционализма восемнадцатого века. Вигизм Мора полон утилитаризма, а не очарования цветка. В его городах — всех на один лад, так что «кто узнает один город, тот узнает все»,— бентамист пересмотрел бы свою полную скептицизма теологию и признал бы существование рая.

Как и всякий виг, Мор ставит разум выше воображения и не в состоянии постичь магические чары золота, используя для пущей убедительности этот благородный металл на сосуды самого грязного назначения; он не имеет ни малейшего понятия о том, например, как приятно посумасбродствовать, или о том, что одеваться

[1] Должностные лица в «Утопии» Томаса Мора.

все-таки лучше по-разному. Все утописты ходят в толстом белье и некрашеном грубошерстном платье — зачем миру краски? — а новая организация труда и сокращение рабочего дня ему нужны лишь для того, чтобы до конца жизни продлить годы учения и побольше иметь времени для чтения вслух,— бесхитростные радости примерного школьника! «Учреждение этой повинности имеет прежде всего только ту цель, чтобы обеспечить, насколько это возможно с точки зрения общественных нужд, всем гражданам наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования. В этом, по их мнению, заключается счастье жизни».

Мы ничуть не будем парадоксальны, если скажем, что «Утопия», ставшая по прихоти случая синонимом безудержного фантазерства в общественной и политической жизни, в действительности совсем не фантастическая книга. В этом-то, помимо приоритета, секрет ее неослабевающего интереса. В некотором роде она похожа на весьма полезный и превосходный альбом газетных вырезок, который обычно раскапывают где-нибудь в старых деревенских домах; сама убогость синтеза делает тем резче и ярче ее составные части — все эти заимствования из Платона и подражания ему, все эти рецепты высиживания цыплят и суровые законы о мошенниках и обидчиках. Всегда найдутся люди, которые сумеют правильно ее прочесть, хотя огромное большинство по невежеству еще долго будет обозначать словом «утопия» все наиболее чуждое сущности Мора.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН

Обстоятельства часто заставляют меня обращаться мыслями к роману, к тому, как создается роман, в чем его значение, что он собой представляет и каким может быть, и еще задолго до того, как написать свой первый роман, я стал профессиональным критиком. Теперь вот уже двадцать лет я пишу романы и пишу о романах, но мне кажется, будто только вчера вышла моя рецензия в «Сэтердей ревью» на книгу мистера Джозефа Конрада «Каприз Олмейера» — кстати, первая большая и положительная статья о его творчестве. Я посвятил роману столько лет своей жизни — можно ли рассчитывать, что я буду говорить о нем в примирительных и осторожных тонах? Я считаю роман поистине значительным и необходимым явлением в сложной системе беспокойных исканий, что зовется современной цивилизацией. Во многих отношениях, мне думается, без него просто не обойтись.

Все сказанное, я знаю, расходится с установившимися взглядами. Мне известно, что существует теория, признающая за романом единственное назначение — развлекать читателя. Вопреки очевидным фактам этот взгляд господствовал в период деятельности великих писателей, который мы теперь называем викторианской эпохой, он живет и поныне. Пожалуй, возникновением своим эта теория обязана скорее читателям, нежели читательницам. Ее можно назвать теорией Усталого Гиганта. Читателя представляют как человека, обремененного заботами, изнемогающего от тяжких трудов. С десяти до четырех он не выходил из своей конторы, разве что часа

на два в клуб, перекусить, или же играл в гольф, а может быть, он провел весь день в парламенте — заседал и голосовал в палате общин; удил рыбу, участвовал в жарких спорах по поводу какой-то статьи закона, писал проповедь. или занимался еще чем-то столь же серьезным и важным — ведь вся жизнь человека обеспеченного состоит из тысячи подобных дел. Но вот наконец пришли желанные минуты отдыха, и Усталый Гигант берется за книгу. Не исключено, что он в дурном настроении — быть может, его обыграли в гольф, или леска запуталась в ветвях дерева, или падают самые надежные акции, или днем, когда он выступал в суде, судья, страдающий болезнью желудка, был с ним крайне резок. Ему хочется забыть о жизненных невзгодах. Он хочет рассеяться. Он ждет, чтобы его подбодрили и утешили, он ищет в книге развлечения — в первую очередь развлечения. Ему не нужны ни мысли, ни факты, ни тем более проблемы. Он жаждет унестись мечтой в призрачный мир, где героем будет он сам и где перед ним предстанут красочные, светлые и радостные видения: всадники и скакуны, наряды из кружев, принцессы, которых спасают, получая в награду любовь. Он хочет, чтобы ему нарисовали забавные трущобы и веселых нищих, чудаков-рыболовов и скрашивающие нашу жизнь благие порывы. Ему нужна романтика, но без присущих ей опасностей, и юмор, но без тени иронии, и он считает, что долг писателя — поставлять ему подобное чтиво, этакую сладкую водицу. Вот в чем заключается теория Усталого Гиганта по отношению к роману.

Наша критика руководствовалась этой теорией вплоть до англо-бурской войны, а потом с нами, вернее, со многими из нас, что-то произошло, и эти взгляды утратили былую силу. Быть может, они обретут ее вновь, а может случиться, что этого уже не произойдет никогда.

В наши дни и художественная литература и критика взбунтовались против Усталого Гиганта — преуспевающего англичанина. Я не могу назвать ни одного мало-мальски известного писателя, разве что У. У. Джейкобса, который согласен потакать облаченным в туфли и халат любителям легкого чтения. Пока что мы выяснили, что наш Усталый Гигант, скучающий читатель — это всего-навсего поразительно ленивое, несобранное и вя-

лое существо, и все мы пришли к единодушному выводу, что любыми путями нужно заставить его упражнять свои мыслительные органы. Итак, я уже достаточно сказал о существующем мнении, будто роман — это нечто вроде безобидного дурмана, который скрашивает досуг человеку со средствами. На самом деле роман никогда не ограничивался подобной ролью, и я сомневаюсь, чтобы он мог ею ограничиться,— свидетельством тому сама природа этого жанра.

Мне думается, женщины никогда не разделяли до конца теорию Усталого Гиганта. Женщины ведь гораздо серьезнее относятся не только к жизни, но и к литературе. Женщинам независимо от характера и взглядов не свойственно праздное и трусливое скудоумие, на котором зиждется теория Усталого Гиганта; и когда в начале девяностых годов — а респектабельное английское легкомыслие оставило особенно глубокий след в нашей литературе этого периода — участились бунтарские всплески, все искреннее и непримиримое, что выявилось в среде читающих и пишущих, шло в основном от женщин и обличало вред распространенного тогда поверхностного отношения к художественной литературе. Читательницы всех возрастов и читатели, главным образом молодые, упорно требуют романов содержательных и реалистических, и вот к этим-то непрерывно растущим требованиям должен прислушиваться романист — так он сможет постепенно выйти из-под влияния порядком всем надоевших, но тем не менее весьма распространенных в современной Англии идей.

И, чтобы утвердить роман как серьезный литературный жанр, а не простое развлечение, нужно, мне думается, высвободить его из тенет, которыми его опутали неистовые педанты, стремящиеся навязать роману какую-то обязательную форму. В наши дни любой вид искусства должен прокладывать себе путь между скалами пошлых и низкопробных запросов, с одной стороны, и водоворотом произвольной и неразумной критики — с другой. Когда создается новая область художественной критики, или, попросту говоря, объединяется группа знатоков, взявших на себя право поучать всех остальных, эти знатоки выступают единым строем, и они не судят о книге по непосредственным впечатлениям, а со-

здают наукообразные теории и, дабы ни в чем не уступить науке, а то и превзойти ее создают классификацию, эталоны, сравнительные методы, обязательные правила.

У них вырабатывается свое чувство стиля—чаще всего это не более как стремление навязать писателю замысловатые приемы или приемы, претендующие на своеобразие, причем профессиональный критик даже не ищет в них достоинств, он просто считает их достойными похвалы. Этот взгляд очень глубоко проник в критические суждения о романе и драме. Все мы не раз слышали поучительное высказывание, что такой-то спектакль очень интересен, занимателен от начала до конца и глубоко волнует зрителя, но по таинственным техническим причинам в основе его лежит «не пьеса»; точно так же, по столь же непостижимым причинам оказывается, что такая-то книга, хоть вы и прочли ее с истинным удовольствием, «не роман». От романа требуют, чтобы по форме он был очерчен так же строго, как сонет. Около года назад, к примеру, в одном еженедельнике, если не ошибаюсь, отражающем взгляды некоторых религиозных общин, разгорелись жаркие споры о том, каким должен быть роман по объему. Критику надлежало приступать к своей нелегкой задаче с сантиметром в руках. Со всей ответственностью к этому вопросу подошла «Вестминстер газетт»: опросили множество литераторов обоего пола, требуя, чтобы перед лицом «Тома Джонса», «Векфилдского священника», «Мещанской истории» и «Холодного дома» был дан точный и определенный ответ—каков должен быть объем романа. Мы отвечали по-разному, кто более, кто менее вежливо, сама же попытка обсудить эту проблему свидетельствует, мне кажется, о том, насколько широко распространилась в газетах и журналах, в кругах, создающих мнение публики, тенденция навязать роману определенный объем и определенную форму. В заметках и статьях, которые последовали за этим опросом, опять промелькнула тень нашего друга, Усталого Гиганта. Нам заявили, что ему нужен такой роман, который можно прочесть между обедом и последней рюмкой виски в одиннадцать часов вечера.

Без сомнения, в этом слышится отголосок полузабытых рассуждений Эдгара Аллана По о новелле. Эдгар

Аллан По определенно утверждает, что рассказ лишь тогда рассказ, когда его можно прочитать в один присест. Но роман и новелла — вещи совершенно разные, и соображения, которые заставили американского писателя ограничить рассказ самое большее одним часом чтения, немыслимы, когда дело касается произведений большего объема. Рассказ — произведение по форме простое, во всяком случае, он должен таким быть; его цель — произвести единое и сильное впечатление, он должен овладеть вниманием читателя уже в экспозиции и, не давая ослабнуть интересу, нагнетая впечатления, неуклонно вести к кульминации. Человеческому вниманию есть предел, поэтому и действие рассказа должно укладываться в определенные рамки; оно должно разгореться и угаснуть, прежде чем читатель отвлечется или устанет. Но роман я считаю произведением многоплановым, в нем не одна нить повествования, а целый узор; сначала вас увлекает, вызывает ваш интерес что-то одно, потом другое, вы оставляете книгу и снова возвращаетесь к ней, и, мне кажется, не следует как бы то ни было ограничивать объем романа. От других жанров художественной литературы роман отличается одним исключительно ценным свойством — искусством создания образов, а в искусно созданном образе нас увлекает его развитие, мы не стремимся поскорее узнать судьбу героя, и что до меня, то я охотно признаюсь, что все романы Диккенса, как они ни длинны, кажутся мне слишком короткими. Обидно, что у Диккенса герои так редко переходят из одного романа в другой. Мне хотелось бы встретить Микобера, Дика Свивеллера и Сари Гэмп не только в тех романах, где они описаны, но и на страницах других книг; вспомним, как Шекспир провел великолепного Фальстафа во всем его блеске через целый ряд пьес. Диккенс лишь раз воспользовался этим приемом — перенес Пиквикский клуб в «Часы дядюшки Хамфри». Опыт оказался неудачным, и писатель никогда больше к этому приему не прибегал. После Диккенса наступили времена, когда объем романа стал сокращаться, когда сюжет подчинил себе образы и стремление к занимательности возобладало над описаниями; тому, говорят, виной соображения низменного порядка, гинеи, шиллинги и пенсы — не будем о них распространяться,— но сего-

дня я с радостью замечаю по многим признакам, что время господства этой узости и ограниченности прошло, что налицо все предпосылки к дальнейшему развитию гибкой и свободной формы романа. В Англии это новое направление зародилось как протест против нетерпимых взглядов на художественное мастерство (о них я еще буду говорить в этой статье), и оно стремится возродить гибкую, свободную форму, непринужденную манеру переходить от одной темы к другой, право отвлекаться от основной мысли, присущие раннему английскому роману — «Тристраму Шенди» или «Тому Джонсу»; кроме того, это направление черпает силы в других странах, в таких необычных и смелых начинаниях, как, скажем, «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. Эти два источника определяют собой двойственный характер нового направления: если в Англии тяготеют к последовательному и многостороннему описанию, то французских писателей отличает стремление к исчерпывающему анализу. Мистер Арнольд Беннет использует обе эти формы широкого изображения действительности. Его великолепная «Повесть о старых женщинах», где он свободно переходит от образа к образу, от сцены к сцене, во многих отношениях самый лучший роман из всех, что написаны на английском языке и в современных английских традициях, а теперь в «Клейхенгере» и в других обещанных нам романах этого цикла он всесторонне, подробно и многообразно показывает развитие и изменение одного или двух характеров — такой метод является главной особенностью современного европейского романа большого объема. Если для «Повести о старых женщинах» характерна многосторонняя описательность, то для «Клейхенгера» — исчерпывающий анализ: писатель в совершенстве овладел методами обоих новых литературных течений.

«Жана-Кристофа», превосходным переводом которого мы обязаны мистеру Кеннану, я упоминаю здесь потому, что считаю его типичным образцом романа нового направления; но у этого романа, где, кроме главного героя, появляются всего два-три сопутствующих ему персонажа, а сам герой, его мысли и переживания изображены так полно и красочно, есть предшественник еще более значительный, он дошел до нас из Франции благодаря

мистеру Беннету и мистеру Кеннану. «Жан-Кристоф», как и другие подобные ему произведения, берет начало из великолепной книги Флобера, которая осталась неоконченной,— я говорю о «Буваре и Пекюше». Флобер почти всю жизнь посвятил созданию самой строгой и сдержанной прозы на свете — даже прозу Тургенева не назовешь более сдержанной и строгой,— и его творчество увенчалось этим радостным и печальным чудом, истинным кладезем мудрости. У нас эта книга малоизвестна, кажется, она еще не переведена на английский язык, но она существует, и если читатель о ней не знает, то я сделаю ему подарок, открыв секрет, что есть такая книга, читать которую все равно, что бродить по прекрасному лесу, полному чудес. И если Флобер был европейским писателем, освободившим роман от оков строгой формы, то мы, приверженцы английского направления, школы многопланового романа, должны навсегда преисполниться благодарности к тому, кто для меня остается самым искусным, несравненным, величайшим художником — я подчеркиваю, художником — среди всех, кого Англия дала миру, к истинному создателю романа, Лоренсу Стерну...

К новелле и к роману следует предъявлять совершенно различные требования, ибо путаница в этом вопросе ведет к наставлениям — так, что ли, их назвать? — в духе «Вестминстер газетт», когда поучают, к чему должен стремиться романист и каким должен быть объем романа, и, кроме того, создают разные нелепые запреты и правила, касающиеся литературных приемов и стиля. И делается ошибочный вывод, что цель романа, как и новеллы,— произвести единое, насыщенное впечатление. Это порождает благодатную почву для всякого рода заблуждений. В рецензиях на произведения художественной литературы постоянно встречаешь жалобы, что то или иное в романе неоправданно. В новелле очень легко сбиться на неоправданные детали, и это губительно для произведения. Когда человек убегает от тигра, он не будет останавливаться, чтобы нарвать ромашек, растущих у тропинки, по которой бежит, и вряд ли ему достанет времени любоваться бархатным мхом на стволе дерева, куда он взбирается, спасаясь от опасности — вот так же стремительно должно развиваться действие рассказа.

Цель новеллы — создавать иллюзию напряженного действия, а роман, напротив, нетороплив, как завтрак в саду теплым летним утром, и если писатель в счастливом расположении духа, все детали оправданны; дрозд на садовой дорожке и лепесток, который падает с цветущей яблони ко мне в кофе, оказываются так же уместны, как яйцо на тарелке и ломтик хлеба с маслом на столе, как и все, что разрушает эту иллюзию; и поэтому такие, скажем, приемы, как авторские отступления, какие-то замечания, заставляющие нас вспомнить, что мы имеем дело не с правдой, а с вымыслом, стилистические перебивки, несерьезный тон, пародийность, бранные слова — все это может прийтись писателю на руку. Бывает и так, что все это не только не идет ему впрок, а, напротив, мешает, и читателя коробит, режет ему слух, он не в силах читать, но тут речь идет лишь о трудностях мастерства, перед которыми истинный художник не отступает, как хороший охотник не страшится самых высоких барьеров. Почти во всех романах, которые завоевали себе прочное место среди величайших произведений мировой литературы, не только от начала и до конца чувствуется личность автора, но встречаются также его откровенные и непосредственные излияния. Самый неудачный пример авторских отступлений, который даже отпугивает от такого приема, это, конечно, отступления Теккерея. Но, мне думается, беда Теккерея не в том, что ему нравятся отступления, а в том, что, прибегая к ним, он использует удивительно нечестные приемы. Я согласен с покойной миссис Крейджи, что Теккерею была свойственна какая-то глубоко укоренившаяся пошлость. Пошлой выглядит его притворно вдумчивая, наигранная поза светского человека; совсем не этот человек, а беззастенчивый, нахальный задира, который после обеда с наглым видом греется у камина, надуваясь от сытости и спеси, ибо он весьма преуспел и в литературе и в свете,— вот кто выступает от первого лица в романах Теккерея. Это не сам Теккерей, это не искренний человек, который смотрит вам в глаза, изливает душу и ждет вашего сочувствия. Однако, критикуя Теккерея, я вовсе не отвергаю в принципе авторских отступлений.

Следует признать, что выступать от своего имени перед читателем — прием для романиста крайне рискован-

ный; но когда это делают безо всякой фальши, непосредственно, будто в дом приходит из темноты человек и рассказывает об удивительных вещах там, за дверью — как, например, из самых практических соображений поступает мистер Джозеф Конрад в «Лорде Джиме»,— тогда это создает определенную глубину, субъективную реальность, какой ни за что не добиться, если занять позицию той холодной, почти нарочитой беспристрастности, которая свойственна, скажем, произведениям мистера Джона Голсуорси. И в некоторых случаях вся прелесть романа, все мастерство писателя именно в таких отступлениях, свидетельством чему романы «Элизабет и ее немецкий садик» и «Элизабет в Рюгене».

Итак, я все время яростно нападаю на то, что пагубно для романа и ограничивает его возможности, я за полную свободу развития его формы и устремлений; но, кроме того, мне хочется поговорить о романе вообще, о том, как, если это практически возможно, его следует ограничивать. Определить, что такое роман,— задача отнюдь не из легких. Его не создавали по заранее выработанным правилам. Роман — это явление, которое глубоко вросло в современную жизнь, на него возложена такая огромная ответственность, он достигает таких результатов, каких не могли предвидеть его создатели. В большинстве своем выдающиеся творения человека постепенно стали играть совсем не ту роль, которая им предназначалась. Вспомним, к примеру, каким источником вдохновения, эмоций, эстетических чувств стал потом крестовидный абрис готического собора, и подумаем еще о том, что в свое время никто не мог себе представить, какой восторг и восхищение будут вызывать у потомков беломраморные статуи античной Греции и Рима, утратившие с годами краски, которыми покрывали их творцы. Старинную мебель и вышивки мы воспринимаем сейчас и ценим как произведения искусства, а ведь те мастера, что их создавали, видели в них только предметы обстановки. И роман, без сомнения, вырос из обычной сказки, из любви к сказке, свойственной и старым и малым — всем на свете. Понадобилось немало времени, чтобы мы создали роман о жизни обычных людей с достоверными и разумными поступками в отличие от рыцарского романа о сказочных существах, которых автор от-

кровенно наделяет блеском, дивным очарованием, изображает в радужных красках и которые живут в мире не столь суровом, как наш, и полном чудес. Роман — это произведение, не допускающее — во всяком случае, оно не должно допускать — явного вымысла. Автор берет на себя задачу показать вам обстановку и людей не менее реальных, чем те, которых вы постоянно видите в омнибусах. Мне думается, что можно создавать романы, преследующие эту и только эту цель. Такой роман может служить вам развлечением, вот как если бы вы смотрели из окна на улицу или слушали легкую музыку. Но почти всегда роман — нечто большее, и его воздействие гораздо значительнее. В романе содержится определенная мораль. У читателя остается впечатление не только от описываемых событий, но и от поступков, которые представлены в привлекательном или непривлекательном свете. Может статься, что мораль эта в конечном счете неубедительна, а впечатления поверхностны, тем не менее они неизбежно присущи любому роману. Даже если писатель стремится к объективности или претендует на нее, все-таки, помимо его воли, герои его становятся своего рода образцами, а идеи романа, как вам известно, наводят читателя на всевозможные размышления. Чем выше мастерство, чем убедительнее приемы, тем большую пищу для размышлений дает автор.

И, кроме того, писателю не удается скрыть свое отношение к тому или иному герою: поступки одного он одобряет, восхищается ими, поступки другого — порицает и осуждает. Я думаю, мистер Беннет, например, не поставил бы этого себе в заслугу, но беспристрастному читателю очевидно, что своего Карда он любит всей душой и восхищается им, как Ричардсон восхищался сэром Чарлзом Грандисоном, или что миссис Хамфри Уорд находит свою Марселлу прелестной и весьма достойной юной особой. И, мне думается, именно поэтому роман — это не просто изложение вымышленных событий, но и разбор, оценка этих событий и, следовательно, мыслей, идей, которые вызвали эти события к жизни, и что в этом заключается истинная и все возрастающая ценность романа — или, чтобы не вызывать нареканий, скажем, пожалуй, так: в этом истинное и все возрастающее значение романа и писателя в жизни современного общества.

Я не сделаю открытия, заметив, что роман, как и драма, служит могучим орудием нравственного воздействия. В Англии это понимают с тех самых пор, как роман занял свое место среди прочих явлений в жизни общества. Это признают одинаково и писатели, и читатели, и даже те, кто никогда и ни при каких обстоятельствах романов не читает. Ричардсон писал с целью сугубо назидательной, а «Том Джонс» — сильный и действенный призыв быть милосердными и снисходительными к тем, кто пошел в жизни неверным путем. Но, если не считать Фильдинга и сделать еще некоторые исключения, неизбежные при критических обобщениях, все-таки нужно признать, что существует определенное различие между романом прошлого и, позвольте его так назвать, современным романом. Это различие отражает изменения в общественной мысли. Оно состоит в том, что прежних установившихся взглядов на принципы морали и нормы поведения сейчас нет и в помине. Не то, чтобы прежде в этих вопросах существовало полное единодушие — огромные разногласия наблюдались всегда,— просто в те времена свои взгляды отстаивали настойчиво, убежденно, безоговорочно, в наши дни такого уже не встретишь. Наш век — век бальфурианский [1], и даже религия ищет себе опору в сомнениях, владеющих человеком. Быть может, в прошлом встречалось не больше расхождений во взглядах, чем теперь, но эти расхождения были значительно более непримиримы, им была свойственна такая непримиримость, которая, на наш взгляд, граничит с беспощадностью. Католик и слышать не хотел о протестантах, турках, неверующих, он слушал о них только, когда их поносили и проклинали. Вы точно знали, что хорошо, а что дурно. Священник вас в этом наставлял, а от романа требовалось лишь одно: чтобы прямо или косвенно он подтверждал незыблемость этих искренних, хоть и малопривлекательных заблуждений. Окажись вы протестантом — и вас так же нелегко было бы сбить с толку. Если кому и была ведома истина, то лишь узкому кругу ваших единомышленников, причем к этому же кругу принадлежали и все самые добродетельные люди. Все на све-

[1] Бальфур, Артур Джеймс (1848—1930) — видный государственный деятель Англии. Уэллс имеет в виду книгу Бальфура «В защиту философского сомнения».

те было им ясно, и учиться чему-нибудь вне этих тесных рамок они не считали нужным. Неверующие, представьте себе, были ничуть не лучше и столь же рьяно отстаивали свое кредо, лишь употребляя по мере необходимости отрицание «не». Люди самых разных убеждений — католики, протестанты, атеисты, кто угодно — твердо знали, что добро есть добро, а зло есть зло, что мир делится на хороших и дурных; хороших нужно любить, помогать им, восхищаться ими, а дурных — так повелевает добродетель — нужно обличать, можно даже и лгать им, подавлять, не стесняясь в средствах, дабы восторжествовать над пороком. Таков был дух времени. Роман отражал этот незыблемый дух, и наивысшее проявление человеколюбия в романе заключалось в том, чтобы показать, как порой под личиной негодяя кроется истинное и редкое благородство и, наоборот, за внешностью святого прячется лицемер. В то время не умели подходить к человеческим достоинствам и добродетелям с глубоко укоренившимися сомнениями, критической оценкой и одновременно с терпимостью, какие свойственны большинству людей в наши дни.

Поэтому читатель той поры, как и нынешний читатель в провинциальных английских городках, судил о романе исходя из убеждений, которые ему привили семья и священник — пастор или католический патер. Если эти убеждения совпадали с идеей романа, то читатель роман одобрял, если же нет,— осуждал, и подчас с изрядным пылом. Роман, если его безусловно и безоговорочно не предавали анафеме как нечто совсем ненужное и вызывающее брожение умов, рассматривали всего лишь как проводник идей, внушенных пастором, или патером, или каким-либо иным наставником. Роман утверждал догму, которой нужно было следовать, и ему позволяли смиренно свидетельствовать в ее пользу. Роман оценивали положительно, если он отвечал высоким взглядам мистера Чедбэнда[1]; его объявляли никуда не годным, если он не нравился мистеру Чедбэнду. И только перешагнув через трупы таких вот негодующих и разоблаченных чедбэндов, роман сможет вырваться из оков унизительного рабства.

[1] Персонаж романа Ч. Диккенса «Холодный дом» — ригорист и лицемер.

Что же до противоречий между авторитетами и теми, кто их критикует, то это извечные противоречия человеческого общества. Это противоречия между установленным порядком и новыми веяниями, между ограничениями и свободой. Такими были противоречия между жрецом и пророком в древней Иудее, между Фарисеем и Назареянином, между реалистом и номиналистом, между церковью и францисканцами и лоллардами, между почтенным обывателем и артистом, между теми, кто порядка ради готов срезать любые ростки нового, передового в человеческом обществе, и этими юными побегами, которые все-таки пробиваются, несмотря ни на что. И сейчас, в период, когда общество крепнет и растет, мы одновременно наблюдаем, как мысль высвобождается из-под гнета и рвется вперед, мы переживаем небывалый расцвет мысли — такого еще не знала история. Жестокой критике подвергаются самые устои человеческой жизни, все взгляды, нормы и правила поведения. И роман неизбежно в меру своей искренности и возможностей должен отражать происходящее и деятельно способствовать исканиям и бесчисленным переменам, которые порождает наш бурный и творческий век.

Я вовсе не хочу сказать, что роман непременно от начала и до конца насыщен мотивами этих обширных и чудодейственных противоречий. Просто роман — неотъемлемая часть конфликтов современности. Сущность великой революции мысли, которую мы сейчас переживаем, революции, философским аспектом которой является возрождение и провозглашение номинализма под именем прагматизма, состоит в том, что она утверждает значительность индивидуальной инстанции в противовес обобщению. Все наши социальные, политические, моральные проблемы рассматриваются в духе нового, в духе поиска и эксперимента, которому чужды отвлеченный подход и правила дедукции. Мы все яснее и яснее понимаем, например, что изучение социальной структуры — дело пустое и бессмысленное, если не подходить к нему, как к изучению связей и взаимодействия отдельных личностей, которыми движут самые различные побуждения, которых связывают старые традиции и увлекают порывы, порождаемые обстановкой напряженных умственных исканий. И все на-

ши представления об отношениях человека с человеком, о справедливости, о том, что разумно и необходимо с точки зрения общества, остаются неприемлемыми, негодными; они могут оказаться бесполезными или даже причинять вред, как платье не по мерке, как тесная обувь.

И вот здесь приходят на помощь достоинства и возможности современного романа. Мне кажется, только роман дает нам возможность обсуждать большинство проблем, которые сейчас грозной силой в несметном числе встают перед нами. Почти каждая из них в основе своей проблема психологическая, и не просто психологическая, а такая, существом которой является понятие «индивидуальность». Разбираться в большинстве этих вопросов с помощью каких-то определенных приемов или обобщений — все равно, что ставить кордон в джунглях. Охота начинается лишь тогда, когда кордон позади и вы углубились в самую чащу.

Возьмем, к примеру, целый клубок противоречий, порожденных тем, что наш государственный аппарат все время усложняется. Где только можно, мы насаждаем чиновников, и лишь за последние несколько лет возникло множество новых областей, в которых повседневная жизнь человека тесно связана с канцелярщиной. Однако мы все еще не даем себе труда разобраться в любопытных изменениях, которые происходят в том или ином человеке, когда его выделяют из общей толпы, наделяют полномочиями, обязанностями и уставами и если даже не заставляют облечься в мундир, то заставляют по-казенному мыслить. Это явление представляет очевидный, глубокий и все возрастающий интерес в плане общественном и личном. И если говорить о процессе общественной и политической консолидации, который продолжается вот уже четверть века, то сейчас он явно обретает все большую и большую интенсивность, и зачастую энергичные, весьма достойные и более или менее благодушные люди, чья политическая деятельность, явная или закулисная, ведет к подобным изменениям, даже не подозревают, что окончательное решение этой проблемы всецело зависит от взаимосвязи между государством, с одной стороны, и слабыми, нерешительными, совсем не похожими друг на друга человеческими существами — с другой. Эти люди счи-

тают, что любого юнца-племянника можно превратить в чиновника того типа, который их устраивает,— в некое сочетание богоподобной добродетели, ума и безотказной механической способности подчиняться. И только роман, по-моему, предоставляет нам возможность убедить людей, что такая точка зрения неоправданна, и выступить с разумной и действенной критикой государственного аппарата, ведущей к плодотворному анализу его деятельности и к оздоровлению и очищению всей официальной сферы вообще. Однако роман еще не повел наступления на эту сторону нашей жизни и не показал пестрой игры человеческих устремлений, которые ей присущи.

Есть у нас, правда, образ Бамбла, портрет невежественного мелкого чиновника, написанный мастерски и беспощадно. Английскому читателю достаточно одной этой фигуры, чтобы увидеть в истинном свете, кто осуществлял положения Закона о бедных. Это пример того, как благие намерения и псевдонаучные взгляды на общество облекаются в плоть и кровь бездарного, самонадеянного, наглого невежды. Один этот образ сделал больше, чем сто Королевских Комиссий. По сути дела, Диккенс говорит: вырабатывайте какие угодно меры, а что в них толку, если такой Бамбл претворяет их в жизнь. Но Бамбл — почти единичный литературный пример. Мы склонны забывать, что этот чиновник воплотил в себе всего лишь одну черту бюрократической системы, и поэтому часто усматриваем в нем изображение чиновничества вообще, и едва лишь муниципалитет в каком-то городке затеет спор о целесообразности электрического освещения улиц, как тот или иной противник принимается яростно обвинять его в бамблеризме. На плечи Бамбла возложили непосильную ношу, и мы ждем, что современный роман создаст множество других образов, которые станут в один ряд с Бамблом, показывая различные стороны и черты этой сложнейшей проблемы — бюрократизма. Бамбл — непревзойденное воплощение тупости и жестокости, которые проявляет чиновник, не понимающий своих обязанностей. Я бы всякому кандидату на должность управляющего работным домом устраивал суровый экзамен по «Оливеру Твисту». Но я не требую от писателя только карикатуры или сатиры.

Нужно показать все стороны государственной службы, показать, как она подчас нелепа и порочна, как может изуродовать человека, какое порождает в нем тщеславие, но нельзя забывать и про надежды, которые на нее возлагают, плодотворную деятельность, присущую ей, удовлетворение, которое она приносит, ее цели служения обществу и ее благородное назначение. Мне могут ответить, что я предъявляю непомерные требования, что нельзя ждать от наших романов и романистов столь глубокого проникновения в суть вещей, такого мастерства. Тем хуже для нас, и я не отступлюсь от своего утверждения. Сложной общественной системе наших дней не обойтись без романа, обладающего именно такими качествами, только такой роман сумеет проложить путь взаимопониманию между людьми, раскрыть по-настоящему существо человеческих отношений. Успехи цивилизации в конечном счете зависят от такого взаимопонимания и от естественной терпимости и доброжелательности. Если мы не в силах вызвать у людей больший интерес друг к другу, более настойчивое стремление разобраться друг в друге, указывать друг другу на недостатки, создать более разумные связи, чем те, что существуют в наши дни, если нельзя добиться, чтобы общественные классы научились соразмерять свои потребности, делиться опытом, проявлять взаимное уважение и доброжелательность,—значит, нам никогда не побороть нынешних противоречий, не справиться со своей неустроенностью, а трудности человеческого существования останутся такими же, как и сейчас, когда они напоминают глыбы огромной лавины, которая с грохотом несется по склону горы. И в великом деле просвещения и объединения людей именно роману, по-моему, дано многое наметить и многое свершить.

На все это вы можете ответить так: мы принимаем главную посылку, но почему только художественная проза должна играть главную роль в этом неизбежном процессе объединения человечества на, так сказать, дружественных началах? Не бо̀льшую ли пользу принесет, скажем, биографический и автобиографический жанр? Разве нет у нас поэзии или, наконец, драматургии?

Что касается театра, то я считаю его превосходной и действенной формой творчества, которая открывает

перед зрителем доходчивые и захватывающие ситуации, но, по-моему, хотя драма дает возможность высказывать необычные суждения, будоражить мысль (мистер Шоу, например, в совершенстве владеет этим приемом), она мало что делает для развития наших интересов, мало что добавляет к идеям, движущим нами. И если рассматривать театр как средство высказывать необычные суждения и будоражить мысль, то, по-моему, это довольно-таки сложное и дорогостоящее средство. С таким же успехом можно вооружиться карандашом и повсюду на стенах писать какие угодно оригинальные высказывания. Драма оказывает на нас сильное воздействие, но это, на мой взгляд, слишком объективный метод воздействия, она не может по-настоящему влиять на общество, а ведь именно такова, мне думается, задача цивилизации — расширять круг человеческих интересов, добиваться истинного взаимопонимания между людьми. Если сопоставить произведения биографического и автобиографического характера с романом, то на первый взгляд — следует это признать — роман проигрывает. Вы можете сказать: к чему нам все эти плоды писательского воображения, эти вымышленные, иллюзорные существа, мнения, поступки, когда есть книги о подлинных событиях, об истинных происшествиях, о реальных людях? И в ответ услышите: «Да, но, по сути дела, это далеко не так». Ведь именно из-за того, что биографическое произведение описывает подлинных людей и подлинные события, из-за того, что оно стремится затронуть вопросы, которым суждено еще долго волновать читателя, и рассчитывает на интерес современников, переживших героя, именно поэтому такое произведение не может быть по-настоящему ценным и правдивым. Оно совершенно искажает истину и делает это самым опасным способом — замалчивая ее. Представьте себе Гладстона — какая это, наверное, была могучая, необычная, удивительная натура, и вспомните «Жизнь Гладстона» лорда Морли, этот холодный, величественный портрет. Жизни там нет и в помине, это скорее набальзамированные останки: ни чувств, ни переживаний, ни страстей, внутренности — и те аккуратно удалены. Во всех биографических произведениях есть что-то от некролога, какой-то холод и

почтительность; что же касается автобиографии, то хотя человеку дано раскрыть душу тысячами всевозможных путей, подчас неосознанно, никому не дано разобраться в самом себе и познать самого себя. Этот жанр если и удается, то лишь хвастунам и лжецам по природе, всяким вашим челлини и казановам, которые взирают на себя со стороны с неподдельным восхищением. Кроме того, роману неведомы ни крайняя скованность автобиографии, ни связывающая по рукам и по ногам ответственность биографа. Роман — произведение свободное, независимое. Его персонажи придуманы, созданы воображением, и их можно описывать, не утаивая своих мыслей. Поскольку вы их сами придумали, вы знаете, что они никак не воспрепятствуют полету вашей творческой фантазии, и они выходят гораздо убедительнее, чем подлинные люди и события. Успех и неуспех романа зависят от того, усомнится ли читатель в его жизненной правде или поверит в нее. А в исторических, биографических произведениях, Синих книгах и других вещах подобного рода единственная правда, какую можно найти,— это сухие факты.

Теперь вы знаете требования, которые я предъявляю к роману: он должен быть посредником между различными слоями общества, проводником идей взаимопонимания, методом самопознания, кодексом морали, он должен служить для обмена мнениями, быть творцом добрых обычаев, критиковать законы и институты, социальные догмы и идеи. Роман должен стать домашней исповедальней, просвещать, ронять зерна, из которых развивается плодотворное стремление познать самого себя. Позвольте мне здесь высказать свою точку зрения с предельной ясностью. Я вовсе не хочу сказать, что романист должен взять на себя задачи какого-то учителя, проповедника с пером в руке и наставлять людей, во что им верить и как поступать. Роман — это не новая разновидность амвона, да и человечество уже не на том уровне, когда над людьми властвуют проповеди и догмы. Но писатель станет самым всесильным из художников, ведь ему предстоит давать советы, создавать образцы, обсуждать, анализировать, внушать и всесторонне освещать то, что поистине прекрасно. Он будет не поучать, а убеждать, призывать, доказывать

и объяснять. Высказав свою точку зрения, я подвел вас к требованию, которое сейчас изложу: романисту должна быть предоставлена полная свобода выбора темы, жизненного явления и литературных приемов; или, если я вправе выступать от имени других писателей, вернее было бы сказать, что мы не предъявляем требований, а сообщаем о своих намерениях. Мы приложим все силы, чтобы всесторонне и правдиво показывать жизнь. Мы намерены заняться проблемами общества, религии, политики. Мы не можем воссоздавать образы людей, не располагая этой свободой, этим неограниченным полем деятельности. Какой смысл писать о людях, если нельзя беспрепятственно обсуждать религиозные верования и институты, влияющие на эти верования или, наоборот, не умеющие оказать на них влияния. Какой толк изображать любовь, верность, измены, размолвки, если нельзя остановить взгляд на различиях темперамента и природных свойствах человека, на глубоких страстях и страданиях, что порождают столько бурь в жизни людей. Мы займемся всеми этими проблемами, и, чтобы преградить путь развитию воинствующего романа, понадобятся куда более серьезные препятствия, чем недовольство провинциальных библиотекарей, осуждение со стороны некоторых влиятельных персон, издевательские шуточки одной газеты и упорное молчание другой. Мы будем писать обо всем. О делах, о финансах, о политике, о неравенстве, о претенциозности, о приличиях, о нарушении приличий, и мы добьемся того, что всяческое притворство и нескончаемый обман будут сметены с лица земли чистым и свежим ветром наших разоблачений. Мы будем писать о возможностях, которые не используют, о красоте, которую не замечают, писать обо всем этом, пока перед людьми не откроются бесчисленные пути к новой жизни. Мы обратимся к юным, любознательным, исполненным надежд с призывом бороться против рутины, спеси и осторожности. И жизнь сойдет на страницы романа еще до того, как будет достигнута наша цель.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.
(Статья написана на основе газетного интервью 1911 года.)

О ЧЕСТЕРТОНЕ И БЕЛЛОКЕ

У меня есть мечта, одна из самых несбыточных в моей жизни,— превратиться в нарисованного на фреске языческого бога и жить себе беззаботно на потолке. В воображении я увенчиваю свое чело, как это подобает божеству, звездами, или виноградной лозой, или же нимбом из электрических лампочек (смотря по настроению) и облекаюсь в простые одежды, которые не стесняют движений и так подходят к мягкому климату тех сказочных стран. Людей я себе подбираю тоже по настроению; они нежатся рядом со мной на облаках и всегда по-своему обаятельны, вернее сказать, бесконечно обаятельны. Часто мне составляет компанию Г. К. Честертон, вихрь красок, радостный образ в соответствующем наряде и с увенчанным челом. И я должен сказать, что, когда он рядом, потолок просто светится весельем. У нас вволю октябрьского пива, мы потягиваем его из тяжелых кружек и горячо спорим о Гордости (это — слабое место Честертона) и о природе божества. У нас есть орел, который следит за нами, как за Прометеем, и время от времени заботливо пускает в ход обеззараженный клюв — этого требуют правила гигиены, ведь мы совсем не двигаемся и нам грозит увеличение печени... Честертон со мною бывает часто, Беллок — никогда. Беллок вызывает у меня безграничное восхищение, но с каким-то постоянным упорством я преграждаю ему путь в великолепный мир своих грез. Изображения Беллока нигде на потолке не видно, ни в одном самом далеком углу. И все-таки небесный живописец каким-то удиви-

тельным образом (по невежеству не могу судить, каким именно, в тонкостях живописи я разбираюсь плохо) заставляет угадывать тень Беллока на фреске. Где он? Вон там, где особенно выпукло легли мазки или где слабое свечение окружает великолепную фигуру Честертона? Не знаю. Но от взора тонкого наблюдателя, когда он посмотрит вверх, не укроется то удивительное обстоятельство, что Беллок здесь — здесь, и все же далеко, у себя, на другом небе, которое, несомненно, империалисту с Парк Лейн представляется прибежищем сатаны. Там Беллок царит...

Но на самом деле мне не доводилось встречаться с Честертоном в заоблачных высях, и нам отпущено судьбой лишь жалкое подобие того нескончаемого досуга, проводимого в отвлеченных беседах, каким я наслаждаюсь на воображаемых росписях. Я живу в мире непрерывных и неотложных дел, где подчас царят беспорядок и суета. Дела наваливаются на нас со всех сторон, нас подгоняют, торопят, мы ведем борьбу с противниками, размахиваем кулаками и с трудом урываем минуту, чтобы спокойно подумать и поговорить. И я не могу тратить время на бесконечные потасовки с Честертоном и Беллоком из-за формы и содержания. Есть много других, для кого мне следует поберечь кулаки. Можно расточать время в покое и на досуге, а в борьбе дорога каждая минута.

Во многих отношениях мы похожи друг на друга и если в чем-то расходимся, то это не закономерные, а случайные расхождения; просто мы говорим по-разному и у нас разные взгляды. Я всегда и любыми средствами буду отстаивать свои взгляды на человеческое мышление и свою манеру изложения, которая мне кажется убедительной и свободной, но Беллок, Честертон и я уже вполне взрослые люди с установившимися взглядами, мы теперь не станем менять свой язык и учиться новому; у нас разные дороги, а потому нам приходится перекликаться через разделяющие нас пропасти. Те двое заявляют, что, по их мнению, социализм не нужен народу, а я хочу больше всего на свете, чтобы народ жил при социализме. И мы будем теперь повторять это до конца своих дней. Но в действительности цели, к которым мы все трое стремимся, очень сходны. Наши раз-

ные дороги идут в одном направлении. Я утверждаю, что лучшей жизни для всего общества, неуклонного развития и прогресса всего человечества можно добиться, создав условия для самого полного и свободного развития отдельной человеческой личности. Нам всем троим одинаково ненавистен, и в этом мы единодушны, вид людей, раздувшихся от суетного богатства, безответственности и власти,— судьба поступает с ними так же жестоко и нелепо, как мальчишки, надувающие лягушек; нас всех троих возмущает, что до сих пор не решены проблемы, которые принижают и калечат человеческую жизнь с самого рождения, обрекают на голод и издевательства огромные массы людей. Мы ратуем за счастливую жизнь для всех без исключения, за то, чтобы все люди были здоровыми и обеспеченными, чтобы они были свободны и наслаждались своей деятельностью в обществе, чтобы они шли по жизни, как дети, собирающие в поле цветы. Мы все трое хотим, чтобы люди владели не чем-то отвлеченным, а тем, что им непосредственно нужно, чтобы, как говорит Честертон, сын в семье достраивал дом, который начал его отец, чтобы человек гордился плодами, которые он взрастил у себя в саду. И я согласен с Честертоном, что главное в жизни — отдавать всего себя, отдавать все свои силы ближнему из любви и чувства товарищества.

Но здесь у нас с ним расхождения не во взглядах; скорее, я не согласен с тем, как он их высказывает. Делиться с ближним, но делать это без души недостойно. «Поставить угощение» он считает проявлением благородства, а я этого не выношу, по-моему, это — безмерное издевательство и опошление прекрасного обычая: приберегать лучший кусок для богом посланного гостя. Так «угощать» — значит совершать обыкновенную сделку, да еще дурного пошиба, совсем в духе наших времен. Подумайте сами. Двое на время ушли из дому и решили выпить, они завернули в какое-то общественное место, где спиртное (слегка разбавив его из соображений личной выгоды) продают всем, кому угодно. (Как ужасно, что в жизни встречается подобное бездушие и продажность!) И Джонс неожиданно широким жестом швыряет два пенса или девять пенсов (одному богу известно, как они добыты), не спросив о состоянии карма-

на и не подумав о самолюбии Брауна. Что до меня, то уж лучше бы монету бросили мне за шиворот. Если бы Джонс любовно и сочувственно постарался узнать, в чем у Брауна нужда, какая жажда его мучит, и с умом и толком выбрал бы необходимое питье, чтобы эту жажду утолить,— вот это было бы другое дело; а когда просто так «угощают», и делают подарки, и развлекают, то в этом проявляется лишь чванливость и равнодушие, как у горланящих петухов, недомыслие и жестокость, присущие ничтожной и торгашеской забаве, порочной в самой своей сути,— игре в покер; и мне странно даже подумать, что Честертон воздает хвалу такому обычаю.

Но это я говорю так, между делом. Честертон и Беллок, подобно социалистам, считают, что мир сегодня совсем не таков, каким они хотят его видеть. Они тоже находят причину этого в том, что у нас не приведены в систему отношения собственности. Они придерживаются того же мнения, что и обычный средний человек в наши дни (чье кредо, мне думается, изложено Честертоном довольно беспристрастно, хоть он и упустил кое-что весьма важное). Отношения собственности можно привести в систему согласованными действиями и отчасти изменениями в законодательстве. Землей и всеми крупнейшими предприятиями должно владеть государство, и если не владеть ими, то по крайней мере управлять, контролировать их, ограничивать и перераспределять. Наши разногласия сводятся всего-навсего к вопросу о бо̀льших или меньших размерах собственности. Я не понимаю, как Беллок и Честертон могут выступать против сильного государства, ведь в нем единственная возможность обуздать чудовищное порождение собственнического мира — крупных и влиятельных собственников. Государство должно быть сложным по своей системе и достаточно сильным, чтоб совладать с ними. Государство или плутократы — в сущности, другой практической альтернативы в наши дни не существует. Или мы создаем возможность для крупных авантюристов-банкиров, для растущего капитала и его прессы беспрепятственно войти в сговор и, по сути дела, править на земле; или мы стоим в стороне, не требуя превентивного законодательства, предоставив вещам идти своим чередом, как сейчас, пока все само по себе не

устроится; или же мы должны создать коллективную организацию, достаточно сильную, чтобы охранять гражданские свободы простого человека, которому в один прекрасный день предстоит зажить счастливой жизнью. Пока что мы выступаем вместе. Если Беллок и Честертон не социалисты, они все-таки и не антисоциалисты. Если они заявляют, что ратуют за организованное христианское государство (а это, собственно, семь десятых того, о чем мечтают социалисты), тогда перед лицом наших общих опасных и сильных врагов — авантюристического капитала, враждебного нам империализма, низменных устремлений, низменных взглядов и обычных предрассудков и невежества — мне не к чему затевать с ними ссору из-за политики, пока они не вынуждают меня к ссоре. Их организованное христианское государство гораздо ближе к организованному государству, каким я его себе представляю, чем к нынешней плутократии. Наступит такой день, когда наши идеалы вступят в борьбу, и это будет жестокая схватка, но бороться сейчас — это значит помогать врагу. Когда мы добьемся своих общих целей, тогда и только тогда мы будем вправе позволить себе разногласия. Я никогда не допускал мысли, что в нашей стране и в мое время социалистическая партия может надеяться создать свое правительство; сейчас я верю в такую возможность еще меньше, чем когда бы то ни было. Не знаю, питает ли кто-либо из моих коллег-фабианцев столь радужные надежды. Если нет, тогда при условии, что их политическая платформа не просто брюзжание, им следует подумать о временном политическом союзе между членами парламента — социалистами и той некапиталистической частью либеральной партии, от имени которой выступают Честертон и Беллок. Вечная оппозиция — весьма недостойная политическая платформа, и человек, который, принимая участие в политической деятельности, не желает брать на себя никаких ответственных задач, если не будут приняты его собственные формулировки,— просто отступник, жертва дурного примера ирландцев, и он не способен принести пользу ни одному истинно демократическому институту...

Я снова отвлекаюсь, как видите, но, надеюсь, мысль моя ясна. Как ни различны наши взгляды, Беллок и Че-

стертон с социалистами по одну и ту же сторону пропасти, которая разверзлась сейчас в области политической и социальной. И мы и они на страже интересов, прямо противоположных интересам нынешнего общества и государства. Для нас, социалистов, политика — дело второстепенное. Наша первостепенная задача — не навязывать, а разъяснить и привить простому человеку, об интересах которого и печется Честертон, мысль, что он хозяин в своем государстве, что он должен служить государству, а государство — ему. Мы хотим облагораживать, а вовсе не оскорблять чувство собственности. Будь на то моя воля, я бы начал с уличных перекрестков и трамваев, я бы сорвал эти омерзительные и лживые таблички, на которых стоит МСЛ [1], и вместо них повесил бы такие: «Этот трамвай, эта улица принадлежат жителям Лондона». Станут ли Честертон или Беллок возражать против этого? Допустим, что Честертон прав и что у простого человека есть свои взгляды, в которых его невозможно переубедить, и притом взгляды эти враждебны нашим,— что же, каким-то из наших идеалов суждено погибнуть. Но мы прилагаем все усилия и делаем все, что можем. А что делают Честертон и Беллок? Пусть наш идеал будущего в чем-то оправдан, а в чем-то необоснован, но разве они стремятся создать какой-то лучший идеал? Предложат ли они свою Утопию, и как они собираются ею управлять? Если они будут отстаивать только благородные старые истины, что человек должен быть свободным, что он имеет право действовать по своему разумению и так далее, они не окажут настоящей поддержки простому человеку. Все эти красивые слова без дальнейшего разъяснения вполне на руку мистеру Рокфеллеру, который проявляет естественную человеческую заботу о своем достоянии, и фабриканту, который борется против контроля, мешающего ему у себя на фабрике выжимать все соки из женщин и детей. На днях я купил в книжном киоске брошюру одного австралийского еврея, искажающую идеи социализма и полную необоснованных доводов против него; эту брошюру издали поборники Единого налога с бескорыстной, по-види-

[1] Муниципальный совет Лондона.

мому, целью освободить землю от помещика самым простым способом, то есть смешивая с грязью всякого, кто стремится к этой же цели, но не считает Генри Джорджа царем и богом; я знаю социалистов, которые с пеной у рта доказывают, что если кто-то поет не «Красный флаг», а другую песню и позволяет себе усомниться в деловом опыте Карла Маркса, то с ним нельзя иметь ничего общего. Но ведь нет причин к тому, чтобы Честертон и Беллок, люди незаурядные, были столь же непримиримы. Когда мы ведем беседы на потолочной фреске или на званом обеде, где веселье несколько напоминает наши заоблачные выси, Честертон и я, Беллок и я — противники, и наша вражда не затухает, но в борьбе против человеческого себялюбия и ограниченности, за лучшие, более справедливые законы мы — братья или по крайней мере сводные братья.

Согласен, Честертон не социалист. Но, если спросить, чью сторону он принимает, нашу или владельца Элибэнка, или сэра Хью Бэлла, или любого другого капиталиста-либерала, стоящего за свободную торговлю, или землевладельца, на чьей он стороне? На политической арене нельзя сидеть на двух стульях, ибо лишь одна партия или группа партий может победить.

И, возвращаясь ненадолго к вопросу о новой Утопии, я жду ее от Честертона. От человека его масштабов можно требовать большего, чем просто критика без полезных выводов. Ему нет оправдания, когда он пытается вести спор, оседлав чужого конька, используя чужие Утопии. Я призываю его соблюдать правила игры. Я делаю все, что могу, дабы показать, что счастливая и свободная жизнь отдельного человека возможна лишь при таком общественном строе, который избавит мир от жестокого владычества тупых, упрямых, напористых, бесчестных стяжателей, чей размах пока что немного сдерживает лишь низменная алчность их жен и сыновей. И тут недостаточно сказать, что никто из них не «выставляет угощения» и что простые, добрые люди при случае вправе поколотить свою жену и детей так просто, любя, и что они не потерпят проповедей мистера Сиднея Уэбба.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»

Чтобы читатель должным образом оценил роман «Война в воздухе», я хочу предварить его несколькими словами. «Война в воздухе» стоит в одном ряду с такими написанными мной в разные годы произведениями, как «Освобожденный мир» и «Когда спящий проснется». Романы эти обычно называют «научно-фантастическими», или «романами о будущем», но удачнее было бы определить их как «фантазии о возможном». Автор обращается к тому, что уже наметилось в реальности, и показывает, как велики могут быть последствия этих явлений, когда они разовьются.

Я хочу напомнить читателю, что «Война в воздухе» написана в тысяча девятьсот седьмом году и начала печататься главами в «Пэлл-Мэлл мэгэзин» с января тысяча девятьсот восьмого года. Иными словами, еще до появления самолетов и дирижаблей. Блерио перелетел Ла-Манш только в июле тысяча девятьсот девятого года, а цеппелин переживал тогда еще пору своего детства.

Читатель не без улыбки сопоставит догадки и представления автора с достигнутыми ныне успехами.

И все же мне хочется думать, что книга эта не устарела. Она писалась не для того, чтобы доказать возможность полетов, и не затем, чтоб объяснить, как именно люди будут летать. Главная ее мысль состоит в другом, и опыт последующих лет скорее усилил, чем ослабил ее. Я хотел показать, что летающие машины в корне изменят характер войны: она будет идти не на линии

фронта, а на огромных территориях. Ни одна сторона — будь то победитель или побежденный — не будет застрахована от страшных разрушений, и поскольку разрушительные силы неизмеримо возрастут, возрастет также и общая неуверенность. Поэтому «Война в воздухе» кончается не победой одной из сторон, а гибелью социального строя. Все, что случилось в мире после написания этой «фантазии о возможном», только укрепило меня в прежнем мнении. После недавней поездки в Россию, впечатления о которой я изложил в книге «Россия во мгле», я перечел свой выдуманный рассказ о крахе цивилизации, не выдержавшей напряжения современной войны — таков конец «Войны в воздухе»,— и поднялся в собственных глазах. В тысяча девятьсот седьмом году, читая эту главу, многие от души смеялись и объявляли ее не чем иным, как плодом расстроенного воображения писателя-фантаста. Такой ли уж смешной она кажется вам сегодня?

И еще я прошу читателя помнить эту дату — тысяча девятьсот седьмой год,— когда он будет читать о принце Карле Альберте и графе фон Винтерфельде. За семь лет до мировой войны ее тень уже нависла над нашим лучезарным миром и была вполне различима для глаза писателя-фантаста и всякого, кто наделен здравым смыслом. Катастрофа надвигалась на нас при дневном свете. Но каждый считал, что кто-то другой должен остановить ее, прежде чем она разразится. За этой катастрофой последовали другие. Постоянное обесценивание валюты, сокращение производства, упадок просвещения в Европе достигли такого предела, что теперь несомненны для каждого разумного человека. Национальные распри и империалистическое соперничество влекут целые народы навстречу гибели. Этот процесс протекает с той же очевидностью, с какой назревали военные события в годы написания книги «Война в воздухе».

Неужто мы и сейчас поручим свою судьбу кому-то другому?

По книге «История мистера Полли» и «Война в воздухе», Одемс-пресс. (Дата не обозначена.)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНАТОЛЮ ФРАНСУ В ДЕНЬ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Cher Maître[1], Вы творите для всего мира, и весь мир поздравляет Вас в этот день по случаю радостного события — Вашего восьмидесятилетия. Вам исполнилось восемьдесят лет, и все же, когда я посетил Вас на днях, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение, и увидел Вас, как всегда, улыбающегося, любезного, внимательного, оживленного, мне показалось, что годы Вас не коснулись. И в самом деле, что могут годы поделать с Вами, когда Вы уже и сейчас бессмертны! На время Вы поселились здесь, на прекрасной земле Франции, но Вам уготовано место среди великой плеяды писателей, которые уже обитают в Элизиуме и обращаются к молодежи с юношеским пылом и ко всем остальным с неугасающей мудростью — к ныне живущим и к грядущим поколениям на много веков вперед! Миллионы еще не родившихся читателей, став взрослыми, найдут в Вас освободителя, тонкого собеседника, самого близкого друга. Мы, Ваши современники, только первые из тех последователей, кто будет с любовью и уважением произносить Ваше имя.

Мы, писатели Англии, не сплоченный отряд, а скорее разбросанные по стране одиночки: у нас нет академии, объединяющей нас, нет признанного всеми руководителя, и, должно быть, совсем случайно мне выпало счастье, как могло бы выпасть другим, более значи-

[1] Дорогой мэтр (*франц.*).

тельным и достойным, рассказать Вам, какое место Вы занимаете в сердцах и мыслях читателей, живущих в странах, где говорят на английском языке. Те из нас, кто может, читают Вас в оригинале и наслаждаются Вашим неподражаемым французским языком; но нелишне сказать словечко-другое и о тех читателях, которые не входят в число знающих французский язык, которым недоступна безграничная Франция мысли. Почти все Ваши произведения, мне кажется, переведены на английский язык, и в Англии и Америке десятки тысяч людей знают Вас только в Вашем английском обличье. В любом переводе произведение что-то теряет, но большинство Ваших переводчиков послужило Вам с честью, а некоторые — с успехом; и в Ваших произведениях заложены такие богатства, что Вы в состоянии заплатить высокую пошлину, которую один язык взимает с другого, и сохранить при этом достаточно, чтобы завоевать самые тонкие умы. Все в мире образованные и преуспевающие люди знают Вас и свидетельствуют Вам свое уважение. Но, мне думается, я достаточно хорошо Вас понимаю, чтобы с уверенностью сказать: больше даже, чем такое восхищение, Вас порадует то, что немало есть шахтеров в Шотландии, железнодорожников в Англии, лондонских служащих и приказчиков в провинциальных городках, которые вряд ли знают более ста слов по-французски и, однако, вспыхивают от радости, когда слышат Ваше имя; немало есть рабочих, ведущих борьбу против бесчисленных попыток поработить их души, кому Вы несете бесценные дары: счастье, духовное раскрепощение и вдохновение. Порой мне хочется украсть с полки какой-нибудь нашей публичной библиотеки и послать Вам захватанный экземпляр «Таис» или «Острова Пингвинов» в английском переводе как свидетельство того, что и у нас Вы стали властителем умов.

Когда я выступаю так от лица читателей Ваших книг в английском переводе, вполне естественно мое желание рассказать о том, как свободно Вы носите свое английское платье. Во многих отношениях Вы типичный француз, Вы воплощаете Францию с ее величием, Францию свободы, равенства и братства. Но Вас не связывает ни узость взглядов, ни национальная ограничен-

ность. В прошлом, до наполеоновских войн, англичане и французы не ощущали между собой тех различий, той тенденции искать непримиримые противоречия, которая так часто проявляется в наши дни. Теснее переплетались наши духовные устремления. Тогда еще помнили, что норманны послужили для нас связующим звеном, что бургундец был надежным союзником англичанина, что у британца и бретонца единое прошлое, помнили, как были франк и фламандец по крови близки англосаксу. Мы — норманны, и саксы, и франки, и фламандцы, и шотландцы, и бургундцы, и гасконцы, и анжуйцы,— по-братски соревнуясь, строили наши готические соборы; а наши рыцари, и лучники, и принцы, и епископы вместе затевали распри и ездили из края в край. Наши литературы неразрывно связаны, у них общие корни, и они постоянно обогащают друг друга. По сути дела, ни одному англичанину не покажутся чуждыми ни Рабле, ни Монтень — эти писатели сродни Свифту и Стерну, а Вольтер сегодня снова оживает в произведениях Шоу. Таких современных английских писателей, как Честертон и Беллок, можно было бы свободно принять за французов, если бы они писали на французском языке. И Вы нам очень близки — Ваш склад ума, Ваш юмор. Мы воспринимаем Ваше творчество как родственное нам. По всей вероятности, в Англии и в Америке у Вас гораздо больше литературных последователей, чем во всех романских странах, вместе взятых. Некоторые из самых многообещающих молодых писателей Америки просто в долгу у Вас.

Многие среди нас, пишущих на английском языке — и среди них видные писатели,— сочли бы за великую честь, если бы их сравнили с Анатолем Франсом. И наконец можно сказать, что на нашу английскую литературу Вы оказываете даже большее влияние, чем на литературу своей страны. Поэтому нас нельзя принимать как незваных гостей, назойливых поклонников и случайных пришельцев на празднестве по случаю Вашего дня рождения. Мы, английские писатели, здесь по праву, мы здесь потому, что мы близки Вам и нас покоряет Ваш ум и могучий талант.

1924

ПРЕДИСЛОВИЕ К «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»

«Машина времени» была опубликована в 1895 году. Легко заметить, что она написана неопытной рукой; но в ней была известная оригинальность, спасшая ее от забвения; спустя треть века еще можно найти для нее издателей и, возможно, даже читателей. В окончательном своем виде — если не считать некоторых мелких исправлений — книга была написана в Севеноаксе, графство Кент. Ее автор зарабатывал себе на хлеб как журналист. Наступил неурожайный месяц, когда едва ли одна его статья была напечатана или оплачена в какой-либо из газет, где он сотрудничал; поскольку все редакции в Лондоне, склонные его терпеть, были завалены его не напечатанными пока статьями, не имело смысла писать что-нибудь еще, пока не растает ворох рукописей. Чем сокрушаться по поводу столь печального оборота дел, он написал эту повесть, надеясь, что ее удастся напечатать в каком-нибудь новом месте. Он помнит, как писал ее как-то поздним летним вечером, у открытого окна, и докучливая хозяйка ворчала, стоя во тьме снаружи, что он без конца жжет свет. Хозяйка уверяла спящий мир, что не уйдет к себе, пока лампа не потухнет; он писал под аккомпанемент ее ворчания. И он помнит, как обсуждал эту книгу и лежащие в ее основе идеи, гуляя в Ноул-парке со своей милой спутницей, которая так поддерживала его в эти бурные и голодные годы, когда будущее было смутно и полно надежд.

Главная мысль казалась ему тогда его собственной находкой. Он хранил ее до той поры, надеясь однажды

развить в более обширной книге, чем «Машина времени», но крайняя необходимость написать что-то ходкое заставила немедленно дать ей применение. Как заметит проницательный читатель, это очень неровная книга: спор, которым она открывается, куда лучше и обдуман и написан, чем последующие главы. Эта повесть была, как тоненькое деревце, выросшее от глубокого корня. Первая часть, в которой объясняется главная мысль, уже увидела свет в 1893 году, в «Нейшнл обсервер» у Хенли. А вторая — с напряжением писалась в 1894 году в Севеноаксе.

Теперь эту главную мысль знают все. И она никогда не принадлежала автору целиком: другие тоже к ней приближались. Автора натолкнули на нее в восьмидесятые годы студенческие споры в лабораториях и дискуссионном обществе Королевского колледжа науки, и он несколько раз поворачивал ее разными сторонами, прежде чем положить в основу книги. Это мысль о Времени как четвертом измерении; трехмерное настоящее оказывается частью вселенной, имеющей четыре измерения. С этой точки зрения единственная разница между временем и другими измерениями состоит в том, что вдоль него движется сознание,— это и составляет движение настоящего. Как видно, может быть различное «настоящее» — в зависимости от принятого направления, в котором движется часть вселенной; тем самым высказывалось представление об относительности, вошедшее в научный обиход значительно позднее. Поскольку часть вселенной, именуемая «настоящее»,— это реальность, а не математическая абстракция, она должна обладать известной глубиной, которая может быть различной. Поэтому «теперь» не одновременно для всех, оно может быть более короткой или длинной мерой времени — подобное утверждение могло быть по достоинству оценено только современной мыслью.

Но моя повесть вовсе не исследует какую-нибудь из этих возможностей; я ни в малейшей степени не знал, как подступиться к такому исследованию. Я не был достаточно подготовлен к этому, да и не в форме повести можно было его продолжить. Поэтому экспозиция при помощи парадоксов переходит в романтическую историю, носящую явственный отпечаток времени, когда она пи-

салась,— времени Стивенсона и раннего Киплинга. До того автор сочинил уже нечто в псевдотевтонском, натаниэль-готорновском стиле: по счастью, этот опыт, напечатанный в «Сайенс Скулс Джорнэл» (1888—1889), ныне невозможно достать. Все золото мистера Габриэля Уэллса не вернет этого сочинения. Существовал и набросок, посвященный той же идее; он должен был появиться в «Фортнайтли ревью» в 1891 году, но так и не появился. Назывался он «Неподвижная вселенная» и тоже исчез бесследно. А его менее еретический предшественник, «Новое открытие единичного», где доказывалось, что атомы обладают индивидуальными характеристиками, увидел свет в июльском номере того же года. Когда редактор мистер Фрэнк Гаррис понял, что взялся печатать «Неподвижную вселенную» на двадцать лет раньше, чем следовало, он поспешил вынуть статью из номера и осыпать автора упреками. Если и остались оттиски, то лишь в архивах «Фортнайтли ревью», но я сомневаюсь в этом. Долгие годы я думал, что у меня сохранилась копия, но когда я стал ее искать, то не нашел.

«Машина времени» — если не иметь в виду главной мысли — «устарела» не только с художественной, но и с философской стороны. Автору, достигшему ныне зрелости, она кажется попросту ученическим сочинением. В ней отразились его тогдашние взгляды на человеческую эволюцию. Теперь же представление об элоях и морлоках, на которых разделится в будущем человечество, кажется ему достаточно грубым. В юности он был совершенно поражен и заворожен Свифтом, и наивный пессимизм «Машины времени» и родственного ей «Острова доктора Моро» был неловкой данью, принесенной автором этому мастеру, которому он стольким обязан. Кроме того, геологи и астрономы конца века повторяли страшную ложь о «неизбежном» охлаждении мира, они твердили, что жизнь угаснет и человечество погибнет. Выхода, казалось, не было. Пройдет миллион лет или даже меньше — и игра будет сыграна. Вот что внушали нам тогдашние авторитеты. А теперь сэр Джеймс Джинс пишет «Вселенную вокруг нас» и с улыбкой обещает, что жизнь продлится еще миллиарды лет. Поскольку человеку дают такую отсрочку, он успеет совершить что угодно и проникнуть куда угодно; правда, со-

знание, что ты рожден слишком рано, оставляет слабый привкус горечи и дает некоторый повод для пессимизма. Но современная философия психологии и биологии предлагает средство и от этой беды.

Чтобы расти, надо ошибаться, и эта юношеская проба пера не вызывает у автора угрызений совести. Напротив, когда в статьях и речах упоминают его милую старую «Машину времени», это тешит его тщеславие: она по-прежнему представляет практичный и удобный способ заглянуть в прошлое или будущее. На столе перед ним лежит сейчас «Путешествие доктора Бартона по времени», опубликованное в 1929 году: здесь говорится о вещах, о которых мы тридцать шесть лет назад и не подозревали. «Машина времени» появилась в одно время с ромбовидным безопасным велосипедом и просуществовала столько же, сколько и он. А сейчас ее собираются выпустить в таком превосходном издании, что автор не сомневается: она его переживет. Он уже давно перестал писать предисловия к своим книгам, но это исключительный случай. Автор горд и счастлив, что представилась возможность вспомнить и дружески рекомендовать своего бедствующего и неунывающего тезку, который жил — если спуститься по шкале времени — тридцать шесть лет назад.

1931

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «СЕМЬ ЗНАМЕНИТЫХ РОМАНОВ»

Мистер Кнопф попросил меня написать предисловие к этому сборнику моих фантастических повестей. Они помещены в хронологическом порядке, но позвольте мне сразу предупредить тех, кто не знаком пока ни с одной из моих вещей, что им, вероятно, приятней всего будет начать с «Человека-невидимки» или «Борьбы миров». В «Машине времени» суховато написано то, что связано с четвертым измерением, а «Остров доктора Моро» оставляет по себе довольно тяжелое чувство.

Эти повести сравнивали с произведениями Жюля Верна; литературные обозреватели склонны были даже когда-то называть меня английским Жюлем Верном. На самом деле нет решительно никакого литературного сходства между предсказанием будущего у великого француза и этими фантазиями. В его произведениях речь почти всегда идет о вполне осуществимых изобретениях и открытиях, и в некоторых случаях он замечательно предвосхитил действительность. Его романы вызвали практический интерес: он верил, что описанное им будет изобретено. Он помогал своему читателю освоиться с будущим изобретением и понять, какие оно будет иметь последствия — забавные, волнующие или вредные. Многие из его предсказаний осуществились. Но мои повести, собранные здесь, не претендуют на достоверность; это фантазии совсем другого толка. Они принадлежат к тому же литературному роду, что и «Золотой осел» Апу-

лея, «Истинные истории» Лукиана, «Петер Шлемиль» [1] и «Франкенштейн» [2]. Сюда же относятся некоторые восхитительные выдумки Дэвида Гарнета, например, «Леди, ставшая лисицей». Все это фантазии, их авторы не ставят себе целью говорить о том, что на деле может случиться: эти книги ровно настолько же убедительны, насколько убедителен хороший, захватывающий сон. Они завладевают нами благодаря художественной иллюзии, а не доказательной аргументации, и стоит закрыть книгу и трезво поразмыслить, как понимаешь, что все это никогда не случится.

Интерес во всех историях подобного типа поддерживается не самой выдумкой, а нефантастическими элементами. Эти истории обращены к чувствам читателя точно так же, как и романы, «пробуждающие сострадание». Фантастический элемент — о необычных ли частностях идет речь или о необычном мире — используется только для того, чтобы оттенить и усилить обычное наше чувство удивления, страха или смущения. Сама по себе фантастическая находка — ничто, и когда за этот род литературы берутся неумелые писатели, не понимающие этого главного принципа, у них получается нечто невообразимо глупое и экстравагантное. Всякий может придумать людей наизнанку, антигравитацию или миры вроде гантелей. Интерес возникает, когда все это переводится на язык повседневности и все прочие чудеса начисто отметаются. Тогда рассказ становится человечным. «Что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться — таков обычный вопрос,— если бы, к примеру, свиньи могли летать и одна полетела на вас ракетой через изгородь? Что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться, если бы вы стали ослом и не в состоянии были никому сказать об этом? Или если бы вы стали невидимы?» Но никто не будет раздумывать над ответом, если начнут летать и изгороди и дома, или если люди обращались бы во львов, тигров, кошек и собак на каждом шагу, или если бы любой по желанию мог стать невидимым. Там, где все может случиться, ничто

[1] Повесть немецкого романтика Адельберта Шамиссо (1781—1838).

[2] Роман английской писательницы Мэри Шелли (1798—1851).

не вызовет к себе интереса. Читателю надо еще принять правила игры, и автор должен, насколько позволяет такт, употребить все усилия, чтобы тот «обжил» его фантастическую гипотезу. С помощью правдоподобного предположения он должен вынудить у него неосторожную уступку и продолжать рассказ, пока сохраняется иллюзия. Именно в этом состояла известная новизна моих книг при их появлении. Исключая книги о научных исследованиях, фантастическая сторона произведения до тех пор сводилась к волшебству. Даже Франкенштейн устроил какой-то волшебный фокус, чтобы оживить свое искусственное чудовище. Как-никак, надо было дать ему душу. Но в конце прошлого века от магии было уже мало проку: никто больше ни на минуту не верил в ее результаты.

И вот тогда мне пришло в голову, что, вместо того чтобы, как принято, сводить читателя с дьяволом или волшебником, можно, если ты не лишен выдумки, двинуться по пути, пролагаемому наукой. Это не было великим открытием. Я только заменил старый фетиш новым и приблизил его, сколько было возможно, к настоящей теории.

Коль скоро читатель обманут и поверил в твою фантазию, остается одна забота: сделать остальное реальным и человечным. Подробности надо брать из повседневной действительности еще и для того, чтобы сохранить самую строгую верность первоначальной фантастической посылке, ибо всякая лишняя выдумка, выходящая за ее пределы, придает целому оттенок глупого сочинительства. После того как фантастическая гипотеза высказана, интерес повествования сосредоточивается на том, чтобы наблюдать чувства и поведение человека под новым углом зрения. Можно вести рассказ, не выходя из границ индивидуального опыта, как делает Шамиссо в «Петере Шлемиле», а можно, как в «Путешествиях Гулливера», расширить рамки и подвергнуть критике общественные институты и человеческие недостатки. Мое давнее, глубокое и не остывающее с годами восхищение Свифтом можно заметить в этом сборнике на каждом шагу; оно особенно сказалось в моей склонности обсуждать в романах современные политические и социальные проблемы. Литературые критики неисправимы:

они оплакивают художественность и непосредственность, утраченные мною после того, как я написал ранние вещи, и обвиняют меня в том, что позднее я все более склонялся к полемике. Но это просто застарелая привычка,— ведь еще покойный мистер Зангвилл жаловался в своей рецензии 1895 года, что моя первая книга, «Машина времени», посвящена «нашим нынешним невзгодам». В «Машине времени» было столько же философии, полемики и критического отношения к жизни, как и в романе «Люди как боги», написанном 28 лет спустя. Не больше и не меньше. Ни в одной книге я не мог уйти от жизни в целом, сосредоточив внимание исключительно на индивидуальных переживаниях. От современных критиков я отличаюсь тем, что нахожу эти стороны неразъединимыми.

Несколько лет я выпускал ежегодно по «научно-фантастической повести», как их называли, иногда даже больше. В дни студенчества мы много говорили о возможном четвертом измерении пространства; мне пришла в голову совершенно очевидная идея, что события можно представить в жесткой рамке четырех измерений пространства и времени: эта магическая уловка позволила заглянуть на минутку в будущее; оно оказалось совсем не таким, как тогда самодовольно предполагали, считая, что Эволюция работает на человека и делает для него мир все лучше и лучше. «Остров доктора Моро» — произведение, полное юношеского богохульства. Время от времени, хотя я редко признаю это, мир показывает мне отвратительную гримасу. Он состроил гримасу как раз тогда, и я постарался выразить как можно более явно свое представление о том, сколько бессмысленного страдания гнездится на божьем свете. «Борьба миров» была новой, после «Машины времени», атакой на человеческое самодовольство.

Все эти три книги выдержаны в свифтовской традиции и преднамеренно жестоки. Но в глубине души я не пессимист и не оптимист. Мир безразличен к человеку, и настойчивая человеческая мудрость не встретит в нем предумышленного сопротивления. В конце концов довольно легко извлекать художественные эффекты из зловещих сторон жизни. Страшные рассказы писать проще, чем веселые и возвышающие. В «Первых людях на Луне»

я постарался исправить выстрел Жюля Верна: мне хотелось взглянуть на человечество издалека и высмеять последствия специализации. Верн не высадил своих героев на Луне, потому что он не знал о радио и не имел возможности послать на Землю радиограмму. Поэтому его снаряд должен был вернуться. А в моем распоряжении было радио, которое как раз тогда изобрели, и мои путешественники смогли высадиться и даже осмотреть часть Луны.

Два последних романа выдержаны в оптимистическом духе. «Пища богов» — это фантазия о том, как изменился масштаб человеческих дел. Теперь все чувствуют, что он изменился; мы замечаем эту перемену, наблюдая мировой беспорядок, но в 1904 году такой взгляд не был слишком распространен. Я подошел к нему, размышляя о возможностях ближайшего будущего, которым была посвящена моя книга «Предвиденья» (1901). Последний роман — утопический [1]. Мир морально очищен газом, который оставил благотворный хвост кометы.

Почти последний из моих «научно-фантастических романов», «Люди как боги», был написан семнадцатью годами позже «Дней кометы» и не включен в этот сборник. Он не устрашал и не запугивал — и не имел большого успеха. К тому времени мне уже надоело обращаться с игривыми иносказаниями к миру, занятому саморазрушением. Я был слишком уверен, что близкое будущее готовит людям сильные и жестокие переживания,— и не хотел обыгрывать это в книгах. Но прежде чем расстаться с фантастикой, я написал две сатиры, не вошедшие в этот сборник: «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» и «Самовластье мистера Парэма». В них есть, мне кажется, веселая горечь.

«Самовластье мистера Парэма» — это роман о диктаторах; но, хотя диктаторы нас окружают, ему так и не удалось выйти дешевым изданием. Книги этого рода сейчас так глупо рецензируют, что их вряд ли могут правильно понять. Читателей предупреждают, что в моих сочинениях есть идеи, и советуют не браться за них; над новыми книгами тяготеет фатальное подозрение. «Остерегайтесь возбуждающих средств!» Едва ли имеет

---

[1] Речь идет о романе «В дни кометы».

смысл говорить, что последние мои книги так же легко читаются, как и ранние, и гораздо больше ко времени.

Наскучивает писать о воображаемых вещах, если они не затрагивают воображения читателей, и в конце концов перестаешь даже задумывать новые романы. Мне кажется, что мне лучше держаться ближе к реальности; я предлагаю рабочий анализ наших все углубляющихся социальных противоречий в таких книгах, как «Работа, богатство и счастье человечества» и «После демократии». Мир, потрясаемый катаклизмами, не нуждается в новых фантазиях о катаклизмах. Эта игра сыграна. Кому интересны причуды вымышленного мистера Парэма с улицы Уайтхолл, когда мы ежедневно можем наблюдать г-на Гитлера в Германии? Какая человеческая выдумка может устоять против фантастических шуток судьбы? Я зря ворчал на рецензентов. Реальность принялась подражать моим книгам и готова меня заменить.

1934

ВЕК СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

В каждом из нас есть что-то от граммофона, но так называемая выдающаяся личность, которая произносит публичные речи об образовании и книгах, раздает награды и открывает учебные заведения,— это уже законченный граммофон. Эти люди все время говорят одно и то же и всегда одним и тем же тоном. Если каждый из них по правде личность, то зачем бы им так поступать?

Я не могу не подозревать, что где-то в преисподней идет оптовая торговля пластинками для этих знатных граммофонов, причем отдают их почти задаром. Не иначе, как они там наладили массовое производство речей о «бессистемном чтении» и о том различии между «современной» и серьезной литературой, о котором болтает сейчас без устали кто попало. Граммофоны, кое-как замаскированные под епископов, еще менее замаскированные граммофоны, которые называются выдающимися государственными деятелями, а также граммофоны — кавалеры ордена Бани и граммофоны — члены Королевского Общества вновь и вновь начинают талдычить нам об этом и будут талдычить то же самое нашим внукам, когда мы умрем, а наши слабые протесты будут забыты.

И почти столь же беззастенчиво любят они повторять, что нынешний век — век специализации. Нам всем знакомы томно опущенные веки одной выдающейся личности, когда она одаряет нас этим открытием, и мы помним, какие поучительные выводы из этого следуют, ка-

кие напыщенные предупреждения нам преподносятся и что это все за велеречивая чепуха.

Наш век — что угодно, но только не век специализации. Во всей истории человечества едва ли был век, который с меньшим основанием можно было бы именовать веком специализации. Не надо долго думать, чтоб это понять. В наш век происходят такие перемены, как никогда прежде: меняются условия быта, меняется средняя продолжительность жизни, меняется сам ритм жизни,— а это все несовместимо со специализацией. Ведь человек может специализироваться только в стабильной обстановке.

В высшей степени благоприятствовали, например, специализации те условия жизни, которые существовали в Индии в прошлом поколении. Вчерашние жестянщик или портной, колесный мастер или аптекарь работали почти в тех же условиях, в каких работали люди тех же профессий за пять веков до них. Они располагали теми же средствами, тем же инструментом и материалами, делали одни и те же вещи для одних и тех же целей. В узких границах, поставленных ему, каждый из них доводил работу до совершенства, его руки и его ум были подчинены его профессии. Даже его одежда и манера держать себя определялись его профессией. Короче, это был высокоспециализированный человек. Эти свои профессиональные качества и отличия он передавал своему сыну. В социальной жизни логическим выражением такой высокой степени специализации стала каста. И действительно, что, кроме касты, могло бы лучше выразить эти классовые особенности? Но для нашего времени характерно, как нетрудно заметить, исчезновение каст и неустойчивость классовых различий. Если посмотреть на условия промышленного производства, окажется, что специализация сохраняется в той только мере, в какой на профессию не воздействуют изобретения и нововведения.

Очень консервативна, например, строительная профессия. Кирпичная стена сегодня возводится почти так же, как двести лет назад, а следовательно, каменщик — высококвалифицированный специалист, каким он и останется навсегда. Тот, кто не прошел длительной и трудной выучки, не сможет правильно укладывать кирпич.

И нужно быть хорошим специалистом, чтобы пахать землю на лошадях или править кэбом на улицах Лондона. Шляпники, башмачники, вообще все кустари специализированы до такой высокой степени, которая вовсе не требуется ни в одной из современных профессий.

С появлением машин узкопрофессиональное мастерство исчезает, а на смену ему приходит интеллект. Любой понятливый человек за день или за два сможет научиться водить трамвай, чинить электропроводку или управлять строительными механизмами или паровым плугом. Конечно, для этого он должен быть развитее в умственном отношении, чем средний каменщик, но он гораздо меньше нуждается в специальных навыках. Для того, чтобы починить машину, нужны специальные знания, а не специальная выучка.

Это исчезновение специализации наиболее заметно в армии и флоте. Во времена Греции и Рима война была особой профессией, требовавшей особого типа людей. В средние века приемы войны были так разработаны, что пехотинец играл роль неквалифицированного рабочего, и всего только сто лет назад еще нужны были длительная тренировка и навыки дисциплины, чтобы обычный человек мог быть превращен в настоящего солдата. И даже сегодня традиции еще очень сильны, что проявляется и в том, сколько нелепого и лишнего в военной форме и в остатках тупой муштровки, которая была так важна во времена рукопашных схваток, чтобы солдат был чем угодно, только не человеком.

Несмотря на все уроки Бурской войны, мы все еще склонны верить, что солдат — это существо, которое идет в стройной шеренге, по команде поднимает ружье, и спускает курок, и послушно приказам до такой степени, что нужды в собственной голове не испытывает. Мы все еще считаем, что наше офицерство должно быть выдрессировано, подобно неким благородным цирковым животным. Их учат обращаться с положенным по уставу оружием вместо того, чтобы развивать их интеллект и способность использовать все подручные средства.

И действительно, когда начнется Великая европейская война и в ход пойдут автомашины, велосипеды, беспроволочный телеграф, самолеты, новые снаряды любого калибра и назначения, а вслед за ними нахлынут в

процессе непредусмотренно широкой мобилизации огромные массы сметливых людей, военная каста исчезнет за первые же три месяца, в то время как разносторонние, инициативные, развитые люди займут свое место.

Так случится не только с военной кастой, но и со специализированной правящей верхушкой, взращенной в закрытых учебных заведениях.

Предположение, что наш век — век специализации, порождено смешением понятий «специализация» и «разделение труда». Отсюда и неправильная постановка технического образования, которая приносит нам неизмеримый вред. Нет сомнения, что наш век — это век все более широкой кооперации. Вещи, которые раньше делал высококвалифицированный специалист, например, часы, теперь изготовляются в огромных количествах сложными машинами при объединенных усилиях множества людей. Каждый из них может временами проявлять при выполнении какой-то особо сложной операции свой высокоразвитый интеллект, но он не делает всю вещь целиком, он не специализирован.

Особенно это заметно в научных изысканиях. Проблема или часть проблемы, на которой сосредоточено внимание отдельной личности, теперь зачастую много у́же, чем проблемы, занимавшие Фарадея или Дальтона, и вместе с тем твердо установленные границы, разделявшие некогда физика и химика, ботаника и патолога, давно исчезли.

Профессор Фармер, ботаник, исследует рак, а если обыкновенный образованный человек ознакомится с общими результатами работ профессоров Девара, Рамсея, лорда Ролея и Кюри, он затруднится определить, кто из них химик, а кто физик.

Классификация наук, которой с таким увлечением занимались наши деды, нам теперь только мешает.

Интересно взглянуть на возможную причину этой несчастной путаницы между понятиями «специализация» и «разделение труда». Я уже говорил о том, как нечистая сила наладила массовое производство граммофонных пластинок для наших епископов, государственных деятелей и тому подобных лидеров мысли, но если отбросить эту шуточную метафору, я должен признаться,

что все остальное написано под влиянием моего несогласия с Гербертом Спенсером.

Этот философ всегда настаивает на ничем не подкрепленной, по-моему, мысли, что вселенная и каждая вещь в ней движется от простого и однородного (гемогенного) к сложному и разнородному (гетерогенному). Легковерному человеку, одержимому этой идеей, очень легко с ходу предположить, что во времена варварства люди были менее специализированы, чем теперь, но мне кажется, что я привел достаточно доказательств того, что противоположная версия ближе к правде.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Из всех живых существ, населяющих нашу планету, один лишь человек не хочет смириться со своею судьбой. Все остальные подчиняются породившим их силам, и когда эти силы оборачиваются против них, пассивно обрекают себя на вымирание. Человек — единственный, кто смело смотрит этим силам в лицо и, как только видит, что природа отворачивается от него, стремится найти средства самозащиты. Последний из детей Сатурна, он избежал судьбы, уготованной им всем. Он лишил своего прародителя какой бы то ни было возможности вернуть первоначальную власть и овладел скипетром мира. До появления человека многие величественные существа проследовали одно за другим, словно в гигантской процессии, и исчезли с лица земли. Это были чудовища, населявшие древние моря, неповоротливые амфибии, стремящиеся во что бы то ни стало выползти на землю, рептилии, динозавры, крылатые пресмыкающиеся мезозойских лесов, первые млекопитающие — колоссальные и нелепые, огромные ленивцы, мастодонты и мамонты. Они появлялись и исчезали, словно неведомый гигант развлечения ради лепил их, а потом ломал и отбрасывал в сторону до тех пор, пока не появился человек и не отстранил эту громадную руку, которая пыталась уничтожить и его.

Кроме человека, нет на земле ничего такого, что восставало бы против силы, породившей его,— ничего, кроме порожденного человеком огня. Но огонь не обладает разумом: даже немноговодный ручей или переменчи-

вый ветер могут его погасить. А человек противостоит обстоятельствам. Если бы огонь обладал разумом, он построил бы лодку и пересек ручей, он перехитрил бы ветер, переждав в укрытых от ветра местах, тлея понемногу и сберегая себя до тех пор, пока трава не пожелтеет и леса не станут сухими. Но ведь огонь — всего лишь порождение человека, до человека наша планета не знала об огне ни в одном из пригодных для жизни мест и видела его лишь во вспышке молнии или в далекой светящейся диадеме вулкана. Человек приобщил огонь к своей повседневной жизни, заставил этого мстительного и вспыльчивого раба служить себе, отгонять зверей от своего ночного прибежища и охранять себя, как охраняет его в наши дни верный пес.

Представим себе, что какой-то вечный, самостоятельно существующий интеллект веками наблюдал бы изменения жизненных форм на земле, отмечая распространение то одних, то других, их столкновения, приспособляемость, преобладание одних видов над другими или вымирание, и что вдруг он стал бы свидетелем этого удивительного и впечатляющего события — превращения человекообразной обезьяны в человека.

Поначалу это существо показалось бы ему рядовой разновидностью обитающих на деревьях и насыщающихся плодами млекопитающих; оно отличалось бы лишь тем, что опиралось при ходьбе на палку и использовало в качестве ударного приспособления камень. А рядом с этим существом и перед ним все видимое пространство было бы заполнено носорогами и мамонтами, несметными стадами жвачных животных, саблезубыми тиграми и огромными медведями. Вскоре наблюдатель заметил бы, что выделенное им странное существо проявляет все большую, одному ему присущую ловкость, что в глазах его все больше светится необычный для животного мира разум. Он заметил бы в этом существе стремление, не проявленное дотоле ни одним представителем фауны,— стремление к независимости от климатических условий и времен года. Когда деревья и скалы не могли служить достаточно надежным укрытием, оно само оборудовало себе жилище; если обнаруживались перебои в обычной пище, оно меняло характер питания. Существо это начало выходить за пределы обжитых мест, приспосабли-

ваясь к своим изменившимся потребностям, выходя из лесу и захватывая долины рек, неся огни своих костров, словно это были знамена завоевателей, в горы и в заснеженные пустыни.

Продвижение человека в новые области было, по-видимому, сравнительно медленным, и каждый этап его продолжался веками. Но от века к веку он двигался все быстрее. Во всяком случае, с точки зрения исторической, огромный период времени, включающий переход от разрозненных первобытных племен каменного века до первых городов, показался бы чуть ли не мгновенным нашему воображаемому наблюдателю, мыслящему астрономически и в масштабах возникновения и отмирания целых рас, биологических видов и социальных групп. За это время сменилась, быть может, тысяча поколений; человек перешел от полного подчинения климатическим условиям и другим силам природы, а также своим собственным инстинктам, сближавшим его с животными, от временного расселения небольшими семейными группами в наиболее благоприятных местах — к постоянным поселениям, к образованию больших племен и национальных групп, а потом и к городам. За этот относительно небольшой промежуток времени он заселил огромные пространства, принялся осваивать полярные широты и тропики, изобрел плуг и корабль, приручил большинство домашних животных, начал уже размышлять о происхождении Земли и тайнах бытия. Письменность позволила добавить к устным преданиям летописи, меньше поддающиеся действию времени, и человек уже прокладывал дороги. Сменилось еще пять или самое большее шесть поколений, и человек достиг нашего уровня — нас самих. Мы проносимся в поле зрения нашего наблюдателя как недолговечное, преходящее отображение Вечного Человека. А после нас...

Занавес.

Время, в которое мы — те, чьи мысли встречаются на страницах этой книги,— родились, живем и умрем, покажется нашему вымышленному наблюдателю мгновенной фазой по сравнению с периодом, в который подобные нам вели борьбу во имя освобождения от древних императивов. Наше время покажется ему временем беспрецедентно быстрых перемен, достижений и расселения.

Действительно, за какой-то кратчайший отрезок времени электричество перестало быть лишь занимательной игрушкой и теперь уже обеспечивает передвижение доброй половины человечества по его ежедневным маршрутам, освещает наши города с такой силой, что они затмевают луну и звезды; заставляет служить нам десятка два неизвестных доселе металлов; мы доходим до самого полюса, взбираемся на любую вершину, парим в облаках; мы смогли побороть малярию, долго закрывавшую белому человеку путь в тропики, сумели вырвать жало еще у доброй сотни подобных носителей смерти. Мы перестраиваем старые города, одевая их в торжественный мрамор, грандиозные новые города вырастают, чтобы поспорить со старыми. Никогда, кажется, не был еще человек таким разносторонним, деятельным и настойчивым, и невозможно себе представить той силы, которая обуздала бы размах его энергии.

И все это движение вперед, совершающееся с большей и большей скоростью, происходило благодаря росту и интенсификации человеческого интеллекта, благодаря его совершенствованию посредством развития речи и письменности. Все это произошло наперекор сильнейшим инстинктам, делающим человека самым воинственным из всех существ и более, чем все они, стремящимся к разрушению, происходило, несмотря на все попытки природы мстить человеку за его бунтарство, за его поход против заведенных ею порядков, и насылать на него время от времени невиданные болезни и едва ли не поголовный мор. Движение вперед явилось последовательным и необходимым следствием первого неясного проблеска целенаправленной мысли, проявившейся во мгле животного существования человека. Тогда он совершенно еще не осознавал своих действий. Он попросту искал способов полнее насытить свои потребности, обеспечить себе защиту и безопасность. Он и сейчас еще не до конца понимает перемены, происходящие в его жизни. Иллюзия разобщенности, которая делает возможной жизнь животных, отчаянную борьбу за существование, вскармливание потомства и вымирание,— это прототип тех шор, которыми природа снабдила нас, чтобы мы спорили и озлобляли друг друга, и шоры эти все еще существуют. Мы и сейчас живем жизнью очень неполноценной,

будучи воплощены в миллионы разобщенных индивидуумов; и только в моменты прозрения мы начинаем видеть и чувствовать, что мы — нечто большее, чем наши собратья животные, которые запросто погибают, падая с древа жизни. Только в течение последних трех—пяти тысячелетий при помощи слабых и несовершенных способов выражения своих мыслей, неуклюжей космогонии и теологии, не избежав при этом бесчисленных упущений и ошибок, удалось человеческому разуму весьма приблизительно наметить свой путь в будущее, к вечному существованию рода человеческого. Человек все еще идет войной на себя самого, создает армии и флоты, сооружает крепости и укрепления, словно лунатик, во сне наносящий увечья себе самому, точно безрассудный варвар, вонзающий нож в свои собственные конечности.

Но человек пробуждается. Кошмары империй, расовых конфликтов и войн, абсурд торговой конкуренции и торговых ограничений, первобытный дурман похоти, ревности и жестокости — все это бледнеет в свете дня, проникающего сквозь его закрытые веки. Через некоторое время мы, каждый из нас сам по себе, обязательно осознаем, что мы молекулы одного единого Организма и мысли наши сливаются воедино из туманных блужданий в гармоническую цельность пробуждающегося интеллекта. Несколько десятков поколений назад все живые существа были нашими предками. Пройдет еще несколько десятков поколений, и все человечество будет, по существу, нашими потомками. С точки зрения физической и интеллектуальной, мы, отдельные личности, со всеми нашими отличиями и индивидуальными особенностями, являемся лишь частицами, отделенными друг от друга на некоторое время для того, чтобы затем вернуться к нашей единой жизни, с новым опытом и знаниями, как пчелы возвращаются с пыльцой и пищей в дружную семью своего улья.

И этот единый Человек, это замечательное дитя старой матери-земли — то есть все мы, по измерениям, диктуемым нашими сердцами и разумом,— он находится ныне лишь у истоков своей истории, обращенной в будущее. Покорение им нашей планеты — это лишь раннее утро его существования. Пройдет немного времени, и он

достигнет других планет и заставит служить себе великий источник тепла и света — солнце. Он прикажет своему разуму разрешать загадки своих собственных внутренних противоречий, обуздывать ревность и другие пагубные страсти, регулировать размножение, отбирать и воспитывать представителей все более и более совершенного и мудрого человеческого рода. То, до чего никто из нас не может додуматься в одиночку, о чем никто из нас не может и мечтать — разве что урывками и не понимая всего объема задачи,—будет легко разрешимо мышлением коллективным. Некоторые из нас уже чувствуют в себе это слияние с Великим Единством, и тогда наступают моменты необычного прозрения. Порою во мгле одиночества, в бессонную ночь вдруг перестаешь быть мистером имярек, отрешаешься от своего имени, забываешь о ссорах и тщеславных стремлениях, начинаешь понимать самого себя и своих врагов, прощаешь себе и им, точно так же, как взрослый понимает и прощает пустые раздоры детям, зная, что он выше этого; поднимаешься выше своих мелких неурядиц, сознавая, что ты — Человек, хозяин своей планеты, несущейся к неизмеримым судьбам сквозь звездную тишину космического пространства.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН

Наши представления о том, каким должен быть идеальный гражданин, весьма и весьма расплывчаты. Вряд ли найдутся даже два человека, у которых понятия об этом идеале совпали бы полностью и по всем статьям: ведь самые разные мнения по поводу того, что необходимо, допустимо или, наоборот, совершенно недопустимо для идеального гражданина, охватили бы широчайший диапазон всевозможных проявлений человеческой натуры.

И не потому ли воспитываем мы наших детей так, что они растут среди сумятицы противоречивых высказываний, среди путаницы самых неопределенных постулатов, сбитые с толку, теряя в конце концов всякое представление о том, каковы, собственно говоря, их права и обязанности; они обречены жить в мире, полном колебаний и компромиссов, ничего не стоящих мнений и суждений, а образцы поведения и требования воспитателей мелькают перед их глазами, словно прохожие, тонущие в уличном тумане.

Быть может, самым распространенным образцом для них служит тот, о котором дают им представление в воскресной школе, в нравоучительных книгах да и вообще всюду, где проповедуется мораль. Это ничем не запятнанный, здоровый человек, достаточно правдивый, чтобы никогда не опускаться до мелкой лжи, проявляющий умеренность там, где она необходима, честный без педантизма, инициативный, когда речь идет о его интересах, безоговорочно подчиняющийся закону, с уважением относящийся к общепринятым обычаям и порядкам, хотя и держащийся в стороне от политической горячки, смелый, но не идущий на авантюры, исправно соблюдающий некоторые религиозные обряды, предан-

ный своей жене и детям и, в известных пределах, доброжелательный ко всем людям.

Все сознают, что это образец незаконченный, понимают, что требуется нечто большее и нечто иное; очень многие интересуются тем, чего же именно ему не хватает. И все то небанальное, что есть в нашем искусстве и литературе, должно взять на себя задачу: выявить — капля за каплей, крупица за крупицей — незаметные на первый взгляд и непреходящие качества, которые составили бы в совокупности этот идеал.

Нам будет гораздо легче разобраться в этом вопросе, если мы вспомним о сложности происхождения каждого из нас. Ведь в каждую эпоху имели место определенные сдвиги и слияния, шло отмирание старой культуры и разрушение преград, а также духовное и телесное скрещивание.

При этом не только физическое, но также и моральное и интеллектуальное происхождение каждого из нас становилось все более запутанным. В крови каждого из нас сливались самые разные идеи и устремления, в каждом из нас живут ремесленники и воины, дикари и крестьяне, двадцать рас и неисчислимое множество социальных условностей и правил. Загляните в родословную самой рафинированной и самой воспитанной из ваших знакомых девушек, сбросив каких-нибудь сто поколений, и вы найдете там десяток убийц. Вы увидите лжецов и мошенников, грешников, утопавших в блуде, и продажных женщин, рабов и слабоумных, фанатиков и святых, людей легендарной храбрости и осмотрительных трусов, увидите ростовщиков и дикарей, королей и преступников. И каждый из этого пестрого конгломерата не просто был предком вашей знакомой по материнской или по отцовской линии, но и внушал ей со всей силой и убедительностью, на какие только был способен, свои взгляды и повадки. Пусть многое из всего этого кажется забытым, но кое-что все же досталось девушке. Ведь каждый раз, когда рождается человек, он приносит с собою все эти задатки, хотя порою с небольшими отклонениями или в несколько обновленных сочетаниях. Таким образом, наши идеи, даже в большей степени, чем наша кровь, берут свое начало из самых разных и многочисленных источников.

Бывает, что определенные потоки идей приходят к нам, образовавшись на основе жизненного уклада предков. Так, у большинства из нас большая часть предков — это рабы и крестьяне. Мужчины и женщины, которым приходилось из поколения в поколение воспитывать в себе рабскую покорность властелину, веками вырабатывали для себя такой образец поведения, который резко отличался от аналогичного образца, складывавшегося, скажем, у аристократов.

У нашего далекого предка-раба — предположим, его звали Лестер Уорд.— мы научились работать, и, уже конечно, именно рабство заложило в нас представление о том, что трудолюбие, даже бесцельное, само по себе является добродетелью. Хороший раб умел сдерживать свои чувства и желания, не притрагиваться к яствам, которые подавал своим повелителям и которых ему так хотелось. Он отказывал себе в собственном достоинстве и убивал в себе всякую инициативу. Раб не позволил бы себе взять чужого, но был совершенно неразборчив в том, кому служить. Он не считал достоинством откровенность, но очень ценил доброту и готовность прийти на помощь слабому. У раба совершенно отсутствовало сознание необходимости планировать и экономить. Он был почтителен, говорил негромко и склонен был скорее к иронии, чем к открытому неповиновению. Он восхищался находчивостью и прощал обман.

Совсем другое дело — бунтарь, от которого мы также унаследовали кое-какие качества. Уделом огромных масс населения каждой эпохи было жить в обстановке сопротивления — успешного или безуспешного — чьему-то господству, или под страхом прихода угнетателей, или в условиях недавнего освобождения от них. У этих людей добродетелью слыло бунтарство, а мирные отношения с угнетателем считались предательством. Именно от предка-бунтаря многие и многие из нас унаследовали представление, что непочтительность является чем-то вроде морального долга, а упрямство — прекрасное качество. И именно эти представления заставляют нас идеализировать всяких оборванцев и бродяг, и потому мы видим чуть ли не что-то героическое в грубой одежде, мозолистых руках, в дурных манерах, в отсутствии тонкой восприимчивости и в полном презрении к обществу.

Естественно и то, что среди суровой природы, где-нибудь в общине изгоев-переселенцев, ведших тяжелую борьбу за существование, считалась достоинством грубая сила, а также умение без колебаний убивать и казнить. Люди, которых всегда торопят и подстегивают, превозносят нетерпение и «натиск», презирая скрупулезность и рассудительность, как слабость и деморализующие качества.

Но эти три типа: раб, бунтарь и переселенец — лишь немногие из тысячи типов и мировоззрений, которые были предтечами нашего современника. В характере современного американца они доминируют. Но мы сотканы еще из тысячи разных традиций, и в каждой из них есть что-то доброе и что-то порочное. Все они создавали атмосферу, в которой прежде воспитывался человек. Все эти типы, а также и другие, не поддающиеся классификации, составляют наше прошлое, и мы, живущие в более поздние времена, когда уже нет рабов, когда каждый человек — гражданин, когда условия великой и все растущей цивилизации превращают безумную алчность переселенца в бессмыслицу,— в эти времена мы должны взять на себя миссию — отбросив все то, что раб, переселенец и бунтарь считали необходимым и что мы таковым не считаем, и учтя современные требования и нужды, выработать нормы поведения для детей наших детей.

Нам следует создать образец достойного человека — идеального гражданина того великого и прекрасного цивилизованного государства, которое мы, имеющие «государственное чутье», построили бы из неразберихи, царящей на нашей планете.

Чтобы описать здесь нового, идеального гражданина, лучше всего представить себе, что́ может быть сделано в этом смысле коллективными усилиями многих умов. Но в любом случае наш предполагаемый идеальный гражданин сильно отличался бы от того индифферентно-благонамеренного дельца, который считается эталоном гражданина сегодня.

Наш идеальный гражданин воспитан не в традициях рабства, бунтарства или дикого, первобытного человека. Конечно же, он был бы аристократом, не в том смысле, что владел бы рабами или повелевал бы нижестоящими (потому что у него вряд ли будут те или другие), но ари-

стократом духа: он считал бы, что принадлежит государству, а государство — ему. Может быть, он был бы общественным деятелем; во всяком случае, он выполнял бы какую-то работу в сложном механизме современного общества и получал бы за это определенную плату, а не спекулятивную прибыль. Вероятнее всего, это был бы человек, имеющий профессию. Не думаю, что идеальный современный гражданин считал бы основной своей целью купить подешевле и продать подороже; мне кажется, что он с презрением взирал бы на то наше деловое предпринимательство, перед которым мы сегодня преклоняемся. Но ведь я социалист и жду с нетерпением того времени, когда экономическая машина будет работать не ради чьего-то личного обогащения, а на пользу всего общества.

Идеальный гражданин будет хорошо относиться к своей жене, детям и к друзьям. Но он ни в коем случае не будет выступать на стороне жены и детей, если это будет противоречить интересам общества. Он будет заботиться о благе всех детей вообще, он сможет преодолеть узы слепого инстинкта, у него будет достаточно интеллекта, чтобы понимать, что почти каждый ребенок в мире, так же как и его собственный, имеет право расти, развиваться и в дальнейшем иметь своих детей, внуков и правнуков. К жене он будет относиться как к равной, он будет не просто «добр» к ней — нет, он будет честным, справедливым и любящим, то есть таким, каким и должен быть равный по отношению к равному. Он больше не будет унизительно баловать ее и нежить, не будет скрывать от нее тяжелой и горькой правды или «оберегать» ее от ответственности, которую налагает участие в политической или общественной жизни. Он не будет делать этого точно так же, как не стал бы сковывать ее ноги китайскими колодками. Муж и жена будут ценить в своей любви то, что каждый не ограничивает, а расширяет круг интересов другого.

Совершенно сознательно и обдуманно будет идеальный гражданин предъявлять эстетические требования к себе самому и к окружающей его обстановке. Он предпочтет разумную умеренность строгому воздержанию и будет считать элементарным требование быть всегда здоровым и физически развитым. Ни в коем случае не будет этот человек слишком тучным или, наоборот, чересчур

худосочным. Толстяки, страдающие одышкой, так же как и слишком худые, смогут считаться образцовыми гражданами не более, чем люди грязные, зараженные паразитами. Идеальный гражданин будет красив и опрятен — и не ради собственного тщеславия, а для того, чтобы доставить удовольствие окружающим. Он с таким же удивлением будет смотреть на сегодняшнего «образцового гражданина» с его уродливой одеждой и уродливыми манерами, как мы смотрим на грязного дикаря каменного века. Он не будет говорить о своей «фигуре» и не будет небрежен в одежде. Он просто будет сознавать, что он сам и окружающие его люди обладают красивыми, стройными телами.

Кроме всего сказанного выше, каждый рядовой идеальный гражданин будет ученым и философом. Понимать окружающее станет для него самой насущной необходимостью. Его ум, так же как и тело, будет здоров и изящен. У него всегда будет время для чтения и размышлений, и, по-видимому, он не найдет времени на то, чтобы гнаться за крикливой и глупой роскошью. Из этого следует, что, поскольку ум его будет гибким и живым, он не будет человеком скрытным. Скрытность и тайные замыслы вульгарны; мужчин и женщин следует учить избавляться от этих пороков, и их заставят от них избавиться. Идеальный гражданин будет в высшей степени правдивым, и не в том смысле, что не будет лгать, когда приходится волей-неволей говорить правду,— он будет таким правдивым, как бывают правдивы ученые и художники. Так же, как и они, он будет презирать стремление утаить что бы то ни было от кого бы то ни было. Иными словами, правдивость будет для него выражением первостепенной внутренней потребности называть вещи своими именами, изображая их просто и точно, потому что при этом вещи раскрывают всю свою красоту, а жизнь становится прекрасной.

Все, что я написал о мужчине, так же справедливо и для женщины-гражданки; справедливо до последнего слова, лишь с незначительными грамматическими поправками в тех местах, где вместо мужского рода следовало бы употребить женский.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

БОЛЕЗНЬ ПАРЛАМЕНТОВ

1

В мире все усиливается разлад между правителями и управляемыми.

Этот разлад существует столько же веков, сколько существует государство: управление всегда было в какой-то мере насильственным, а повиновение—в какой-то мере неохотным. Мы уже привыкли считать естественным, что при всякой абсолютной власти или олигархии в недрах общества постепенно зреет недовольство; и недовольство это нарастает по мере того, как общество становится более образованным и внутри него возникает свободный класс, обладающий личной инициативой, а также по мере того, как созревшая общественная мысль находит формы для своего выражения. Но мы, англичане, американцы и жители Западной Европы, в большинстве своем всегда полагали, что у нас это недовольство заранее предусматривалось и предвосхищалось благодаря существованию представительных органов власти. Мы полагали, что, несмотря на всяческие ограничения и предосторожности, наше общество, в сущности, обладает самоуправлением. Свободные выборы — вот что считалось у нас панацеей от всех недовольств. Избирательная урна казалась и выходом и лекарством при любых проявлениях социального и национального несогласия. Наши либерально настроенные умы могли понять и понимали русских, которые жаждут избирательного права, индейцев, которые жаждут избирательного права, женщин, которые жаждут избирательного права. История либерализма

девятнадцатого столетия во всем мире может быть подытожена одной фразой: «Неизменное расширение избирательных прав». Но все эти взгляды принадлежат уходящему этапу политической истории. Теперь недовольство идет гораздо глубже. Наша либеральная интеллигенция столкнулась сейчас с таким положением, когда недовольство охватило людей, уже имеющих избирательное право, когда избиратели выражают презрение и враждебность по отношению к избранным ими самими депутатам.

Такое недовольство и возмущение, такое презрение и даже враждебность по отношению к собственным законно избранным представителям характерны не для какой-нибудь одной или другой демократической страны — они распространены почти по всему миру. Чуть ли не все народы разочарованы в так называемом народном правительстве, а во многих странах, в частности в Великобритании, это разочарование проявляется в чудовищных политических беззакониях и в странном и зловещем пренебрежении законом. Это видно, например, из того, что большая группа медицинских работников отказывается выполнять закон о страховании; из того, что Ульстер отвергает Ирландский Гомруль; об этом же свидетельствует и неуклонное стремление широких масс индустриальных рабочих к организации всеобщей забастовки. Особенно знаменательно недовольство рабочих в Англии и во Франции. Эти люди составляют основную массу избирателей во многих округах, они посылают в законодательные органы представителей так называемых социалистических и рабочих партий, и вдобавок у них есть их тред-юнионы с целым штатом должностных лиц, избранных, чтобы бороться за права рабочих и отстаивать их интересы. И тем не менее сейчас уже совершенно очевидно, что эти должностные лица — представители рабочего класса и им подобные — не выражают мнения своих сторонников и все меньше и меньше способны руководить ими. Синдикалистское движение, саботаж во Франции и ларкинизм[1] в Англии являются с точки зре-

[1] Ларкинизм — политическое течение, названное по имени Джеймса Ларкина (1874—1947), деятеля ирландского рабочего движения; в те годы Ларкин стоял за решительную стачечную борьбу с предпринимателями.

ния социальной устойчивости самыми серьезными проявлениями все растущего возмущения трудящихся классов своими представительными учреждениями. Эти движения нельзя назвать ни революционными, ни реформистскими, какими были демократические социалистические движения конца девятнадцатого столетия. Они дышат гневом и местью. За ними стоит самая опасная и ужасная из чисто человеческих сил — ярость, слепая, разрушительная ярость обманутой толпы.

Что касается восстания трудящихся масс, то положение в Америке отличается от европейского, и здесь процесс разочарования, возможно, пойдет иным путем. Рабочие руки в Америке — это в основном иммигранты, все еще отделенные барьером языка и традиций от установившихся воззрений и обычаев. Пройдет еще много времени, прежде чем трудящиеся массы Америки станут такой же организованной силой и заговорят языком трудящихся Франции и Англии, где эксплуататор и эксплуатируемый принадлежат к одной нации и где нет всяких чужаков, «даго», которые срывали бы назревающий бунт. Но в остальном недоверие американцев к своим «избранникам» и ненависть к ним была и остается значительно более глубокой, чем в Европе. В Америке люди состоятельные и обладающие положением в обществе не занимаются сами политикой, и они с презрением отвергают всякие политические разговоры в «хорошем обществе» — это первое, что изумляет европейца, попавшего в Америку; правда, теперь под организованным давлением общественного мнения люди образованные и богатые не сторонятся больше политики, но, возвращаясь к государственной деятельности, они явно стремятся обуздать демократию личной властью и скорее предпочитают отдать все дела в руки деспотичных мэров или президентов, чем развивать демократию.

Временами кажется, что Америка созрела для Цезаря. Если же Цезарь так и не объявится, то лишь по счастливой случайности, а отнюдь не в силу республиканских добродетелей американцев.

Стоит лишь присмотреться к качеству и составу выборного представительства в любом современном демократическом государстве, как сейчас же начинаешь понимать причины и сущность все увеличивающегося разры-

ва между этим институтом и обществом, которое он представляет. Ибо парламенты ни в коей мере не представляют действительных идеалов и целей страны; что для них достижения науки, последнее слово философии и литературы — все силы, созидающие будущее,— изобретения, эксперименты и исследования, опыты и промышленное развитие!.. Типичным «избранником» является обычно какой-нибудь законник, скорее ловкий, чем одаренный, умело жонглирующий дешевыми лозунгами и изловчившийся собрать голоса на выборах; он клянется служить интересам своих избирателей, но фактически связан по рукам и ногам интересами узкой политической группировки — той партии, которая и навязала его данному избирательному округу. Когда он очутится в законодательном собрании, его следующая честолюбивая мечта — это высокий пост, и для того, чтобы обеспечить и сохранить его для себя, он пускается на всевозможные уловки, стараясь навредить своим политическим противникам в тех областях, которые кажутся особенно выигрышными для личного успеха его ограниченному и узкому уму. Но, будучи человеком ограниченным и узкоспециализированным, он при этом неизбежно полностью отходит от интересов и чувств широких масс своих избирателей. В Англии, так же как и во Франции и Соединенных Штатах, законодательные органы всегда стремятся уйти от жизненных проблем, и внутриправительственные споры и дискуссии, которые должны были бы волновать страну, только надоедают ей.

В Англии, например, в настоящее время обе политические партии совершенно не пользуются доверием общества, которое от всей души жаждет, если это только возможно, избавиться от них обеих. Ирландский Гомруль, этот мертвец, противостоит мертворожденной Тарифной реформе. Большинство народа презирает дикие и неуклюжие попытки отрезать Ирландию от участия в деятельности английского парламента,— это тянется еще со времен провала политических концепций Гладстона; но в народе слишком силен еще страх перед дурацкими фискальными аферами, и это помогает либералам оставаться в правительстве. Недавние разоблачения глубочайшей финансовой коррупции либералов только укрепи-

ли решимость общественного мнения не допускать новых возможностей коррупции, какие предоставила бы тарифная реформа не менее сомнительным политическим противникам либеральной партии. А тем временем за этими нелепыми альтернативами, за этими фальшивыми проблемами никто не желает видеть подлинные, важнейшие задачи, стоящие перед страной: все сильнее углубляющееся недовольство рабочих по всей Британской империи, расовые конфликты в Индии и Южной Африке (которые, если их не остановить, окончатся отделением от нас Индии), безумное расточение национальных средств, борьба с эпидемиями, срочная потребность в сокращении вооружений — вот проблемы, которые остаются в полном небрежении.

Означает ли это провал и несостоятельность представительного правительства? Неужели идея, вдохновлявшая многие из лучших и благороднейших умов восемнадцатого и девятнадцатого столетий, была ложной идеей и мы должны в политической структуре будущего возвращаться назад к цезаризму, или олигархии, или плутократии, или теократии — к Риму, или Венеции, или Карфагену, к сильному правителю или правителю в силу божественности права?

Моим ответом на этот вопрос будет самое решительное НЕТ. Моим ответом будет, что избранное народом правительство — единственно возможное правительство в цивилизованном обществе. Но я должен прибавить, что пока еще мы не имеем возможности вынести суждения о таком правительстве. До сих пор у нас еще не было избранного народом правительства, а были только отвратительные карикатуры на него.

Совершенно ясно, что те, кто первым основал парламентскую систему правления, которая сейчас является основной в большей части земного шара, стали жертвой некоей, сейчас вполне очевидной ошибки. Они не отдавали себе отчета в том, что голосование может проходить сотнями разных способов и каждый из них приведет к иному результату. Они полагали, как и сейчас полагает множество беспечных умов, что если страна разделена на примерно равные округа, где избираются один или два представителя, если каждый гражданин обладает одним голосом и закон не ограничи-

вает число выдвинутых кандидатов, то в законодательных органах соберутся самые достойнейшие, мудрейшие и во всех отношениях лучшие граждане.

В действительности все далеко не так просто. В действительности страна избирает самых разных людей, в зависимости от того, какова избирательная система. Это можно подтвердить опытом, который каждый может проделать в любой школе или клубе. Предположим, вы берете для опыта вашу страну, даете каждому избирателю один-единственный голос, выдвигаете двадцать шесть кандидатов на двенадцать мест и даете им малое количество времени на организацию выборов. Окажется, что избиратели отдадут свои голоса лишь нескольким любимцам — назовем их А, Б, В, Г,— которые и получат подавляющее большинство голосов, а остальные — скажем, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М,— останутся далеко позади. Но дайте вашим кандидатам время организовать выборы, и многие из тех, кто помог раздуть количество голосов, поданных за А, оказывается, настолько не терпят Л и М и симпатизируют Н и О, что, если они убедятся в том, что А пройдет и без их голосов — при соответствующей организации выборов,— они будут голосовать за Н и О. Но они поступят так, только если будут убеждены, что А пройдет и без их участия. Точно так же поклонники Б захотят, чтобы прошли П и Р, если этого можно добиться без ущерба для Б. Таким образом, хорошая организация выборов в данном избирательном округе может привести к тому, что пройдут не те двенадцать кандидатов, которые прошли бы при простом, наивном голосовании, а А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, Н, О, П, Р. Теперь предположим, что вместо такой организации ваш избирательный округ будет разделен на двенадцать округов и каждый кандидат имеет право баллотироваться только в одном из них. И предположим, что каждый округ отдает предпочтение своему, местному кандидату. А, Б, В чрезвычайно популярны; у них есть поддержка в каждом избирательном округе, но ни в одном из них они не имеют большинства. Они великие люди, но не земляки избирателей. Тем временем С, которого почти никто в стране не знает, имеет множество сторонников в том избирательном округе, где баллотируется А, и побеждает его большинством в один голос. Дру-

гая местная знаменитость, Т, таким же образом расправляется с Б. В подвергается нападению не только со стороны У, но и Ф, чей взгляд на прививку оспы, скажем, подкупает достаточное число сторонников В, чтобы У мог надеяться на успех. Подобные же случаи происходят и в других избирательных округах, и в результате страна, которая неукоснительно избрала бы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М при первой избирательной системе, избирает вместо этого Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш. Многочисленные избиратели, которые при случае голосовали бы за А, голосуют за П, Р, С, и так далее, а те, кто голосовал бы за Б, голосуют за Т, У, Ф и так далее. Предположим теперь, что А и Б принадлежат к противоположным партиям и что обе партии в стране отлично организованы. Б является, в сущности, вторым любимцем, но А — первый. Г, Д, Е, Л, Ф, Х, Щ, Э, Ю, Я принадлежат к партии А и потому побеждают, а Б, В, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т остаются не у дел, несмотря на широкую популярность Б и В. Мы-то полагали, что Б и В — второй и третий фавориты, но они терпят крах из-за Щ, о котором до сих пор никто и понятия не имел, но который ассоциируется у людей с А.

Теперь предположим, что выборы организованы подругому. Предположим, что вся страна — один избирательный округ и каждый избиратель имеет двенадцать голосов (если он пожелает ими воспользоваться), но он обязан отдать их, если будет голосовать, за двенадцать различных кандидатов. Тогда, несомненно, пройдут А, Б, В, Г, но с ними могут пройти совсем другие кандидаты, нежели при описанной мною ранее системе. Тут могут пройти М, Р, Ф, Ю и даже Э, этот знаменитый беспартийный. Но эта система может привести и к иным результатам. Рядовой избиратель, если ему дать двенадцать голосов, пожелает использовать их все, и потому в конце избирательных бюллетеней окажется очень много беспорядочных и неожиданных приписок. И если, например, некая решительная группа избирателей постановит голосовать за Т или отдать свои голоса только за А и Т или Б и Т, то Т неожиданно может пройти. При такой системе все преимущества и возможности оказываются вдруг у какого-нибудь профессионального поли-

тика или у противника оспопрививания,— словом, у кого угодно. Если Ю, Я, Э увидят, что положение их безнадежно, они могут отделиться от своей партии и занять какую-либо оригинальную позицию — скажем, высказаться в пользу трезвенности, или за секту мормонов, или за единый налог — и таким образом обскакать М, Н, О и П, которые ничем таким особенным себя не проявили.

Я надеюсь, читатель прошел со мной через все эти алфавитные дебри. Из бесед с людьми я знаю, что на этом месте очень многие начинают терять терпение и раздражаться. Но если вы постараетесь держать себя в руках, то, вероятно, поймете, что я хочу доказать, а именно: выборы могут привести к любому результату, в зависимости от того, каков будет метод голосования; единственное, к чему они не могут привести,— это к выбору правительства, действительно представляющего народ.

И это дает нам возможность заранее предположить в полном соответствии с опытом современной жизни, что во всем мире так называемые народные представительства никого, по сути дела, не представляют. Я пойду еще дальше и скажу, что если бы не порочность нашей избирательной системы, то даже одна десятая ныне подвизающихся американских и французских сенаторов, французских депутатов, американских конгрессменов и английских членов парламента не занимала бы сегодня своих постов. О них никто бы и не услышал. По существу, они вовсе не избранники народа, они всего лишь порождение нелепого метода голосования, незаконные отпрыски партийной системы и избирательной урны, оттеснившие законных детей и захватившие их права. Они выражают всеобщую волю не более, чем царь или какой-нибудь диктатор, провозгласивший себя президентом. Они просто случайная олигархия авантюристов. Действительно представительное правительство пока еще не существовало на свете. Была попытка создать его в восемнадцатом столетии, но в минуту появления на свет его одолел наступивший хаос. Вместо вождей и представителей народа у нас есть всего лишь политиканы и «депутаты».

Мир быстро переходит от местных к общим интересам, но созданный нашими предками избирательный метод предполагает избрание одного или двух депутатов

из строго ограниченных местных избирательных округов. А это тотчас же его погубило. Если бы обсуждение и планирование будущего были, как и должно это быть, всеобщим и систематическим занятием, сегодняшнюю неразбериху можно было бы предвидеть еще сто лет назад. Такой грубый избирательный метод, естественно, породил партийную систему Разумеется, теоретически для каждого избирательного округа может быть любое количество кандидатов, и избиратель вправе голосовать за того, кто ему больше нравится. Практически же имеется только два или три кандидата, и избиратель голосует за того, у кого больше шансов победить неугодного ему кандидата. Конечно, нельзя утверждать, что при современной системе выборов мы голосуем не «за», а «против», но «за» мы, безусловно, не голосуем. Если кандидатами являются А, Б и В и вы ненавидите В со всеми его потрохами и предпочитаете ему А, но сомневаетесь, получит ли А столько голосов, сколько Б, к которому вы равнодушны, то вполне может случиться, что вы станете голосовать за Б. А если Б и В пользуются поддержкой организованных партий, то еще менее вероятно, что вы рискнете «зря потратить» свой голос на А. Если же вы больше всего верите в Д, который не баллотируется по вашему избирательному округу, и если Б клянется поддержать Д, в то время как А сохраняет за собой свободу действий, вы, возможно, будете голосовать за Б, если даже ему лично и не доверяете. Любые добавочные кандидаты превратят такие выборы в дикую потасовку. При такой системе политической партии легко направлять ход выборов, и во всех странах дело пришло к этому очевидному результату. Политические организации нашего времени неограниченно управляют нами. Только они и говорят за нас, а народ нем.

Преобладающая в наши дни избирательная система, задуманная якобы для того, чтоб каждый избиратель мог участвовать в управлении государством (а некоторые простаки до сих пор в это верят), в сущности, не означает ничего подобного. Избирателю предоставляется возможность проголосовать в порыве отчаяния за представителя одной из двух партий, ни на одну из которых он не имеет ни малейшего влияния. Двадцать пять

лет я был избирателем и только дважды за все эти годы имел возможность проголосовать за выдающегося человека, в которого я хоть сколько-нибудь верил. Обычно же мне приходилось выбирать своего «представителя» из двух-трех адвокатов, совершенно мне (да и никому) неизвестных. Более половины кандидатов, за которых мне предлагали голосовать, вообще не были англичанами, а оказывались какого-нибудь иностранного происхождения. Вот в чем состоит политическая свобода среднего американца или англичанина, таково то политическое равноправие, которого так жадно и неустанно добивались женщины Англии. Одного из двух нежелательных ему кандидатов избиратель может отвергнуть, но второй все равно станет его «депутатом». Это не народное правительство, это—правительство профессиональных политических деятелей, которые управляют более или менее безответственно, смотря только по тому, насколько им удается избежать интриг и склок в своей среде. И что бы ни планировали совместно обе партийные организации, какую бы проблему они ни ставили выше «партийных интересов», свободный и независимый избиратель не более влияет на их политику, чем если бы он был рабом в древнем Перу.

Сегодня правительства самых цивилизованных стран мира демократичны только в теории и в наших представлениях. На самом же деле эта демократия настолько изъедена ржавчиной скверных избирательных методов, что она просто вуаль, прикрывающая паразитические олигархии, взращенные внутри демократических форм.

Прежний дух свободы и общей цели, опрокинувший и подчинивший себе церковь и королевскую власть, совершил это словно лишь для того, чтобы проложить путь этим темным политическим силам. Так, вместо либеральных установлений человечество изобрело новый вид тирании. Не удивительно, что многие из нас испытывают чувство политического отчаяния.

Эти партийные олигархии развиваются уже в течение двух столетий, и таившиеся в них зло и опасности проявляются все яснее и яснее. Главное из этих зол — отсутствие в правительстве представителей наиболее активных и образованных слоев общества. Никому не кажется удивительным, наоборот, все считают вполне есте-

ственным, что ни в конгрессе, ни в палате общин нет подлинных представителей общественной мысли нашего времени, его науки, изобретательства и инициативы, его искусства и чувств, его религии и идеалов. Когда люди говорят о конгрессменах или членах парламента, они представляют себе, если говорить начистоту, интеллектуальные отбросы общества.

Когда в странах, где говорят на английском языке, заходит речь о выдающемся деятеле, даже если он снискал себе славу на поприще политических или общественных наук, невольно закрадывается сомнение, как только узнаешь, что человек этот — член законодательного органа. Когда лорд Хелдейн разражается лекциями, или лорд Морли пишет книгу «Жизнь Гладстона», или бывший президент Теодор Рузвельт помещает статью в журнале, публику охватывает безумный восторг, словно принцесса крови написала акварель или собака прошлась на задних лапах.

Такая умственная неполноценность законодателя вредна для общества не только потому, что он издает тупые, дурацкие законы, но и потому, что он разлагающе и принижающе влияет на всю нашу духовную жизнь. Ничто так не способствует развитию искусства, мысли и науки, как возможность воплотить их в жизнь; ничто так не губит их, как их неосуществимость. Но глубоко вникать и ясно мыслить можно только, если полностью отказаться от преступной трескотни, каковой является современная политика, то есть, другими словами, если совершенно отойти от основного течения общественной жизни страны. Когда общество не обращает интеллигенцию себе на пользу, эта интеллигенция скудеет, становится худосочной и неизбежно скатывается к претенциозности и поверхностности, с одной стороны, и к мятежу, бунтарству и анархии — с другой.

С точки зрения политической устойчивости это отчуждение национальной интеллигенции от национального правительства далеко не так опасно, как полное расхождение во взглядах между правительством и народом. На Британских островах, по мнению многих наблюдателей, эта отчужденность очень быстро может привести к социальному взрыву. Организованным массам трудящихся мешают как их парламентские представители, так и

профсоюзные деятели. Они начинают терять доверие к парламентским методам и в гневе вновь возвращаются к мятежным идеалам, к идее всеобщей забастовки и к саботажу. Они делают это без всяких конструктивных предложений, ибо смешно считать конструктивным предложением синдикализм. Они хотят бунта потому, что лишены иной надежды и глубоко разочарованы. То же самое происходит во Франции и очень скоро начнется в Америке. Этот путь ведет к хаосу. В ближайшие несколько лет в большинстве крупных городов Западной Европы могут начаться социальные восстания и кровопролития. К этому скорее всего ведет современное положение вещей. И тем не менее политические деятели продолжают почти совершенно игнорировать признаки надвигающейся бури. Жульнические избирательные методы мешают им видеть происходящее, и когда вместо Твидлдума избирают Твидлди [1], Твидлди кажется, что он тем самым получил право на полную политическую слепоту.

Но неужели все так безнадежно? Неужели наша избирательная система единственно возможная и нам остается лишь с чувством юмора относиться к ее чудовищной неповоротливости и бездарности, то есть, иными словами, терпеть ее с добродушной усмешкой? А может быть, существует какой-либо иной способ правления, лучше любого из тех, какие мы уже испробовали,— способ, при котором все классы общества сознательно и охотно сотрудничают с государством и все слои общества играют должную роль в жизни страны? Ведь именно об этом мечтали те, кто в прошлом изобрел парламентскую систему. Неужели это была всего лишь несбыточная мечта?

12

А может быть, болезнь парламентов неизлечима и нам остается лишь мириться с ней, как мирится с болезнью неизлечимо больной человек, всю жизнь соблюдавший диету и режим? Или все-таки можно придумать какую-то более демократическую и действенную систему управления нашей общественной жизнью?

[1] Твидлдум и Твидлди — абсолютно похожие один на другого близнецы, герои сказки английского писателя Льюиса Кэролла (1832—1898) «Алиса в стране чудес».

Ответ на этот вопрос должен определить наше отношение к целому ряду коренных и жизненно важных проблем. Если невозможно создать иные правительственные органы, нежели те тупые, медлительные сборища болтунов, что сейчас управляют Францией, Англией и Америкой, тогда цивилизованное человеческое общество исчерпало все свои возможности. Эти сборища совершенно не способны глубоко проникнуть в проблемы, представляющие интерес для всего общества; только наука и рациональный социализм предлагают тот коллективный подход к этим проблемам, который остро необходим, если мы хотим избавиться от теперешнего бесконтрольного расточения естественных богатств и избежать полного банкротства человечества.

В неумелых и нечистых руках современных правителей и так уже сосредоточено слишком много власти, и сейчас единственный для нас выход — это попытка использовать просвещенный индивидуализм, попытка всячески лимитировать и ограничить государственную власть и временно создать маленькие частные островки знания и культуры среди всеобщего беспорядка и разложения. Все идеалы коллективизма, весь рациональный социализм — если только социалисты захотят понять это,— в сущности, все чаяния человечества, зависят исключительно от вероятности создания лучшей системы правления, чем любая из существующих.

Посмотрим прежде всего, можно ли четко сформулировать условия, которым должно удовлетворять такое лучшее правительство. В дальнейшем дело каждого — верить или не верить в возможность создания такого правительства. Воображение— основа созидания. Если нам удастся вообразить себе лучшее правительство,— значит, мы уже наполовину его создали.

Каковы бы ни были остальные условия, которым должно удовлетворять это правительство, ясно одно: оно не должно состоять из людей, избранных в округе, где может пройти один-единственный кандидат. Такой избирательный округ неизбежно имеет меньшинство, а может быть, и большинство недовольных, чье представительство сведено на нет победившим кандидатом. Три таких избирательных округа, которые могли бы все голосовать за одну и ту же партию, если смешать их в

общую кучу, возможно, избрали бы двух депутатов от одной партии, а третьего — от другой. При этом все равно осталось бы побежденное меньшинство, выступившее против обеих партий или желающее иметь представителей, хоть чуть-чуть отличающихся по своим убеждениям от тех, которых предложил им избирательный округ. При прочих равных условиях можно с уверенностью сказать, что чем больше избирательный округ и более многочисленны его представители, тем больше шансов на то, что будут представлены все оттенки мысли и мнений.

Но это лишь предварительное утверждение; здесь не учтены все доводы, выдвинутые в первой части статьи с целью показать, как легко путаница и трудности голосования приводят к фальсификации позиции и волеизъявления народа. Но тут мы касаемся области, где уже было проведено действительно научное исследование и можно получить определенный вывод.

В середине прошлого столетия Хейр разработал избирательный метод, который и в самом деле как будто исключает или хотя бы уменьшает возможность фальсификации выборов и неадекватного представительства; его метод с восторгом поддержал Дж. С. Милл, а сейчас за него ратует специальное общество — Общество Пропорционального Представительства, состоящее из людей самых различных, но объединенных одним желанием — увидеть настоящее парламентское государство на месте опасного шарлатанства. Этот метод почти совершенно не дает возможности навязывать кандидатов избирательным округам и исключает те махинации и подтасовки голосов на выборах, которые калечат и позорят политическую жизнь всего мира. Он предусматривает лишь одно обязательное условие, трудное, но выполнимое — честная проверка и подсчет голосов.

Самое характерное для этой системы — это так называемый единый «передаточный» голос, то есть голос, который, будучи отдан сначала одному кандидату, может быть передан другому в случае, если этот кандидат и без того получит нужное большинство голосов. Избиратель нумерует кандидатов в порядке своего предпочтения — он проставляет против их имен в списке цифры 1, 2, 3 и т. д. При подсчете бюллетени вначале раскладываются согласно первым номерам. Предположим те-

перь, что популярный кандидат А получил гораздо больше первых номеров, чем ему требуется для того, чтобы пройти в органы правления. Тогда в его бюллетенях подсчитываются вторые номера, и после того, как будет вычтено количество голосов, необходимое ему для получения большинства, лишние голоса соответственно делятся между кандидатами второго номера и считаются отданными за них. Такова вкратце сущность этого метода. Сразу исчезает при этом ажиотаж по поводу пропащих голосов и разделившихся голосов, *в которых и заключается весь секрет политических махинаций отдельных партий*. Вы можете голосовать за А, отлично зная, что если он пройдет и без вашего голоса, то ваш голос отдадут В. Вы можете убедиться в том, что пройдет А, голосуя в то же время за В. Вам вовсе не нужен никакой «билет», и вам нечего бояться, что, поддерживая независимого кандидата, вы безнадежно провалите какого-либо более или менее симпатичного вам члена партии. При таком способе голосования впервые становится возможным избрание независимого кандидата. Таким образом, выбираете вы не по Хобсону, не среди ставленников партии.

Разрешите несколько уточнить особенности этого способа — единственного разумного способа голосования, обеспечивающего равное представительство для данного общества. Вернемся снова к избирательному округу, который я вообразил в начале статьи, то есть к округу, где кандидаты, названные всеми буквами алфавита, борются за двенадцать мест. Предположим, что А, Б, В и Г — кандидаты наиболее популярные. Предположим, что избирательный округ состоит из двенадцати тысяч избирателей и что три тысячи из них голосуют за А — я беру самые простые цифры,— то есть у А на две тысячи голосов больше, чем ему нужно для того, чтобы пройти на выборах. Тогда подсчитываются все вторые номера в его бюллетенях и выясняется, что шестьсот, то есть одна пятая, отданы В, пятьсот, то есть одна шестая,— Л, триста, то есть одна десятая,— Р, триста — Т, двести, то есть одна пятнадцатая,— У и Ф, и сто, то есть одна тридцатая,— десяти остальным кандидатам.

Теперь излишек в две тысячи голосов делится пропорционально между В — одна пятая от двух тысяч,

А — одна шестая и т. д. Таким образом В, у которого уже есть девятьсот голосов, получает еще четыреста, он уже избран, и у него остаются лишние триста голосов; следующие номера на бюллетенях В делятся точно так же, как и бюллетени А. Но предварительно распределяют лишние голоса, поданные за Л, у которого оказалось своих тысяча двести голосов. И так далее. После распределения лишних голосов кандидатов, избранных в начале списка, происходит распределение вторых номеров на бюллетенях тех, кто голосовал за безнадежных кандидатов в самом конце списка. Наконец наступает такой момент, когда двенадцать кандидатов имеют необходимое большинство голосов.

Таким образом, «пропажа» голоса или провал кандидата по какой-либо причине, кроме той, что никто не хочет за него голосовать, становятся практически невозможными. Этот метод единого голоса, который может быть передан другому кандидату, дает при наличии очень больших избирательных округов и большого количества избирателей абсолютно действенный избирательный результат; каждый голос в полную силу выражает мнение избирателя, и свобода голосования ограничивается только количеством кандидатов, которые баллотируются в данном округе. Этот метод, и только он один, обеспечивает выборы действительно представительного правительства; все остальные — сто один возможный метод — допускают мошенничество, путаницу и фальсификацию. Пропорциональное представительство — это не предложение чудака, не хитрый ход, ставящий целью запутать простой вопрос; это тщательно разработанный, правильный способ сделать то, что мы до сих пор делали совершенно неверно. Разве не естественно выпекать чистый, хороший хлеб вместо того, чтобы подмешивать в него всякую дрянь? Или водить поезда по их трассе вместо того, чтобы без всякого предупреждения гонять их по каким-то тупикам и веткам? Не более странен и новый способ голосования. Это не есть замена чего-то одного чем-то подобным — это замена неправильного правильным. Это простой здравый смысл в разрешении величайшей трудности современной политики.

Я знаю, многие не признают, не желают признавать, что пропорциональное представительство обладает все-

ми этими преимуществами. Может быть, это происходит потому, что само название чересчур длинно и скучно,— гораздо лучше было бы назвать его просто «разумное голосование». Противники этого единственно правильного метода называют его необычным. Он действительно непривычен, и это порочит его в их глазах. Чтобы понять этот метод, требуется не меньше десяти минут, а это слишком много для их простых, бесхитростных умов. «Сложно!» — вот что их пугает. Они напоминают мне человека, которому нравится электрическая железная дорога, но он считает, что поезд шел бы лучше без всей этой ерунды— всяких там проводов и прочего,— там, наверху, над головой. Они похожи на американского судью с Дальнего Запада, который расследует дело об убийстве и говорит, что главное — это кого-нибудь повесить за зверское убийство, но он не формалист и не станет поднимать шума, если повешенный не окажется действительным убийцей.

Они подобны простому, бесхитростному проектировщику, которому надоели его карты и планы, и он одним движением карандаша проводит железную дорогу по Швейцарии прямо через вершины Юнгфрау и Маттерхорн, сквозь ледники и ущелья. И уж совсем напоминают мистера Дж. Рамсея Макдональда, который отлично знает свою будущую судьбу.

Теперь давайте рассмотрим, каковы будут неизбежные последствия пропорционального представительства в такой стране, как Великобритания, когда вся страна перераспределится на большие избирательные округа, такие, как Лондон или Ульстер или Сэссекс или Южный Уэльс, в каждом из которых десятка два, а то и больше депутатов будут избираться с помощью системы единого «передаточного» голоса. Первым же незамедлительным и наиболее желательным результатом будет исчезновение бесцветного кандидата партии — он совершенно сойдет со сцены. Больше его никто никогда не увидит. Пропорциональное представительство не даст ему ни малейшего шанса на успех. Безусый молодой человек из хорошей семьи, адвокат на стипендии, уважаемое ничтожество и богатый покровитель партии будут вытеснены достойными людьми. Ни один кандидат, который ничем себя не проявил до выборов и гроша лома-

ного не стоит в глазах широких масс избирателей, не сможет рассчитывать на успех. Уже одного этого достаточно, чтобы ожидать весьма основательных изменений в поступках и характере рядового законодателя.

Далее, никакие интриги партии, никакие намеки со стороны начальства, никакие подлые закулисные уловки, злобные заговоры и скандалы не заставят отделаться от человека действительно стоящего и выдающегося, способного привлечь симпатии избирателей.

Заслужить научную славу, быть передовым мыслителем, исследователем или талантливым организатором, дерзко нарушать пути, предписанные власть имущими,— все это перестанет быть препятствием для избрания. Напротив, это поможет человеку пройти в Парламент. Значительно выше поднялся бы не только духовный уровень членов Парламента, но выросла бы и их личная независимость. И Парламент действительно стал бы собранием выдающихся людей, вместо того чтобы быть трамплином для карьеристов.

Двухпартийная система, которая крепко держит в своих когтях все страны, говорящие на английском языке, несомненно, будет сломлена пропорциональным представительством. Разумное голосование в конце концов убьет либералов и консерваторов, партийную машину демократов и республиканцев. Скрытая гнилость нашей общественной жизни, секретный конклав, который торгует почестями, мошенничает в денежных делах, запутывает общественные проблемы, обманывает страстные чаяния народа и губит честных людей темными махинациями,— все это станет невозможным. Поддержка партии станет весьма сомнительным преимуществом, а в самом Парламенте сторонники партии окажутся далеко позади независимых, может быть, даже и в численном отношении. Всего через несколько лет после введения разумного голосования кабинет министров исчезнет из общественной жизни Великобритании. Парламент сможет избавиться от министра без того, чтобы упразднять все правительство и выражать свое неодобрение, скажем, какому-нибудь дурацкому проекту переустройства местного правительства Ирландии, без того, чтобы широко распахивать дверь перед целой серией фантасти-

ческих фискальных авантюр. Кабинет, стоящий на плечах политической партии — истинный правитель так называемых демократических стран,— перестанет им быть, и правительство все чаще и чаще будет обращаться к законодательным собраниям. И законодательное собрание не только снова обретет власть, но неизбежно пресечет серьезное и все растущее недовольство Парламентом, которое так омрачает сейчас наше социальное будущее. Вооруженное восстание «юнионистов» в Ульстере, саботаж рабочих, забастовки солидарности и всеобщая стачка — все эти события имеют одну общую особенность: их участники заявляют, что Парламент — это обман и в нем нет и не может быть справедливости и что искать разрешения своих обид у Парламента — пустая трата времени и сил. При разумном голосовании все эти разрушительные силы будут лишены предлога и необходимости насилия.

Я знаю, в некоторых кругах склонны умалять важность пропорционального представительства и считать, что это всего лишь упорядочение системы голосования. Ничего подобного, это перспективный переворот в избирательном законе. Он революционизирует правительство гораздо больше, нежели простой переход от монархии к республике или наоборот; он подарит миру новый и совершенно беспрецедентный способ правления. Страной будут управлять истинные ее вожди. В Великобритании, например, вместо тайного, сомнительного и не внушающего доверия кабинета, который полновластно правит сегодня, опираясь на непокорную и многолюдную Палату Общин, мы будем иметь открытое правление, осуществляемое представителями, скажем, двадцати крупных областей, таких, как Ульстер, Уэльс, Лондон, причем от каждой из них в правительство войдет от двенадцати до тридцати представителей. Такое правительство будет крепче, устойчивее, более надежным и более заслуживающим доверия, чем любое из тех, какие уже видел мир. Министры и даже министерства могут приходить и уходить, но это не будет иметь того значения, какое имеет сейчас, ибо законодательный орган найдет множество способов выразить свою волю, тогда как теперь у него только одна возможность — выбирать между двумя партиями.

Доводы, которые до сих пор приводились против пропорционального представительства, ничего не стоят, если подумать о его огромных преимуществах. Во всех них сквозит уверенность, что общественное мнение, в сущности, ерунда и что избирательная система предназначена для умиротворения народа, а вовсе не для того, чтобы выражать его волю. Может быть, и верно, что известные болтуны, вознесенные и разрекламированные авантюристы и герои минутных сенсаций могут иметь все шансы быть избранными. Но мое личное впечатление о народной мудрости противоречит той мысли, что любая яркая, заметная фигура непременно попадет в эти списки. Мне кажется, что люди способны оценить, скажем, обаяние и глубину мистера Сэндоу, или мистера Джека Джонсона, или мистера Гарри Лодера, или мистера Ивена Робертса без того, чтобы непременно пожелать послать этих джентльменов в Парламент. И не стоит, по-моему, преувеличивать возросшее могущество прессы в связи с тем, что она якобы имеет возможность создавать репутации.

Репутации — штука своеобразная, и не так-то легко их создавать, да и если бы даже какая-то часть прессы и приковала бы внимание народа к десятку лиц с целью провести их в законодательные органы, все равно это должны быть интересные, чуткие люди, обладающие к тому же яркой индивидуальностью. И в конце концов это было бы всего полдесятка людей из четырехсот тех, чьи репутации завоеваны естественным путем. Третье возражение таково: эта реформа приведет к раздробленности мнений в Парламенте и даст нам неустойчивый кабинет. Это возможно; но неустойчивый кабинет может означать устойчивое правительство, а устойчивый кабинет, вроде того, что сейчас управляет Англией, проводит политику самых невероятных колебаний — и все из-за того, что его члены так упорно цепляются за свои должности. Мистер Рамсей Макдональд нарисовал такую картину, будто в результате пропорционального представительства появится чересчур представительный Парламент, который будет разделен на группы, причем каждая из них будет клятвенно сулить какие-то реформы и заключать самые невероятные договоры, всячески жертвуя общественными интересами, лишь бы обеспечить прове-

дение в жизнь обещанных реформ. Но мистер Рамсей Макдональд — только парламентский деятель; он знает современную парламентскую «кухню», как мелкий чиновник своего непосредственного начальника, и мыслит привычными терминами; для него представители народа — это непременно политические деятели, которых финансируют партийные центры; естественно, он не может представить себе, что разумно избранный член парламента будет совсем иным, нежели те интриганы и охотники за теплыми местечками, с которыми он имеет дело в наше время. Партийная система, основанная на нелепом голосовании,— вот что превращает правительства в невидимые конклавы и дает главной клике и фракции неограниченную и опасную власть. Мистер Рамсей Макдональд — типичнейший продукт существующей избирательной системы, и его острый нюх на интриги в законодательных органах — лучшее доказательство того, как необходимы коренные изменения.

Конечно, разумное голосование не есть кратчайший путь к золотому веку, это не способ изменить человеческую натуру, и в новом типе Парламента, как и в старом, еще останутся злоба, тщеславие, леность, корысть и явная бесчестность.

Но выступать против реформы только по этой причине не слишком убедительный довод. Все эти качества будут еще иметь место, но в новом Парламенте их роль будет значительно меньше, чем в старом. Это все равно что возражать против уже спроектированной и совершенно необходимой железной дороги только потому, что она не предполагает возить своих пассажиров прямехонько в рай.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА

С давних времен общепризнано, что существуют два совершенно различных подхода к социологическим и экономическим проблемам: один называют научным, а второй — ненаучным. В этом определении нет никакой моей заслуги, однако, выясняя разницу между этими двумя подходами, я, как мне кажется, говорю нечто новое, и на это-то новое мне и хотелось бы обратить ваше внимание. Я, разумеется, не претендую при этом на какое-либо оригинальное открытие. То, что я хочу сказать и уже не раз говорил, вы найдете (приблизительно и с некоторыми отклонениями) у профессора Бозанке, в работе Элфреда Соджвика «Употребление слов в логических рассуждениях», в «Логике» Сигворта и в современной американской философии. Мое суждение—всего лишь частица общего потока развивающейся общественной мысли. Весь ход моих размышлений привел меня к мысли, что социология не наука или наука в том свободном понимании этого слова, в каком можно считать наукой современную историю; кроме того, я сомневаюсь в ценности социологии, коль скоро она чересчур точно следует так называемому научному методу.

Я намереваюсь оспорить не только то положение, что социология — наука, но также и развенчать Герберта Спенсера и Конта, которых превозносят как основателей новой и плодотворной системы человеческого познания. Я вынужден разбить эти современные кумиры, вернуть греческих социальных мыслителей на их опустевшие

пьедесталы и вновь обратиться к Платону в поисках правильной системы социологического мышления.

Конечно, самим словом «социология» мы обязаны Конту, человеку исключительно методичному. Я считаю, что он логически вывел это слово из произвольного допущения, что все явления бытия можно свести к определенным, соизмеримым, точным и неизменным понятиям.

В глазах Конта социология, без всякого сомнения, венчает стройное здание всех наук; он считает, что для политического деятеля она должна служить тем же, чем патология и физиология служат для врача; в таком случае напрашивается вывод, что он чаще всего рассматривал социологию как интеллектуальный процесс, ничем не отличающийся от методов физического анализа. Предложенная им классификация наук с очевидностью показывает, что он рассматривает их, все без исключения, синтетически, как точную систематизацию фактов, логически вытекающих один за другим, причем в каждой из наук уже содержатся элементы, поясняющие сущность науки, следующей за первой по значению; так, физика объясняет суть явлений химических, химия — физиологических, физиология—социальных (социологических). Метод, которым он пользуется, абсолютно ненаучен, и тем не менее все работы Конта проникнуты уверенностью, что в отличие от предшествующих метод этот точен и применим в любой области, как математика.

Герберту Спенсеру мы обязаны проникновением слова «социология» в английский язык, и это вполне естественно, так как способ мышления Спенсера делает его английской параллелью Конту. Герберт Спенсер был более выдающимся мыслителем, чем Конт, и потому в его трудах этот предмет получил куда более широкое развитие. Спенсер плохо представлял себе практическую сторону всех наук, но естественную историю знал все же немного лучше; естественно, что именно к ней он и обратился в поисках социологических аналогий. Он был одержим идеей классификации, в его голове теснились воспоминания о различных видах и подвидах и о музейных образцах; от него и пошел этот поток заплесневелых антропологических анекдотов, которые до сих пор занимают важное место в ходячих представлениях о социологии. Попутно он был зачинателем метода социологи-

ческого исследования, элементы которого до сих пор в ходу.

Таковы два источника большей части современных социологических представлений. Однако здесь явно бросается в глаза любопытный разнобой, который ставит под сомнение значение и ценность этих первоисточников. Недавно мистер Брэнфорд, достойный секретарь Социологического общества, предпринял полезную работу по классификации, как он выразился, «методологических подступов» (определение, на мой взгляд, здравое и весьма выразительное). Его обзор первого тома Трудов Социологического общества — прямое доказательство того, как удачно выбрал он название для существующих исследовательских приемов и попыток «найти верную линию». Имена доктора Битти Крозье и мистера Бенджамена Кидда приводят на память работы, производящие впечатление вовсе не серьезного исследования с научными выводами, а скорее грандиозной заявки на несуществующую науку. Поиски системы, «метода» продолжаются так рьяно, словно ничего этого не существует и в помине. Доктору Штайнмецу принадлежит отчаянная попытка возродить метод аналогий Коммениуса — он вводит понятия социальной морфологии, физиологии, патологии и т. п.

Виконт де Лестрад и профессор Гиддингс менее решительны в своих утверждениях. В ряде других случаев социологическая мысль вообще утрачивает свою первоначальную направленность и скатывается в те области человеческой деятельности, которые нельзя назвать прежде всего социологическими. Примером этого служат хотя бы труды мистера и миссис Уэбб, М. Острогорского и М. Густава Ле Бон.

Основательно поразмыслив над этим разнообразием точек зрения, профессор Дургейм выдвигает требование «синтетической науки» и каких-то синтетических концепций, которые помогут спаять эти пестрые теории и превратить их в нечто способное жить и развиваться. Той же позиции придерживается и профессор Карл Пирсон. Откуда же возникает такая безнадежная путаница, что в этом вопросе невозможно не только прийти к какому-либо общему выводу, но даже выработать единую позицию или точку зрения?

Дело в том, что действительно существует определенная, недостаточно нами осмысленная классификация наук, на которую я хочу обратить ваше внимание, и она-то и является главным моим аргументом в споре против претензий социологии на научность. Когда мы от механики, физики, химии через биологию переходим к экономике и социологии, то здесь наблюдается возрастающая разница в значимости каждого отдельного явления; корреляты и смысл этой разницы еще не получили должного признания, а между тем именно значимость отдельных явлений глубочайшим образом влияет на методы изучения и исследования любой науки.

Начать с того, что новейшие философские теории утверждают, что совершенно одинакового объективного опыта не существует и что всякое реально существующее объективное явление воспринимается как индивидуальное и неповторимое. И эта мысль — вовсе не плод моего чудачества; она встречает серьезную поддержку в трудах наших весьма респектабельных современников, не запятнавших себя близостью к художественной литературе. Теперь все понимают, что, вероятно, лишь в мире субъективного познания — в теории или в воображении — можно иметь дело с совершенно подобными элементами и абсолютно соизмеримыми количествами. В реальном же мире разумнее предположить, что мы в лучшем случае имеем дело лишь с практически подобными элементами и практически соизмеримыми количествами. Но для нормального человеческого мышления естественна явная, вполне удобная, экономящая силы тенденция не только говорить, но и думать, что тысяча кирпичей, или тысяча овец, или тысяча социологов сделаны точно по одному образцу. Такого мыслителя можно заставить поверить, что в действительности это не так, но стоит вам на миг перестать на него влиять, как он сейчас же соскользнет на свои прежние позиции. Эта ошибка свойственна, например, всему племени химиков — если не считать одного-двух выдающихся ученых,— и атомы, ионы и прочие элементы того же порядка упорно рассматриваются ими как подобные. Следует заметить, что для практических результатов в области химии и физики едва ли играет роль, какую точку зрения мы принимаем.

А для теории бесконечно более удобна точка зрения ошибочная.

Но все это справедливо только для области физики и химии. В биологических науках XVIII века здравый смысл всячески старался сбрасывать со счетов индивидуальность раковин, растений и животных. Была сделана попытка вовсе зачеркнуть наиболее явные отклонения и считать их аномалией, ошибкой или игрой природы, и лишь великое обобщение Дарвина разбило эту намертво застывшую систему классификации и вернуло индивиду его законное место. Тем не менее между выводами биологии и наук, имеющих дело с неживой природой, всегда ощущалось четкое различие, которое выражалось в относительной туманности, неодолимой рыхлости и неточности биологических наук. Натуралисты собирали факты и накапливали названия, но их путь не походил на триумфальное шествие от обобщения к обобщению химиков или физиков. Потому-то основой основ и стали считать науки неорганические. Никто и не подозревал, что, несмотря на большую практическую ценность точных наук, истинной наукой может оказаться именно биология. По сей день огромное большинство людей полагает, что только точные науки — это науки в прямом смысле слова, а биология — всего только сложный комплекс проблем, где полно всяких вариантов и отклонений, которым еще предстоит получить свое объяснение. На мой взгляд, Конт и Герберт Спенсер также считали это аксиомой. Конечно, Герберт Спенсер говорил о непознанном и непознаваемом, но не в смысле неопределенности, пронизывающей все явления. Под непознанным он понимал то неопределенное, что находится за пределами непосредственной реальности мира и что когда-нибудь можно узнать совершенно точно.

Но все большее число людей начинает придерживаться противоположной точки зрения и приходит к выводу, что подсчеты, классификация, измерение и весь математический аппарат — это есть нечто субъективное и обманчивое, а объективная истина — в неповторимости отдельных индивидов. И по мере того, как уменьшается количество рассматриваемых элементов, возрастает разнообразие и неточность обобщений, ибо индивидуальность заявляет о себе все громче и громче. Если бы мож-

но было исчислять людей тысячами миллиардов, можно было бы рассуждать о них как об атомах, и если бы можно было исчислять атомы единицами, вы, вероятно, убедились бы, что они не менее индивидуальны, чем ваши тетки и двоюродные братья. Такова вкратце точка зрения упомянутого мною меньшинства, и с этих позиций и написана настоящая статья.

Итак, метод, который называют научным,—это метод, игнорирующий индивидуальность, и, как при многих математических допущениях, большое практическое удобство вовсе не является доказательством конечной его истинности. Я признаю огромную ценность и поразительные его результаты в области механики, во всех точных науках, в химии и даже в психологии — ну, а за пределами этих областей? Какова ценность этого метода для биологии? Ведь огромные успехи Дарвина и его школы достигнуты вовсе не с помощью «научного метода» в общепринятом понимании этого слова. Дарвин перенес исследование в область преддокументальной истории. Он собирал научную информацию соответственно некоторым своим предположениям, и основная часть его работы состояла в освоении и критическом анализе собранного материала.

Ископаемые, особенности анатомического строения различных животных, яйцеклетка слишком бесхитростные, чтобы ввести в заблуждение,— вот его документы и памятки. И в этом смысле можно сказать, что он исходил из конкретных материалов. Но, с другой стороны, он должен был общаться со скотоводами, с разными путешественниками, то есть с людьми такого сорта, которые с точки зрения доказательности приравниваются к авторам исторических трудов и мемуаров. И я очень сомневаюсь, может ли слово «наука» в его ходячем смысле соответствовать тому терпеливому распутыванию клубка, которым занимался Дарвин. Ведь в ходячем представлении наука всегда предполагает какие-то положительные и убедительные конечные выводы, основанные на многократных опытах, которые можно всегда повторить и которые, как говорится, «уже всесторонне проверены».

Можно было бы, конечно, поспорить о том, является ли слово «наука» гарантией доказательности, но сейчас так оно и есть для большинства людей. Пока речь идет о

движении комет и электрических трамваев, наука, безусловно, непоколебима, как скала; и Конт и Герберт Спенсер, бесспорно, верили, что эта непоколебимость может быть распространена на любое конечное явление бытия. Тот факт, что Герберт Спенсер определил некую доктрину как индивидуализм, вовсе не прибавил индивидуализации его первоначальным определениям и его собственной манере мышления. Он верил, что индивидуальное (гетерогенное) есть продукт эволюции от первоначальной однородности (гомогенности). Мне кажется, что общеупотребительное значение слова «наука» сводит ее к понятию знания и к поискам наивысшей степени точности. И не просто общеупотребительное: «Наука есть измерение», «Наука есть организованный здравый смысл», который горд своим греховным пристрастием к плоти и с презрением отвергает любой философский анализ своих представлений.

Если у нас хватит смелости признать, что жесткие позитивные методы приносят все меньше и меньше успеха, когда наши «логии» имеют дело с более крупными и не столь многочисленными индивидуальными явлениями; если мы признаем, что, двигаясь по шкале наук, мы постепенно теряем «научность» и неизбежно вынуждены изменить (и меняем) свой метод исследования, тогда, осмелюсь утверждать, мы окажемся в гораздо более выгодных условиях для рассмотрения проблемы «подхода» к социологии. Ибо тогда мы поймем, что все разговоры об упорядочении социологии — словно социолог скоро начнет бродить по свету с полномочиями техника-ассенизатора — были и останутся сплошной чепухой.

Лишь в одном отношении мы согласны с позитивистской схемой человеческого познания: для нас, как и для них, социология находится на противоположном конце шкалы по сравнению с науками о молекулах. Эти последние состоят из бесконечного количества элементов; в социологии же, в понимании Конта, имеется всего лишь один элемент. Правда, Герберт Спенсер, чтобы добиться хоть какой-нибудь классификации, разделял, по словам доктора Дургейма, человеческое общество на отдельные общественные организмы и уверял, что они ведут борьбу за существование, умирают и воспроизводят себе подобных точно так же, как животные; правда и то,

что экономисты вслед за Листом изобрели различные типы экономики исключительно в целях разрешения фискальных споров; но все это настолько шито белыми нитками, что можно только удивляться, как это вдумчивые и солидные авторы попались на удочку такой скверной аналогии.

На самом деле совершенно невозможно резко обособить одну общественную группу от другой или проследить что-либо, кроме самого грубого общего сходства между ними. Эти предполагаемые элементы единого целого так же индивидуальны, как облака; они появляются, исчезают, соединяются и расходятся. Невольно напрашивается вывод, что где-то далеко, в самом конце шкалы наук, остался не только метод наблюдения, эксперимента и проверки, но что придется расстаться и с методом классификации видов, который уже сослужил нам хорошую службу в тех областях знания, где речь идет о большом, но конечном числе элементов. Человечество нельзя поместить в музей или засушить для исследования; единственный из существующих живых объектов или типов — это вся история, вся антропология и весь изменчивый мир людей. У нас нет удовлетворительных средств, чтобы расчленить его, и в существующем мире нет ничего, с чем можно было бы его сравнить. Мы весьма смутно представляем себе его «жизненный цикл», весьма мало знаем о его происхождении и можем лишь мечтать о его величии...

Совершенно очевидно, что социология, из каких бы предпосылок она ни исходила,— это попытка установить четкие, истинные взаимоотношения объекта своего изучения—этого обширного, сложного, неповторимого общественного Бытия — с индивидуальным сознанием. Далее, индивидуальное сознание индивидуально, и каждое из них по-иному соотносится с предметом нашего рассмотрения, а личный интерес направлен прежде всего на человеческое общество, и уже только потом на окружающую нас материальную среду; отсюда совершенно очевидно, что нет никакой надежды на создание единой, универсальной социологии, приближающейся по обоснованности к точным наукам,— во всяком случае, это невозможно, если опираться на исходные философские положения данной статьи.

Придя к такому выводу, мы можем теперь рассмотреть более плодотворные способы изучения и изображения великого общественного Бытия. Прежде всего такое изображение непременно включает элемент самовыражения и в той же мере сходно с искусством, как и с наукой. Профессор Стайн, выступавший на первом заседании Социологического общества, хотя и говорил иным философским языком, чем я, но пришел к тому же практическому выводу; тогда же и мистер Осман Ньюлэнд назвал «эволюцию идеалов будущего» частью работы социолога. Мистер Альфред Фуйе также высказал интересные мысли по этому поводу: он усмотрел основную разницу между социологией и всеми другими науками в наличии «некоей свободы, свойственной обществу в осуществлении им своих высших функций». И далее он говорит: «Если эта точка зрения правильна, то нам не подобает идти по стопам Конта и Спенсера и непосредственно переносить готовые концепции и методы точных наук на науки общественные. Ибо наличие сознания обусловливает такую реакцию всего семейства социальных единиц на собственные действия, которая не имеет примеров в области естественных наук».

«Социология,— говорит он в заключение,— не должна допускать окостенения субстанции, которая по природе своей текучая и движущаяся; социология не должна принимать за неизменные и мертвые такие явления, которые силою своих собственных идеальных представлений находятся в процессе беспрерывного становления и превращаются в факты жизни». Эти суждения — каждое по-своему — перекликаются с моими.

Если мы согласимся с общим смыслом этих высказываний, то субъективный элемент, который есть красота, неминуемо сливается с элементом объективным, который есть истина; в таком случае социология не есть всего лишь искусство, но и не наука в узком смысле слова, а знание, окрашенное воображением и включающее в себя элемент индивидуальности. Иными словами, социология есть литература в высшем значении этого слова.

Если это утверждение справедливо и мы смело отвергаем Конта и Спенсера на том основании, что они вовсе не создатели социологии, а ученые, контрабандой протащившие в эту область свои псевдонаучные методы,

то нам придется заменить классификацию общественных наук исследованием основных литературных форм, которые косвенно могут служить целям социологии. Таких форм две: одна всеми признана как ценная; вторая из-за приверженности науки к фактам совершенно недооценена и заброшена. Первая — это социальная сторона истории; она и составляет основное содержание большинства из лучших современных социологических трудов. Что касается самой истории, то она здесь носит характер чисто описательный: подробно рассказывается о социальных условиях современности или прошлых веков или о последствиях этих условий; кроме того, существует такой сорт исторической литературы, которая стремится осветить и придать общее истолкование всему комплексу событий и общественных институтов, сделать широкие исторические обобщения и, отбросив массу второстепенных фактов, представить великую историческую эпоху или всю историю либо как цепь взаимосвязанных драматических событий, либо как единый процесс. Такая попытка сделана, например, в «Истории развития мысли» доктора Битти Крозье. Не менее солидна «История цивилизации» Бокля. Книга Леки «История европейской морали», в которой охватывается период раннего христианства,— также, по существу, работа социологическая. Многие другие труды, например, «Первоначальное право» Эткинсона или «Происхождение общества» Эндрю Лэнга, тоже можно рассматривать как произведения этой же направленности. В огромных замыслах «Упадка и разрушения Римской империи» Гиббона и «Истории французской революции» Карлейля больше подчеркивается драматический и живописный элемент истории, но в других отношениях мы и здесь сталкиваемся с попыткой истолковать по-своему запутанные события прошлого — ценность такой попытки зависит от литературного дарования автора и от того, насколько ему удается связать воедино разнородные поступки людей и показать их под собственным углом зрения. Описывать великие исторические события — все равно, что писать портреты: и там и здесь факты материальны, но целиком подчинены вашему индивидуальному восприятию.

Следовательно, одна из главных сторон деятельности Социологического общества,— безусловно, поощрять

и способствовать поощрению, пониманию, критическому анализу и распространению таких литературных сочинений, которые превращают мертвые камни прошлого в живую часть нашей жизни.

Однако я уверен, что самый правильный подход к проблемам, обозначаемым словом «социология», должно дать второе, заброшенное ныне направление мысли; и этот подход будет единственным, который достигнет цели. В социологии невозможно бесстрастно рассматривать, что *произошло*, не учитывая при этом, чего *добивались* участники события. В социологии сами идеи и есть факты, да иначе и быть не может. История цивилизации на самом деле не что иное, как история возникновения и повторения начинаний, колебаний и изменений, история появления и отражения в умах сложной, зыбкой, несовершенной идеи — Идеи Социальной.

Это та самая идея, которая борется за право на жизнь и воплощение в мире, где господствует эготизм, анимализм и грубая материя. И я утверждаю, что это не только закономерный, но и наиболее плодотворный и многообещающий подход к проблеме,— только так можно прояснить и выразить индивидуальное понимание всей идеи и оценить обстановку с позиций этой цели. Я считаю, что самый очевидный и подлинный метод социологии — это создание Утопий и их исчерпывающая критика.

Предположим теперь, что Социологическое общество или большая часть его членов согласятся, что социология не что иное, как рассмотрение Идеального Общества в его отношении к обществам существующим; разве такая позиция не является той основой, тем синтезом, в котором мы так нуждаемся, по словам профессора Дургейма?

Почти вся неисторическая социологическая литература, которая выдержала испытание временем и заслужила признание человечества,— это литература откровенно утопическая. Платон, обратившись к планам социальных преобразований, отбросил привычную для него форму диалогов: его «Республика» и «Законы» фактически не что иное, как Утопии в форме монологов. Для Аристотеля оказалась очень плодотворной критика утопических идей его предшественников. Как только в эпоху Возрождения человеческий разум очнулся и перевел

дух от интеллектуального варварства (прежде чем Штурм со школьными учителями схватили его, розгами вогнали в схоластику и опять оскопили), он вслед за Платоном начал создавать новые Утопии. Мор не без успеха выбрал эту форму для осуждения пауперизма, а Бэкон использовал ее для трактата о научном исследовании; Утопии были теми дрожжами, на которых взошла французская революция. Даже Конт, открыто исповедуя науку, факты и точность, по кирпичику строил собственную субъективную утопию—Западную республику, единственный достойный упоминания дар, который он преподнес миру.

Социологи не могут не создавать Утопий; пусть они избегают употреблять это слово, пусть с пеной у рта отвергают самую идею,— их умолчание уже есть Утопия. Почему же им не последовать примеру Аристотеля и не принять Утопию в качестве исходного материала?

В мои студенческие годы, а может быть, и теперь, еще в сравнительной анатомии существовало чрезвычайно ценное собрание фактов и теорий, носившее название «Формы животной жизни» Ролстоуна. Чем-то подобным мне мыслится и сочинение об Идеальном Обществе — грандиозная книга мечты, многотомная, написанная многими авторами. Эта книга, эта картина идеального общественного состояния должна стать становым хребтом социологии. Большие разделы будут посвящены таким проблемам, как определение Идеального Общества, его отношение к расовым различиям, взаимоотношения полов внутри него, его экономика, система образования и развитие общественной мысли, его «библия», по выражению Битти Крозье, его быт и нравы и т. п.

Почти все разнообразные труды, которые сегодня без разбора подводят под рубрику социологических, можно было бы связать гораздо более простым способом: это либо новые идеи, споры или критические сочинения, либо точные, вновь установленные факты, подкрепляющие или разбивающие те или иные гипотезы. Современные государственные институты начнут сравнивать с институтами Идеального Государства, в свете этого их недостатки и провалы будут подвергаться более глубокой критике, а такие науки, как коллективная психология — психология человеческих ассоци-

аций,— помогут проверить степень практической ценности этого предлагаемого идеала.

Такой метод не только сблизит все социологические труды, но даст общую схему для учебников и лекций, укажет направление дипломных и аспирантских работ на факультетах социальных наук.

Лишь одну область исследования, которую обычно относят к социологии, придется выделить и не связывать ее непосредственно с Идеальным Государством,— это та область, которая касается неуклюжих попыток исправить ошибки наших несовершенных государственных институтов. Я имею в виду не терпящие отлагательства общественные меры. Как быть с париями Константинополя, как быть с бродягами, ночующими в лондонских парках, как организовать благотворительную раздачу супа или кофе, как помешать напиваться невежественным людям, которым больше нечем занять себя,— все эти серьезные проблемы для администратора и вопросы первостепенной важности для политического деятеля, но они не больше относятся к социологии, чем временная больница на месте крушения двух поездов к железнодорожной технике.

Вот то, что я хотел сказать о второй, самой главной части социологии. Совершенно очевидно, что первая, историческая часть будет более обширной и содержательной из двух; она превратится, в сущности, в историю развития и воплощения Идеи Общества, которая составит основное содержание второй части, и в рассказ о поучительных неудачах в тех случаях, когда социальный идеал пытались осуществлять не до конца.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ ОТКРЫТИЯХ

Наш век — просто рай для пророков. После успешного создания подводных лодок и летательных аппаратов, после изобретения радио и открытия Северного полюса счастливому предсказателю будущего остается только восседать на перегруженной новинками телеге и громко восклицать: «Я же говорил!» В ажиотаже этих свершений никто как-то не заметил, что предвещание будущих успехов безнадежно отстает от урожая новых открытий. Современная наука оперирует совсем не такими очевидными вещами, как это было лет двадцать назад; она больше не обещает овладеть новыми пространствами и стихиями, как это было в прежние непритязательные времена. Раз уж вы полетели, то вы полетели. Раз уж поплыли под водой, так уж поплыли под водой. Где же те великие подвиги, к которым еще можно стремиться? Их, кажется, больше не осталось, и я почти жалею о неосмотрительной торопливости командора Пири и капитана Амундсена. Пройдут, надо думать, столетия, прежде чем положение в этом смысле изменится. Мы проникли уже во все стихии. Предположим, что вскоре будет изобретен своего рода «червячный» механизм, с помощью которого человек начнет вгрызаться в скалы и, точно червяк, станет буравить землю, оставляя позади отвалы породы; но, мягко выражаясь, тут есть немалые трудности. Кроме того, сомнительно, чтобы такая перспектива слишком пленяла наше воображение. В целом же я полагаю, что приклад-

ные отрасли знания уже материализовали все свои сегодняшние возможности и в ближайшие годы придется прежде всего совершенствовать эти достижения и применять их в более широких масштабах. Наука, без сомнения, еще поразит нас удивительными открытиями, но ничто уже не сможет сравниться с драматизмом новизны, с трепетом первооткрывателей, проникших в мир неизведанного, как Монгольфье, или братья Райт, или Колумб и покорители полюса. Остается, конечно, овладеть атомной энергией, но на это я отвожу не менее двух столетий...

Пока же, что касается техники, я склонен думать, что ближайшее будущее не принесет рядовому человеку почти никаких сенсаций. Наступает время огромных усовершенствований, насыщения жизни техникой, но все это не тот материал, который так и просится на первые страницы ежедневных газет. Методы труда начнут непрерывно упрощаться и сделаются экономичнее, появятся искусственные вещества, обладающие новыми свойствами, будут найдены новые принципы использования энергии. Постепенно перестроится и изменится механизм и оснастка человеческой жизни,— но это будет чисто количественное изменение, которое не сопровождается переворотами в научном мышлении. Так, электрическое отопление окажется более практичным, а потом и более дешевым, чем печное, и это, наконец, станет настолько удобно и дешево, что никто больше не пожелает топить углем. Электрические приборы услужливо придут на помощь в самых различных областях. Строители создадут новые, более полезные и красивые материалы, и молодые архитекторы прилежно и толково примутся применять эти новшества. Паровой котел, угольный склад, высокие трубы — да и вообще любые трубы — незаметно исчезнут из городского пейзажа. Путешествовать можно будет быстро и дешево: скорость и комфорт будут все увеличиваться, и соответственно расширятся и наши горизонты. Более систематизированные и глубокие познания в области социологии позволят приблизительно подсчитать прирост и развитие народонаселения, а это приведет к планированию городов и целых стран в таких масштабах, которые сегодня кажутся непостижимо мудрыми и широкими. Все это означает, что жизнь незамет-

но станет прекраснее, далеко раздвинутся ее рамки, и повеет свежим ветром.

Осуществятся и чрезвычайно быстро войдут в быт самые утопические мечты из области материальной культуры.

Научные достижения, которые поразят умы наших детей, будут совсем иными. Прогресс в каждую эпоху проявляется по-разному. Между отдельными областями всегда существуют сложные взаимосвязи. Какая-нибудь наука так и топчется на одном месте, пока ей на помощь не придет другая, которая даст готовые результаты и выводы, достаточно упрощенные, чтобы их можно было использовать. Медицина рассчитывает на органическую химию, геология — на минералогию и обе они — на химию высоких давлений и температур. Тончайшие перемены в манере, темперамент и духовная организация данного писателя определяют существенную разницу в количестве и качестве его трудов. Более того, в истории каждой науки периоды вызревания семян, когда активная работа не приносит ощутимых результатов, сменяются бурной порой практического осуществления, как было, например, с развитием и применением электричества в последние два десятилетия. Весьма возможно, что физиологи и химики движутся в своей работе к такому сотрудничеству, которое сделает медицину областью нового научного чуда.

Сегодня диетика и учение о режиме — это рай для знахарей и доморощенных специалистов, полушарлатанов, которые процветают из-за отсутствия упорядоченных точных знаний. Основная масса медиков — это малоопытные недоучки; одиночки, зажатые в тисках вечного риска, они вынуждены делать вид, будто обладают точными знаниями, в то время как этих знаний вообще не существует. На медицинские исследования отпускают слишком мало средств, а те, что есть, расходуются глупо, не столько на систематические научные опыты, сколько на ненаучные поиски лекарств от некоторых жестоких недугов — рака, туберкулеза и т. п. И все-таки наука о жизненных процессах здорового и больного организма, вероятно, движется вперед, скрытая, непонятная, ограниченная, с трудом преодолевая препятствия,— так в конце XVIII и первой половине XIX века постепенно вы-

кристаллизовывались физика и химия. И вполне вероятно, что скоро медицина придет к далеко идущим обобщениям и выводам и овладеет той огромной глубинной областью человеческой жизни, которая принадлежит ей по праву.

Но медицина не единственная наука, в которой мы, естественно, ожидаем внезапных и чудесных скачков. По сравнению с науками материальными психология и социология пока еще мало чем удивили свет. Если слабы и отрывочны наши медицинские познания, то педагогика — это уж просто жалкая смесь афоризмов и басен. Стоит только выйти за пределы мер, весов и классификаций, как начинается бесплодное смешение понятий, которое ставит под сомнение применимость ходячих логических и философских представлений в этих областях. Мы лишь едва вышли из школьного возраста. А в этих областях и вовсе остались школьниками. Вполне возможно, что уже сейчас в университетских аудиториях, в непривлекательных томах философских сочинений подготовляется новое освобождение воли и интеллекта. Может быть, недалек тот час, когда человек совсем по-иному сформулирует проблемы контроля над человеческой жизнью и судьбою человека и найдет к ним совершенно новый подход.

Непознанное всегда питается лишь смутными догадками, но мои предположения распадаются на две группы, и я прежде всего склонен ожидать огромного систематического нарастания силы отдельного индивида. Мы, вероятно, и не подозреваем, как изменятся душа и тело человека, если выявить их возможности. Помню, я беседовал с покойным сэром Майклом Фостером по поводу перспектив современной хирургии, и он признался, что лишь боязнь за свою репутацию мешает ему рассказать заурядным людям об операциях, которые в скором времени станут самым обычным делом. Мне кажется, что в эту минуту он говорил от имени многих своих коллег. Уже сейчас можно удалять почти любую часть человеческого организма, в том числе и большие участки мозга, если потребуется; можно подсаживать живую ткань к живой ткани, создавать новые сочетания, лепить, смещать и перемещать. Можно также вызывать гипертрофию отдельных органов, причем не только с помощью

ножа и физических методов лечения: глубокие изменения в тканях могут быть вызваны и воздействием гипноза.

Если бы мы только понимали сущность обмена веществ и хорошо изучили функции отдельных органов, можно было бы самым удивительным образом менять и развивать свое тело. Сейчас наши знания недостаточны, но не всегда же они будут такими. В этом направлении у нас есть уже некоторые просто удивительные предположения, высказанные доктором Мечниковым. С его точки зрения, человеческий желудок и обширный кишечник не только излишние и рудиментарные органы, но, безусловно, опасные для человека, поскольку они служат вместилищем бактерий, ускоряющих процесс старения. Он предлагает удалять эти внутренние органы. Профана, вроде меня, такая идея может только потрясти и ужаснуть, но репутация доктора Мечникова как ученого чрезвычайно высока, а он вовсе не видит ничего страшного или нелепого в своем предложении. Пожалуй, если ко мне в гости явится таким образом «препарированный» джентльмен, у которого извлечено почти все содержимое брюшины, увеличены и усилены легкие и сердце, из мозга тоже что-то удалено, чтобы пресечь вредоносные токи и освободить место для развития других участков мозга, то мне с трудом удастся скрыть невыразимый ужас и отвращение, даже если я знаю, что при этом возрастают его мыслительные и эмоциональные способности, обостряются чувства и исчезает уставание и потребность в сне.

Однако ведь если бы в 54 году до н. э. в Дувре на головы моих украшенных венками предков — а в те дни моим предком в Англии был каждый женатый человек,— спустился бы, скажем, на своей летающей машине Луи Блерио в шлеме с наушниками и в защитных очках-консервах, то они, наверное, испытали бы точно такие же чувства. И ведь речь идет не о том, что красиво и некрасиво в человеке, а о том, что можно с ним сделать и что, вероятно, попытаются сделать наши потомки.

В один прекрасный день человек, безусловно, добьется абсолютного — физического и духовного — контроля над собственным организмом, но это вовсе не означает,

что он сделается уродом; даже исходя из наших эстетических стандартов, многие, подвергшиеся операции «по Мечникову», стали бы стройнее, подвижнее и изящнее, а кроме того, эти новые возможности вовсе не исчерпываются хирургией. Во всем, что касается еды и медикаментов, мы так и не вышли из состояния варварства. Мы впихиваем что попало в наши несчастные желудки и сталкиваемся с самыми неожиданными последствиями. Ведь немного найдется семидесятилетних, кто не страдал бы большую часть года от несварения — тупого, раздражающего, болезненного несварения желудка. Никто из нас не относится с таким невежеством и небрежением к горючему для своей машины, как к тому горючему, которым мы питаем собственный организм. Мы часто боимся употреблять многие стимулянты: слабительные, тонизирующие и веселящие средства,— так как совершенно не знаем, каков механизм их действия. А ведь есть все основания предполагать, что хорошо организованная человеческая жизнь может состоять из смены одинаково замечательных и по большей части исполненных физической и духовной активности периодов. Только полное невежество и плохая организация приводят к тому, что большинство людей вечно не вылезают из неприятного состояния, которое мы обозначаем словами «чуть-чуть бледноват» или «не очень тренирован». Конечно, сейчас чистейшей утопией кажется предположение, что в нашем обществе любой может быть практически чистым, красивым, деятельным, здоровым, может долго жить, забыв и думать о заживших и исчезнувших шрамах от перенесенных операций; но ведь такой же чистейшей утопией показалось бы королю Элфреду Великому чье-нибудь предположение, что в его стране практически все, вплоть до последнего пастуха, сумеют читать и писать.

Мечников размышлял над проблемой продления жизни, и мне непонятно, почему бы не использовать его метод хотя бы в отношении ежедневной потребности в сне. Независимых жизненных процессов не существует: все они требуют определенных условий и могут подвергаться изменениям. Если Мечников прав,— а в какой-то степени он, безусловно, прав,— то органические процессы, вызывающие старение, могут быть приостановле-

ны, задержаны и изменены при помощи определенного режима и питания. Ученый дает нам надежду, что в цикле отведенной человеку жизни после периода борьбы и кипения страстей появится новая ступень — ступень спокойной духовной активности, когда старость сохраняет все преимущества накопленного опыта, но избавлена от своих старческих немощей. А усталость и потребность в отдыхе еще в большей степени зависят от химических процессов в организме. Мы явно не в состоянии совершать непрерывное усилие — активность падает частично из-за утомления мышц и главным образом из-за накопления в крови продуктов усталости,— нам непременно требуется передышка для восстановления сил. Но нет никаких оснований считать, что привычная для нас пища — быстрее и лучше всего усваиваемый продукт и что нельзя создать более питательные, восстанавливающие силы вещества, которые вводятся в организм обычным путем или в виде инъекций, а также ускорить процесс нейтрализации и выведения продуктов распада. Можно не только полностью изменить функции некоторых желез, но путем введения особых преград и искусственных желез повлиять на весь ход внутренних процессов — и в этой идее нет ничего принципиально невозможного. Без сомнения, все это покажется химерой даже самому смелому и вольномыслящему из хирургов, но вспомните, что говорили лет двадцать тому назад о воздухоплавании и электротяге самые авторитетные люди. Сегодня человек всего лишь три-четыре часа в день располагает максимальной физической и духовной энергией. Причем лишь немногие с одинаковым напряжением и одинаковой продуктивностью делают свою физическую или умственную работу в течение даже этого времени. Остальное время тратится на еду, переваривание пищи, сон, на отдых самых различных видов или просто уходит между рук. Вполне возможно, что вскоре наука возьмет на себя задачу систематически продлевать часы творческой активности. Периоды такой активности смогут тогда отвоевать время у сна, переваривания пищи или физических упражнений, так что в конце концов чуть ли не все двадцать четыре часа будут использоваться плодотворно, а не распыляться на множество второстепенных занятий.

Только поймите, пожалуйста, что я вовсе не считаю чересчур привлекательной или желательной такую концентрацию энергии или искусственное «совершенствование» человеческого организма. Я понимаю, что подобное вмешательство в естественный ход жизненных процессов любому покажется сначала ужасным и отвратительным; ведь точно так же при виде иссиня-бледного личика ребенка, находящегося под действием наркоза, сердце невольно сильнее сжимается от жалости, чем когда он громко кричит от боли.

Но в задачу этой статьи входит вовсе не созерцание прекрасных грез, а обсуждение явлений, которые могут когда-нибудь произойти. Возможно, что все это осуществится вовсе не таким ужасным способом. Может быть, человек достигнет таких высот познания, что ни нож, ни яд, ни одно из средств, которые вложила в его руки наука, не отравит для него красоту окружающей жизни. Предположим, что он не настолько глуп и что когда-нибудь сумеет вознестись ввысь — торжествующий победитель, подчинивший себе все эти силы.

Не только развитие точных наук подарит человеку обновленное тело и наделит его яркой творческой жизнью — психология, педагогика и общественные науки, действуя через литературу и искусство, обогатят его, внесут ясность и гармонию в его душу. Ибо каждый, кто живет на земле и своими глазами видит вокруг грех, преступление и наказание, не может не понять, что это неисчислимое зло — результат невежества и узости умственных горизонтов. Лично я никогда не верил в дьявола. И искать пути к доброй воле и доброму сердцу — не менее великий и осуществимый подвиг, нежели пробивать туннели в горах и плотинами обуздывать моря. Тот же путь, что вывел нас из темной пещеры к свету электричества, приведет нас и к свету, озаряющему людские души,— это путь свободной, ничего не боящейся мысли, свободного дерзкого эксперимента, путь организованного обмена идеями и выводами, путь терпения, настойчивости и своеобразной интеллектуальной вежливости.

По мере того как человек все решительнее будет становиться хозяином самого себя и будет развиваться дальше философский и научный метод, станет воз-

можным управлять еще одной областью, о которой можно только мечтать в наш век невежества и препон. Начиная с Платона, философы всегда выражали удивление, что человек с любовью выводит благородные породы собак и лошадей, но предоставляет любым подлецам производить потомство и портить следующие поколения людей. Так это продолжается и по сей день. Прекрасные, замечательные люди умирают бездетными, унося с собой в могилу сокровища своей души и ума, и нас вполне удовлетворяет система брака, которая словно ставит своей задачей умножать число посредственностей. Но настанет день, когда наука и благоприятные условия позволят человеку овладеть и этой областью и действительно возникнет уверенность, что каждое новое поколение будет лучше своих предшественников. И тогда откроется новая страница истории человечества — страница, которая будет для нас словно солнечный свет для новорожденного.

Из книги «Англичанин смотрит на мир», 1914.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том XIV.

Редактор тома
Ю. Кагарлицкий.

Иллюстрации художника
И Глазунова

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 28/XI 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 2141. Зак. 2626. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 13,0 + 4 вкл. иллюстраций
Условн. печ. л. 21,73. Уч.-изд. л. 22,70.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.